ISSN 0130-3600

ეროვნული ბიბლიოთეკა

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

1992

10.335
1992

4-5

10.3/35
ეროვნული
ბიბლიოთეკა

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

1992

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Орган Союза писателей Грузии

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

ГАЛАКТИОН ТАБИДЗЕ. Стихи. Переводы Семена Заславского, Владимира Саришвили, Сергея Борисова, Германа Плисецкого, Ираклия Бухникашвили, Лилианы Чхиквишвили, Гиви Нижарадзе, Майи Руситашвили, Этери Гугушвили 3

ТАМАЗ БИБИЛУРИ. Для семи голосов и жаворонка. Роман. Перевод Э. Елигулашвили 15

ГЛАН ОНАНЯН. Стихи 174

АЛЕКСАНДР ЭБАНОИДЗЕ. Рассказы . . 177

ГЕОРГИЙ ЧАРКВИАНИ. Стихи. Перевод Владимира Саришвили . . . 215

ИЗ АРХИВА ПИСАТЕЛЯ

АЛЕКСАНДР ЦЫБУЛЕВСКИЙ. Из записных книжек. Публикация Киры Вольфензон-Цыбулевской и Павла Нерлера 218

4-5

Издательство «Самшобло», Тбилиси
Журнал выходит с июня 1957 года

ДЖЕМАЛ АДЖИАШВИЛИ. Пробудись, лира.
Перевод Гины Челидзе 260

ПУБЛИЦИСТИКА

ЭДУАРД ШЕВАРДНАДЗЕ. Верю — Грузия возродится! 301
ЭЛИЗБАР ЦИСКАРИШВИЛИ. Выстоять бы тебе, моя Грузия! 305

КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

СИМОН АРВЕЛАДЗЕ. Галактион и Тициан 319
АВТАНДИЛ НИКОЛЕИШВИЛИ. Валериан Гаприндашвили 327
ГУРАМ БАРНОВ. Художественное слово и современная литературная критика . . 342

РЕЦЕНЗИИ

ЛИЯ АРЧВАДЗЕ. Жизнь взаймы . . . 360
ГЕЛА ХАРШИЛАДЗЕ. Ключ к человеческой душе 366
ЛЕВАН БРЕГАДЗЕ. Почему пахнут деньги в приморском городе? 375

ИЗ ИСТОРИИ ГРУЗИНСКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ

РОКСАНА АХВЕРДЯН. Философы-грузины — последователи Монтескье 382

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

БОРИС ТУСКИА. К вопросу этногенеза осетин и их переселения в пределы Грузии . . 395
ЦИАЛА АРДАШЕЛИА. «Солнце мне мать...» 405

ДОКУМЕНТЫ, ПИСЬМА, ВОСПОМИНАНИЯ

ЛАВРОСИЙ КАЛАНДАДЗЕ. Мой Ираклий... Нет, наш Ираклий! 417
ГАРРИ КУНЦЕВ. Жил-был Параджанов . . 420

СПОРТ

АРСЕН ЕРЕМЯН. Два откровенных диалога с Майей Чибурданидзе 436

ХРОНИКА 359, 365

© «Литературная Грузия», 1992 г.

Галактион **ТАБИДЗЕ**

Новые переводы

* * *

Божья матерь пречистая, солнце—Мария!
Жизнь моя — сновиденье о розе в песке;
Лепестки ее ливни омыли слепые,
И лазурь просияла над ней вдалеке.

Скроет ночь бесконечная горы и поле,
Только если ударит твой свет по глазам,
Изнуренный бессонной тоской алкоголя,
Будто грешница, я припаду к образам.

И безвольно лицо уронив на ладони,
Я приникну к тяжелым церковным вратам.
Луч рассвета ворвется под своды Сиони,
И встрепещет прозрачными ризами храм!

И тогда я скажу: «Вот стою пред тобою,
Лебедь, раненный ликом твоей красоты.
Так взгляни же, мадонна, в лицо испитое,
Что так долго и мстительно мучала ты!

Торжествуй над моим ненавидящим взглядом,
Где когда-то сияла фиалок роса,
А теперь закипают презреньем и ядом
От вина и бессонниц больные глаза!

Так ли, дева, тебя призывали поэты?
Иль твой образ уже безвозвратно далек,
И у ног твоих в поисках горнего света
Умирает душа, как слепой мотылек?

1992.6722

საქართველოს

Где ж найти воздаянье потерянной вере,
Если рухнул незримо воздвигнутый град?
Не остался с тобою в раю Алигьери,
И со мною опять низвергается в ад!

И когда на пути моем встанет однажды
Смерти тень, о проклятой напомнив судьбе, —
Даже перед причастием я не возжажду
Твоего утешенья, забыв о тебе.

Жизнь моя промелькнет сновидением пьяным,
Будто дикие кони промчатся в бреду,
Но под небом твоим прошумев ураганом,
Я в твою милосердную землю сойду.

Божья матерь пречистая, солнце—Мария!
Жизнь моя — сновиденье о розе в песке.
Лепестки ее ливни омыли слепые,
И лазурь просияла над ней вдалеке.

* * *

Солнце июня, спаси, милосердное,
Убереги от косы беспощадной
Душу возлюбленной, душу бессмертную,
Что просияла нам светом отрадным!

Рыцарь Грааля, мольбой бескорыстною,
Я заклинаю: «Помилуй любимую!
В ожесточенье страданий неистовых,
Солнце июня, любовь пощади мою!»

Пахнет разрытой могилою время —
Время великой беды накануне.
Нож, занесенный над нами, над всеми —
О, пощади ее, солнце июня!

Солнца июньского медь похоронная!
Солнце, достигнув зенита, почило.
И не закрыты зеницы бессонные...
О, как безропотно гибнет светило!

Солнца июня предсмертное зрение...
О, у него открыты глаза!

Солнце скончалось в ином измерении
И у него открыты глаза!

И голосам вечереющим внемля,
Там, в угасающем свете сквозя,
Солнце с мольбою взирает на землю,
И у него открыты глаза!

Что ж там случилось? Откуда доносятся
Лиры прощальные звуки: «Навек?»
Струн обрывается разноголосица,
С хохотом мечутся ветер и снег!

И прерывается немощь дыхания...
Или почудилось пение там,
Где так беззвучно секунд убывание
И поминанье по милым теням?

Лето проходит тропой увядания...
Так для чего же, надежда моя,
В это последнее солнцестояние
Вновь возвратился на родину я?

Солнца ль почтить неоплаканный прах,
Или испить безутешной печали
В этих глубоких и нежных глазах,
Что голосам серафимов внимали?

О, безнадежного взора слеза!
Тенью становится бархат портьеры...
Всюду открытые стынут глаза —
Это незримо рыдает Церера...

И в глубину этих глаз заглянуть
Жаждет душа, к умиранью готова.
И остается единственный путь:
Смерть — завершение круга земного.

Солнца открытые стынут глаза.
О, у него открыты глаза!
Оно скончалось в иной стороне
И у него открыты глаза.

Перевод Семена ЗАСЛАВСКОГО

Синие кони

Призраками марева в предзакатном зареве
Виден берег замерший, в вечности сверкающий!
Ожиданья заперты в неподвижной заледи,
В бесприютной заверти, в тишине пугающей.

В тишине пугающей, в стуже обжигающей,
Среди скал сверкающих скорбь нашла пристанище...
Мертвенно взирающий, ты в гробу нетающем,
В тишине, печальную душу разрывающей...

Рощами-скелетами, незнакомы с бедами,
И живым неведомы, мчатся дни бессчетные.
На конях, на преданных — синих грезах все они
Отдохнут со мной, забыв гонки сумасбродные.

Вдаль бегут мгновения. Что мне их течение...
Кто оплачет бдение, вечно без движения,
Гаснет, гаснет рвение, словно сновидение,
Как души волнение в знойный миг моления.

Кони мчатся с грохотом, как судьба, что с хохотом
Цвет надежды крохотной давит под копытами.
Вянут сны умильные, и покой, бессильный, ты
Ныне под могильными обретаешь плитами.

Все забудь — черты свои, имя и мечты свои,
Хоть до сипоты зови — в лабиринтах сказочных
Не раздастся друга глас, подлый послух не предаст—
Только поколеблет наст храп химер загадочных!

Но солнцестояния гибели дыханию
Не достичь. Сияние — средь цифири пустоши!
Рощами-скелетами дни бегут бесцветные,
И в краю неведомом в преисподню рушатся.

В вечности сверкающей будь в гробу нетающем,
Иль на льдах мерцающих — проклят и бессилен ты,
Кони — моря рокотом, кони — рока хохотом,
Быстрым громом-грохотом мчатся кони синие.

Ты, в траурную мантию элегии одетая

Ты, в траурную мантию элегии одетая,
Коленопреклоненная, с блаженным ликом ангела...
Лампады на иконах свет... Мечтание воспетое —
Мечтание воспетое в сонетах Микеланджело.

Но, в скорби погруженная, внемли мольбе
единственной —
Забудь печали музыку — ведь все, тебе подобные,
Юдоль греха покинули, в мир перешли таинственный,
Простись и ты с землей, и ты плыви в края загробные.

Осины

Только повеет ветер в долину,
Только взметнется парус тумана,
Шепчут, белеясь, шепчут осины,
Точно в волшебной сказке обманной.

И опьяняет сказка, чаруя,
Словно бы вина прежних застолий,
Розы, ромашки в грезах ловлю я.
В воспоминаньях прожитой боли.

Где это было? Годы минули...
Летом, зимою? Все перепутал...
Вместе прожили. Вместе уснули...
Рвется под ветром лиственный купол...

Вместе уснули... Парус кренится,
Клонит судьбу под тяжестью ветра,
Где ты — в селенье или в столице,
Годы минули... Где ты и с кем ты?

Это осины, осины стенали,
Кроны дрожали в юдоли подлунной,
Годы цветами нас увенчали,
Я был пажом, ты принцессою юной.

Без любви

Нет без любви сиянья в небесах,
Дыханья ветра, мира многоцветья,
И пенья птиц в разбуженных лесах,
Нет без любви ни жизни, ни бессмертья.

Но мне милей последняя любовь,
Что, как цветок осенний, в тихой неге
Не внемлет диким голосам страстей,
Фиалок буйству на весеннем снеге...

На хрупкие цветы он не похож —
Полночный ураган его ласкает,
И он клонится медленно к земле,
В безмолвии осеннем увядает...

Последняя любовь, уйдешь и ты,
Когда поблекнут нежные соцветья,
Но в мире нет бессмертья без любви,
Нет и не будет без любви бессмертья.

* * *

Вновь я вспомнил персик в розовом цвету,
Ту любовь, что бьет в сердце на лету.

О, как ты жеманна!.. Как печален день.
Те же небеса... Крон все та же тень.

И ретивый ветер так же гнет самшит.
Тот же солнца блеск. Тот же путь лежит.

Зов мой в вихре ветра унесется вскачь...
Тот же голос мой. Тот же горький плач.

Перевод Владимира САРИШВИЛИ

* * *

Бьют в окно дожди и снеги,
точно молит о ночлеге
голос бури.

Не во гнев, но в оправданье
будит поздние рыданья
плач пандури.

Век любви моей не отнял.
А была она — бесплотней
лунной пряжи...

Бьют в окно дожди и снеги,
точно молит о ночлеге
дух бродяжий.

Свободен

Я свободен! Задыхаясь
под судьбой, как под весной,
все заботы до одной
я низвергнул в дольний хаос.
И отдал ветрам на милость
все, чем грудь моя томилась.

Как легка отныне лира
в море знойных цинфарий!
Я пустил на ветер мира
глас владык и ропот парий
и скорбей мирские флаги
утопил в бесслезной влаге.

Перевод Сергея БОРИСОВА

* * *

Тринадцать лет тебе. И я пленен тобою.
Хоть сердцем сед, в любви признаться не боюсь.
Подряд тринадцать пуль клади передо мною —
тринадцать раз подряд я тут же застрелюсь!

Тринадцать лет пройдет... И двадцать шесть настанет.
Как ирисы, взойдут, и время скосит их...
А верстовых столбов в два раза больше станет,
заплачет время, и заплачет стих.

О, как уходит молодость! Желанья
неутолимых, юных, львиных лет!
Как все нежней становится пыланье,
все мягче солнечный, поры осенней, свет...

* * *

Изношен мир, как старый грош.
Вселенная устала.
Обширных замыслов не трожь —
мне надо очень мало.

Душа была добра, нежна,
мне песни напевала...
Но приспособилась она —
мне надо очень мало.

Как можно благородным быть?
Здесь хамство пировало.
Пора о чести позабыть.
Мне надо очень мало.

Кромешный ад. Кошмар огня.
Я выпил яд. Я болен.
Нечистый дух, оставь меня!
Доволен я! Доволен!

Перевод Германа ПЛИСЕЦКОГО

Эти горы, дол с рекою

В сердце мне тоска змеёю
Заберется иногда.
Эти горы, дол с рекою
Пусть же славятся всегда!

Что ты дремлешь, виночерпий?
Подливай-ка свой бальзам!
Мысли, словно злые черти,
Не дают покоя нам.

Неужели путь к спасенью
Нам найти уже нельзя?..
Выпьем тост за вознесенье
К (Богу наших душ, друзья!

В сердце мне тоска змеёю
Заберется иногда.
Эти горы, дол с рекою
Пусть же славятся всегда!

* * *

Минуло детство беспечное,
Яблоня, поле заречное,
Вдруг появился другой
Мальчик с поселка далекого.
Пробил час рока жестокого,
Глаз затуманен слезой...
Яблони, рощи заречные,
Детские годы беспечные...

Перевод Ираклия БУХНИКАШВИЛИ

Вчера всю ночь не унимался ветер

Вчера всю ночь не унимался ветер,
И я никак уснуть не мог,
Имел я крышу над собою,
А ветер был так одинок.

Стонал он жалобно за дверью,
А то и плакал за окном,
Припомнилось мне все былое
И горько стало мне потом.

Мне вспомнился поэт безвестный,
Блуждал один я по ночам,
О, сколько мыслей, дум прекрасных
Осталось в прошлом, где-то там...

Вчера всю ночь не унимался ветер,
А утром больно было мне
Безжиненные видеть листья
На пробудившейся земле.

Я вышел в сад и на тропинках
Заметил давние следы,
И долго я бродил усталый,
В былые погруженный сны.

Перевод Лилнаны ЧХИКВИШВИЛИ

* * *

Вянут белые розы,
Арфа ветрами дышит.
Сердце радости просит,
Тише, прошлое, тише...

Шелк небес нынче осень
Незабудками вышьет.
Нет спасения вовсе,
Тише, прошлое, тише...

Станция Харагоули

С грустью помню до сих пор
Всеми позабытой
Станции глухой узор,
Кирпичом расшитый.

И размеренный поток
Жизни безмятежной,
Тот пронзительный гудок
В дымке белоснежной...

Настало время

Друг мой, осушим чаши.
В этом спасенье наше!

Это проще простого,
Завтра повторим снова!

Это легче, чем полночь,
Или... прийти на помощь.

Видишь, погибло время,
Пей... не спрашивай, где мы?!

Перевод Гиви НИЖАРАДЗЕ

Колокольня в пустыне

Душистый цветок,
Овеянный дымкой волшебной
И женским дыханьем.
Я — ветра поклонник,
И слышится мне,
Как взлетают ресницы влюбленных.
И веет прохладой от слов моих медных,
И вам говорю я:
Вянут фиалки
И умирают во мне
От январского снега.
И взывает душа,
И стонет душа,
Как колокольня:
По грешным рукам,
По тайным грехам
И по скрытой измене,
По лепесткам утонченных ногтей
И по тихим слезам,
По камням ожерелий
И по белым цветам обреченным.
Стонет душа,
Как колокольня
В небесной пустыне.

Третий Эдгар

Шли мы к собору вдвоем. Вечерело.
Звон и молитва и гулкие стоны.
И на пути, представляешь, Линора,

Ветер стенал, налетая на кроны.
И находясь вне себя и простора,
Он приникает к тебе, как изгнанник,
И между мной и тобою, Линора,
Вдруг появился уродливый странник.
И голоса обрывались. Темнело.
Смерть это смерть. И ломаются кровли.
Шли мы к собору втроем. Вечерело,
Ветер стонал, изнывая от боли.

Перевод Майи РУСИТАШВИЛИ

* * *

Я шел один к вершине,
Той, что, подобно Богу,
Взметнулась к небесной сини,
Одевшись в древнюю тогу.
Мы шли вдвоем в предгорье,
Минуя Чалу и Гори.
И ястреб с древних порогов
Указывал нам дорогу.
Мы шли втроем. Навстречу,
Дугой опоясав скалы,
Проста и прозрачна, как вечность,
Вечерняя тень опускалась.
Семеркой шумной вступали
Мы в мирную благость ночи,
Наш шаг был бодр и точен
К вершине — на перевале.
Нас было тысяча смелых —
Юных и престарелых,
Могучих, как эти склоны,
Имя нам — легионы.

Перевод Этери ГУГУШВИЛИ

Тамаз БИБИЛУРИ

ДЛЯ СЕМИ ГОЛОСОВ И ЖАВОРОНКА

РОМАН

Глава первая. СЛОВА

Пока солнце восходит и заходит, пока происходит на море прилив и отлив, пока поют птицы и цветут цветы, пока высятся горы, пока юношу убивает любовь, а девушка жаждет быть желанной, — до тех пор не умрет романтика жизни.

Шон О'Кейси

Абриа Махаури намеревался перед смертью, когда холодный пот покроет его тело, прогнать прочь всех близких и остаться в загоне только со своим восемнадцатилетним внуком Георгием. Больше никого видеть он не желал, представляя свой смертный час, расставание с Божьим миром. И почувствовав на исходе лета, что теперь-то и впрямь умирает, он испугался не столько самой смерти, сколько того, что Георгия нет рядом и некого послать за ним в горы, чтобы все произошло именно так, как много раз происходило в его мыслях, но Георгий был далеко, с пастухами в горах, а Махаури, без сил лежа на кушетке, отдавал Богу душу.

Одного этого парня на всем свете любил Махаури, хоть не признавался в этом даже самому себе. Все остальные — и большие, и малые — хоть раз сказали или

---

* Печатается с сокращениями.

сделали что-то такое, что заставило старика подумать: все, ничего в мире больше у него не осталось, он окружен чужими людьми, и чем скорее покинет их, тем раньше перейдет в вечность, к которой так стремятся люди, сами того не сознавая, но ни на секунду не забывая и о страхе перед нею. Что в этом трудного или необычного? Только бы рядом с уходящим из мира Махаури был восемнадцатилетний внук Георгий, оправдание его существования под солнцем.

Это желание было естественным и простым, как если бы попросил старик перед смертью воды, или стакан холодного «саперави», или чтобы вынесли его на балкон последний раз взглянуть на окружающий мир. Да, это никому не показалось бы необычным, лишь сказали бы в деревне люди, мол, захотел перед смертью бедняга Махаури стакан «саперави» и ушел из жизни молча и безропотно.

Да и то сказать, — подумалось рассказчику этой истории, — в романе не должно происходить ничего особенного и чрезвычайного, каждая из великих минут, сохранившихся в памяти, значительна и обычна, ни одна не выделяется из остальных.

Ничего особенного не было и в картине, однажды открывшейся рассказчику на берегу реки, в лесу, омытом дождем.

Река вышла из берегов. На большом плоском валуне неподвижно сидел старик (все тот же Махаури). Рядом, на камне поменьше, застыла девушка лет двадцати. А дальше, за ней, притулилась пожилая понурая женщина, у самых ног которой два быка щипали росистую траву. Поодаль от быков стояла худая и длинная, словно шест, женщина, не отпускавшая от себя юношу, по виду горожанина и ровесника девушки. Еще дальше парнишка примерно тех же лет строгал ножом какую-то палку. Эта застывшая картина у разлившейся реки оживлялась только одной востроносой, как сорока, старушкой, которая без передышки сновала между всеми остальными, словно сшивая цветной ниткой воедино все разрозненные части, и неумолчно стрекотала. И больше ничего... Только те семеро сидели на берегу разлившейся реки и чего-то ждали — то ли пока спадет вода, то ли, что вдали покажется путник, то ли — просто чуда. А может, и не ждали ничего, при-

сели, утомившись, и набирались сил, чтобы снова отправиться в дорогу.

Почему не шла из памяти эта картина, которую никогда не рисовал ни один художник на свете? Почему запомнились автору вымышленной истории те застывшие и все же ожидавшие чего-то лица? Что соединило тех семерых здесь, на берегу реки? Случай или неизбежность? Откуда направлялись они и куда? Ушли уже или так и остались навеки, как в памяти, высеченными в камне или запечатленными на полотне?

До того, как Махаури станет членом этой «общины семерых», все семеро, разобидевшись на целый свет, должны будут отправиться в путь, не зная, куда идут и зачем, каждый выскажет свое, возропщет на свой особый голос... А жаворонок? Жаворонок присоединится к семи голосам в самом конце, или, вернее, не присоединится, а продолжит и завершит хоровую мелодию семи голосов, уже расстроившуюся, распавшуюся и разошедшуюся в разные стороны.

На «картине у речного берега» изображено семь человек, хотя никогда раньше они в глаза не видели друг друга, если не считать долговязой, словно шест, женщины и ее юного внука. Ну и что с того? Незнакомые легче доверяются друг другу и поначалу им даже кажется, что эта неожиданная встреча сулит им счастье. Стоит настоящая золотая осень, и на осень похожа эта картина с семью персонажами, ожидающими чего-то на берегу реки.

Птичья стая, присевшая передохнуть!

Скоро наступит зима, похолодает, птицы полетят к югу, а здесь, на берегу реки, опустятся на землю, чтобы перевести дух и снова продолжить свой путь. Вернутся ли они когда-нибудь туда, откуда улетели, где все началось?

Первым к реке пришел Абриа Махаури.

За ним появились и остальные...

Никто мне не нужен, пусть оставят меня в покое, — подумал Махаури, но тем не менее отметил и плоские натруженные ладони матери Гарсо, и большие по-мужски глаза, глядевшие из-под черной накидки, и ее изможденные щеки. Махаури не мог определить, была ли эта женщина злой или доброй, а, по его убеждению, как и по убеждению большинства, человек должен быть

или злым, или добрым. Ему действительно захотелось определить, и он рассердился на себя, ибо даже это простое желание означало возвращение к жизни, Махаури же для себя окончательно решил, что покончил с ней все счеты.

Мать Гарсо не помнила ни о ком на свете, кроме своего сына, Гарсевана, да пары быков, которых, украв у своей собственной семьи, пригнала сюда. Никто не знал здесь даже того, почему эту женщину с суровым холодным взглядом называли матерью Гарсо. Был у нее сын Гарсеван, переехавший в город, ставший, по мнению села, большим человеком, вот и прозвали ее раз и навсегда матерью Гарсо. Председатель все же решил отобрать у нее этих двух быков. Наверное, он был прав, на то и председатель, однако у этой женщины, матери Гарсо, была своя правда, и настолько твердая, что ни разу не пришло ей в голову, что эта правда могла вступить в противоречие с правдой других. Два этих быка были нужны матери... Они бывали нужны ей не раз и прежде... В этом и заключалась вся правда! И женщина не признавала никакой иной, если только она не совпадала с ней; все, что противостояло ее правде, представлялось просто отъявленной ложью. И твердо уверовав в это, не признавала силы во всем мире, которая могла бы отобрать у нее этих быков.

Увязавшийся за бабкой городской паренек не сводил глаз с девушки, которая испуганно обернулась к лесу. Юноша, казалось, сошел прямо с киноэкрана, своим изысканным видом на берегу этой потемневшей реки напоминая чужеземца. Не обращая ни на кого внимания, он думал лишь о том, когда закончится это опостылевшее путешествие и он сможет вернуться туда, где он не выглядел чужеземцем, а был настоящим заводилой и дирижером всего оркестра. Там он провел всю свою жизнь до сего дня, и это утомительное путешествие только отдаляло его от жизненного предназначения. Однако в какой-то миг произошло нечто, не укрывшееся от глаз его бабушки: он смотрел на отвернувшуюся к лесу девушку, словно заранее был предупрежден, что в такой-то день, на берегу разлившейся реки, на исходе дня, встретит ту, о которой мечтал всю жизнь. И он встретил ее! Был здесь и лес, во тьме которого словно пыталась укрыться девушка. Юноша пе-

реводил взгляд с девушки на лес, с уверенностью волчонка, знающего, что ягненку от него не уйти.

Бабушка безошибочно угадала мысли внука, стоило ему только подумать: говорили мне — встретишь ее, и вот, встретил! Бдительная бабка, едва переводя дух от усталости и оглядывая всех, словно стараясь догадаться, кто именно из собравшихся на берегу намерен отнять у нее внука, встала между юношей и девушкой. Она была женщиной рослой и заслонила собою девушку от внука, как большая планета — маленькую. Старуха думала лишь об одном: во что бы то ни стало довести внука туда, куда они направлялись, довести в обетованную землю, которую сама покинула давным-давно, после чего, по искреннему ее убеждению, вся жизнь у нее пошла наперекосяк. Женщину звало сюда желание воскресить былое. Шла, и словно не молодого парня вела за собой, а несла тоненький саженец, обернутый сырой тряпкой, чтобы посадить в почву, где уже высохли и отмерли его предки, но где, верила женщина, молодому ростку суждено расти и плодоносить. Все, что могло помешать осуществлению этого намерения, упрямая женщина не раздумывая смела с дороги, а если не могла одолеть, оглушала свет криками и проклятиями, зовя на помощь. И все же добилась своего, совершила то, что вот уже двадцать лет будоражило ее, заточенную в четырех стенах городской многоэтажки, не давало покоя ни днем, ни ночью; то, из-за чего в квартире на шестом этаже, чуть только задремлет, слышался ей волчий вой, отгоняя сон. Если ей удастся осуществить задуманное, верила старая женщина, если хоть раз доведется уснуть ночью, чтобы не будоражил вой несуществующих волков, — тогда можно спокойно проститься с жизнью.

Девушка вовсе не была бесстыдницей, зря погрешила бабка, посчитав врагом себе только потому, что внук не отрывал глаз от нее. Девушка отличалась той самой скромностью, что так по сердцу всем бабкам. но ревнивый взгляд все же приписал ей бесстыдство, которое, как ни пытаются скрыть от посторонних, не укроется от наметанного взора старухи: там, откуда идет девушка, с нею приключилось что-то такое, что до сих пор держит ее в страхе... Потому и остерегается она парней, потому не отводит глаз от леса. Эта созревшая

девушка только что оттуда, где все и произошло. У нее отняли все! И пусть свершивший это отпустил ее. мол, делай, что хочешь, иди на все четыре стороны, девушка все еще чувствует себя голой! И темная тень большой планеты скрыла ее от взоров юноши, предоставив лишь терпеливо дожидаться, когда она отойдет в сторону, и вновь блеснет луч.

Маленькая, суетливая, как сорока, старушка, пришедшая позже остальных, чуть ли не локтями проложила путь к берегу и сразу же принялась без умолку трещать. За минуту-другую успела она рассказать о себе все, что можно было, но вовсе не собиралась умолкать. Из сорочьей стрекотни уж всем было известно, что направлялась она туда же, куда и все другие, шла той же дорогой и в то же село; что вырастила и поставила на ноги четверых своих детей и двух осиротевших племянников, что есть у нее уже и внучата (даже, говорит, не знаю точно сколько их!), что совсем недавно потеряла мужа, однако не могла доказать, что действительно он был ей мужем, хотя вся деревня, да и весь белый свет могли бы стать ей свидетелями, да нужно ли, лучшее доказательство — четверо детей и множество внуков... Однако брак ее с бедным Миха (так, оказывается, звали беднягу) не подтверждался ни одной бумажкой, свидетельство об их бракосочетании унес на тот свет священник их маленькой деревенской церквушки, а книгу церковных записей сожгли в двадцатые годы. Старушка тогда, разумеется, была вовсе не старушкой, а цветущей девкой, она встала на сторону революции и тогда совсем не печалилась, что сожгли ту книгу, но, оказывается, нет ничего ненужного и лишнего на этом свете. Сейчас она понимает, что свидетельства прошлого нельзя ни выбрасывать, ни сжигать, даже если это — потрепанная книга записей из маленькой деревенской церквушки. Вот и понадобилась сороке та книга! Спустя много лет понадобилась, чтобы доказать миру, что бедняга Миха, отец четверых ее детей и дед множества внуков, действительно был ей мужем, и получить, как полагается всякой порядочной вдове, за него пенсию. Нет, конечно, была у нее верная свидетельница, ее товарка Бабале, слава Богу, живая-здоровая, присутствовавшая на их венчании, однако Бабале маялась сердцем и, стоило им приблизиться к судейским

дверям (дело даже до суда дошло!), она хлопнулась в обморок и растянулась на полу. Поднялся шум и гам, попрыскали ей в лицо воду, привели в чувство, но Бабале как отрезала: живой вы меня туда не затащите, опять сердце разорвется! С тех пор бедняга так и лежит в постели, не поднимаясь... Сейчас старушка-сорока собралась в горы, в деревню, как и все остальные (а впрямь, чего ради отправились туда эти шестеро?), чтобы отыскать свою названую сестру и крестную Дудану (она наверняка жива, с такими ничего не случается!), отвести ее в суд (Дудана без чувств не свалится), вспомнить о том счастливом дне, когда она и Миха стояли рядышком (пусть те, кто довел ее до такого дня, отправятся туда, где ее Миха!) в маленькой церквушке. А не добьется своего, она, сорока, убиваться не станет, только пусть все знают, что после смерти она встанет из могилы вместе с Миха и по ночам станет являться тому самому судье...

Вот так и собрались семеро на берегу реки. Эти шестеро и седьмой — парень из машины, промчавшейся за селом.

Был он лет двадцати, голова стрижена, соскочил с машины, и та продолжала путь, шофер даже не оглянулся назад. Словно иначе и быть не могло, словно именно на этом месте из кузова мчавшейся машины должен был соскочить парень. Та дорога была довольно далеко, от нее к реке вела тропка, и, естественно, никто из шестерых не видел, как спрыгнул парень. Пока дошел до реки, он немного успокоился и присоединился к обществу, собравшемуся на берегу, уже тихо-спокойно, словно отходил на минутку и вот — вернулся.

В горах шел дождь. Вода в реке все прибывала, и еще долго никто не отважился бы переправиться на другой берег. Все семеро идут в одну деревню, и уже пришло время назвать ее, поскольку, если семь человек направляются в одну деревню, она, конечно, должна иметь свое имя.

Чалаури...

Семеро шли в Чалаури.

Эти семеро пока еще ничего не знали друг о друге. кроме того, что увидели с первого взгляда, что успела наболтать старушка-сорока да еще того, что все они направлялись в Чалаури. Ни один из них прежде в Ча-

лаури не бывал, если не считать бежавшей из города женщины, но и она, не говоря об остальных, не знала, существует ли еще на свете Чалаури, живы ли те, кого они хотели застать там, встретятся ли с ними или путь их окажется напрасным, и все, что в их представлении называлось Чалаури, уже стерто с лица земли.

Все, чему суждено было произойти с этой семеркой, уже произошло, и теперь они собрались здесь, на берегу, лишь затем, чтобы отправиться в дальний путь, чтобы где-то в Чалаури разыгрался эпилог всей истории. Семеро направлялись в Чалаури в поисках эпилога, то есть навстречу концу. Все они причитали и жаловались на свой лад, и их голоса то сливались друг с другом, то рассыпались, подобно осколкам.

— Что мне смерть? Где захочу, там и помру!

— Чего смеетесь? Можете смеяться над собой, я же любила его и доказала это!

— Живой этих быков я вам не отдам, впрочем, и умру, не отдам!

— Миха, говорят, не был тебе мужем... А я им, — эти четверо детей, говорю, ваши что ли? Чтоб вы так до старости дожили!

— Если сумею этого парня оставить в горах — хорошо, а не удастся — не знаю, что и делать...

— Совсем с ума сошла бабка! А есть ли вообще на свете это Чалаури?

— Надоело шататься по дорогам... Хоть бы знать, чего мне надо...

Наша история началась все же с Абриа Махаури, который, к тому же, отправился на встречу со смертью! Многих ли мы знаем вокруг, чтобы собственными ногами шли смерти навстречу, туда, вверх, в никогда невиданное и неведомое Чалаури?.. Шли, не зная ни дороги, ни даже тропинки. Да, это село — Чалаури, но есть ли оно на самом деле, люди? Встретит ли он там, в пастушьей стоянке за Чалаури, своего восемнадцатилетнего внука Георгия?

* * *

В общем-то ничего особенного не произошло. Махаури разбудила рассветная звезда. Выглянув в отворенную дверь, он увидел ее, единственную, мерцавшую на небосводе. Махаури лень было подниматься с посте-

ли, первый раз в жизни поленился. Постель притягивала его какой-то силой, цеплялась, не отпускала. Именно тогда и подумалось ему, — кажется, смерть приближается. И, вперив взор в потолок, он стал напряженно вслушиваться в скрип старой кушетки и шепот этой проклятой постели, словно она вот-вот должна была произнести наконец что-то. Сегодня, на излете лета, когда виноград наливается сладким соком, и тебе не терпится пойти в виноградник, чтобы посмотреть на созревшие гроздья, меняющие цвет, именно сегодня ты должен умереть. Так полежи еще, не торопись никуда, послушайся, побудь со мной, заверши жизнь так, как положено, как завершила свою жизнь Маико, да будет ей земля пухом, — спокойно и безропотно.

И Махаури впрямь спокойно вслушивался в таинственное нашептывание, не в силах заставить себя подняться на ноги. Рассвет давным-давно отсиял, птицы перестали щебетать, солнце поднялось ввысь, какая-то женщина (он-то знал, какая — эта шлюха Зизило) крикнула махауревской невестке: как, мол, поживаешь, я и не знала, что ты дома, да и о самом Махаури спросила. Потом осторожно, по-куриному, просунула голову сквозь жерди изгороди (ничего себе курочка — постарела уже), огляделась вокруг, не увидав Махаури, перелезла, виляя задом, и сразу же затрещала без умолку. Невестка накормила кур, выгнала скотину в проселок и принялась мести двор.

А Махаури все не мог заставить себя встать. Хотелось понять, чего же нужно было от него этой старой провонявшей постели, какую тайну намеревалась открыть ему, чтобы в конце концов, когда все проснутся, поступить так, как сам решит, как представлялось много раз, то ли в мыслях, то ли наяву, с тех пор как Маико ушла из жизни и Махаури ощутил неотвратимость и даже необходимость смерти.

Невестка подметала двор, и шварканье веника царапало мозг старика. Словно бы и веник повторял те самые слова, которые с самого рассвета, с мыслью о приближении смерти, привязались к Махаури и которые еще Бог весть когда сказала невестка:

— Почему ты никого не любишь, свекор?

Позади осталась вся жизнь, но в ту минуту из всей

минувшей жизни Махаури не вспомнил ничего, кроме этих слов.

— Неужели я правда никого не любил? Неужели так провел эти долгие годы, что не припомню никого, ради кого жил и ради кого мог умереть?!

Махаури по-прежнему метался на кушетке, по-прежнему царапал ему душу доносящийся со двора шорох веника и вспоминались слова, сказанные не невесткой, нет, кем-то из соседей еще в ту пору, когда он был совсем еще юношей:

— Тебе не судьба умереть в своей постели...

А зачем мне помирать в постели? Об этом пока и думать рано... Еще ничего не кончилось! Еще Махаури предстоит доказать, что не зря жил на свете, не зря прошел долгий путь, что знал на этом пути и ненависть и любовь! Сейчас, готовясь предстать перед Господом Богом, он может даже сказать, что любил так, как немногие любили на этом свете. А она говорит: зачем, мол, свекор, ты никого не любил! Хотя столько лет прожила рядом с ним, родила ему внуков и особенного того, Георгия, которого с такой силой желал увидеть напоследок Махаури.

Старик метался на кушетке и ненавидел ее. Эта старая кушетка, на которой он провел вместе со своей Маико столько счастливых дней и лет, отступилась от него, как предательница. Она уже ничем не могла помочь Махаури, только вцепилась в него, притянула и никуда не отпускала... А хотелось вырваться, уйти, что за смерть для мужчины — в постели! Наконец-то, словно давным-давно виденный сон, должно было осуществиться предсказание соседа: тебе не суждено умереть в своей постели.

Август шел к концу...

Или уже наступил сентябрь?

— Уже сентябрь, невестка?

Нет, не жилец он на этом свете. Лишь бы протянул еще немного, пока муж с детьми с гор вернутся, пока закончат там свои дела и погонят овец в долину. Какой, спрашивает, месяц на дворе!

Веник все сильнее скребет в махауревском мозгу... Да и не в мозгу, а в памяти, в темных пластах отошедших времен, по которым бредет наощупь Махаури, думая лишь об одном — любил ли он кого-нибудь на са-

мом деле, или права та женщина, что шваркает там, во дворе, одновременно болтая с соседкой. Может, она сказала правду, окончательную, неоспоримую правду?

Не любит Махаури вспоминать ушедшие дни, боится минувшего. Только о настоящем думает он и о том мгновении будущего, о предстоящей встрече со смертью. И когда наконец он сумел подняться, еще раз одолев постель, понял — не от смерти он убежал — от дум о прошлом.

Нет, ничего в эти мгновения не происходило так, как представлялось Махаури. Все шло иначе, шиворот-навыворот, и Махаури отмечал, как прибавлялось у него сил, как одолел он эту ведьму-кушетку, выкарабкавшись из ее пут. И в конце концов подумал: ну, вот, я встал, победил, сейчас мне ничего не страшно. А потом во весь голос:

— Не боюсь! Чего мне бояться?..

Говорят, никто не ведает, когда подстережет его смерть. Как это не знаем? Знаем и очень хорошо, только сами себе не признаемся. В мыслях всегда умирает кто-то другой, даже если это плоть наша и кровь, мы же сами остаемся вечно живыми. Я и прежде догадывался, а теперь-то наверняка знаю, что все кончено, все кувшины осушены до дна, не сохранилось ни капли пустой надежды.

Махаури и раньше, бывало, размышлял о смерти, но как-то равнодушно, в душе оставалась надежда, которая до сего дня неизменно оправдывалась. Сейчас же надежда исчезла окончательно, она осталась где-то вовне, сама по себе, притулившись в уголочке, смолкшая и прибитая, оскорбленная, обманутая... В сердце тлеет лишь несбыточное ожидание и вера: если не сегодня, если не завтра, то в ближайшие два-три дня неизбежно объявится беззубая с косой, и мне, хочешь не хочешь, придется подчиниться.

— Был бы только тот парень рядом, — именно тогда впервые подумал Махаури и уже не отпускал от себя эту спасительную мысль.

Тем парнем, который, по убеждению Махаури, должен был стоять в смертный час у его одра, был восемнадцатилетний Георгий. Он верил в это настолько убежденно, с такой страстью, что не мог сдержать эту мысль про себя и крикнул невестке:

— Хоть бы Георгий был тут!

— Что я его, выпишу? Да и твой родной сын не отпустит. Вот скоро отправятся отары обратно...

— В прошлом году ведь отпустил...

— Ну и что хорошего, что отпустил? Разве мало ущерба от этого мы понесли? Десять голов сыра Кита припрятал, еще пять — Тухо...

— Зато он приехал...

— Чего заладил одно и то же!

— И в ту ночь приезжал...

— Ну и что, даже если приезжал! Ничего, кроме убытков, от этого не было. Зря ты его вызывал, можно подумать, от этого на другой же день на ноги встанешь.

— Не смогу я тогда умереть...

— Тебя послушать!..

Вот тогда-то и объявилась Веселая Нуца.

Сколько времени не видел он ее, не любовался оживленным личиком, улыбкой, с которой дожила она до седых волос. Так она улыбалась всему свету, хоть и положила в сырую землю пятерых сыновей, двоих — похоронила собственными руками, а где лежали еще трое — даже не знала. Бедная Нуца! Безобидная, остроумная, необходимая всем и всегда Нуца! Без нее ни свадьбы не игрались, ни поминки не справлялись. Ее и звать не приходилось. Даже в списке гостей из пятисот человек ее имени не бывало, но она не обижалась, ни слова упрека не роняла, поскольку присутствие Нуцы подразумевалось само собой, вне всяких перечней. Для чего нужен список, если она и так являлась раньше всех, сама приглашала других. И подметет комнаты и подворье, и посуду помоет, и гостей у калитки встретит, да еще, пока под звуки гармони и барабана застеснявшиеся парни и девчата выталкивают друг друга в круг, мол, ты начни, я за тобой, сама раскинет руки в стороны, крикнет и пустится в пляс с такой улыбкой на лице, что можно подумать, счастливее нее нет никого под солнцем... Вот и сейчас пришла она радостная, улыбающаяся, пролив свет на душу Абриа Махаури. Словно ожило минувшее, весь мир снова принадлежал Нуце, говорил ее голосом и смотрел ее глазами. Он все же нахмурился, увидев ее, все же не улыбнулся, все же обозвал в душе попрыгуньей Нуцей, и только потом

крикнул невестке, вынеси, мол чего-нибудь гостье, она сушеные фрукты любит. Нуца замахала руками, что вы, говорит, не время сейчас рассиживаться, с утра, как гончая, бегаю по всей деревне. Мне велели, мол, прежде всех к Абриа забеги, расскажи обо всем, а потом всех остальных оповести. Но вы же меня знаете, то в одном месте задержалась, то в другом, солнце уже клониться к закату стало, пока до тебя добралась. Кто знает, может, уже и помер...

— Кто? Кто помер?

— Бог его ведает! Знаешь ведь, каким был, таким и остался, все из себя героя строил, а малой малости пугался, лишь бы смерть обо мне забыла, говорит, ни словом жалобы не обмолвлюсь!

Только то и смог понять Абриа Махаури, что кто-то умирает.

Но эта смерть ничего не сказала его сердцу, Махаури и сам поджидал смерть, и чужая кончина показалась такой обыденной и естественной, как падение увядшего листика, который держался на ветке груши из последних сил.

— Ну-ка, присядь на минутку.

— Да где у меня время рассиживаться! Знаешь ведь, три года со дня на день ждали этого дня, да тот не помирал все, а за больным смотреть, сам ведаешь, нелегко... Смейся, смейся, тебе-то что, ни разу не болел даже, только покойницу Маико со свету сжил, ее проводил, сам здесь остался...

— Тогда брысь отсюда сейчас же!

— Как же, как же, напугал до смерти.

Только сейчас догадался Абриа Махаури, что помирать собрался Ника Чабаури, его друг с детских лет Три года не вставал он с постели, три года истомил семью ожиданием конца, вот и его время пришло, неужели и на этот раз обманет всех, неужели не надоело ему, или хотя бы не боится...

— Одно твердит: зачем я должен умереть, уйти из этого мира? Ни шашлыка не поем больше, ни вина не попью. Ругает всех на чем свет стоит! Они встали, ушли от него, оставили одного. Он кричит: не уходи! Не бойся, говорю, не уйду! И не ушла... А он меня ругать принялся. Почему, говорит, ты должна ходить по земле,

а я больше нет! Чего стóит, говорит, вся твоя жизнь! Ну, и я в долгу не осталась.

Интересно, что она ему сказала?

— По твоему, говорю, велению смерть отменить должны, что ли?

Неужели не пожалела его? Слова сострадания не нашла?

— Жалко мне все же его стало, не бойся, говорю, тебя там с шашлыком и вином встретят...

Так он тебе и поверил!

— Поверил! Подай-ка мне чарку, говорит... Я подала, а он, горемыка, уже и отхлебнуть не смог...

Из Нуцыных глаз полились слезы. Такая она — только смеялась, а там, глядишь, уже плачет, но вспомнит что-то, и опять хохочет во все горло!

Жизнь-то, оказывается, штука веселая, — впервые подумал Абриа Махаури в ту минуту и улыбнулся. Давно он не смеялся, невестка его так и прозвала — несмеяном. Вся деревня тоже считала — угрюм и суров Махаури. Хотя в лицо сказать это ни невестка не решилась бы, ни односельчане. Да, жизнь штука веселая! Но Абриа Махаури проглядел это, не заметил, застил себе глаза злобой. Вот Ника Чабаури помирает, а все село смеется. Впрямь все село, а как же еще! Если даже ближние не убиваются, то с чего это Нуца станет печалиться! Нуца и есть все село... Чтобы прийти к этой простой истине, восемьдесят лет понадобилось Абриа Махаури, восемьдесят раз совершило солнце свой круговорот вокруг земли, а о нем, Абриа Махаури, за все эти годы только одно и говорили — хмурый человек, ни разу за всю жизнь от души не рассмеялся.

— Вот я и рассмеялся, — сказал Махаури.

— Наконец-то удалось рассмешить тебя, — засияла Веселая Нуца.

Но смех Махаури был все же не таким, как у всех других: суровый, напоминающий скорее закат солнца, а не восход. Пока солнце еще впрямь не закатилось, в этот веселый день махауревской жизни должно было произойти много такого, что, возможно, кому-то могло показаться незначительным, для него же имело большое значение и большой смысл.

Чего же им все-таки нужно, для чего прислали к Махаури эту Веселую Нуцу?

— Если кто-то сможет угомонить его, говорят, только Махаури...

— Чего его успокаивать, отдаст Богу душу и угомонится.

— Перед Богом он должен предстать с миром и покоем в сердце.

— Пока дойдет туда, успокоится.

— Ругается, бранится, всех перепугал, говорю тебе!

— Чего перепугались?

— Если уйдет в гневе, говорят, нас за собой потянет.

Они уже были в пути. Женщина семенила впереди, Махаури поспевал следом. В проселке толпился народ, все больше старики и старухи, и Махаури догадался, что и они ждали смерти, что всем в деревне уже известно — Ника Чабаури трудно расстается с этим миром, цепляется за жизнь, и ждали Абриа Махаури, чтобы он угомонил умирающего, отер со лба смертный пот и проводил на тот свет умиротворенным.

— Если и испугается кого-то, говорят, только Абриа...

— Что, они меня за пугало считают?

— Три раза, говорят, бил он его.. .

— А сейчас — в четвертый побить?

— Тому-то поделом было бы... Он и на меня с руганью набросился!

Почему только сейчас меня позвали, думал Махаури, чувствуя жалость к Нике. Справиться с бедным Никой мог только он, Махаури, никто больше. Вся деревня относилась к нему с опасливым уважением, хоть это всегда удивляло и даже немного сердило его. Ничего не было удивительного, решили прибегнуть к его помощи. Видать, Господь Бог пришел в веселое расположение духа, внушив ближним Ники мысль обратиться к человеку, которому самому в пору было думать о кончине, который сказал себе: теперь-то на самом деле умираю, и боялся лишь того, что перед смертью не увидит своего внука Георгия. Сейчас Махаури только Георгий и был нужен — наступал смертный час, и он собрался в этот час прогнать от себя всех родных и близких, оставить рядом одного Георгия, видеть только его. Да, именно так представлял Абриа свой смертный час, так видел свой уход из этого мира, и, почувствовав

сегодня, что на самом деле умирает, только о том беспокоился, кого бы послать в горы с вестью и привести парня, чтобы все произошло именно так, как много раз происходило в мыслях. А теперь вот его самого призвали успокоить другого умирающего, и вся деревня высыпала из домов, надеясь, что Махаури сумеет умиротворить перетрухнувшего Нику Чабаури. Казалось, по сельскому проселку шел целитель, специально приглашенный откуда-то из-за тридевять земель к этому дню, и осталось лишь гадать, оправдает ли этот прославленный на весь свет лекарь надежды, сумеет ли своей чудотворной десницей, словом или взглядом добиться, чтобы взбунтовавшийся Ника Чабаури предстал перед Богом с умиротворенной душой. Но Махаури не видел никого вокруг. Ему было безразлично, кто стоял у калиток или возле деревенского родника, кто и о чем его спрашивал, какие давал советы. Махаури шел успокоить Нику Чабаури, но и не о нем были сейчас его мысли, он думал о себе и о том пути, по которому предстояло пройти в этот день, последний день его жизни. Махаури непременно должен был отправиться в этот путь, хотя бы он и вел неведомо куда, хотя бы смерть и настигла его в дороге... Настигла? Или ему предстоит встретиться с нею лицом к лицу, неожиданно, именно там, где пожелает она сама, мудрая Смерть! Эта мысль открыла Махаури среди темных туч маленький клочок неба. Зачем я должен безропотно поджидать ее, да еще дома, в постели? Лежать и ждать? Разве я — соседка Пепо или старый чудак Ника, к которому сейчас направляюсь? Встану и пойду... Я сам встречу ее в дороге, скажу — плевать мне на тебя, разозлю, чтобы вовремя сделала свое дело, все совершила с чистой совестью, не боялась меня... Не знаю, может и так, что она больше нашего боится и поэтому больше нашего заслуживает жалости и сострадания...

— Пятьсот человек приглашено...

— Когда успели?

— Тридцать из них я сама предупредила, потому и припозднилась.

— Чего торопятся?

— Их не осудишь, три года со дня на день этого ждали. Не приведи мне Господь прожить столько...

— Может, сама на себя руки наложишь?

— А чего мне себя убивать? Солнце ведь по-прежнему восходит и заходит...

— Тебе бы только языком трепать!

Махаури шел, вспоминая теперь свою жену Маико. Это воспоминание озарило душу. Не существовало больше ни Ники, ни всей деревни... Он мог вновь отдаться воспоминаниям о Маико. Остальное окутал туман забвения. Бездна мрака, подстерегавшая его, словно начала понемногу светлеть. Махаури больше не был одинок. Дорога в небытие внезапно показалась легче, и Махаури оживился, как путник, которого где-то в конце пути с нетерпением ждет кто-то. В мыслях все выглядело странным и необычным: и дорога, и дворы, и дома, марани, и бахчи. Вся деревня стала не такой, как всегда. Махаури же гостем пришел в эту незнакомую деревню. Давно настала пора уходить, уже и хозяев не видно вокруг, гостю не с кем даже попрощаться, чтобы уйти своей дорогой. Куда-то исчезли хозяева, словно им безразлично, уйдет ли гость сейчас, сию минуту, или еще задержится на день-другой. Дни и часы потеряли смысл.

— А вдруг он уже помер...

— Если бы умер, мы бы узнали.

— Не бойся, убиваться никто не станет!

— Никто ради других себя не убивает.

— Теперь на тебя вся надежда, Абриа, успокой этого безумца, скажи, все под смертью ходим!

— Кто та женщина, не узнаю что-то...

— Пепо из Имерети.

— Они что — сами не смогли угомонить Нику?

— Прибавь шагу, старый, чего отстаешь!

— Торопись, Махаури, как бы не обогнала она тебя!

— А этот чего скалится?

— Что ты, людей не знаешь! Господи, не сделай меня посмешищем...

— Немного помедленней иди, женщина...

— Надо торопиться, не то меня же и обвинят, зачем вовремя не привела...

Какая она смешная, оказывается, Смерть! Махаури думал, что все должно произойти тихо и укромно, в пору, когда мышь скребется в амбаре, полночью или же при первом проблеске рассветной звезды... Семенит

себе эта неунывающая женщина, и Махаури поспешает за ней, словно торопится найти что-то, словно слышит голоса свыше, словно перед ними вот-вот распахнется бескрайний простор и откроется новый мир, подобного которому они не видели в жизни. Если бы не Ника Чабаури, Махаури впрямь поверил бы, что в конце бесконечной дороги может открыться новый простор, в существование которого он, Махаури, всегда верил в глубине души, но в глазах деревни это никак не сочеталось с его суровой натурой. Судьба не дала ему лицезреть эти новые просторы. Она строго очертила круг его жизни и не выпускала за пределы этой черты, даже в мыслях не выпускала. Чего стоила смерть одного Ники Чабаури в сравнении с тем, что испытывал вечно воспламененный стремлением увидеть эти просторы Махаури, даже не понимая, в сущности, что происходило, не умея назвать это по имени, выразить словами. Даже если бы он и смог определить в словах, это чувство было настолько личным, что им невозможно было поделиться ни с кем. Семенит себе по проселку эта женщина, и смерть Ники Чабаури настолько значительна для нее, что на год хватит вспоминать, если только сама она протянет год. Махаури же вовсе не думает о смерти Ники Чабаури: он должен умереть, а как же иначе? И еще он должен сказать перед смертью все, что думает. А эти чудаки ругаются, умоляют — скажи что-нибудь другое, оставь нам на память о себе иное, и сам из жизни уйди спокойно, и нас успокой напоследок.

— Абриа Махаури ведут! — раздался чей-то крик, и Махаури остановился. Уже всем есть дело до смерти Ники Чабаури! Махаури призвали спасителем, которому надлежало спасти Никину душу, да и всех, кого он оставлял здесь. Махаури превратился в героя. Но сам он вовсе не стремился и не был готов к этому. Не такой был день нынче. Душа Махаури трепетала от иного предчувствия, искала иного прозрения, и потому уход Ники Чабаури из жизни становился столь незначительным, что Махаури даже думал: не вернуться ли обратно? Не позаботиться ли о собственном смертном часе, чтобы и моя смерть не стала для всех предметом сплетен и пересудов, чтобы и ко мне не пришлось призывать кого-нибудь, просить — мы, мол, не можем са-

ми, будь так добр, зайди к нему, как только отдаст Богу душу, закрой глаза несчастному.

Возвращаться уже не понадобилось.

Показался чабауревский дом, на балкон вышли невестки Ники.

Нуца схватила Абриа за руку:

— Все, преставился!

— Оте-е-ец!

— Любимый, сладкий наш отец!

Разнеслись крики над деревней.

— Разрази вас гром! — засмеялась Нуца и заторопилась к чабауревскому дому.

Махаури шагал медленно и степенно. Теперь уже ни к чему было спешить; чему суждено было случиться — случилось; ругаясь, проклиная и родных, и чужих, в конце концов бедняга Ника все же сдался, отдал Богу душу. Все остальное Абриа Махаури делал, как уже приходилось много раз делать — привычно и безотчетно, не вкладывая души. Миновал калитку, не поздоровавшись с толпившимися во дворе людьми, поднялся на балкон и остановился у порога. Ника Чабаури уже лежал с закрытыми глазами и сложенными на груди руками. «Сладкий наш оте-е-ец!» — причитала одна из невесток. Кто-то завешивал зеркала черными покрывалами. Кто-то выносил мебель, о чем-то переговариваясь друг с другом, давая поручения — принеси, сбегай... У изголовья Ники встала та невестка, что называла его сладким отцом, провожая на тот свет душу еще неостывшего Ники. Абриа Махаури снял шапку, взглянул на покойника, провел ладонью по иссохшей Никиной руке и направился к дверям. В дверях стояла Нуца, вытирая слезы.

— Хорошим человеком был покойник...

У калитки притулился гробовщик Басила. Кивнув Абриа, он подмигнул, — заметь, мол, я уже тут. Махаури, не удостоив его взглядом, оглядел двор и на минуту остановился. Во дворе отчаянно блеяли две овцы. Женщины скребли днище корыта. Старший сын Ники Чабаури — Сандро суетился, высматривая кого-то. Махаури уже никому не был нужен — оживить мертвого он не мог, да и, собственно говоря, никому и не нужно было этого. «Я на тебя обижен», — проговорил гробовщик Басила и посмотрел в сторону чабауревского до-

ма. «Никто мне не предлагает — поднимись, мол, сними мерку, вот уйду, и пусть сами меня ищут, где хотят».

Гробовщик прежде делал винные кувшины — квеври, и большие, тридцатипудовые, и маленькие... Сейчас квеври уже никому не нужны, и он стал изготовлять гробы. Самое, мол, верное дело, говорил он повсюду, гроб, рано или поздно, каждому понадобится. Над ним подшучивали, говорили, что теперь изобрели нейлоновые гробы, безразмерные, как хочешь, так и растягиваются, в кооперативе будут продавать. Он, хоть и не верил, но все же пугался, вечерами сидел перед телевизором, с замиранием сердца ожидая, не скажут ли чего и о гробах. По телевизору передавали обо всем, полсвета передралось друг с другом, чего только не стали делать из нейлона, а о гробах никто не думал. Не до гробов им, — успокаивал себя Басила, засыпая в такой вечер со спокойной душой. Человек он был веселый, и Махаури недолюбливал: с ним ни о смерти не поговоришь, ни о гробах. Встанет Басила, бывало, посреди села, там, где людей побольше, и если те были в хорошем настроении, давай хвастаться: вы, мол, меня о моих заработках спрашивали, так все от обстоятельств зависит, если, к примеру, по весне дело смертности пойдет как надо, тогда, пожалуй, и сотня червонцев набежит...

Махаури повернулся спиной к гробовщику.

А Басила ухмылялся:

— Скоро и тебе я понадоблюсь!

— Раз в жизни даже такой, как ты, человеку понадобиться должен.

Веселая Нуца, почуяв что-то, прибежала к калитке:

— Не звали тебя, парень?

— Пока нет...

— Забыли, наверное.

— Если так, пусть в корыте хоронят!

Нуца убежала, но вскоре появилась вновь.

— Сейчас позовут!

— Я лучше тебя знаю, что позовут.

Нуца смеялась и щекотала гробовщика Басила под мышкой:

— Отстань, женщина!

— Назло тебе не весной помру.

На балконе кто-то появился.

— В чем дело, чего вы там расшумелись?

Нуца и Басила умолкли.

Махаури отвернулся от них, продолжая мять в руках свою шапку.

Басила и Нуца скрылись за изгородью, и теперь хихиканье доносилось оттуда.

— Давай, парень, сними с меня мерку. Тебе-то что терять, все равно пригодится!

— На вас ничем не угодишь. Кто еще делает такие гробы, как мы!

— А какой гроб считается хорошим?

— Это лучше всех мне известно...

Нуца хихикала, а сама все оглядывалась, может, появится кто-то, услышит их разговор...

Но кругом никого, кроме хмурого Махаури, не было.

— Когда я месяц лежал из-за почек, небось мое отсутствие все заметили! Над гробом, что придурок Вахто для элисбаровской Цако сколотил, все село потешалось! Голова Цако в нем болталась, словно колокольный пестик.

— А это из-за чего?

— Широкий был, вот из-за чего.

— А народ-то, язык без костей, говорил, что не хотела уходить, потому и трясла головой.

— Целую неделю все веселились!

— Чего это они надо всем потешаются?

Да, Абриа Махаури никому здесь больше не был нужен, никто и не заметил, когда он отправился восвояси. Осень еще не наступила, стояла жара. Интересно, улетели ли уже ласточки? — подумал Махаури. Остановился, огляделся вокруг и стал следить, не мелькнет ли где ласточка. Не увидев ни одной, Махаури огорчился, что пропустил их отлет, хотя точно так огорчался каждый год, ласточки всегда исчезали незаметно, вот они были — и уже их нет! Не любят они суеты, потихоньку прилетят, поживут, почирикают, выведут птенцов и так же потихоньку улетят. Таким бы и человеку следует быть, — подумал Махаури и натянул шапку.

— Что высматривал, Абриа? — окликнул кто-то.

Махаури вздрогнул. Словно подглядели какую-то его тайну. Оглянувшись, увидел у калитки полевода

Ладо. Впрочем, не Ладо был там виден, а только его живот, пухлые красные щеки и полуприкрытые веками хитрющие глаза. Сейчас эти глазки, однако, блестели не от хитрости, а от злости, и Махаури понял, что Ладо что-то тревожит.

— На что смотрел?

— Ни на что...

— Ну-ка, присядем на минутку, дело есть...

Махаури сел на валявшееся возле калитки бревно, положил рядом с собой шапку.

— Приглашаю тебя на свадьбу.

Абриа Махаури вглядывался в маленькие глазки Ладо.

— Человек еще не остыл, а ты о свадьбе...

— Вот и я о том...

Махаури ничего не ответил.

— Ты мудрый человек, скажи, в чем моя вина? Разве я знал, что он помрет! Корову уже зарезали, народ пригласили. Что же, все выбросить?! Или людям сказать, мол Ника-сквернослов помер, и вы потому не приходите?

Махаури взял шапку и натянул на голову.

— Вот и ты ничего не можешь посоветовать.

— Я свое сказал — не время сейчас...

— А если именно на сегодня назначили свадьбу? Почему именно сегодня надумал он умирать? Непутевый был и таким ушел из жизни! О мертвом дурное нельзя говорить, но... Три года помирал, и вот — именно сегодня! Не мог хоть один день подождать? Все нам назло! Нам назло он и концы отдал!..

Махаури уже шел, не слушая его жалоб. Не в чужой же я деревне, думал он, оглядываясь вокруг. Дома, к которым давным-давно привык глаз, стояли на своих местах. Скоро должен показаться родник, а около него непременно будет сидеть Нэнэ, сверстница Махаури, они с детских лет как брат и сестра. Если Нэнэ не будет на привычном месте, значит, село и впрямь стало чужим, и Махаури оставалось лишь отправиться домой, добраться до своей постели и повалиться на нее, словно куча тряпья. Сейчас постель уже не была враждебной силой, цеплявшейся за Махаури и не отпускавшей его от себя. Она дожидалась его ласково и уютно, и Махаури, покорно и безропотно, именно к ней и

направился, но тут показался родник, и возле него сидела Нэнэ.

— Бедный Ника, — сказала Нэнэ, вставая.

Махаури плеснул воды на лицо.

Нэнэ стояла, глядя ему в глаза, и улыбалась.

— Как ты, парень?

— Ты-то сама как?

— Как видишь...

Махаури огляделся, не наблюдал ли кто за ними. Вдруг сам на себя рассердился: чего тут стыдиться? Разве стыдно стареть? Но он ничего не сказал, лишь кивнул Нэнэ, повернулся и пошел своей дорогой. Старуха вновь уселась на привычное место у родника и уже издали до Махаури донесся ее голос:

— Говорят, бранился он напоследок...

Махаури не ответил.

На проселок выскочила собака и с лаем погналась за Махаури.

— Постой, я хотела спросить... — вновь донесся голос Нэнэ.

Махаури остановился.

— От парня никаких вестей?

Махаури махнул рукой и продолжил путь.

Какие вести от парня? — всегда спрашивала Нэнэ. Махаури знал, о каком парне она говорит. Для Нэнэ время остановилось раз и навсегда, она спрашивала о том парне, что ушел сорок лет назад и не вернулся. Как будто сорок лет ничего для нее не значили! Как будто все произошло вчера! Все живо стояло перед глазами, каждое слово звучало в ушах Махаури, и вопрос Нэнэ — какие вести от парня? — Махаури принял, словно спрашивала она о другом парне, о том, что в начале июня отправился в горы. Махаури не удивился ее вопросу. Более того, подумал он, странно, что Нэнэ не спросила об этом сразу же, приберегла под конец... Потому и поторопился уйти. Но вопрос все же догнал его, как догонял всю его жизнь, став его судьбой и проклятием. Не любил Махаури вспоминать о таких словах, ни с кем о них не говорил. Они были его личной собственностью, припрятанным сокровищем, похороненным в укромном уголке, завесу с которого можно открыть только тогда, когда произойдет что-либо чрезвычайное, когда наступит особый день. Сегодня такой

особый день наступил, и на всем свете, кроме Махаури, об этом было известно только Богу на небе: Абриа Махаури готовился к встрече со смертью. Сегодня он мог откинуть завесу с тайны и бросить прощальный взгляд на свое бесценное сокровище. Махаури чувствовал величие этих сокровенных минут, к которым приобщила его маленькая Нэнэ, задав свой единственный вопрос, вопрос, который неизменно задавала, когда ему случалось проходить мимо, и который воспринимался им как обычный и неизбежный. Это величие не могли нарушить ни шум и суета деревни, ни собачонка, что, не отставая, преследует его. Она тоже приняла меня за чужого, подумал Махаури, да и то сказать, сколько времени не проходил я по этому проселку, не попадался ей на глаза.

И все же он рассердился, крикнул выглянувшему из калитки хозяину:

— Разве можно такого пса в доме держать!

— Чем она тебе не показалась?

— Спроси хоть, чего она разлаялась.

— Собака собака и есть, потому и лает. Тебя послушать, так и петуха следует зарезать за то, что кукарекает!

Махаури ничего не ответил и продолжил путь, пытаясь вновь откинуть завесу, скрывавшую его тайные мысли от чужих глаз. Там была вся жизнь.

* * *

Не любил Махаури размышлять о прошедшем и исчезнувшем. Когда подобные мысли овладевали им, убегал из дому, принимался мотыжить виноградник, пилить дрова, даже спрашивал у соседей, не нужно ли им чего-нибудь, он готов помочь. В такие минуты Махаури казался добряком, и никому не было ведомо, что он пытался убежать от своих мыслей, воспоминаний о прошлом, предпочитая впрячься, как вол, в любую работу, чтобы позабыть обо всем. А этот проклятый смертный день был, оказывается, днем раздумий: едва встала в небе рассветная звезда, думы и воспоминания захватили его.

Вспомнилась Махаури война! День, когда все началось.

Именно в этот день увидел он впервые, что мальчики стали уже взрослыми.

Муж с женой неподвижно стояли на балконе и глядели вдаль.

Там пока ничего не было видно. Война была еще далека, и женский ум даже внушал сам себе, что она никогда не доберется до них.

Мужчина знал истинную цену войне и пустынному простору, где еще не видно было даже дымка, знал и ничего не говорил.

— Как бы мальчиков не забрали, — услыхал Махаури.

— Заберут, конечно!

— А мы как же?

— Не знаю...

— Как не знаешь, ты ведь мужчина!

— И я ничего не знаю...

Весь день прошел в ожидании. Вечером женщина сказала:

— Кажется, весь мир позабыл про нас.

Махаури знал, что мир не забывает ни о ком.

На другой день пришел сельсоветский секретарь и принес две повестки для двух парней. Тогда оглядел Махаури своих ребят, взвешивая в уме, сгодятся ли на войне сыновья Абриа Махаури, которых мать все еще называла малышами.

Старшим был Петрэ.

Меньшого — на два года младше — звали Гагой.

Но главным в доме был все же Гага. Им гордился отец, мать, брат... Все с Гаги начиналось и Гагой кончалось. Теперь, когда прошла вся жизнь, уже можно сказать об этом. Тогда же все происходило само собой, без слов. Не шибко образованный, но мыслящий широко и трезво Махаури предсказывал своему меньшому большое будущее. По отцовскому убеждению, парень чуть не с неба глядел на землю и делал для села больше, чем кто-либо на свете. Гага, вольно или невольно, отодвигал Петрэ в тень, и старший сын не удивлялся этому, не обижался. Все в семье вертелось вокруг Гаги, и Петрэ, скрытный, не отличавшийся успехами в школе, но прилежный в работе на земле, смотрел на младшего брата, как на кумира. Должен же был он в конце концов поклоняться хоть одному человеку на

земле, и этим единственным человеком для него стал, неизвестно почему, младший брат Гага.

Гага был непоседа и буян, Петрэ — молчун, из тех, что мухи не обидит. Даже курицу зарезать всегда звали Гагу. Петрэ же в таких случаях прикрывал ладонью глаза и убегал к соседям, чтобы не слышать кудахтанья обреченной курицы. Гага не боялся в одиночку выгонять коней даже в ночное, к лесной опушке. Он постоянно вертел в руках ружье, а дома только о том и были разговоры, что с оружием надо обращаться осторожней, не то однажды черт зарядит его и оно выстрелит. Старший, Петрэ, к ружью не прикасался, даже не знал, как за него браться, с какой стороны стрелять... Все это мгновенно пронеслось в уме Абриа Махаури, когда он окинул оценивающим взглядом двоих своих сыновей, словно именно он затеял эту бойню на земле и сейчас размышлял лишь о том, который из двоих пригодится больше, который сумеет лучше погибнуть или легче спастись.

Где же была тогда Маико? Маико спряталась в марани и, должно быть, плакала.

Тогда и мелькнула у Махаури мысль, которая заставляла его содрогаться до самого конца войны и за которую он казнил себя даже много лет спустя.

«За Гагу я не беспокоюсь... Петрэ погибнет в первый же день».

Эта мысль так испугала и устыдила Махаури, что он вышел на двор и, не отдавая себе отчета, побрел куда-то, боясь повстречать ненароком Маико, которая своим безошибочным чутьем, конечно же, тотчас бы догадалась, о чем он подумал.

Но голос Маико догнал его, едва он вышел на проселок: — Куда ты пошел, старый? — В сельсовет, — крикнул он в ответ. Маико стояла и глядела на дорогу, даже бросила вслед: — Иди, может сумеешь выручить их... Махаури вздрогнул, но нашел в себе силы успокоить жену: — Попрошу, чтобы вместо них меня взяли, я больше сгожусь на войне... — Тебе не откажут, — уверила Маико и вошла в дом. Войти-то вошла, но не было покоя в душе, и когда Махаури вышел с проселка, он вновь услышал ее голос: — Скажи, если нужно, и жену с собой возьму... Лишь бы ребят оставили...

Тогда ни Махаури, понуро ковылявший в грязи по дороге, ни эта женщина, его жена и мать этих парней, несчастная Маико, не знали, какой огонь бушевал на земле, какая волна ненависти поднялась, слепая и глухая волна, сметавшая все на своем пути. Ни этот человек, ни его жена не ведали, что гордость семьи, Гага, и его старший брат, покорный и бессловесный Петрэ, уже не были просто их детьми. Их имена уже были занесены в списки, и заменить их хотя бы именем родного отца, бредущего сейчас по дороге, не в силах был никто на свете. Волна ненависти, обрушившаяся на планету, требовала себе в жертву именно их, их гибель была ей нужна, их имена значились не только на бумаге, но и где-то еще, в неведомых списках судьбы. И отец, и мать остались где-то отдельно, они уже ничего не могли изменить.

— Скажи им, а я пока подготовлюсь, — все еще звучал в ушах Махаури голос жены. Именно этот голос отрезвил его, заставил осознать бессмысленность своего поступка. Он представил себя стоящим в сельсовете перед человеком с петлицами, настолько растерянным, настолько утратившим представление о реальности, что собрался сам идти на войну за сыновей, да еще и не один, а вместе с женой, только бы оставили в покое их детей, только бы их не тронули...

Что и говорить, Махаури никогда не забыть этот день, день ухода сыновей. Словно вчера это было. Кто сказал, что прошло сорок лет? Годы идут своей дорогой и думают, что проходят, не знают, что навеки остаются в памяти людской.

Гага смеялся и пел, наверное, нарочно. Петрэ ничего не умел делать нарочно. Все случилось потом, когда им крикнули: — Стройтесь! — когда кругом воцарилась такая тишина (по сей день внушающая ужас Махаури), словно весь мир онемел, словно все вперили взор в одну точку и думали одну думу. Именно тогда, в этой проклятой тишине, и раздались слова Петрэ, который говорил — то ли сам для себя, то ли для других, то ли высказывал заветную мечту, а то ли потребовал, то ли попросил, то ли поклялся:

— Мы с Гагой должны быть вместе...

Эти слова спутали все на свете. Махаури помнит испуганные и растерянные лица. Помнит шелест, про-

несшийся над толпой, помнит Маико, прижимавшуюся к нему и трепетавшую, словно листок, готовый сорваться с ветки. Стройная шеренга как будто распалась, хотя на самом деле оставалась такой же ровной и стройной. Смешались и люди, глядевшие на шеренгу. Кто-то рассмеялся, кому-то показалось, что он ослышался, кто-то рассердился. Что он сказал? Да брось, так, пробормотал что-то себе! Нет, он не себе это сказал! Он всегда таким был, раз в году слово обронит, и именно сейчас, в эту минуту, настало время ему заговорить... Что он сказал все же, я не расслышал, пусть повторит! Простите его, товарищ полковник, ничего такого он не сказал, да и что он мог сказать, еще как следует и умываться обеими руками не научился. После команды не разрешается говорить ничего! Он и не скажет больше, товарищ полковник, обещаем, слово вылетело и пропало. И когда только кончится эта проклятая война? Если судить по его поведению... Если бы турки напали, еще понятно, но немцы... Где она, эта Германия? Тишина! Музыка! Шагом марш!

То был проклятый, непонятный день, день путающихся мыслей и неосознанного страха. Пока не грянула музыка, в то краткое мгновение, когда вновь воцарилась тишина и весь свет проглотил язык, Петрэ вторично прошептал, не понять — сам для себя или чтобы услыхали другие, — то ли свое желание, то ли требование, то ли клятву:

— Мы с Гагой должны быть вместе...

Кто его услышал?

Только Махаури и перепуганная Маико.

Гагу послали на Крымский фронт. Петрэ все эти годы стоял на турецкой границе.

Петрэ вернулся осенью сорок пятого года.

От Гаги пришло всего два письма, оба из Керчи. Потом он пропал, исчез навсегда, ни мертвого его не нашли, ни живого.

Теперь легко говорить об этом. Теперь уже все равно, настал день улыбок и веселья. Теперь сама смерть, смеясь, стучится в дверь. Перед лицом смеющейся смерти все, что произошло когда-то, кажется легким. Но тогда Махаури этого никак не сказал бы. Тогда он не мог смириться с этим. Да и не говорил он, все в ду-

ше таил. Теперь-то уж выговорится. Вот он и говорит: сейчас все можно легко сказать.

Самым несчастным днем в жизни Махаури стал день возвращения Петрэ.

Целая жизнь прошла с тех пор. Чего только ни случилось за это время, сколько воды утекло, все потеряло смысл и цену. Пришла пора помирать Махаури. Теперь стало все равно, перед смертью он может обо всем вспомнить так, как было на самом деле, ничего не прибавляя и не убавляя. Махаури был счастлив! Но кто сказал, что счастье и несчастье рядом не стоят? Счастье настолько кратковременно, что несчастью вовсе не надо за тридевять земель уходить, оно скрывается тут же, неподалеку, суетится и нашептывает что-то. Разве кто-нибудь даст насладиться счастьем? Ничего такого и не произошло. Ну-ка, припомни все в подробностях, загляни в свое сердце, позабыв о страхе. О чем подумал Махаури перед уходом? Кому, мол, какое дело! Он, отец, думал, что знает своих детей, и сказал: за Гагу я не боюсь, Петрэ погибнет в первый же день. Гага все ружье вертел в руках, ему-то стрелять не в новинку, а Петрэ даже курицу зарезать не мог. И слова, сказанные им перед расставанием, словно завещание, у многих вызвали лишь насмешки, другие посчитали, что Господь ему разум помутил... Я с Гагой вместе должен быть! Вместе они воевали бы лучше, только и всего!

Когда Махаури принесли радостную весть, что Петрэ вернулся, этот немало повидавший на своем веку человек, словно мальчишка, вскочил на коня и гнал его от Алазани до деревни так, что несчастное животное целую неделю отдышаться не могло, носилось по полю, будто взбесившись, и его пришлось объезжать заново. Спрыгнув с коня, он схватил сына, едва не задушив в объятиях, потом обнял жену, позабыв на радостях не только о людях, толпившихся кругом, но и обо всем на свете. Этот пожилой человек превратился в юношу, подхватил жену на руки, потом сбежал в марани, схватил кинжал и одним ударом заколол кабанчика, стоявшего перед ним. Крови тогда пролилось — целая река! Все лицо Махаури забрызгала. Он помнит, как протянули ему воду в медном кувшине, как смыл эту кровь. Кто еще мог протянуть — конечно, жена, Маико.

А потом начался пир... Махаури вскрыл кувшины с

вином, приберегенным именно к такому дню, хранившимся нетронутым целых четыре года. Каких только тостов не произнесли, кого не вспомнили, но все равно постоянно возвращались к «ушедшим парням». В первые дни все казалось легче, как для ближних покойника, пока в доме толпятся люди, пока тело умершего еще не предали земле, пока звучат заупокойные и заздравные тосты за поминальным столом. Это потом все станет труднее, когда останешься один, и рядом никого, кто мог бы утешить или подбодрить. Трудно ненастной ночью, когда дождь поливает прах погребенного. Трудно в снежный день, когда беззвучно сыплются снежные хлопья, и все нашептывают что-то, а ты понимаешь, о чем они шепчут — о твоем одиночестве и неприкаянности, о пустоте, завладевшей частицей твоей души, которую никакими силами не изгнать оттуда. Трудно будет потом, а пока на столе дымится хашлама, и из кувшинов с бульканьем льется золотое вино в стаканы, еще можно смеяться и веселиться. Да и сам Махаури запел, затянул песню, а остальные подхватили, он же вдруг запнулся, словно позабыл слова... Чтобы враг нас не одолел... мравалжамиер — многие лета... Кажется, именно эти слова он и спел, остальные допели другие, но главное было не это, главное, что начал песню Махаури...

Что он мог еще сделать? Ведь не безграничны силы человеческие! Как вынести ему шепоток, дважды прозвучавший в ушах, — это был голос Петрэ! Того самого Петрэ, что принес им столько счастья!

— Что с тобою, отец?

А что с ним могло быть? Для Махаури настал счастливый день, сын вернулся из военной бури, вот он и запел... Тот самый сын, в возвращение которого он не верил. А тот, за которого ни минуты не опасался, тем более должен возвратиться. Он ведь и с ружьем умел обращаться, и никого не боялся на целом свете. Эта надежда и заставила Махаури сделать то, чего не ждал от него никто — запеть! Пусть другие поют, ему, Махаури, достаточно радости, которая умещается в сердце.

Счастливый день настал... Настал проклятый день... Никто другой не мог бы понять, но Махаури знал: возвращение этого парня, принесшее столько счастья, в то же время бросило ему в лицо правду, безжалостную

и неотвратимую, хотя парень сам и не подозревал об этом... Тот, младший, уже не вернется никогда! Это было для Махаури так же очевидно, как то, что пройдет эта развеселая и хмельная ночь и наступит обычный день, настолько обычный, что сама мысль о нем вызывала у Махаури страх и трепет.

— Что с тобою, отец?

И тогда Махаури встал, спустился в марани.

Он и до того поднимался из-за стола, да и в марани заходил — Махаури был хозяином, никого это не могло удивить. Только парень поднялся следом, солдат Петрэ Махаури, и отправился искать отца.

Свет из отворенной двери ослепил Махаури.

Он закрыл лицо ладонями.

Из глаз Махаури лились слезы.

Нет, он не имел права произносить этих слов — Петрэ ведь ни в чем не был виноват! Почему он должен тащить на себе огромный груз незаслуженного обвинения? Не должен был он говорить этого, и все же сказал:

— Уходи, убирайся с моих глаз...

Петрэ повернулся и больше в марани не заходил.

Что еще случилось той ночью? Больше ничего... Полночь давно миновала, третья полночь нескончаемого застолья, и гости стали понемногу расходиться. Наконец остался только один совершенно осоловевший толстяк, в которого невозможно было влить больше ни капли вина; прижимая кувшин к груди, он слонялся по двору из угла в угол.

— Куда Абриа подевался? Подать мне его сюда!

— Заснул он... Опьянел и заснул, — тихо сказал ему Петрэ.

— Подать мне его сюда! — упрямо повторял толстяк.

Петрэ схватил его в охапку, вынес со двора на дорогу и прислонил к изгороди.

Толстяк, шатаясь, сделал несколько шагов, потом здесь же, под изгородью, лег на траву и захрапел, успев напоследок пробормотать:

— Подать мне сюда Абриа сейчас же...

Вот и все, что произошло, ничего другого о той ночи Абриа не запомнил...

На другой день полил дождь. В доме никого не было. Петрэ ушел куда-то.

— Пусть побудет с дружками, наговорится вволю, ничего пока ему не поручай, — сказала Маико.

Но Махаури не нужно было говорить об этом. Отец не мог видеть сына, и чем дальше отодвигалась их встреча, тем лучше для него. Да, в конце концов непременно придет минута, когда Петрэ откроет дверь дома и Махаури окажется лицом к лицу с ним. Он боялся этой минуты и, впервые в жизни, назвал себя трусом. А обозвав себя так, он и обращаться с собой стал, как с трусом.

Ты не обрадовался возвращению этого парня... Да, именно так, что ни говори. Впрочем, если очень хочешь, можно сказать иначе, помягче как-нибудь, не прямо в лоб, пожалеем тебя: возвращению-то парня не обрадоваться ты не мог, что ты — не человек, что ли, но больше желал, чтобы вернулся тот, другой, младший... Так и скажем, осторожней, не впрямую, тот был твоей гордостью, гордостью всего рода... Однако это ничего не меняет. Гага был совсем иным — внешностью, повадкой. С ним в дом входили другой свет и радость. Ты с самого начала ждал его, этого же с первой минуты записал в погибшие, с той самой минуты, как сельсоветский секретарь принес ту проклятую бумажку. Нет, не тогда, чуточку позже, когда в наступившей на мгновение тишине он произнес:

— Мы с Гагой должны быть вместе.

Ты уже не был ребенком, многое повидал в этом мире. Знал, что им не суждено быть вместе, так мог сказать тот, кто представления не имел о происходившем вокруг, не ведал, куда их забирали и для чего. Теперь-то, вернувшись, он уже все знает. Это уже не прежний безответный Петрэ. Он обо всем догадался уже тогда, когда шепнул ему на ухо:

— Что с тобой, отец?

Абриа Махаури стал трусом. Теперь он мог бы сделать все — пойти против целого мира с голыми руками или же с одним кинжалом, которым забил кабанчика, испачкавшись в его крови. Но он не мог посмотреть Петрэ в глаза, в которых видел удивление и страх, растерянность и упорство ни в чем не повинного человека. Если бы этот парень хоть раз вошел, встал перед отцом и с неизменным своим спокойствием произнес три слова, всего лишь три слова — что с тобой, отец? —

Махаури стал бы перед ним на колени, вымаливая прощение, и уже никогда не поднялся бы на ноги, так, коленопреклоненным, и прожил бы остаток своей жизни.

К счастью, Петрэ не появлялся, пока никто не произнес этих трех слов, и трус Махаури укрылся в лесу, только на этот раз взял с собой не топор, а ружье, то самое ружье, что день и ночь не выпускал из рук Гага, Гага, который никогда не вернется обратно, ибо кому на роду написано было вернуться — уже вернулся, ибо Махаури не верил в чудеса и прекрасно знал, что в той Богом проклятой круговерти хоть один из двух, ушедших из семьи, должен был погибнуть, хоть один, а то и оба... Один — вернулся, другой — погиб. Махаури же предпочел бы, чтобы вернулся другой, скажем об этом прямо, пока никто этого не слышит... А сейчас валит снег, Махаури бредет один по лесной тропинке и все же не может произнести вслух эти слова. Он не мог сказать их там, в селе, тем более при Маико, потому что он трус. Трусы же разговаривают громко разве что в лесу, когда слышится лишь шуршание снега, и звери попрятались в своих берлогах, когда стало смеркаться и вот-вот стемнеет совсем...

Дорогу перебежала лисица, присела на задние лапки перед самым носом Махаури, откинула набок хвост, словно позировала фотографу, долго-долго смотрела на Махаури, а потом скрылась в кустах.

Махаури рассмеялся.

— Вот и она меня уже не боится.

Он понял, что больше и сам себя не боится, и бесцельно выстрелил в воздух.

Грохот разнесся над лесом, раскатился эхом, словно оповещая весь мир, что единственная пуля, которой нечистая сила зарядила ружье, бесцельно выпущена в воздух этим человеком.

— А она-то вовсе и ни при чем, — громко проговорил Махаури.

И тотчас воочию представил, как стоит, согнувшись, осыпаемая снегом Маико перед отворенной калиткой, ожидая мужа.

Махаури видел только эту картину и повторял только эти слова: она вовсе ни при чем...

Махаури бежал, с треском ломая сучья и ветки, тяжело дыша, и слышал, как стучит его сердце, бежал,

словно подстреленный волк, за которым гонится охотник и вот-вот должен догнать. Махаури боялся этого охотника, боялся остановиться и вновь забыть слова, просветившие его, слова, заставившие бежать к деревне по заснеженной тропинке.

— Она вовсе ни при чем...

Когда он добежал до калитки, уже близилась полночь. Все село спало. А Маико стояла перед калиткой, и ее засыпало снегом.

Сына нигде не было видно, и Махаури подумал: она все поняла.

Потом, когда Махаури, старательно закрывая глаза, лежал на кушетке, эта женщина ласково гладила его седые волосы. Господи, какая это была ночь, как велико и величаво было горе, охватившее двух этих людей, каким истинным было все, простым и непридуманным. Тепло тех ладоней до сих пор греет стынущие руки Махаури. До сих пор каждое ее слово звучит в ушах. Сколько времени прошло, но все так же дороги эти слова, сыпавшиеся одно за другим, словно капли подтаявшего снега с крыши в начале марта.

— Я насилу заставила парня лечь.

— Правильно сделала.

— Он пришел выпивши, я закляла его памятью брата и заставила лечь.

— Мне казалось, я не смогу больше жить...

— Ты думаешь, я не догадалась?

— Почему же не сказала?

— Тише, не разбуди парня...

— Почему не сказала?

— Не знаю, может, думаю, так нужно.

— Хорошо, что он лег.

— Может, так надо, подумала...

— Так и подумала?

— А сама обиделась.

— На что?

— Почему меня не пожалел.

— Тебя-то я и пожалел.

— Спасибо.

— За что?

— Сама не знаю...

— Не бойся, все наладится.

— А какой снег посыпал!

— В такую погоду только близких и хочется видеть...
— Давай пойдем к кому-нибудь.
— К кому?
— К нашим пойдем.
— В такой снегопад?
— Да, в такой снегопад не выйдешь со двора...
— А хорошо бы... И парень с нами.
— Пусть парень здесь побудет, с дружками наговорится.
— Давай. Как хочешь, как скажешь...
— Пойдем в лес, сколько времени мы там не были.
— Когда пойдем?
— Завтра же и пойдем, что нам мешает?

И они пошли. Как договорились, пошли в лес, девственно-чистый, заснеженный лес. А что им оставалось еще делать, кому пожаловаться, у кого искать сочувствия? Ничего на свете не было для них лучше леса, девственно-чистого и заснеженного. Они шли по белым тропинкам, на которых еще никто не оставил следа. Вокруг не слышно ни звука, не видно ни одной живой души. Никому на всем белом свете нет до них дела. Только тогда осмелел Махаури, позабыв на мгновение обо всем, словно на земле впрямь оставались лишь они двое, поднял жену на руки, как когда-то, как часто поднимал прежде — отважно и легко. И так, с Маико на руках, сделал несколько шагов.

Снег шуршал, женщина шептала о чем-то, до сих пор слышится это шуршание и этот шепот Абриа Махаури:

— Тяжело тебе...
— Не бойся!
— Чего мне бояться?

В тот вечер, вернувшись домой, Махаури на цыпочках вошел в комнату сына, взял брошенную на кушетку военную гимнастерку, повесил на стул (он и сегодня пьяным пришел!) и остановился неподалеку. Парень спокойно посапывал во сне. Черные брови сошлись у переносицы, ресницы трогательно подрагивали. Совсем еще ребенок, подумал Махаури, хоть бы открыл глаза, взглянул на меня. Ничего бы не случилось, и вся эта проклятая история окончилась бы для Махаури так просто. Но парень не просыпался, и Махаури оставалось одно: стоя на коленях, вымаливать у него прощение. За все...

Махаури осторожно подошел к кушетке, склонился над сыном, провел ладонью по волосам и поцеловал.

А потом стоял и глядел на него.

— Жениться тебе пора, парень, — проговорил Махаури.

Не должен был он этого говорить, во всяком случае не теперь, а много времени спустя...

* * *

Невестка не понравилась Махаури.

Он всегда опасался — вдруг не понравится. Это было даже не опасение, а ожидание: уверен, не понравится она мне, и вот — не понравилась. В невестке не было как раз того, что больше всего ценил Махаури в женщине и из-за чего полюбил Маико: покорности! С самой первой минуты взгляд невестки был не скромно-застенчивым, а скорее наглым, он прямо, в лицо выражал все, о чем она думала: знаю, мол, тебе-то я не нравлюсь, зато твоему сыну понравилась, и теперь — хочешь не хочешь — никуда не деться, должен признать меня невесткой. Да и сам Махаури о том же подумал: что моему сыну могло понравиться в ней?.. После этого он вовсе перестал глядеть на нее, и без того все было ясно. Не хотелось, чтобы его мысли стали предметом пересудов для других, чтобы еще больше стала трещина в кувшине.

В тот вечер, который можно было назвать обручением, из головы никак не шли два вопроса, которых сам стыдился: с чего это она такая черная... и — как ее, такую, муж на руки может взять... Что говорить: мужчина должен без слов брать женщину на руки. Кто знает, что может случиться, если понадобится, он ее вообще на руках носить должен. Нет, такую жену Петрэ не сможет носить на руках!.. Смуглая, почти черная, длинная, как жердь, смотрела она на жениха сверху вниз.

Огорчился Махаури, но не столько за себя, сколько за сына.

Кажется, никто другой не заметил неловкости, возникшей при первой встрече, кроме единственного свидетеля, который просто обязан был все видеть и все понимать. Нужно ли говорить, что это была Маико, стоявшая тут же, рядом с Махаури, то ли покорно, то

ли испуганно. Так всегда глядела покойница, боясь обидеть его чем-нибудь или сделать что-нибудь, что ему может не понравиться. Точно такой взгляд был у нее тогда, Махаури готов был умереть ради него. Боязливо взяв мужа за руку, она увела его из толпы новых родственников и шепнула: что теперь делать!

Что поделаешь, действительно. Коли сами хотят, пусть так и будет...

Только успел проговорить он это про себя, как новые родственники подали знак двум-трем парням и женщине в пестром платке, стоявшим неподалеку. Застучали чашки-тарелки, и Махаури покорно взял из рук жены обручальное кольцо, чтобы надеть его на черный высохший невестин палец.

Потерявший голову от счастья Петрэ ничего не видел и не понимал. Махаури даже не мог понять, что ему так вскружило голову, каким было это счастье, так мгновенно взошедшее без дрожжей и опары, откуда явилось и куда могло увести не только этого парня, но и всю семью, которая пока что еще зовется семьей Абриа Махаури, а как будет называться завтра, он и сам не знает, ибо, по убеждению Махаури, семья — это место, где нет ни одного лишнего кирпичика, не то что лишней души, где все и вся — и люди, и неодушевленные предметы должны любить друг друга.

Не дожил Махаури до этого! Вокруг все рушилось! Ничего не сбылось в его жизни так, как он предполагал, и, должно быть, этот проклятый смертный день тоже не станет таким, как он хочет. Мысль и здесь опережает, забегает вперед, а все остальное — и подлинное и вымышленное — происходит потом, по-иному, на свой лад, независимо от мысли, как будто этой мысли вовсе и не было.

О чем думал тогда Махаури? Чем пытался оправдать Петрэ?

Чему удивляться, ему нужна была женщина, и вот, нашел, какая-никакая, а — женщина. Подумав это, почувствовал к Петрэ еще большую жалость.

— Что делать, как мне принять ее в душу? — бормотал Махаури, внимательно вслушиваясь в песню, которую затянули дружки жениха. В ней было все — и смех, и веселье, не было только махауревской тоски, непонятной и необъяснимой для других. В песне выс-

менивалась глупая невестка, делавшая все шиворот-навыворот: тесто замешивала не в корыте, а прямо на земле, воду носила не в кувшине, а в решете, — на нее сердилась свекровь, а муж вовсе выгнал из дому... Но к сегодняшней невестке это никак не относилось! В песне имелась в виду совсем другая девушка, и Махаури боялся даже посмотреть в сторону молодой, так как доподлинно знал, что она не отрываясь глядит на него, и их взгляды непременно встретятся. Забавной была и другая песня, которая совсем не оставила места для маленького огорчения Махаури. В этой песне тоже пелось о другой невестке, из Ахметы, которая палкой избила свекровь, золовку выгнала из дома, тогда как деверь от страха спрятался за дверью — Господи, спаси! Потом она наелась, выспалась вволю, а через пару недель уже родила! Нет, конечно, и эта песня ничего общего с сегодняшней невесткой не имела, и она написана о ком-то другом, исключительно чтобы повеселить слушателей, развлечь гостей! Но не до смеха было одному гостю — Абриа Махаури. Он не раскрывал рта, хотя стакан взял, поднял тост в честь жениха с невестой, а потом оторвал ножку холодной вареной курицы.

Молодежь заводила песню за песней.

Невестка по-прежнему смотрела на свекра.

А он сидел, повесив голову, и молчал.

Однако слов уже не было нужно — они и так вступили в соперничество.

Забросайте его камнями, посадите на осла лицом к хвосту, возите из деревни в деревню — не нравится Махаури невестка, и все! Не смогу полюбить такую, сказал он себе, не кому-то другому. Даже Маико не сказал, не то что чужим людям. В глазах всей деревни Махаури по сей день считается образцовым свекром, грубого слова невестка от него не слыхала... А в мыслях... Хоть мысли его можно оставить в покое?! Это единственное, что осталось у него на свете, чего никому у него не отнять... В мыслях Махаури владыка самому себе, а, может, и всему миру. В мыслях он никогда не лжет, а эта правда так дорога ему, что более всего тяготится сердце Махаури от сознания ее неосуществимости.

Не по душе пришлась она ему, что делать? Разве

лучше было бы сказать — понравилась, а в сердце держать зло? Махаури о ней ни дурного не говорит, ни хорошего, сидит себе, рта не раскрывает. Пусть делают, как сами хотят... Что ему еще оставалось сказать? И колечко на палец надел, еще матери его колечко, сделанное Бог знает когда... Если парню нравится, какое ему, Махаури, дело? Кто он такой, чтоб у него спрашивали? Им начинать новую жизнь, он свою жатву уже откосил и больше ничего к ней не прибавит. Разве что поднимется ветер, развеет зерно, он же ничего прибавить не может. Им прибавлять, если смогут, а не смогут — он в сторонку отойдет... Так думал Махаури. Но если быть честным, он говорил сам себе неправду. Ни жатву свою не считал скошенной до конца, ни ветру не позволил бы с его нивы унести хоть один колосок. Его жизнь — это его крепость, и ключ от нее мог находиться лишь у одного человека, ему одному положено отворять тяжелые крепостные ворота и затворять их... И тем человеком был он сам, Абриа Махаури! Он не безумец, чтобы впускать кого-либо в свою крепость, не заботясь о том, что сотворит пришелец завтра или послезавтра, как поведет себя, какой узор соскоблит с балки-опоры и какой добавит взамен. Смешает в кучу все, что укладывалось годами, или, наоборот, наведет еще больший порядок, добавив к общему добру и частичку своего. Вознамерится взломать изнутри крепостные ворота или еще более упрочит их, сделав неприступными. Разрушит семью или укрепит. Кого мог обвинять несчастный Махаури? Разве есть на свете что-нибудь более важное — в семью входит новый человек, чужак, которого ты толком и не знаешь, да и тот не знает, кто ввел его спокойно и беззаботно. Ты впервые увидел сегодня этого человека, а проклятое сердце уже отторгло его... И все же, взяв колечко, ты безропотно надеваешь его на чужой палец, передаешь ключ от своей крепости... Как же быть ему теперь — вместе с этими парнями распевать песенку о глупой ахметской невестке? Не может он так, хоть убейте. Не может, и все! Не топиться же из-за этого... Впрочем, однажды он уже собрался топиться, но ничего из этого не получилось, он о той попытке вспоминал, как о проявлении трусости. Так где же правда? Правда в том, чтобы ничего не сказать, хоть по твоему виду все и так ясно, обвинить

самого себя, сесть и, счастливо обняв невестку, распевать с этими юнцами глупые песни, вызывающие у парней громкий хохот, а у девушек смущенные улыбки, хоть эти песни и ничего не говорят его душе? Не одного дня ради ведь живет человек на свете! Не о том ведь только заботится, чтобы сегодня наесться и напиться. И то, что он строит, не на один день ведь возводит!.. Махаури никогда не жил ради одного дня, всегда заглядывал вперед, и теперь, выпив всего пару стаканов и оставаясь трезвым как стеклышко, он ясно видит будущее, в котором, однако, нет ни сегодняшней свадьбы, ни этой девушки, ни юнцов с их подружками... В воображении Махаури возник совсем другой мир, иной дом, иные в нем обитатели... Здесь, рядышком с нахмурившимся Петрэ, если есть Бог на небе, должен был сидеть и Гага, да не один, а с красавицей-женой, такой, какая достойна его. Любил Махаури поглядеть на красивых женщин, и кто упрекнет его за это? Этот хмурый парень взял бы от брата больше смелости, и ни одна девушка не смогла бы отказаться выйти за него. А сейчас сидит он, словно подсудимый, приведя в дом ту, что осчастливила и согласилась стать его женой. Этот венчальный вечер и это застолье подрывают махауревскую гордость, словно обветшавший от времени дом. Все уносит с собой ветер, и от этого величественного дома, годами возводимого махауревской мечтой, не останется даже прогнившей балки. А они все поют, словно только начали строить дом...

С чего вспомнил он вдруг о доме?

Все рухнуло тогда, когда начали строить дом.

Тогда произнесла невестка слова, которые ему никогда не забыть, которые вновь ожили с этим рассветом, с восходом утренней звезды, лишив все формы, окутав светом, о которых Махаури хотел вспомнить лишь перед смертью. — Отчего ты никого не любишь?..

Не знал Махаури, что главное на свете — слово, придающее всему истинное значение: нечто, назвавшееся жизнью, заключалось всего в нескольких словах, не идущих из памяти, будь они брошены наобум или годами выношены и взвешены в сердце. Если б мог Махаури собрать эти отдельные слова, разбросанные поодиночке, соединить их, воссоздался бы весь свет, вся жизнь. Махаури содрогнулся от магического могуще-

ства этих слов. Он знал только, что порою напрочь забывалась сама история, слово же навсегда застревало в памяти, неподвластное времени: «За Гагу я не боюсь, а Петрэ погибнет в первый же день...» «Мы с Гагой должны быть вместе...» «Что с тобою, отец...» «Уйди, сгинь с глаз моих...» «А она-то при чем?..» Остались одни слова, но вокруг них объединялось все — жизнь, раздумья бессонных ночей, все сделанное за долгие, утомительные годы. Автор вымышленной истории считает, что это — слова для сюжета, который сочиняет сама жизнь, но без этих слов и жизнь бессильна сочинить что-либо, объединить в композицию, выявить сокровенное, заглянуть в чужую душу. Да, именно словом, как оказалось, создается жизнь человеческая, пусть даже само это слово и не слышно, да и не будет никогда написано на бумаге. «За Гагу я не боюсь, а Петрэ погибнет в первый же день», — этим словам не суждено было сбыться, но именно они заставили Махаури осознать, что жизнью человека повелевает не разум: все происходило само по себе, никому не дано было предугадать, кто в огромном костре, охватившем всю планету, сгорит раньше других. Разум Махаури не смог предугадать этого, ибо там, в том огне, все вздыбилось и переплелось, все происходило бессмысленно и непостижимо для ума человеческого. «Мы с Гагой должны быть вместе», — это тоже было высказано словами, к тому же — не для других, просто сказал человек самому себе, однако сразу же проявилась вся бессмыслица и безрассудство существования человечества, которое позволило разгореться такой бойне, однако не могло понять простой вещи: того, что Петрэ и Гага, братья, не должны быть разделены. «Что с тобою, отец?» Этот вопрос выявил, вытащил на свет Божий злость, похороненную в душе Махаури, казавшуюся запрятанной так глубоко, что он и сам не мог осознать ее, однако парень легко разглядел: «Что с тобою, отец?», — выразил в трех словах, поразивших Махаури словно гром небесный. Он едва не бросился на колени перед парнем, который в ту минуту был прав перед небом и землей. Махаури безжалостно и безотчетно бросил те слова в лицо парню и потом всегда стыдился их, стараясь как-нибудь угадать, помнил их еще сын или же забыл, не придав им того значения, которое придавал им Махау-

ри. И слова же спасли его в самом конце, в лесной чаще, когда привиделась ему жена, стоявшая, согнувшись, перед калиткой, когда он сказал: «А она-то при чем?» Да, эти слова заставили его выпустить единственную пулю, которой черти зарядили ружье, в воздух, без всякого умысла, а потом волчьей рысью бежать (как будто та пуля и впрямь угодила в него), бежать до самой деревни, где и впрямь перед калиткой стояла, сгорбившись, жена, ожидая мужа, и ее в самом деле засыпало снегом.

* * *

Какое уж тут веселье в такой день!.. Как легко умер бедняга Ника. Вся деревня думала, что он ругал и ненавидел их, готов был всех за собой в могилу утащить. Солнце палило до одурения, уже привяли и пожелтели листья, а Махаури и не заметил ничего. Дыхание осени не коснулось его слуха, ласточки улетели незаметно для него. Как веселится Нуца, как суетится, готовясь к свадьбе, полевод Ладо, озабоченный и огорченный лишь тем, что бедняга Ника не потерпел еще хотя бы денек, чтобы не болтали люди о свадьбе, которая чуть вообще не сорвалась. Да что говорить об этом! Как может сорваться свадьба? В этот ласковый день все окутано светом, освещено легким лучом наступающей осени, сердца у всех распахнуты, в то время, как веселую Нуцу мучает только одно сомнение — провести эту ночь у изголовья бедняги Ники или же отправиться на свадьбу, раскинув руки и пританцовывая. Махаури ни с того ни с сего ударился в воспоминания двадцати- или даже сорокалетней давности. О чем думать, о чем вспоминать, все прошло-миновало! Назад ничего не вернешь...

* * *

Маико умерла, когда поднимали стену первого этажа и укладывали бревна в венец. Испустила последний вздох в марани, молча и безропотно, лежа рядом с мужем. Утром Абриа стал будить ее и не разбудил, так тихо покинула она этот мир. Махаури ничего не сказал, накрыл тело жены белой простыней и велел Георгию сбегать за Никой. Тем самым бедола-

той Никой, который с таким трудом покидал этот мир, заставив говорить всю деревню.

Вскоре появился Ника — шел, и по щекам его катились слезы.

Потом Махаури с Никой вдвоем сидели возле покойной, не зная, что сказать друг другу.

Во дворе шумели люди.

Махаури ничего не слышал, только глядел на Нику и не знал, что сказать.

— Абриа, выйди на минутку, дело есть...

И этот зов показался Махаури бессмысленным: какое может быть сейчас дело, в эту минуту, когда тело Манко лежит в марани на кушетке, на старой кушетке, покрытое белой простыней.

Он все же вышел во двор. Что ему говорили? Что у всего есть свой порядок и обычай, что следует посчитаться с деревней, с людьми, обществом... Что, когда человек умирает, с ним приходят прощаться, надо подготовиться, заколоть бычка, достать рыбы. Да и прибрать все нужно, разве эта кушетка годится... У всего свой обычай — не надо давать повода для пересудов. Приедут и из Ахмета, и из Мирзаани, всех следует принять, выказать внимание.

Но Абриа Махаури ничего не слышал.

А потом появился и этот Богом проклятый — гробовщик Басила. Наверное, лыбился, как всегда. Если бы Махаури приметил такое, он бы ему показал! Теперь-то дело прошлое. Что за смысл сердиться и грозиться? Да и Басила был тогда или кто другой? Нет, он был, еще только учился, осваивал свое ремесло. Верно, на гробе несчастной Манко руку набил... Тогда для Махаури все равно было, каким будет гроб — узким или широким, коротким или длинным, дубовым или буковым.

Махаури запомнились тишина и шуршание рубанка.

Шуршание рубанка заставило всех умолкнуть. Потому что мастерили гроб, о котором каждый думал со страхом.

К вечеру гроб был готов.

Вспомнились Махаури и невесткины слова:

— Мы тебе очень благодарны, дядюшка Басила.

Басила расхвастался — это, мол, мое ремесло, то-

лько им и занимаюсь, потом опорожнил бутылку вина, закусил как следует, сунул деньги в карман и ушел.

Соседи разошлись к полудню, и у тела покойной остались только двое — Абриа Махаури и его дружок с детских лет Ника. Им не нужно было ни о чем говорить. В марани изредка проникал чей-то шепот или шум со двора.

Потом смолк и этот шепот.

Тогда у Махаури мелькнула подозрительная мысль, и он спросил себя: а что нужно здесь, у изголовья несчастной Маико, Нике Чабаури? Да, он считался другом детства, но понимал ли, сознавал ли величие этой минуты, величие горя, разделенного с Махаури? Эти слова не были произнесены вслух. Только напряженный взор Махаури разглядел на пожелтевшем в отсвете свечи Никином лице удивительное равнодушие и усталость, желание поскорее разделаться с неизбежным, холодность стороннего человека. Это и побудило его сделать то, что он сделал. Ника Чабаури был не здесь, в мыслях он уже был у себя дома, и Махаури велел ему отправляться домой, оставить его одного. Какой взгляд был тогда у Ники Чабаури! Махаури не любил таких взглядов — они бывают у людей только в миг предательства, трусости или малодушия. Такие глаза леденили душу Махаури, и в ту ночь он твердо и решительно сказал дружку:

— Отправляйся-ка домой.

Ничего не ответил Ника Чабаури.

— Отправляйся домой, — повторил Махаури и поднялся, словно показывая: следуй за мной, я покажу дорогу, оставь меня одного, мне сейчас больше ничего не нужно, пребывание здесь постороннего с холодными равнодушными глазами лишь подчеркивает, что все кончено, надежды нет, что мне самому недолго остается ждать конца...

Ника вышел во двор.

Махаури проводил его до дороги и уже собрался было вернуться назад, но внезапно схватил Нику Чабаури и стал разглядывать его, словно видел впервые в жизни. Да, у Ники были такие глаза, какие бывают у человека в миг предательства или малодушия. Махаури отвернулся и пошел к дому.

— Чем я тебя обидел? — донеслось до него, и Махаури остановился.

Эти слова Ники Чабаури показали бессмысленность его поступка. Если бы Ника Чабаури догнал его тогда, у него (Махаури в этом уверен) были бы совсем другие глаза — знакомые, привычные. Он оказался бы безоружным перед этим, близким и знакомым, взором и в душе стал бы вымаливать прощение. Но Ника Чабаури не стал догонять его, продолжил свой путь и скрылся во мраке. Мир праху его! Трижды он побил его, говорили люди. Неправда, ни разу даже пальцем не тронул. Больше того, всегда сожалел об обиде, нанесенной той ночью, всегда ругал себя за то, что требовал от людей больше, чем имел право, а, возможно, даже и больше того, что сам мог дать им. Трижды побил, говорят... Кто придумал, с чего взял? У людей язык без костей. Сейчас, когда огонек свечи трепетал в головах Ники Чабаури, даже та единственная обида отзывалась в душе сожалением и горечью. Словно ничего такого и не произошло, не велика обида, чтобы так себя казнить, не такой груз пал на Нику Чабаури, чтобы до самой могилы не сбросить с плеч. Но для Махаури тогдашняя обида стала тем, что превращало существование человека в жизнь, чем-то настолько простым и обыденным, что, обретая величие, оно возвышало человека до небес, отрывало от грешной земли, напоминало, что порой нужно требовать больше, чем нам по силам. В ту ночь небеса стали на сторону Махаури, обвинив Чабаури, грех которого, казалось бы, был не столь уж велик — просто оставил Махаури одного. Но грех есть грех, даже самый маленький и неприметный, а в ту ночь, при свете луны и свечи, перед святыми останками Маико он казался таким великим и непрощаемым. Небеса оправдали Махаури! Именно так воспринял он все, происшедшее потом, когда вернулся в марани к телу и сел в темноте в ожидании рассвета.

Махаури заплакал.

Испуганно оглядевшись вокруг, откинул саван и стал разглядывать Маико.

Лучше бы его глаза не видели этого, его рука не прикасалась бы к савану.

— Что с тобою стало, дорогая!

Покрытая саваном незнакомая женщина уже не

была его Манко, не была той девочкой, которую даже в старости помнил Махаури, несмотря на сморщенные щеки и выцветшие глаза жены. Эти глаза сказали когда-то, что всю свою жизнь ему суждено прожить бок о бок с этой девочкой. Тогда перед этим взглядом все остальное предстало таким маленьким и незначительным, что Махаури и думать не мог об иной судьбе. Все другое обесценилось. До этой встречи у него не было ничего. Появилась эта девочка и сделала его богачом! Сразу одарила всем, что необходимо для счастья, без чего все на свете лишь тоскливое и одинокое странствие по жизни. Махаури нашел ту девочку в горах, в доме одного мохевца. Тогда он был пастухом, молодым и безусым. И с тех пор не расставался с нею. Может, она встала и пошла домой, думал притаившийся во мраке Махаури, сидя перед телом жены, и эта мысль показалась ему настолько правдоподобной, что заставила позабыть о страхе исчезновения из жизни, переселения в иной мир. Как просто и стремительно произошло все тогда, словно на небесах давным-давно было записано, что они будут счастливы друг с другом. Все лето провел Махаури, мечтая, как в начале сентября (было точно такое же время, такой же ласковый и солнечный день, какие бывают лишь ранней осенью) он уведет эту девочку с собой. И увел! Мохевцы сразу же полюбили юного пастуха, доверили девочку его чести и мужеству. Должно быть, это и была любовь, это и было счастье — а что еще! — и дорога от ущелья Сно до махауревского дома, и эти горы и тропинки... Все было тогда освещено счастьем в глазах Абриа, и это счастье с ним разделяли пастухи, дружки и братья. Об их счастье пели все отары — от бегущего впереди вожака до отставшего хромого ягненка и собаки-овчарки, оно помогло Махаури распахнуть настежь калитку своего опустевшего дома и заставило произнести слова, которые он подбирал и повторял всю дорогу, такие простые для посторонних, но такие важные для него самого:

— Вот наш дом!

А сейчас та самая девочка лежит тут, под белым саваном, а, может, скрылась, удрала, впервые в жизни изменив Махаури, оставив его одного...

И тогда раздался скрип двери.

О чем подумал он? Погодите, дайте вспомнить. Так крадется, верно, только смерть, — вот что он подумал.

Вновь раздался осторожный скрип двери, и Махаури рассердился: видать, Ника решил вернуться, подойдет, усядется скорбно рядом, станет утешать.

Махаури крикнул:

— Кто там, входи!

Чудо, которое давеча произошло перед марани, вновь повторилось.

В дверях стоял Георгий.

Махаури опять поверил в Божье милосердие, осторожно приотворившее дверь и явившее ему вместо смерти саму жизнь. Черные глаза парня мерцали в блеклом свете свечи, говоря Махаури то, что не мог бы сказать больше никто в целом мире, кроме этого мальчика, который в эту минуту вовсе не напоминал мальца, и над головой которого Махаури виделся ореол.

Снова он спас меня, подумал тогда Махаури.

Георгий осторожно подошел и присел рядом с дедом.

Махаури провел ладонью по его голове.

— Я здесь побуду, — сказал парень.

Боже, сколько времени прошло с тех пор, а Махаури и сейчас, в этот солнечный день ранней осени, готов повторить во всеуслышание, что та минута, когда в марани появился парень, была самой счастливой в его жизни.

* * *

Последний день жизни тянулся медленно и лениво. Абриа Махаури не знал, как и когда завершится он, в пору солнечного заката, как множество других дней, или же продлится подольше, чтобы этот человек, по воле провидения, сумел познать все до конца, чтобы не осталось ничего для него непонятного, и он сам, добровольно, ушел с грешной земли. Да, Махаури уйдет не так, как Ника Чабаури, не станет никого ругать или проклинать (да и чего ругаться, каждый прожил, как ему было положено) и, как было предсказано давным-давно, еще в пору юности, не испустит дух в своей постели. А пока что у Махаури остались еще дела на этой земле, осталось кое-что незавершенное, несделанное,

не досмотренное до конца, ему еще предстояло обойти всю деревню, расспросить, не собирается ли кто в горы, чтобы пригнать оттуда коней или привезти сыр, поручить, если повстречает кто-нибудь его восемнадцатилетнего внука Георгия, передать, так, мол, и так, на этот раз дед твой в самом деле помирает (именно так и следует сказать) и перед смертью желает видеть тебя, так что, коли сидишь — вставай и отправляйся в дорогу, а коли стоишь — бегом беги, не огорчай его напоследок, постарайся застать живого. Он пойдет! Немедля побежит, не оглядываясь, вскочит на коня — и в дорогу! Махаури верит, что все будет именно так. Не верил бы, не стал и вестника разыскивать, да и о Георгии не вспомнил, лег бы безропотно в свою постель и с любопытством стал ожидать — какова же она на самом деле, эта смерть — кончина, которую поджидал столько времени и о которой только и думал.

Осталось лишь найти вестника...

Да, разумеется, это Шалико, пастух Шалико!

Позавчера попался ему на глаза Шалико, встрепанный, тощий, в ярый летний зной облаченный в темную гимнастерку, с неизменной кизиловой палкой в руке. В деревне посмеивались над Шалико — этой палкой, мол, грозит кому-то, просто пока еще не решил окончательно, кого именно отдубасить. И нельзя осуждать односельчан, — сколько себя помнят, сколько помнят Шалико, он неизменно держал в руке палку. Ничего не скажешь, деревня во многом разбирается, понимает, что если уж взял палку и сорок лет не выпускаешь ее из рук, значит, хоть однажды должен ею воспользоваться, хоть раз стукнуть кого-то, иначе и впрямь смешно столько времени таскаться с нею.

Сейчас Махаури нужен был Шалико, нужна его палка!

Перед конторой сидели мужчины, и он громко спросил:

— В горы никто не собирается?

Все покачали головами — никто не собирался.

Потом он зашел в парикмахерскую.

Парикмахер брил толстяка Сандро, и Махаури спросил, хоть тотчас пожалел об этом:

— В горы не собираешься?

— Что я там потерял! — надул Сандро намыленные щеки.

Как видно, никто не собирается, подумал Махаури и испугался.

Если никто не поднимается, если не найдет никого передать весточку, придется самому в путь собираться.

При одной мысли об этом он почувствовал слабость в коленях.

— Только Шалико может мне помочь! — снова сказал Махаури и свернул к нижнему краю села.

Издали донесся шум — кто-то ругался.

Это Шалико ссорился с Нестором. И сюда зря пришлось тащиться, — подумал Махаури.

— Из-за своих ослов поругались, — объяснила ему соседка, притулившаяся к калитке.

Махаури ничего не понял.

Соседка догадалась и шепнула:

— Несторов осел все время нападает на Шаликоину ослицу...

Тогда и сказал себе Махаури, что в мире все по-прежнему идет своим чередом, и никому нет дела до него, никто из-за него не пойдет в горы. Желание Махаури повидать внука перед смертью могло показаться людям смешным и вздорным.

— Отправлюсь-ка обратно домой, — решил он, но не смог заставить себя повернуть назад.

У Шалико и Нестора рубахи распахнулись до пупа.

Вот-вот штаны свалятся...

По лицам катился пот.

Где же та знаменитая палка? Да вот же она, тоже принимает участие в ссоре, разве что ударить не решается, еще время не пришло.

Может, хоть сейчас он пустит ее в ход, — подумал Махаури и улыбнулся.

Эта улыбка и не позволила ему повернуть к дому.

Рассмеялась и женщина, заговорщически прошептала:

— Посмотришь, если не стукнет палкой...

Махаури оглядел двор и снова улыбнулся, на этот раз по иной причине.

Ругались не Шалико и Нестор, ругался один Шалико.

Отойдя от спорщиков довольно далеко, он услыхал слова Нестора:

— Шалико, ты мой ближайший сосед, не хотел я тебя обижать, нам друг без друга никак нельзя!

(Может, хоть теперь Шалико отбросит прочь свою палку?)

— Слышишь меня?

— Слышу, потому и говорю...

— Что говоришь-то?

— А то, что твою ослиху хочу в невестки взять!

— Тьфу! Сказал же, что ты, что твой осел...

Ссора разгорелась заново.

Абриа Махаури захотелось вновь пройти мимо родника.

Знал, там по-прежнему будет сидеть Нэнэ, снова спросит, как спрашивала столько лет...

— Пусть спрашивает! — вслух произнес Махаури.

Он направился к роднику, как на поле брани, где непременно должен повстречать и победить кого-то. Этот некто и был в ту минуту главной его заботой, неотвязной и вечной. С этой заботой прожил и с нею же предстоит помирать, — подумал Махаури, и ему вдруг так захотелось увидеть Нэнэ у родника, что если бы, упаси Господь, ее там не оказалось, он отправился бы прямиком к ней домой, разыскал и сказал: — Спрашивай то, что спрашивала столько лет.—Да нет, и говорить не придется, она сама спросит.

— Здравствуй, Нэнэ!

— Здравствуй, парень!

Махаури набрал в горсть воды и смочил лицо.

Долго стоял, не оборачиваясь.

Потом попил воды и сел на плоский камень рядом с Нэнэ.

Оба молчали.

Нэнэ глядела вдаль.

Только когда Махаури поднялся и вышел на дорогу, она крикнула вслед то, чего он так ожидал:

— От мальчика никаких вестей нет?

— Пока нет, — ответил Махаури.

* * *

В застывшей руке Ники Чабаури горела свеча. Восковым цветом отдавало и лицо покойного. Ника лежал так, как будто отдал Богу душу мирно и спокойно, лег, закрыл глаза и сам взял свечу в руки. Покорно смеживший веки Ника уже вызывал не страх, а только сострадание. Во всем доме стояла тишина. Понурые невестки не произносили ни слова. После захода солнца плакать не разрешалось. Нуца стояла возле двери и улыбалась. «Поди, передай с ним туда какую-нибудь весточку», — шепнула она Абриа Махаури. Махаури сердито оглянулся на нее. Нуца испугалась и вышла во двор. Махаури еще раз обошел покойного без слов, про себя прощаясь с ним.

В марани гомонили люди. Гроб уже был готов. К стенке марани была прислонена крышка гроба. Рядом горделиво стоял Басила. — Когда народ разойдется, его переложат, — проговорил он и ласково провел ладонью по гробовой крышке, словно всадник гладил своего скакуна. Надо идти домой, подумал Махаури, но постеснялся и остался на месте. Он чувствовал дрожь в коленях, не замечал ни свечей, ни гроба, и вновь подошел к Нуце. Веселая Нуца, казалось, принадлежала какому-то иному миру, да и его уводила за собой.

Нуца не могла себе простить, что в ту минуту, когда бедолага Ника испускал дух, ее не было рядом, чтобы увидеть все собственными глазами. Стоя в толпе женщин, она громко сетовала на свою судьбу: почему именно тогда отлучилась, вернее, почему именно тогда понадобилось послать ее за Махаури. Соседки успокаивали ее: — Лишь бы ты сама была жива-здорова, пусть недожитые Никой дни тебе добавятся... Нуца твердила свое: каким бы злым и грубым ни был покойный, но я любила его. Женщины шикали — говори, мол, потише, не на свадьбе ведь, всем тебя слышно. Нуца оглядывалась вокруг — кто это меня слушает, у всех свое горе — снова оборачивалась к соседкам.

Кто-то отвел ее в сторону.

— Правда, бранился он перед смертью? — услыхал Махаури.

— Бранился, да еще как!

— Как бы не увел кого-нибудь за собой...

— Мне-то что, обо мне он там не вспомнит.

Ее окликнули, и Нуца побежала к маране.

Мужчины шли чинной чередой, обходили кругом тело покойного и направлялись обратно к калитке. Женщины толпились во дворе. Нуца сновала взад-вперед, как сорока, и ее приглушенный голос доносился то из одного конца двора, то из другого.

Не может быть, чтобы Нэнэ не пришла, подумал Махаури.

Но ее нигде не было видно.

Махаури окликнул Нуцу.

Нуца обрадовалась, что понадобилась ему, улыбнулась и подошла поближе.

— Нэнэ не приходила? — прошептал Махаури.

Нуца рассмеялась.

— Была уже... Как она убивалась, несчастная...

— Чему удивляться... На этой земле никто навечно не останется.

— Разве по Нике она плакала — своего мужа оплакивала... Я чуть было не сказала: хоть одну слезинку и по этому бедолаге пролей.

Нуца сорвалась с места, спеша навстречу входившим во двор женщинам.

Хмурые, обряженные в траур женщины, не поздоровавшись ни с кем и даже не взглянув на Нуцу, стали подниматься по лестнице. Навстречу им спускались другие женщины, движение застопорилось, и Нуца крикнула — расступитесь, мол, или поднимайтесь, или спускайтесь.

Махаури вновь почувствовал дрожь в коленях.

Оглядевшись вокруг, он опять захотел пойти домой.

Нуца-чертовка поняла все! Встав рядом, шепнула:

— Иди себе, что тебе тут делать?

И правда пойду, подумал Махаури, но тут же вспомнил:

— Потому ведь и рассердился я на бедного Нику! А эти болтают, трижды, мол, побил...

— Что ты сказал? — спросила Нуца.

— Ничего, так, вспомнил что-то...

С нижнего конца деревни донесся звук гармони.

— Началось!

Нуцыны глаза блеснули в лунном свете.

— Началась свадьба!

Нуца засуетилась, взбежала по лестнице, заглянула в комнату, где лежал покойный, и тут же выбежала обратно, растолкала женщин, толпившихся на лестнице, и засеменила к калитке. Добежав до нее, стала глядеть на дорогу. Не выдержит, убежит, — подумал Махаури, но Нуца не убежала. Стояла и пересчитывала людей, небось, думала, — чего это все по Нике горевать стали, — догадался Махаури, — идут и идут без конца, когда это кончится... Только народ разойдется, она дернет на свадьбу! А почему ей и не пойти туда? Что здесь делать? Глядя на окружающих, Махаури подумал: из моих сверстников тут больше не осталось никого... А если кто еще жив, каждую минуту ждет смерти... Почувствовав себя лишним, он снова сказал себе: — Пойду-ка домой, чем я, стоя здесь, Нике могу помочь! Абриа снова стал оправдывать Нику за то, что ушел тогда, в ту ночь. Вновь упрекнул себя — кто дал мне право обижаться на него, разве он обязан был сидеть с чужим мертвецом ночь напролет?! Ему казалось, что случившееся той ночью здесь известно всем, потому и судачат — трижды, мол, побил его... Он спрятался в темный угол двора и понурился, словно задремал, отринутый всеми.

Тогда и увидел он Мартиа.

Если кто мне поможет, только он, подумал Махаури и направился к Мартиа.

Мартиа мял в руке шапку и, вытянувшись по стойке смирно, глядел куда-то, не видя никого вокруг. Он не знал, куда деть свои длинные руки. Привыкший вечно жить в горах, вдали от всех, он чувствовал себя неловко в этом многолюдье и все поглядывал в сторону калитки, словно ожидая, когда народ начнет расходиться, чтобы и ему отправиться следом и вернуться сюда, только чтобы помочь вынести гроб с бедолагой Никой. Увидев Махаури, он обрадовался ему, словно избавителю, взял его за руку и отвел в сторону.

— Отчего у тебя руки дрожат, Абриа?

Махаури испугался и вырвал свою руку.

Он не любил, чтобы заглядывали ему в душу.

Мартиа хотел что-то сказать, но оглянулся по сторонам и промолчал, словно застеснялся людей.

Спрошу-ка я его про лошадь, — решил Махаури. Тут Мартиа вновь взял его за руку и спросил:

— Не знаешь, кого он бранил перед смертью?

Махаури опять почувствовал острую жалость к бедняге Нике.

Вся деревня судачила о Нике, отправившемся в последний путь с бранью и руганью.

— Боялся он! — громко проговорил Махаури.

Мартиа огляделся вокруг — не услыхал ли кто.

Но поблизости не было ни души, никому не было до них дела.

Мартиа, опустив голову, прошептал:

— Чего было бояться?

— Не знаю чего, но он боялся, — повторил Махаури.

Нет, решил Махаури, не стану просить у него лошадь и вообще ничего больше не скажу, — и направился поближе к людям.

Махаури глянул на дорогу. По-прежнему женщины судачили о чем-то вполголоса. Нуца сновала от толпы соседок к марани и обратно, мужчины стояли возле калитки... Но всех разбросанных там и тут людей мучил один вопрос: почему бранился бедолага Ника или, по крайней мере, кого он бранил... Только это волновало сейчас деревенское общество и, наверное, будет волновать до тех пор, пока не совершит свой последний путь умолкнувший навеки Ника и деревня не посчитает выполненным свой долг, пока все не пройдет так, как проходило тысячу раз, и пока деревня не сможет сказать сама себе, что в конце концов кончина Ники была одной из обычных кончин, ничем не примечательной, ничем не запомнившейся... Произойдет это спустя пару дней, хотя Махаури был уверен, что все должно завершиться сегодня же. Во вчерашних раздумьях Махаури Нике не суждено было умереть. Только сейчас показал себя Ника Чабаури, взбудоражив весь народ. Люди сейчас могли думать только о смерти, боялись только ее! Один лишь Махаури не боялся. Он понял, что все произойдет так же просто и обыденно, как восход или закат солнца. Махаури смотрел на все с хладнокровием человека, однажды уже побывавшего на том свете и вновь собирающегося отправиться привычным путем. Им кажется — великое дело! Пусть себе кажется, ничего от этого не изменится... Если бы менялось что, Махаури пожалел бы их, поднялся на

какой-нибудь взгорок и сказал бы этим перепуганным людям, что смерть страшна, сама по себе она трудна и нелегка, что самая великая тайна на свете — это достойно встретить смерть. И каждое живое существо однажды должно приобщиться к этой тайне, чтобы понять до конца, для чего появилось на свет и для чего жило.

Через пару дней и меня не станет, — подумал Махаури и посмотрел на Мартиа.

Мартиа явно боялся чего-то, и Махаури пожалел его.

Они не представляют, как все просто, — снова подумал он.

Издали вновь донесся приглушенный голос гармони. Махаури посмотрел вокруг — никто, кроме него, не слышал звуков музыки.

Почему я начал все преувеличивать! — рассердился Махаури сам на себя и прямо спросил Мартиа:

— Твоя лошадь в горах?

Мартиа оживился — разговор со смерти перешел на лошадь, на привычные дела:

— Чего ей в горах быть, здесь она.

— Одолжи мне на день.

Взгляд Мартиа застыл в одной точке, и Махаури понял, что для этого человека одолжить ему лошадь так же страшно, как встретить саму смерть. Мартиа бормотал что-то, но Махаури уже не слушал его, сожалея о том, что попросил у него лошадь, тем более, что она вовсе не нужна ему. Запас сил, необходимых, чтобы подняться на лошади в горы, к пастушьей стоянке, Махаури сохранял, словно старое вино, которое может понадобиться завтра, и только тогда он снимет с кувшина крышку, зачерпнет ладонью ту сбереженную силу и отправится в путь. С чего он заговорил о лошади, кому она нужна? Да и вестник для чего ему понадобился? Он сам сделает все, что нужно, молча, тихо, не станет ни для кого посмешищем, никому не позволит пожалеть себя... А этот Мартиа, или как его там, испугался, что он силой отнимет его лошадь, и вприпрыжку поскакал к себе домой.

Махаури оглянулся вокруг и засмеялся.

Веселой Нуцы нигде не было видно.

Уже как следует стемнело, и далекий звук гармони стал слышнее.

Народу во дворе Ники Чабаури поубавилось.

Пойду-ка, — подумал Махаури, — взгляну на него еще разок, — но, дойдя до лестницы, повернул обратно.

Уже ни Нике Чабаури, ни Абриа Махаури не нужно было, чтобы он поднимался.

Махаури побрел к калитке.

Возле калитки стоял гробовщик Басила.

Он успел как следует набраться, и Абриа отвернулся от него.

— Добрый вечер, Махаури.

— И когда только ты успел?

— Чего тут успевать — один черпак нужен, больше ничего...

Махаури пошел к дороге.

Басила последовал за ним.

Махаури подумал, — скажу, чтобы шел своей дорогой, оставил меня в покое, — но пожалел Басила и ничего не сказал.

Звуки гармони и бубна становились все громче.

— Слышишь?

— Слышу... Ну и что?

Басила икнул и сорвал с головы шапку.

— Меня не позвали!

Махаури еще больше пожалел его и улыбнулся:

— Всех же не позвали бы.

Басила глянул на него и крикнул:

— Я не все!

Махаури по-прежнему улыбался:

— Завтра позовут, близких завтра приглашают.

Басила не поверил, сердито скомкал шапку, потом натянул ее на голову и угрожающе вскинул кулаки:

— Погодите, понадоблюсь еще вам!

Махаури смеялся, а Басила кричал:

— Ты-то чему смеешься?..

Потом, обиженный, отвернулся и пошел проселком.

Махаури посмотрел и снова увидел Мартиа. Он куда-то спешил, оглядываясь по сторонам.

На свадьбу спешит, решил Махаури.

Да тут и гадать нечего, куда он торопился.

Махаури засмеялся. Мартиа оглянулся, увидел Махаури и, сдерживая шаг, словно шел по каким-то

важным делам, завернул за угол и скрылся в зарослях малинника. Махаури свернул за ним, до него доносилось одышливое сопение Мартиа. Тот, решив, что Махаури обогнал его, снова повернул к главной дороге. Махаури шел за ним. Мартиа почти бежал, пока не сообразил, что ему никуда не скрыться, и придется либо распроститься со свадьбой и возвратиться домой не поужинав, либо признаться в своем намерении. Он остановился и, дождавшись Махаури, сказал:

— Черт с ней, бери лошадь...

Махаури рассмеялся:

— Не нужно теперь, я передумал.

Мартиа закричал:

— Все вы ненормальные вокруг!

Махаури вновь завернул на проселок.

Когда Мартиа совсем скрылся из глаз, Абриа вышел на дорогу.

Откуда-то повеяло прохладой. В небе висела луна... Звезд не было видно. Из лощины доносилось квакание лягушек. За забором кто-то крутил радиоприемник. Блеснули лучами фары и пронеслись мимо, кто-то крикнул:

— Здорово, Махаури!

Кто это мог быть? — думал Махаури, продолжая свой путь.

Вот и этот день закончился. Махаури все еще жив, он не стал для него последним. Снова не оправдалось предчувствие старика. Да и что значит один день в конце концов! Ничего не значит... День туда, день сюда, Махаури все равно умирает, а случится это нынешней ночью или завтра утром, от этого ничего не изменится. С утра казалось — все, кончено. А он — вот он, стоит на проселке и глядит на луну в небе. Не засну нынче ночью, — думал Махаури, — присяду где-нибудь на пенек и буду смотреть на луну, пока не скроется за орешником. От этой мысли ему вновь припомнилась кушетка и постель, кушетка, что так вцепилась в него утром, не отпускала от себя, упрямо нашептывала, что все уже кончено и не имело смысла подниматься с постели. Как то есть не имело смысла! Перед его глазами столько произошло за один день... Столько людей повидал, столько повеселился, а теперь вот стоит и глядит на луну... Если он и впрямь не умрет этой но-

чью, да еще к тому же услышит соловья, скажет сам себе: вот еще один день из тех, память о котором, если тот свет и впрямь существует, Махаури непременно унесет с собой, чтобы подробно рассказать Маико, каким выдался его последний день, что случилось, из-за чего люди волновались и из-за чего ссорились, чему радовались и чему огорчались, и как потом взошла на небосвод луна, заронив в его душу желание провести без сна всю ночь, любуясь ею. Махаури вновь захотелось поскорей попасть домой и он прибавил шаг, словно давно не был дома. Ему казалось, что минута блаженства, испытанная на проселке, останется в нем, сохранится не только до дома, но и до самой смерти, проводит его в последний путь. Махаури шел, и не было уже мыслей ни о смертном одре, ни о самой смерти. Все вокруг стало вечным — и земля, и небо, и обитатели земли, и властители неба. Может, и права невестка, может, вовсе не помираю я, — подумал он и остановился. Улыбнувшись своим мыслям, сказал: — Поблагодари Бога за то, что подарил еще хоть один день! — и собрался продолжить путь. Только куда там! Всю улицу заполнили звуки бубна и гармони...

Махаури огляделся, — да, вот она, свадьба за оградой ярко освещенного двора полевода Ладо. Дружки уже вернулись, приведя невесту. Гости расселись за столами, расставленными под ветвями деревьев, и молчали, прислушиваясь к музыке, дожидаясь той минуты, когда можно будет ублажить желудки, чтобы потом залить их вином, уподобившись если не сорокапудовому чану, то, по крайней мере, бочонку, в котором кипит, булькает и переливается хмель. В такие мгновения обычно воцаряется безмолвие, словно замирает река перед рассветом. И именно в это время оказался Махаури перед домом полевода Ладо, словно незваный, разобиженный гость, которому остается лишь издали глядеть на свадьбу, копя в душе обиду.

Были тут, помимо Махаури, и другие незваные гости. Босоногий мальчишка лет двенадцати, девочка с растрепанной копной волос и еще один мальчик, поменьше, в разорванной рубашке и с рогаткой в руке. Рогатка-то ему для чего понадобилась! — улыбнулся Махаури. Эта рогатка придавала троице, уставившейся на свадебное пиршество, вид заговорщиков, словно они

дожидались, когда настанет время окружить свадебный двор и крикнуть всем собравшимся: — Руки вверх! Все это должна была совершить рогатка мальчишки в разорванной рубахе. Ребята собирали камни и складывали их один на другой под оградой двора Ладо. Вот и камни для чего-то собирают! Впрочем, понятно, чтобы залезть на них и заглянуть во двор. На эту ограду (как говорится — птице не перелететь!) даже этим ловким, как кошки, ребятишкам не взобраться. Но нет, — взобрались! Первым залез на кучу камней старший мальчик, уцепился за выступающий край кирпича и взобрался наверх. За ним, не говоря ни слова, полезла девочка и так же легко забралась на ограду. Внизу остался только самый маленький со своей рогаткой, и друзья руками делали ему сверху знаки: лезь, не бойся! отсюда все отлично видно! Мальчик же стоял и молчал, как видно, не сознавая силы своего оружия.— Давай, — крикнула девочка, маленький мальчик подпрыгнул и уцепился за выступ ограды. Махаури подошел, поддержал его ногу, потом подставил плечо и подсадил на ограду. Мальчик улыбнулся ему — это была улыбка победителя. Отсюда и правда все было видно как на ладони. Ребята сидели на ограде, глядя на свадьбу, и показывали Махаури, — не бойся, мол, лезь и ты, зрелище стоит, чтобы на него посмотреть. Младший мальчишка целился в гостей из рогатки. Девочка шлепала его, чтобы он угомонился, а сама показывала Махаури: поднимайся, тут еще есть место. Махаури смеялся, смеялись и ребята. Казалось, они все участвовали в общем заговоре и, пока их сговор не выдали, были счастливы.

Но заговор все же был раскрыт. Из зарослей выглянула Машо, мать Ладо, и крикнула детям:

— А что это за птенчики там расселись?

Птенчики перепугались и собрались бежать, будто их кто-то спугнул.

— Ну-ка, спускайтесь сюда, дело есть, — позвала Машо.

Ребята сверху недоверчиво смотрели на женщину.

— Не бойтесь, спускайтесь!

Старший мальчуган свесился с ограды и спрыгнул во двор. За ним первой опять-таки последовала девочка. Только мальчишка в разодранной рубахе оставал-

ся наверху и не выпускал из рук рогатки, недоверчиво поглядывая на Машо.

— Прыгай, парень!

Машо была счастлива, весела и добра. Младший мальчишка не доверял ее доброте и не спускался с ограды.

Старший крикнул:

— Слышишь, тебе говорят — спускайся!

За ним подала голос девочка:

— Не бойся, не побьют!

Тогда, решившись, спрыгнул во двор и он.

Гармонист и барабанщик старались вовсю. Тамада провозгласил тост за жениха и невесту. Гости тотчас опорожнили свои стаканы. Это был первый тост за молодых, и стаканы положено было осушить до дна, впрочем, как и все последующие.

Где же Нуца? — подумал Махаури.

Ее нигде не было видно.

А говорил — не позвали! — улыбнулся про себя Махаури, увидев рядом с женихом и невестой сморщенное лицо гробовщика. — Для чего такому приглашение?!

Махаури залез на груду камней, принесенных ребятишками. Теперь была видна вся свадьба, и он подумал: постою так немного, погляжу на людей, а там отправлюсь на свою кушетку.

— Кто это там?

Позвала Машо, конечно, она, кому же еще? Махаури ничего не ответил, спустился на землю и спрятался в тень. Машо больше не звала. Махаури остался в одиночестве.

— Не увидела...

Он даже не знал, радует это его или огорчает.

Ребята веселились вовсю. Радостный мальчик тащил за собой растрепанную подружку и парнишку в порванной рубахе, куда указала бабушка Машо. Под развесистым инжиром на траве лежала длинная доска, накрытая белой скатертью, уставленная всякой снедью. Во главе сидел юноша постарше, по обе стороны от него — всякая мелкота. К ним-то и устроили вновь прибывших «гостей». Все трое — и тот парень, что постарше, и девочка-растрепа, и мальчик в разорванной рубахе — засмущались. Бабушка Машо подтолкнула

их к столу, и они — так же дружно, все трое разом — потянулись за едой, очень скоро освоившись и позабыв о всяком смущении. Старший из троих громко хохотал, девочка зыркала глазами по сторонам, малыш же сидел прямо и хмуро, с царственной степенностью делая свое дело.

— И для мальцов стол накрыли...

Махаури стоял и смотрел. Только это мне и осталось, соглядатаем стал, — подумал он, вспомнив, как поднялся с постели, последовал вслед за веселой Нуцей, чтобы поспеть, пока не отошел Ника Чабаури, и проводить его, как того требовали обычай и традиции деревни. Не успел он, опоздал, смерть взяла с собой Нику Чабаури без его, махауревской, помощи, показав, что у него самого никаких дел здесь уже нет, что близится пора и ему уходить, а если и оставалась еще пара дней, то прожить их суждено было только соглядатаем, больше ни на что он уже не годен.

— Хоть бы тот парень здесь был...

Сказав это, он вновь почувствовал неодолимое желание пойти домой. Кушетка, с которой он так тяжело поднялся нынче утром, сейчас вновь притягивала его. Однако страх смерти или, вернее, страх умереть, не увидев того парня, заставлял Махаури оставаться здесь, среди чужих людей, соглядатаем чужой свадьбы, словно смерть могла настигнуть его только на кушетке, а здесь, на освещенном лунным светом проселке, она не в силах была разыскать его.

— Кого же послать, с кем передать весточку?..

Махаури опять посмотрел туда, где сидела молодежь, и улыбнулся. Девочка по-прежнему глазела по сторонам, маленький мальчик так же царственно, степенно и чинно уплетал свадебное угощение. Тамада возглашал здравицу за дружков жениха и подружек невесты. Девочка-растрепа опрокинула бутылку лимонада, старший парень отвесил ей подзатыльник, а младший грыз куриную ножку, даже не оглянувшись на них. Бабушка Машо, пожурив девочку, крикнула:

— Ну-ка, заканчивайте, не до утра же вам здесь сидеть, отправляйтесь спать!

Ребята поднялись, только младший парень продолжал сидеть так же прямо и грызть куриную ножку.

В это время заиграли плясовую.Какой-то задири-

стый юноша из невестиной родни прыгнул в освещенный круг и раскинул руки. Он был огромен и неуклюж, как медведь, и, наверное, так до утра и плясал бы один, без партнерши, если б из марани не выбежала с криком Нуца:

— Пригласи кого-нибудь, растяпа!

Парень подошел сперва к одной девушке — та отвела глаза в сторону, потом к другой, но и она, опустив голову, отказала ему.

Но танцор не расстроился, да и пляску не прекратил: мне, мол, и без вас неплохо. Нуца хлопала в ладоши, то старалась завести женщин, показывала — хлопайте, что же вы, то подбегала к юным скромницам, пытаясь вытолкнуть в круг кого-нибудь из них, — давайте, не жмитесь по углам, не то так и останетесь век в девках вековать...

Махаури по-прежнему стоял возле забора.

Увидите, если сама в пляс не пустится...

Как только эта мысль пришла в голову, он уже не мог никуда уйти — ну-ка, оправдается мое предположение? ну-ка, сама в пляс пойдет или дождется приглашения? Махаури улыбался, вытягивал шею, чтобы не пропустить, что происходило за забором, и не думал больше ни о чем, кроме того, когда Нуца раскинет руки и засеменит по кругу. Она не удержится, не может того быть! Иначе не была бы она Веселой Нуцей, а Махаури — человеком, который уж кого-кого, а ее как облупленную знает! Уж он-то был уверен, что без Нуцыной пляски нынешняя свадьба не обойдется!

Нуца же словно и вовсе не собиралась плясать. Она подзадоривала других, сновала среди женщин, подталкивала юношей — смелей!

Махаури даже огорчился.

Оторвавшись от ограды и повернувшись к свадьбе спиной, стал ругать себя — совсем дитем малым стал, старик. Из-за Нуцыной пляски стою здесь в полночь и жду чего-то, словно уже ни смерти нет, ни вчерашних раздумий о том, что теперь-то уж ее на самом деле не избежать.

Он снова вспомнил свою кушетку и рассердился на себя — чего боишься, иди и ложись, дожидаясь, как ждут все другие, и она придет, никуда не денется.

Однако стоило ему сделать шаг, как снова раздал-

ся визгливый голос Нуцы, и Махаури обернулся, опер-ся о кирпич ограды, залез на груду камней и заглянул в освещенный двор.

Широко раскинув руки, Нуца плясала «давлури»!

Веселая Нуца!

Счастливая Нуца!

В несчастный день рожденная и все же неизменно улыбающаяся Нуца!

— Ну как, добился своего, доволен теперь?

Махаури улыбнулся своим словам, испугался, как бы кто не услышал их, и огляделся.

Никому не было дела до него, и он снова бросил вдогон Нуце:

— И тебя достанет беззубая!

А Нуца улыбалась и была по-настоящему счастлива.

— В одиночестве помрешь, оплакать некому будет!

Нуца улыбалась всему миру.

— Только и скажут, веселая была Нуца!

Махаури брел по проселку. Луна скрылась за верхушками орешин, и на дороге было темно. Звуки бубна и гармони становились все глуше. В наступившей тишине Махаури снова подумал: пойду-ка, поблодрствую ночь возле бедолаги Ники, — но потом махнул рукой и направился к своей калитке. Теперь бдение возле Никиного тела уже ничего не значило, потеряло всякий смысл.

Как найти того парня, как послать весточку?..

Махаури стоял перед своей калиткой, как посторонний. Так стоит нищий странник, раздумывая, окликнуть хозяев или нет, выглянут ли на зов, вынесут ли горбушку хлеба и предложат ли кров хоть на одну ночь, прежде чем он продолжит свой путь и отправится дальше, не зная, что его ждет и к какой калитке подойдет завтра.

* * *

Утром его вновь разбудила рассветная звезда. С трудом поднявшись с кушетки, хлебнул воды из кувшина, отломил хлеба и встал в дверях марани. Раз уже поднялся, значит, и сегодня со мной ничего не

случится, — подумал он и прислонился к стене. Горизонт постепенно светлел. Наступал новый день, последний день Махаури, и теперь уже не имело никакого значения, наступит ли этот последний день сегодня, завтра или послезавтра... Все равно Махаури жил думой о последнем дне.

— И это называется жизнь?! Брожу один и ожидаю... Сам не знаю, чего ожидаю...

Деревня еще была объята сном.

Птицы распевали свои зоревые песни.

Нет, то была не песня, а утренняя молитва.

— Теперь пошли! — сказал Махаури неведомо кому.

Этот неведомый собеседник, или потаенная дума Махаури, стоял рядом, готовый отправиться в путь и дожидаясь лишь его слова.

Махаури положил в хурджин два хлебца-шоти, небольшой кусок сыра, пару чесночных головок и лук...

Огляделся вокруг, ища бурку.

— Где моя бурка, невестка?

Никто ему не ответил.

— Куда бурку дела, говорю?

Голос Махаури разбудил дремавшее село. Дверь дома распахнулась, на балкон вышла невестка.

— Чего раскричался ни свет ни заря?

— Бурка где, спрашиваю?

Невестка спустилась по лестнице, встала перед Махаури, уперев в бока руки, и замерла. Перед ней был прежний Махаури. Вернувшийся с того света, воскресший из мертвых Махаури!

Удивленная невестка и Махаури смотрели друг на друга.

— Говорила же, никакая смерть тебя не возьмет!

Махаури не отводил взгляда от невестки.

Какие у нее острые, злые глаза, да и сама вся черная! И на нее я должен глядеть перед смертью?

Повернувшись к невестке спиной, вошел в марани и стал искать ружье. Здесь еще царил сумрак, предметы невозможно было различить. Махаури махнул рукой, попытался найти хотя бы топор, но тоже не смог. А человек, отправляясь в путь, непременно должен захватить с собой, если не ружье, то хоть топор.

— Перед смертью я должен смотреть на эту бесстыдницу?

Вдруг все разом осветилось, прояснилось, и только на кушетке остался клок темноты. Перед Махаури лежала длинная и ясно видимая дорога. Только в самом ее конце распластался серый туман, и к этому неведомому, еще нерассеявшемуся туману неодолимо тянуло Махаури. Да, человек, вставший на дорогу, если только он настоящий мужчина, непременно должен был, по убеждению Махаури, взять с собой ружье, к тому же — заряженное единственной пулей. Никому не могло быть ведомо, зарядил ею ствол человек или дьявол. Однако ружья, неизменно висевшего на стене марани, неприкосновенного для всех и как бы вечного ружья, нигде не было...

* * *

И Махаури ушел...

О том, что произошло дальше, долго шел он или коротко, автор вымышленной истории умалчивает, поскольку думает, что та часть пути, которую прошел Махаури, уйдя из дома, не имеет для повествования существенного значения. Для сочинителя истории главной теперь представляется картина, которую он увидел однажды на берегу реки, в намокшей от дождя лощине. Да, теперь уже главной стала эта картина на речном берегу, куда должен прийти и Махаури, чтобы где-нибудь в уголке занять свое место среди семи персонажей. Более того, остальные шестеро с той картины еще даже контурно не обрисованы. Первым из всех должен появиться Абриа Махаури... Так решено самой жизнью, ее сюжетом, ее композицией, и так же решил автор повествования. Махаури—мужчина, к тому же—отправившийся навстречу смерти. Многих ли мы знаем вокруг, собственными ногами отправившихся навстречу смерти, да еще не ведая туда ни пути, ни тропинки... Эти слова принадлежат повествователю, то есть автору вымышленной истории. И произнесены они были еще до начала самой истории, до того, как повествователь решил, кто именно из семерых должен был в конце концов появиться первым.

На «картине у речного берега» первым появился

Махаури и уселся на большом замшелом камне. Накануне в горах прошел сильный дождь, и река вышла из берегов. Вокруг пока никого не видно, однако вскорости непременно появятся и другие. Иначе быть не может, дорога ведет как раз сюда, на берег горной реки, а пока не распогодится и вода в реке не спадет хоть немного, на другой берег не перейти. Да, согласно всем законам композиции скоро должны подойти и остальные шестеро, однако, Абриа Махаури о композиции и не думал.

— Передохну немного...

Вокруг никого не было видно, и Махаури принялся разматывать обмотки.

И тогда донесся шорох из леса.

Оглянувшись, Махаури увидел девочку.

— Здравствуйте, дяденька, — сказала она.

Махаури кивнул в ответ.

— Садись, передохни немного...

Девочка присела на камень.

Какое-то время она смотрела на реку, потом оглянулась на лес, словно там кто-то за ней гнался.

Теперь уже на «картине у речного берега» было двое — Абриа Махаури и испуганная девчонка, появившаяся из леса. Она, стесняясь, села рядом с Махаури, но все время испуганно посматривала в сторону леса.

Махаури молчал.

Девочка не сводила с него глаз.

— Вода к вечеру спадет? Как ты думаешь, дядя?

— Не похоже...

Молчание вновь нарушил голос девочки.

— Я в Чалаури иду...

— Зачем?

— Сама не знаю, — ответила девочка.

— Я тоже иду туда, — сказал Махаури.

Глава вторая. БАЛЛАДА ШОПЕНА

Вся история, с самого начала и до конца, происходила так, словно все заранее было расписано на небесах, и Элисо не оставалось ничего иного, как только добросовестно следовать предписанному и прилежно испол-

нять ту роль, которую ей поручили, даже не спросив согласия. И она не противилась! История шла своим чередом, не шла, а мчалась, не давая Элисо перевести дух. Происходившее напоминало необъезженного коня, и этому коню кто-то вверил судьбу Элисо, а затем отошел в сторону — что хочешь, то и делай. Скакун несся, Элисо пыталась соскочить на ходу, закричать, позвать на помощь, но не могла издать ни звука. В конце концов подчинилась, отдавшись на волю судьбы, и тогда все разом кончилось. Девушка осталась одна в чистом поле. Скакун умчался куда-то, скрылся в лесу или ускакал за реку. Кругом никого не было видно, и перепуганная девочка не знала, куда идти и чего ждать, не знала, выжжет ли августовский зной ее исстрадавшуюся и измученную душу или очистит от всех грехов хлынувший с хлябей небесных ливень, позволив хоть на мгновение позабыть все, что случилось.

До того все происходило просто и обыденно. Однообразные дни сменяли друг друга, и в жизни двадцатилетней девушки не случалось ничего, что позволило бы думать о каких-нибудь, хоть мало-мальски значительных переменах, надеяться, что хоть чуть-чуть сдвинется занавеска, приоткрыв окошко, за которым трепетала жизнь, нарисованная мечтами и надеждами девушки. Хоть бы ее вовсе не было, той жизни и тех мечтаний, которые появлялись и исчезали, подобно миражам. Элисо уже прекрасно сознавала, что это — выдуманная, вымышленная жизнь, вычитанная в романах и стихах, померещившаяся в звуках музыки, увиденная с киноэкранов и театральных подмостков, которая и была и не была правдой, ибо сама Элисо за все свои двадцать лет никогда не испытывала ничего похожего на то, что испытывают девушки в романах и кинофильмах. Ни разу не повстречался ей тот, которому давно уже полагалось встретиться... Как она его ждала! То, глядясь в зеркало, сетовала на природу, обделившую ее красотой, то ругала сама себя за то, что, увидев чужого человека, сразу тушуется и забивается в уголок, чтобы не попасться на глаза. Другие сами подстегивают свою судьбу... Порою она убеждала себя, что та, иная жизнь, конечно же, вымышлена и не существует в действительности, и придумали ее только для того, чтобы чем-то заполнить, приукрасить подлинную жизнь, по-

казать людям, что существование их не настолько безрадостно и беспросветно, что в жизни есть все — и любовь, и доброта, и счастье, и осуществленные мечты... Надо лишь верить в них...

Стихи погубили меня, — горько усмехалась про себя девушка, когда вспоминала тот день, день первой встречи. Она шла тогда за водой, в руке ее был кувшин, а мысли витали где-то далеко отсюда. В ту минуту она ничего не ждала. Именно в ту минуту появился он!

Да, вначале было слово, и это слово заставило девушку взглянуть в сторону от дороги, еще до того, как она увидела Его. «Шла Тебронэ за водой, за холодной, ключевой...»

Это сейчас кажутся ей слова песни истрепанными и неестественными, сейчас, когда все уже кончилось, и Элисо может сказать: что еще может случиться больше того, что случилось! Тогда же те слова лучом света озарили девичью душу, тем более, что произнесший их стоял тут же, рядом! Такое Элисо воистину видела только в кино или в театре, о таком читала в романах и стихах. Он стоял и улыбался! На нее словно направили ослепительный свет прожекторного луча! Этот луч осветил все кругом, и Элисо блаженно проговорила сама себе: «Он пришел!». Нет, иначе: «Он явился!»

Перед Элисо стоял Он!

Юноша, окруженный светлым сиянием!

До той поры Элисо ничего не знала о нем, она сама бездумно приписала ему доброту и благородство, хотя никакой иной причины, кроме внешнего вида юноши, для этого тогда еще не было... Она не знала даже, кем он был, откуда появился здесь, для чего пожаловал, учился ли он или был работягой. Хоть осуждайте ее, хоть ругайте, но она даже не знала, как его зовут, и сама наделяла его всевозможными благозвучными именами, правда, в конечном счете ни одно из них не оказалось правильным. Облик юноши, его взгляд, губы, все, что она смогла увидеть издалека, в девичьем воображении как бы требовали совсем иного имени. Первое удивление и первый испуг вызвало как раз то, что придуманное в мечтах не совпало с действительностью. Что схожего между теми именами, которыми наделяла его Элисо в мыслях и мечтах, и подлинным, ничего не

говорившим душе, пустым и бессмысленным? Да, только придуманные Элисо в мечтах имена подходили этому чернявому парню в потертых джинсах, и тем более этим глазам, из которых, верила Элисо, исходили лишь добро и ласка. И хоть придуманные ею благозвучные имена не подтвердились на деле, однако подлинное имя вовсе не заслонило их. Поэтому и запретила себе девушка в мыслях называть его по имени, будь оно подлинное или вымышленное, о котором, кроме нее, никто на белом свете не должен был знать, и говорила просто: «тот парень». Элисо полюбила «того парня», и он вовсе не был каким-то чужим и неизвестным; ей казалось, она знала о нем все-все. И с той минуты, когда явился «тот парень», все завертелось совсем так, словно Элисо впрямь стала вымышленным персонажем, от которого ничего не зависело, ничего не требовалось, только безропотное повиновение. Это и пугало ее, и наполняло неизъяснимым удовольствием. Во всей истории было что-то таинственное, необычное, возможное прежде только в мыслях и мечтах.

Она ясно помнила тот день, всю картину того дня, когда все случилось, когда окончился сон и началась явь. Помнила даже то, как палило полуденное солнце и переливались его лучи у окоема. Помнила старика и старуху, собиравших фасоль на косогоре и оберегавших друг друга, словно малые дети. Помнила босоногого мальчика лет десяти, убегавшего от бабушки, которая окликала его из виноградника, а он, словно ищейка, взявшая след, все вертелся, колотя палкой по верхушкам, возле того самого кустарника, где все и произошло, где навеки осталось прошлое, а перед нею оказалась лишь неясная и неопределенная пустота. Об этом десятилетнем мальчишке и сказал как раз «тот парень» — сейчас я его прикончу и труп спущу в лощину, так как сорванец ни за что не отходил от тех самых кустов и не откликался на бабушкин зов... А «тот парень», затаив дух, дожидался, когда мальчишка наконец исчезнет, ибо тогда-то, по всей вероятности, и должно случиться самое главное, чего девушка ждала со страхом, а парень — с волнением и нетерпением желания.

— Убью его! — повторял парень, и Элисо хватала его за руки, потому что в это мгновение из его глаз

исчезла доброта, и вместо нее появилась такая неизъяснимая злость, что девушка впервые почувствовала испуг и подумала: он впрямь может убить мальчишку.

Но все же в памяти яснее запечатлелись те старики, и, собственно говоря, теперь, когда ей все виделось как бы издали, когда все тысячу раз взвешено в мучительных раздумьях, она готова была взвалить именно на них всю вину за все, что случилось. Да, старики по-детски оберегали друг друга, и с косогора, где они собирали фасоль, изливался такой свет доброты и доверия, что девушке в ту минуту казалось, что по всей земле на таких вот косогорах такие же старики собирают фасоль, заслоняясь ладошками от солнца и спрашивая друг друга: «Когда же оно зайдет, проклятое?» Эти старики в мыслях девушки походили на инопланетян, на «книжных стариков», осененных каким-то возвышенным, потусторонним сиянием. Это наполнило девушку неизъяснимой гордостью: все происходило, словно в чудесной сказке.

До его появления девушка была убеждена, что «тот парень» никогда ее не заметит, хотя сама она выделила его с первого же взгляда. Парень приехал из города в село как завоеватель, убежденный, что ему принадлежит весь свет. Элисо не решалась даже глянуть на него открыто. Только тогда, когда внимание парня целиком было чем-то занято, Элисо останавливалась, оглядывалась и позволяла себе окинуть его взглядом с ног до головы, чтобы сберечь только для себя, только для ночных видений облик этого явившегося миру парня...

После этого все и произошло!

Спустя два дня парень снова повстречался ей на том же месте.

— Почему ты так смотришь на меня?

— Вовсе я не смотрю, очень нужно!

— Зачем неправду говоришь?

Ее действительно поймали на неправде, и Элисо в испуге опрометью бросилась к дому.

А «тот парень» крикнул вдогонку:

— Не бойся, я никому не скажу!

Он так сказал это, что Элисо остановилась и стала доверчиво дожидаться его.

— Кому говорить? Плевать мне на целый свет...

Конечно, эти слова не подходили юноше, которого нарисовало девичье воображение, однако в ту минуту она простила ему это. Просто она поняла его так, как самой хотелось. «Плевать мне на целый свет», — ей казалось, это означает лишь одно: кроме тебя, мне целый свет не нужен, ты одна во всем мире, — и это придало парню еще больше таинственности и необъяснимости.

Тот разговор кончился тем, что юноша сказал: как стемнеет, приходи на околицу, встретимся под большой орешиной. Но Элисо ответила, не надейся, мол, понапрасну, я туда и близко не подойду.

— Я-то тебя буду ждать, а ты, как хочешь, — сказал парень и, не дожидаясь ответа, свернул на проселок.

Элисо ожидала сумерек, как судного дня, только не дня, а ночи, хотя сама для себя твердо решила, что и не подумает идти к ореховому дереву. Но она знала, что вся ее твердость может в мгновение рухнуть и испариться, стоит представить стоящего под деревом, истомленного бесплодным ожиданием юношу, представить и пожалеть, и она стрелой помчится к нему, прибежит, бросится в ноги, станет просить прощения.

Если это случится, Элисо навеки станет его рабой.

Но сумерки все не наступали. Ее мать хлопотала на огороде, бранясь без остановки — только и можешь, что дремать стоя, пальцем не пошевелишь... Чтоб тебе уйти и не вернуться, все равно от тебя никакого толку... Хоть бы знать, чего ради забываешь обо всем на свете... Может, пойти, действительно, подсобить матери, глядишь, это проклятое время быстрее пройдет, — подумала девушка и направилась к огороду, но едва углубилась в помидорные грядки и оказалась возле матери, так тотчас испугалась и бросилась назад: здесь ей нельзя думать о «том парне», а не думать она не могла. Больше всего она испугалась, как бы мать не догадалась обо всем. Ей казалось, что она разучилась скрывать мысли и чувства, что все тут же отражается у нее на лбу, — вот и «тот парень» сразу обо всем догадался...

А мать уже посылала проклятия в адрес тех экзаменаторов, которые не поставили ее дочери пятерку. хотя та дни и ночи не отрывалась от книг и даже сама

сочиняла стихи. Потом проклятия настигли и председателя сельсовета, отказавшего девушке в пустяковом месте на почте, даже на должность сортировщицы писем он устроил дочку своего однофамильца, да и с того содрал за это тысячу рублей. Затем проклятия распространились на весь род людской, который преспокойно жил-поживал в двухэтажных домах или раскатывал на «Жигулях». не заботясь о том, чтобы и их маленькому домику уделилось хоть немного Божьей благодати. Не завершился круг проклятий все же на муже, который наплевал на семью, пожалел для устройства дочери даже годичный урожай потратить, помнит только о своем кулачище и заботится лишь о том, где бы надраться, чтобы позабыть о всех заботах жизни. Можно подумать, где-нибудь еще осталось настоящее вино! — причитала женщина, одновременно отбирая помидоры для продажи на базаре и складывая в корзину... Но девушка ничего не слышала. Впрочем, нет, слышать-то слышала, но теперь ей уже было безразлично все, что говорила мать, кого бранила и проклинала, кого обвиняла в том, что у них не было двухэтажного дома, не стояла во дворе машина, да и почему двери того проклятого института захлопнулись именно перед этой девушкой, дни и ночи размышлявшей о стихах, перелагавшей в стихи всю свою жизнь и вовсе не заботившейся о том, что оставалось за ними.

А ночь все не приходила, хотя темнота и не нужна была ей особенно, поскольку твердо сказала себе — я к этой орешине ни ногой, ни в сумерки, ни в самую полночь, пусть слышат это и солнце, и луна, потому что в то время, которое назначил «тот парень», над вершинами деревьев уже должна светить луна. В своих раздумьях, в томительном, расслабляющем ожидании она даже не заметила, как тучи затянули небеса, закрыли солнце, не заметила, что в деревню прокрались сумерки. Сейчас и «тот парень» думает обо мне, ждет не дождется темноты, подумала Элисо, и ради одной этой теплой, согревающей душу мысли стоило родиться на свет, ясна стала ничтожность того, что какой-то там институт захлопнул перед ней свои двери, словно хотел сказать этим — распрощайся со своими мечтаниями и отправляйся обратно, к себе, помогать матери пе-

ребирать помидоры, чтобы завтра утром они выглядели самыми лучшими на базаре.

Наиболее мучительными оказались минуты, когда девушка подумала, что время наконец уже настало, что парень уже пришел к орешине и теперь, наверное, украдкой оглядывается — не видно ли кого чужого. А потом присядет на плоский валун и начнет ждать. Это оказались самые мучительные минуты, но и сладостные, потому что именно тогда девушка окончательно решила — все, одолела и победила! «Тот парень» сидит там, дожидаясь меня, меня и больше никого на целом свете, а я — здесь, и никуда не собираюсь идти... И чтобы доказать самой себе, что она никуда не собиралась, вошла в дом, вынесла поднос и принялась лущить собранную вчера подсохшую фасоль. Мать уже кончила собирать помидоры, сложила их в ящики и отправилась искать водителя, который завтра утром заедет за ней ни свет ни заря и отвезет на базар, поскольку она убеждена, что базар открывается еще до рассвета, и, если хочешь чего-то добиться, нужно поспеть еще до его открытия. Девушка, оставшись одна, продолжала перебирать фасоль с таким облегчением, словно лишь они могли принести ей спасение, — эти красные очищенные горошины, уже закончившие свой век. Созрели, подсохли, прожили свой срок под лучами солнца, найдя последнее пристанище в том маленьком стручке, который так легко отделяется от горошин и так легко уносится ветром. Не было у этих горошин ни глаз, ни ушей, но они привязались к девушке и не отставали — скажи, о чем твои мысли, о нас ты и думать не думаешь, бездумно вороша на подносе трепещущими руками. К счастью, мама, которая могла заметить это и потребовать ответа, ушла договариваться с шофером, чтобы свез ее завтра утром на базар, хорошо, хоть сейчас она осталась одна.

Элисо знала, что мать легко сговорится с водителем, с которым сговаривалась постоянно и которому она же и передала отказ девушки выйти за него замуж. «Из-за моей работы пренебрегла мной!» — сказал тогда шофер, хоть он и вовсе не был для нее просто шофером. Они учились в одном классе, и он считался неплохим парнем. «А сама отправилась сдавать в город, — и что?!» Нет, не сдала, ни одно из ее желаний не

осуществилось, но что ей, Элисо, было делать, ведь не из-за его же работы отвергла она его на самом деле?! Бог свидетель, если бы любила, ни за что бы ему не отказала... Этому учили ее книги, стихи, которыми зачитывалась ночи напролет, этому учили кинофильмы, которые она смотрела в развалившемся сельском клубе или по телевизору. Повсюду только и было разговоров, что о любви, все о ней мечтали, стремились к ней, ждали, жизнь без любви была не жизнь. Да и для нее, для Элисо, девушки, провалившейся на экзаменах в институт, жизнь без любви не была жизнью, и вот она пришла... Девушка полюбила. Полюбила — и все же оставалась на месте, не бежала сломя голову туда, во мрак и тьму, за околицу, к орешине, где сидел и ждал Элисо «тот парень», теперь уже раздосадованный или рассерженный, потому что ее опоздание перешло все границы. Но и это было любовью — это упрямство, эта борьба с собой. Может, именно это и было любовью, может, потому и не шла девушка к «тому парню»...

Сумерки становились все гуще.

Ночь наступала, и девушка знала, что вот-вот должна появиться мать, обрадованная тем, что сговорилась с водителем, и не с кем-нибудь, а с тем самым, кого отвергла эта гордячка и кто тем не менее до сих пор дожидался ее: может, мол, передумает, может, провалившись на экзаменах, не станет больше пренебрегать шофером.

Вдруг, когда девушка уже окончательно сказала себе — все, одолела свое желание, велик был соблазн, но не так уж всесилен и неодолим, — во дворе зашумели ореховые деревья, полил мелкий дождь. Дождь не имел никакого отношения ни к взволнованному и сердитому ожиданию «того парня», ни к ее страсти, которая, как ей казалось, была окончательно побеждена, раз она теперь так спокойно перебирает фасоль. Дождь непременно должен был полить, даже если бы эта девушка и тот парень вообще ни разу не увиделись друг с другом. Решение о дожде было принято на небесах, поскольку лето, которое выдалось таким знойным и измучило засухой всю деревню, должно было завершиться дождем. Но как раз происходящее помимо нашей воли нередко становится причиной наших поступков. Этот дождь подтолкнул Элисо, первые же ка-

или растопили ее окаменевшее сердце (эти слова она где-то читала прежде), вызвали жалость к юноше, который стоял в эту минуту где-то за деревенской околицей, и его даже под раскидистой кроной старой орешины мочил дождь.

— Стоит в такой дождь и дожидается...

Он, конечно, и думать не думает вернуться домой, сказал ведь — я тебя буду ждать. А это значит, что он во что бы то ни стало придет к назначенному месту, и никакому дождю не испугать его, хоть до утра будет стоять, не тронувшись с места. А девушка считала себя победительницей, думала, глупая, — хорошо, что не побежала по первому же зову, не сделала, как ему хотелось...

Дождь все больше усиливался, словно говоря ей, что парень сдержит свое слово, что девушка, если только действительно полюбила, должна покоряться, что эти простые вещи не стоили стольких размышлений и мучений: парень сказал — буду ждать, и девушка непременно должна была пойти.

Теперь «того парня» поливает дождь, ему холодно, он дрожит, злится, ругается...

Пусть говорит, что хочет, Элисо все заслужила.

Девушка бежала под дождем, бежала, думая только о том, чтобы как можно быстрее преодолеть путь от деревни до той проклятущей орешины (ну и место выбрал!)... Как длинна оказалась дорога, как нескончаемо длинна! Она бежала, и дождь все поливал ей лицо и плечи, а в душе царила какая-то неизъяснимая радость и неосознанный страх. Когда же позади остался последний деревенский дом и она оказалась в чистом поле совсем одна, на другом конце поля сквозь сумрак показалось ореховое дерево, — Элисо остановилась, перевела дух, отряхнула дождевые капли с волос, провела по лицу ладонью и осторожно огляделась.

Кругом было пусто, ничего, кроме дождя...

Девушка зажмурилась и медленно приблизилась к дереву.

Под ним никого не было.

— Ушел! Не дождался... Не сдержал своего слова... Дождя испугался, дождь обратил его в бегство!

А может, и вовсе не приходил? Может, сегодня и

не вспомнил о том, что говорил вчера? Мало ли кому так говорил? Мало ли кого поджидал под таким же дождем?

Все это промелькнуло в одно мгновение, мелькнуло и исчезло... Тогда же, в ту дождливую, самую первую ночь, когда Элисо еще была счастлива, когда счастье только начиналось, она долго не могла выговорить ни слова упрека «тому парню», который убежал, испугавшись дождя, или вовсе не приходил. Мокрая, дрожащая, прижимаясь к шершавому стволу дерева, она во всем винила только себя саму и не знала, возвращаться ли домой, пойти ли искать рассердившегося на нее парня или остаться здесь на веки вечные, чтобы в муках и самоистязании искупить вину свою.

Чего было ему ждать? Сказал — подожду, мол, и ждал, должно быть, но не мог же простоять здесь всю жизнь?! Да и я сама чего раздумывала, колебалась? Призналась же себе, что полюбила его, чего же еще было решать-перерешать! Если полюбила, то должна поверить и в его честность. Я же не поверила... Сама во всем виновата, так мне и надо!

Дождь по-прежнему поливал ее, но, вымокшая с ног до головы, она все равно готова была пойти хоть на край света. Дождь не мешал думать. Наоборот, он словно нашептывал в ухо: вот и остались мы с тобой вдвоем. Я ничего не скажу ему. Пойдем со мной, будем бродить вместе под этим низким небосводом, ты думай себе, о чем угодно... Дождь ласкал и благословлял девушку, многократно умножая блаженство, причиняемое ей страданием в эту дождливую ночь. Наверное, это и есть счастье, — думала девушка, — идти под дождем, в полном одиночестве, и думать о том, кто, наверное, и сам думает сейчас о тебе. Эта мысль тотчас потянула за собой вопрос, который до того словно бы таился здесь же, в кустах: а действительно, думает ли? Этот вопрос мучил девушку, отравляя блаженство от пройденного совместно с дождем пути, отрезвляя, вновь превращаясь в просто дождь и ничего более: мочил, заставлял дрожать всем телом, лился, стекал по лицу холодными струйками, мешал идти своей дорогой... В эту минуту донесся чей-то голос из-за изгороди, напомнив, что она вовсе не одна в мире, что шла по дороге, окруженная тысячью глаз и ушей.

— Кто это там? — раздался старушечий голос.

Девушка не ответила.

— Ненормальный какой-то!

Как она точно догадалась, — подумала девушка.— Разве я нормальная?

Дождь лил не переставая.

Она осторожно отворила калитку.

Прокралась на балкон и вошла в комнату.

Легла на постель, натянула на голову одеяло и заплакала.

Из соседней комнаты донесся скрип кровати.

— Пришла, наконец?

Элисо ничего не ответила.

— Прокляну, так и знай!

Девушка включила радио.

В комнату ворвался звук скрипки.

— Выключила бы лучше свою тарахтелку...

Затем раздались шаги отца, поднимавшегося по ступенькам.

Элисо выключила приемник.

— Опять напился... — заворчала мать.

Хорошо бы заснуть и никогда не проснуться, — подумала девушка.

— Несчастная я, несчастная, — жаловалась женщина, — муж — пьяница, одно хорошо, свалится и тотчас захрапит! Слышишь, дочка?

— Чего тебе?

— Если хочешь, слушай свою тарахтелку, мне не помешает.

В комнате было душно.

Со двора по-прежнему доносился шум дождя.

Когда еще рассветет, — подумала девушка и откинула одеяло.

* * *

Наконец рассвело!

— Умру, но не пойду в клуб нынче вечером, — сказала сама себе девушка.

И все же пошла.

Убеждала себя, что идет туда только потому, что хочет посмотреть фильм, который показывали нынешним вечером, можно отказаться от всего, только не от

этого. Из-за него уже и в кино не ходить?! Она так войдет и так выйдет (когда придет время выходить, уже стемнеет, и, может быть, объявится тот шофер, если объявится, она так прямо и скажет ему — оставь меня в покое, наконец! — и все произойдет просто и обычно, как происходило множество раз), что даже не глянет в его сторону! Не такое выдерживала! Да и что случилось-то? Или достойный ее еще не родился на свет? Элисо знала, что обязательно пойдет на эту картину (и прежде не раз смотрела ее, как только появлялась такая возможность), но хоть себе самой можно ведь признаться, что не ради одного кино шла она в клуб. Сегодня картина как бы потеряла притягательную силу, которой обладала прежде. Теперь главным стало иное. «Тот парень», как всегда, торчал у входа в клуб, и девушка подумала, не повернуть ли назад, бросить все и вообще уйти отсюда. Пусть этот городской парень простаивает тут целые дни, окруженный деревенскими ребятами, — когда шла мимо них, ей даже показалось, что эти ухмылявшиеся — рот до ушей — парни знали обо всем, даже о том, чего вчера, дождливой ночью, и увидеть нельзя было. Подойдя к клубу, она взяла билет, вошла в зал и притулилась в уголке, впрямь даже не взглянула в сторону «того парня». Впрочем, и он не обернулся вслед. И очень хорошо. Не дурак же он в конце концов... Не сделает же ее посмешищем для этих бездельников и охальников... То, что он стоит среди них, в самой гуще, еще не значит, что он им ровня, кончится лето и отправится своей дорогой, позабыв напрочь и о них, и об этой деревне, и обо всем, что здесь видел и слышал.

В первом ряду сидел дурачок Гугули, окруженный кучкой шумных мальчишек, что пробрались в зал через окно. Постепенно и парни постарше заполнили первые ряды. Даже те, кто сам имел детей, тоже не остались в стороне, готовые (Элисо хорошо знала это!) забыть о фильме, лишь бы посмотреть, как поведет себя Гугули, как завоет в самом чувствительном месте и как, наконец, прикроет глаза, сморенный сном, а может даже и вовсе уляжется тут же, на полу, перед первым рядом, и испустит богатырский храп, пока мальчишки не растормошат его палкой, заставив вспол-шенно подскочить с пола, — чтобы все начать сначала!

Шел фильм Федерико Феллини «Амаркорд».

Они ничего не поймут, — подумала девушка, и ей захотелось остаться одной, наедине с этим фильмом.

На экране медленно разворачивались картины провинциальной жизни. Никчемные страсти, повседневные мелочные заботы разъедали сердца людей. Перед глазами маленького мальчика как бы оживало минувшее. Очутившийся лицом к лицу с миром, человек старался постигнуть жизнь. А она, со своим прошлым к настоящим, со своим окутанным туманом будущим походила на разъяренного быка. Призрак этого огромного быка как бы ощущался. За повседневным бытом чудилось что-то непознаваемое и вечное, привлекательное и отталкивающее, потешное и грустное. Однако эта грусть и непознаваемая глубина не выходили за рамку экрана. Что же касается смешного, оно находилось тут же, в зале: дурачок Гугули!

Он грыз яблоко, брошенное мальчишками.

— Нет, не для них эта картина...

У самого уха Элисо шептал «тот парень».

Но смысл сказанных шепотом слов, прежде чем до девушки, дошел до директора деревенского музея Раждена Харатишвили, он обернулся, провел ладонью по лысой голове и окинул парня уничтожающим взглядом.

Музей Раждена Харатишвили славился на весь край. Однажды его даже показывали по телевизору, и основатель и руководитель музея давал интервью. Однако Харатишвили, человек неугомонный и беспокойный, продолжал с неутомимой страстью собирать все, что касалось прошлого и настоящего его родного села, «ибо любил созданный его стараниями и попечительством музей больше, чем собственную семью»... Так сказали или написали где-то. Правда, Ражден Харатишвили семьи не имел, если не считать престарелой матери, и потому, действительно, дневал и ночевал в своем музее. Ражден лучше всех сознавал, что по сравнению с античным и раннефеодальным отделами, часть музея, посвященная ближайшему прошлому села, выглядела беднее. В античном отделе хранились даже амфора и чаша, датированные третьим столетием до нашей эры, в позднефеодальном — сабля, предположительно преломившаяся в руке царя Ираклия. О начале

же века в музее не было почти ничего, если не считать одного протокола, по которому священнику Кристесу Дзулиашвили запрещалось отправлять богослужение в помещении церкви. Собственно говоря (хотя Ражден Харатишвили не признался бы в этом не только кому-либо другому, но даже самому себе), эта деревня не могла похвастаться особо боевым прошлым. Основатель музея подробнейшим образом изучил все, что можно было: произошла революция, скинули с трона государя-императора, но в селе об этом узнали лишь на третий день, да и то от одного еврея-торговца, принесшего новость из города. Прослышав о свержении царя, десяток сельчан сбежались на площадь, и, беспорядочно стреляя из ружей во все стороны, штурмом захватили дом князя Чолокашвили. Князь был одиноким старым холостяком. Не протрезвев еще после большого загула минувшей ночью, он лежал в постели, страдая от головной боли, и когда ранним утром к дому прибежали мужики, с которыми он кутил накануне, князь слабым голосом простонал: «Возьмите вон там, в шкафу, похмеляйтесь!» Однако не за водкой пришли к нему на этот раз. Восставшие потребовали от князя все богатство и поместье передать в руки революционного народа! У князя же, кроме старой гитары, никакого богатства не было. Повстанцы прекрасно знали это, но на всякий случай тщательно обыскали весь дом, допили водку, захватили гитару и скрылись. Потом с сельской колокольни долго доносился звон, пока повстанцы не сняли и колокол, сбросив его наземь как символ всего отжившего и свергнутого навек. К полудню восставшие послали вестника в уезд сообщить, что князь Чолокашвили разоружен, а его богатство передано в собственность народа. Того же самого вестника, что отвез радостную весть, попросили заодно разузнать, как поступить с врагами народа, арестовать их или не надо? Посылая этот запрос, они, честно говоря, уже взяли под стражу врага народа. Это был все тот же князь Чолокашвили, который пришел в себя только тогда, когда головная боль с похмелья отпустила, и ему захотелось спеть песню.

Князь переодел штаны и отправился искать гитару. Кто-то сказал, что его гитару забрали в сельскую канцелярию, и князь потащился в канцелярию. На ее

дверях висел большой замок, и тут же чернилами были наспех выведены три слова: «Да здравствует революция!». Однако Чолокашвили легко проник в помещение через окошко и нашел свою заветную гитару. Куда эта гитара делась потом, никто не знал. Чолокашвили же был задержан за присвоение народного имущества, однако, судя по всему, он все же успел передать кому-то гитару. Впрочем, это было не предположение, а точно установленный разысканиями Харатишвили факт: Чолокашвили передал гитару Джандиэри, Джандиэри — Андроникашвили и, наконец, те передали ее в дар Вачнадзе. Далее след гитары терялся во мраке истории... Где только ни пытались найти ее, кого только ни подключали к поискам, обращались за помощью даже к пионерам-следопытам, но все было тщетно, гитара исчезла! По глубокому убеждению Раждена Харатишвили, гитара попала в руки какому-то «новому князьку» (это были его собственные слова), и он то ли сломал ее (ему-то что!), то ли скрывал, спрятав тщательнейшим образом, чтобы, когда придет время, похвастаться старинной вещью. Наплевать этому «новому князьку», что Ражден Харатишвили, директор музея, о котором столько пишут и говорят, при упоминании о гитаре до сих пор утирал слезы на глазах, поскольку был убежден, что именно эта гитара могла придать завершенный облик прославленному на весь край мемориальному музею, который расположился как раз в доме Чолокашвили.

— Осел останется ослом, — неожиданно громко проговорил Ражден Харатишвили.

Парень испуганно огляделся вокруг, но, судя по всему, Ражден Харатишвили, старый сельский интеллигент, привыкший вслух высказывать свои мысли, и более горькие истины бросал прямо в лицо всей деревне. а деревня, со своей стороны, хоть и выказывала ему всяческое уважение, в глубине души почитала его вовсе не интеллигентом, а просто-напросто болтуном.

...Тогда как известная шлюха считалась одной из наиболее уважаемых горожанок, и сам мэр города за большую честь считал оказаться персонажем завязавшегося с этой женщиной романа. Шла шлюха и, казалось, следом за ее кричащим, торжествующим телом шел весь мир. Зал обезумел. Дурачок Гугули мычал,

уже никто не смотрел на экран, все кричали, свистели, улюлюкали: давай, Гугули, хватай ее, только ты — и остался, видишь ведь — весь город за ней таскается... Гугули смущенно мычал, не зная, то ли действительно броситься на экран и схватить ту женщину, то ли напомнить себе, что все происходило понарошку, и перед ним была не живая женщина, а призрак.

Горячее дыхание «того парня» обжигало ухо девушки.

В зале стало жарко, люди зашумели: — Задохнемся мы тут, отворите второе окно, из-за безбилетной шантрапы, что шумит за дверью и бросается камнями по клубной кровле, нам от духоты погибать, что ли? Рано или поздно они все равно проберутся в зал, это всем известно...

Отворили второе окно.

В зал немедленно перелезли человек двадцать мальчишек, и зрители вновь позабыли о провинциальном городишке, в фешенебельном отеле которого остановился некий восточный торговец-богач, привезший с собой «на гастроли» кутающихся в чадры красоток.

— Словно десант выбросили, — шумели в зале. Однако «высадку десанта» совершенно затмило событие, последовавшее дальше: за открытым окном послышалось шумное сопение, сперва показались руки, а за ними и их обладатель — колхозный ветфельдшер Серго Чугуашвили, он перелез через окно и оглядел зал, словно победитель. Ветфельдшер был явно пьян, и это еще более развеселило зрителей.

— А этот откуда явился?

— Не бойся, Серго, лезь сюда, никто не видит!

Серго Чугуашвили, как говорится, лыка не вязал.

— Это уже ни в какие ворота не лезет! — сказал появившийся неизвестно откуда председатель.

Люди стали на защиту Серго: подумаешь, позволил себе разок человек, не видишь разве, он ничего сказать не может в свое оправдание... Вспомни свою молодость: никогда в кино через дверь не ходил. Сберег двугривенный, мало разве?! Иначе разве смог бы он построить себе дом в восемь комнат и купить «жигуленка». Измеряя ослам температуру, на это не накопишь!..

Серго Чугуашвили не догадывался, из-за чего поднялся шум. Он опустился на пол и, должно быть, тут

же заснул бы, но председатель произнес какие-то магические слова: председатель, догадался Серго, чем-то пригрозил ему... Это заставило ветфельдшера вскочить, словно пружина, и мгновенно исчезнуть из зала, назавтра попробуй докажи, что он был действительно пьян, что именно он перелез в зал через окно, Серго Чугуашвили, а не какой-то призрак... Собственно говоря, председатель должен был сделать это сразу же, до того, как ветфельдшер опозорился окончательно, оставив односельчан в недоумении: что сказали ему такого, чем пригрозили, что с Чугуашвили разом слетел весь хмель. Но что ему председатель сказал на самом деле, никто так до сего дня и не узнал... Должна же остаться хоть какая-то мистическая тайна в наш трезвый и рациональный век!

...Счастливое семейство устроило загородную прогулку. Отец, мать, ребенок... И еще брат матери, слегка чокнутый, недавно выписавшийся из городской психиатрической больницы. Вокруг царило идиллическое спокойствие: прекрасные луга и долины, развесистые деревья, щебетанье птиц. Что еще нужно человеку для полного счастья? Однако счастье оказалось кратковременным и на экране: чокнутый дядюшка залез на дерево и ни за что не соглашался спуститься вниз. Как его ни уговаривали, чем ни приманивали, он ни в какую... Собравшиеся в зале вновь стали приставать к Гугули, все пути-дороги вели к нему, —парень, у тебя и там есть дружки, глядишь, и в гости позовут...

Гугули стало жарко и он сбросил рубаху. Собственно, сам он не догадался бы, ребята подучили, и он, скинув свою драную выпачканную рубаху, швырнул ее в «оркестр», где стояло одно разбитое пианино, а на торжественных вечерах мужской хор пел свое «мравалжамиер», и десятиклассница Сулико Нанобашвили выразительно читала стихи.

Мальчики подначивали Гугули: чего тебе от жары мучиться, сними-ка и штаны тоже. Гугули колебался, не слишком ли это будет: что я, в самом деле, псих, что ли?.. Ребята не унимались: что у тебя с психами общего, одной рукой весь зал на крышу зашвырнуть можешь. Гугули помутневшими глазами оглядывал зал.

На экране по-прежнему было то же дерево, и чокнутого так же безуспешно уговаривали — спускайся,

мол, не отравляй нам это чудесное воскресенье, скажи хотя бы, чего ты хочешь.

Залезший на дерево псих вдруг заорал:

— Хочу женщину!

Тут-то все и случилось.

— Хочу женщину! — заревел и Гугули.

Остальное произошло в мгновение ока.

Гугули скинул штаны. Ребята тут же зашвырнули их в оркестровую яму.

Зал обезумел! Гугули стоял перед людьми в чем мать родила. Поначалу он смущенно улыбался, потом огляделся вокруг и, убедившись, что не происходит ничего такого, чего не бывало с другими сумасшедшими, пустился в пляс. Женщины прикрывали руками глаза, ребята подзадоривали Гугули — давай, вприсядку, как ты умеешь, не бойся, мы с тобой! «Женщину хочу!» — кричал Гугули. Народ шумел: ну и повеселил же он нас сегодня!..

— Для чего тебе такие ручищи, если в голове ни капли ума нет!

— Мне бы такого бугая в виноградник, за два дня промотыжил бы весь.

— Псих психом, а за день работы три червонца просит!

— Чего ты орешь, как осел, угомонись, Гугули!

— Ты уже не маленький, чтобы вот так нагишом плясать.

— Женщину хочу! — орали ребята до тех пор, пока все тот же Ражден Харатишвили не поднялся с места и не потребовал зажечь в зале свет. Зажечь в зале свет? — это еще более раззадорило людей. — Нет, кричали они, — лучше совсем погасить, Гугули хоть и придурок, но у него все при себе, как у мужчины, может, даже больше, чем у других! «Ослы, настоящие ослы», — кричал, потрясая шевелюрой, Ражден и прокладывал дорогу к передним рядам, чтобы самолично спуститься в эту проклятую оркестровую яму или как там ее еще называют, найти штаны и хоть силком натянуть на этого взбесившегося придурка-великана. Однако, не дождавшись Раждена, те же ребята, что выбросили гугулевские штаны, вытащили их, и чокнутый с таким спокойствием стал просовывать ноги в штанины, словно, завершив свое выступление, просто соб-

рался уйти со сцены за кулисы, чтобы присесть где-нибудь и перевести дух.

Зал притих.

— Если бы увидел Гугули Феллини, непременно снял бы его в своем фильме!

Это прошептал «тот парень», чье жаркое дыхание обжигало ухо девушки.

Ражден Харатишвили бросил на него уничтожающий взгляд, означавший «тебя только здесь не хватало!», и парень замолк.

Экран и зрительный зал окончательно смешались друг с другом. Элисо уже ничего не слышала. Ее ухо по-прежнему жгло горячее дыхание, девушка готова была немедленно встать и убежать отсюда прочь. Но нет, она не могла встать, виной тому оказалась опять-таки «вымышленная жизнь», снег, который готов был окутать все сказочной красотой, в том числе и тот провинциальный городишко со всеми его отелями, своими умными и чокнутыми, степенными и суетливыми обитателями... Элисо сейчас нужен был именно он, этот подлинный и в то же время нереальный снег, который так редко случается в действительности, а если уж случится, то не исчезнет бесследно, хоть ненадолго изменит что-то, оставив в памяти людской неизгладимый след. Он совершит свое доброе дело с тихим неслышным шорохом, и не поймешь, что же он совершил, не поймешь, но все же не позабудешь никогда, никогда...

А в зрительном зале главным действующим лицом по-прежнему оставался Гугули. Он мучительно решал вопрос, как покинуть зал — гордо и с царственным достоинством или сделать, как подговаривают озорники-мальчишки. Из их нашептываний и подсказок в большой голове и маленьком умишке Гугули осталось одно: он должен встать в клубных дверях и ущипнуть каждую девушку, проходящую мимо. Если же он не сделает этого, весь сегодняшний вечер потеряет свою прелесть, никакой цены не будет иметь даже то, что в самый разгар сеанса отворилось окно и в него пролез ветфельдшер Серго Чугуашвили.

— Этот фильм как будто создан для такого снега.

— Да, похоже...

Снова тот же шепот, обжигающее дыхание. Боже, как многое ему известно...

И не успела девушка прийти в себя, как уже раздались те главные слова, которых Элисо, сама не зная почему, ждала от парня весь вечер:

— А я тебя ждал...

Элисо словно молния поразила.

— В такой ливень...

Гугули стоял в дверях, улыбаясь — рот до ушей, по подбородку стекала струйка слюны, а волосатые руки тянулись к девушкам.

— А вы чего тут стоите! — прикрикнула на сгрудившихся вокруг Гугули мальчишек школьная директорша, которая незамеченной проникла в клубный зал и теперь доказывала завучу и учительнице французского, что, если тут каждый вечер крутят подобные фильмы, можно ждать и не такого... Завуч с сожалением кивал головой, — какие, мол, времена настали. Учительница французского явно была не согласна с ними, но ничего не говорила. Хотя для директорши ее мнение ничего не значило, она считала «француженку» виновницей падения дисциплины, не раз докладывала в районо, что та приходит в школу в коротенькой юбке, в серьгах, на пальцах — бриллианты, глаза подведены. Однако, говори не говори, времена безнадежно изменились. Даже на страницах республиканской прессы теперь хвалили не прославленного ветерана народного образования Гогуцу Мацаберидзе, а эту крашеную «француженку», поскольку она, изволите видеть, решилась переехать из города в деревню и ее десятиклассники обращались друг к другу не иначе как «мосье Авто» и «мадемуазель Маквала».

Гугули, оставшись один, улыбнулся директорше, подмигнул «француженке» и завопил:

— Женщину хочу!

На дворе стояла ясная ночь.

В деревне о вчерашнем дожде уже и не вспоминали.

Луна давно взошла.

— Мне-то что? Я, если хочешь, и сегодня туда пойду... И никуда не уйду, пока ты не придешь...

Элисо поверила словам парня.

Она почувствовала себя счастливой.

Это чувство заставило ее улыбнуться, и оно же побудило испуганно оглянуться вокруг.

В клубном дворе становилось все малолюдней.

Девушку охватило чувство тревоги и, заметив старого приятеля, она закричала так, словно на нее кто-то набросился:

— Авто!

Это был водитель Авто.

Спасена! — подумала девушка.

* * *

Элисо не заметила, когда тот парень увязался за ней: то ли поджидал возле дома, то ли встретил где-то случайно и подумал: все равно нечего делать, пойду-ка за нею, что я теряю? Собственно говоря, это не имело никакого значения, поджидал ли он возле дома, придя специально ради нее, или увязался где-то по дороге, ей все равно. Да и ему лучше сразу же отвязаться, уйти подобру-поздорову... Парень же упрямо шел следом, не думая оставлять ее в покое, но и не подходя к ней ближе, чтобы кто-нибудь не подумал чего-либо такого. Кончилась деревня, они вышли в поле. Дальше начинались виноградники, и парень, едва они остались одни, ускорил шаг. Девушка знала, что их одиночество было кажущимся, и у домов, и у виноградников были сотни глаз, в такой полдень сельчане не сидят по домам, все здесь, в виноградниках. «Ему кажется, на пустынном проселке нас никто не видит...»

Когда парень догнал ее,она шепнула — оставь меня в покое, или отстань, или обгони, знай, в эту минуту все село на нас глядит из кустов. Парень послушно пошел вперед. Лишь время от времени оглядывался, чтобы она не свернула куда-нибудь в сторону, и снова уверенно продолжал свой путь. Куда она могла свернуть? Ей хотелось, чтобы дорога длилась без конца. А парня дорога раздражала, — изрытая рытвинами, пыльная, пустая, только виноградники по обе стороны, и не видно ей конца-края. В эту минуту он походил на волка, мечтавшего о лесе, где никого не будет, никакой чужой глаз не испугает эту девушку, а там... Он и сам не знал, что там произойдет, все решится само собой, как пожелает батюшка-лес, дремучий и недоступный для чужого глаза.

Дойдя до ивняка, он остановился, поджидая.

Девушка оглядывалась испуганно по сторонам, но

не было в ней прежнего страха, как на сельской околице или у виноградников. Просто все внутри захолонуло.

— Куда бежишь? — громко спросил ее парень.

— Тише...

— Пойдем сюда, в кусты.

Девушка снова оглянулась.

Никого не было видно.

Только на косогоре обирали фасоль старик со старухой. Да под горкой бегал за птичками их внук с рогаткой в руках.

Парня била дрожь.

— Пойдем...

Девушка отрицательно мотнула головой и тут же перелезла через плетень.

— За терновником подожду... — парень, не оглядываясь, пошел к терновым кустам.

Девушка остановилась, глядя ему вслед.

Если пойду за ним, значит, совсем ума лишилась...

Парень продолжал идти твердым уверенным шагом.

Девушка села на большой плоский камень и заплакала.

Чего плакать-то! Она вскочила, отерла слезы, провела рукой по волосам, словно глядясь в зеркало, и пошла к зарослям кустарника.

Парень лежал на траве, глядя в небо. Увидев ее, он засмеялся.

— Я знал, что ты придешь.

— Откуда? Если так, уйду сейчас же...

Девушка повернулась, всерьез собираясь уйти.

Парень вскочил и схватил ее за руку.

Тогда именно поцеловал он ее в первый раз, и вокруг стало темно.

* * *

— Отпусти меня...

— Докажи, что любишь,

— Только не здесь.

— Что ты меня мучаешь?!

— Только не уходи, прошу!

— Как хочешь...

— Прости... Я люблю тебя!
— Если любишь — докажи!
— Какой ты сильный...
— Докажи...
Мимо кустарника пробежал мальчишка.
— Убью, чтоб ему...
Девушка, замерев, лежала и глядела в небо.
— Что ты сказал?
— Придушу паршивца и в лощину сброшу!
Девушка с удивлением и страхом смотрела в глаза наклонившемуся над ней парню.
— Отпусти... Оставь меня...
— Сама знаешь, не оставлю!
— Устала я...
— Такой ты мне и нравишься — усталой.
— Господи...
Девушка закрыла глаза.

* * *

— Ну вот! Чего было бояться?
Парень, тяжело дыша, оттолкнул ее от себя.
Элисо лежала, не размыкая глаз, и прислушивалась к дыханию парня.
Вскоре он услышал:
— Я такая счастливая!
Когда девушка открыла глаза, парень пытался просунуть ногу в штанину и смеялся.
— Чему смеешься?
— Не знаю...
Элисо вздрогнула: слишком легко смеялся парень.
— Отвернись, не гляди на меня...
Парень сел, отвернувшись, и девушка сквозь туман, охвативший все ее существо, видела только его спину, медно отсвечивающую под солнечными лучами.
Элисо потянулась и провела по его спине рукой.
Парень оглянулся и отвел руку девушки.
Девушка дрожала.
— Ладно, как хочешь...
Она прижалась к траве.
— Я такая счастливая!
Парень снова усмехнулся.
Потом снял с куста рубашку и бросил ей:

— Надень.

В эту минуту Элисо уже знала, что она несчастна, что в мгновение ока все рухнуло, обнажилось, как девичье тело, когда парень сорвал с нее одежду и отбросил в кусты. Открыв глаза, она увидела перед собою не того парня, которого сотни раз рисовало ее воображение, а кого-то совсем чужого, незнакомого, он сразу стал некрасивым, смеялся Бог знает чему...

В то мгновение девушка не могла заставить себя заглянуть в его глаза, она боялась, что не увидит в них ничего, кроме отвратительного любопытства.

— Куда мне теперь деваться! — девушка зарылась в траву лицом и зарыдала.

Парень, словно ничего не слыша, продолжал дымить сигаретой, не оборачиваясь в ее сторону. А когда все же взглянул, девушка увидела в его глазах страх.

Элисо разом возненавидела и эту ухмылку, и этот страх.

Она вновь прикрыла глаза, и в наступившей тьме до нее донесся голос парня:

— Когда увидимся?

— Никогда!

— Сама меня искать станешь.

— Не стану... Как будто ничего и не было...

Парень опять рассмеялся.

— Ну, как хочешь... Не было, так не было...

Все кончилось, — догадалась девушка. В душе ее было пусто, и она, сама не зная что говорит, вновь произнесла:

— Я такая счастливая...

Парень нахмурился.

— Первой уходи ты...

Девушка стояла, не зная, что делать, куда идти.

— Ну, будь здорова.

— И ты будь здоров.

— Когда же встретимся еще, спрашиваю?

— Сказала ведь — никогда.

— Уходи скорее, старики сюда смотрят.

— Почему ты прежде их не остерегался?

— Ну, прощай.

— Прощай.

Парень перешагнул через куст.

Девушка в отчаянье рванулась к нему.

— Постой минутку! Если ты пришел сюда только для того, чтобы...

— Чтобы что?

— Чтобы посмеяться надо мной и сделать лишь это... Тогда знай — я убью тебя!

Парень рассмеялся:

— Пожалеешь!

Он скрылся в зарослях.

В эту минуту она пожалела, что у нее нет в руках какого-нибудь оружия, — непременно застрелила бы...

— Слыхал, что я сказала? — крикнула она ему вдогонку.

Парень ничего не ответил.

Какая из меня убийца...

Элисо сидела, не замечая, что пальцы ее судорожно вцепились в траву. Парень продирался сквозь заросли, и до нее доносился треск ветвей.

Все было ясно. Парень ничего не сказал, только бросил одежду, — прикрой наготу! Ушел, оставив ей запах объятий. Девушка чувствовала, что на этом все кончилось и больше ничего не будет. Что должно было произойти — произошло... Уйду, исчезну, на него и не взгляну больше ни разу, — думала девушка, хоть и понимала, что пока этот парень будет где-то поблизости, ей никуда не деться. Даже сейчас, в эту минуту, если страсть и желание заставят его вернуться, она сразу позабудет все на свете и, не задумываясь, подчинится ему. Никогда уже ей не позабыть его горячие губы, сильные руки, шею, которую целовала так самозабвенно... Это было уже воспоминание — все, что ей осталось от «того парня».

Элисо поднялась и побрела по тропинке. Спустилась в лощину, чтобы отмыть свой грех. Потом вновь вернулась обратно, понимая, что если сейчас же, немедленно, не появится кто-нибудь, не скажет ей хоть слово, эта тропинка заведет ее Бог знает куда... Бог знает куда, только не в их ненавистную деревню.

* * *

В доме было тихо. Вчера ей казалось, что если не сразу, в тот же миг, то уж на следующий день во всяком случае, мир рухнет. Но мир не рухнул. Во дворе

кудахтала курица, по дороге брел Читала и кого-то бранил. Мать звала ее из огорода, — поднимись наконец с этой окаянной постели, подсоби по хозяйству хоть немного, разве не видишь, сколько помидоров уродилось, будто их и не собирал никто...

Элисо лежала, уставившись в потолок.

Потянулась, потихоньку отворила окно и, крадучись, выглянула наружу.

Да, мир действительно не обрушился, все шло своим чередом.

Набросив платье, она подошла к зеркалу. Всмотрелась в синяки на шее и вынула из шкафа другое платье, более темное и закрытое. Потом открыла дверь и вышла на балкон с такой осторожностью, будто делала первые шаги по незнакомой планете, и сперва необходимо было нащупать, есть ли под ногами земля. Земля оказалась твердой, и она с облегчением вздохнула. Чужая планета все еще казалась таинственной и опасной, и никто не знал, что подстерегает ее через шаг-другой. Девушка была готова ко всему, что могло произойти. Не зря ведь она металась всю ночь, не в силах смежить глаз, отгоняла от себя мучительные мысли, убеждала себя, что опасаться ей нечего.

Спустившись по лестнице, она подошла к огородной ограде и крикнула матери: подай-ка мне этот помидор, нет, не тот, а соседний с ним, поменьше и поспелее. Ей нужны были не помидоры, нет, нужно было удостовериться, что она сумеет посмотреть в глаза матери, сказать ей хоть слово... Сумела! И посмотрела, и словом перекинулась, попросила помидор, даже выбрала — нет, не тот, соседний... Как все, оказывается, легко и просто!

Мать даже не смотрела в ее сторону, перебирала плоды и укладывала в ящик, беспокоясь лишь о том, отвезет ли ее завтра знакомый шофер на базар, или же ему в конце концов надоест играть в кошки-мышки, объявит — оставьте меня в покое и ты, и твоя дочка, вчера я обручился с другой!

Элисо спустилась к воде, и хотя мать осталась далеко, она все же со страхом оглянулась на нее, потом, решившись, расстегнула воротничок и омыла шею и грудь. Сейчас ей так хотелось забыть обо всем, но вдруг ее пронзило желание хоть на мгновение отдаться

его ласкам. Элисо испугалась сама себя: вдруг побежит на дорогу и закричит во всеуслышание, на все село: — Эй, кто-нибудь, не видел ли кто того парня, Бога ради, отыщите его сейчас же, приведите ко мне!..

Кричать она не стала, но на дорогу все же вышла. Надеялась, что он стоит где-нибудь поблизости, как вчера, и пойдет за ней в сторону виноградника. Но на дороге никого не было, это и обрадовало, и огорчило девушку. Это я о нем думаю не переставая, он же, верно, еще не вставал, спит себе преспокойно, а если проснулся, должно быть, ухмыляется своей противной ухмылкой. Спит он или бодрствует, девушке необходимо увидеть его. И она пошла по деревенской дороге, не думая ни о чем другом. Элисо позабыла, что планета, по которой незадолго до того она с такими предосторожностями делала первые шаги, все еще оставалась таинственной и опасной, и никто не знал, что могло подстерегать ее через шаг-другой.

Элисо направилась к клубу, где постоянно околачивался тот парень с дружками. Подойдя к клубу, удивилась: здесь никого не было, не было, естественно, и его. Если он и впрямь дрыхнет до сих пор, то куда же девались все остальные? — думала она. Может, все это безлюдье не что иное, как заговор с целью предать ее позору и осмеянию?

Элисо возвращалась домой, убеждая себя (теперь уже в самый последний раз), что ничего не произошло, что все осталось таким же, каким было вчера и позавчера, что и сегодня солнце встало на востоке, а вечером закатится на западе.

Она шла к дому, и на сердце становилось все легче и легче, а вместе с тем росло желание новой встречи с юношей. Вечером увижу его, вечером он непременно будет у клуба, — проговорила она, отворяя калитку.

Матери нигде не было видно, наверное, отправилась искать водителя, чтобы сговориться... Девушка обрадовалась, что не попадется матери на глаза лишний раз. Сорвав с себя платье, она увидела в зеркале свое тело, покрытое синяками, и ее охватило необыкновенное чувство: эти синяки внушали ей какую-то гордость.

Девушка закуталась в одеяло.

— Теперь-то я знаю, что делать!

Дремота постепенно сморила ее, и она наконец уснула.

Вдруг что-то толкнуло ее, на сердце вновь стало тяжело. Почудилось, что уже наступило утро. По-прежнему квохтала курица на дворе, больше не доносилось никаких звуков. Выглянув в окошко, Элисо увидела, что тени удлинились, солнце склонилось к закату. Недолгое облегчение, принесенное сном, когда на пару часов она смогла позабыть обо всем на свете, снова сменилось напряженным ожиданием. Она с трудом заставила себя подняться с кровати. Подойдя к зеркалу, долго разглядывала себя. Следы прегрешений стали немного бледнее, тело успокоилось, девушка ополоснула лицо холодной водой. Что-то гнало ее из дому.

Прикрыв за собой калитку, она опять вышла на дорогу. Давай-ка, подумала, зайду сначала к Циале, будь что будет, расскажу все, может, разделенная с другим беда впрямь становится вдвое легче. Но сама мысль об этом испугала девушку. Циала была ее подружкой, самой близкой, задушевной, нет сомнения, ей можно довериться, но грех был настолько велик, что рассказать об этом кому бы то ни было невозможно. Вдруг Циала не поймет, ведь ее в жизни никто не целовал, ничего она в таких делах не смыслит. Элисо огляделась вокруг, опасаясь, как бы подружка не повстречалась ей на пути, вдруг она не выдержит и выложит ей все. Но Циалы нигде не было видно. Дорогу исполосовали вечерние тени, — сейчас-то он наверняка на своем месте, надеялась Элисо, там, где она впервые увидела его. И она снова, теперь уже действительно в последний раз, попыталась повернуть к дому, чтобы окончательно позабыть о тех окаянных двух часах, проведенных с тем парнем в терновнике.

Но не суждено было ей вернуться.

Перед клубом толпились деревенские парни.

Элисо остановилась, издали оглядела их.

Удивилась — того парня не было, хотя обычно он целыми днями простаивал с ними.

Девушка почувствовала облегчение. Теперь-то, решила, наверняка смогу пойти домой, как видно, все впрямь кончилось, — но вместо того, чтобы вернуться, она пошла дальше. Ребята дразнили Гугули. Он катал-

ся в пыли посреди дороги и гудел: — Я слон, побере-
гись! — Раз ты слон, плесни водой из хобота, — под-
задоривали его, и Гугули, улыбающийся и счастливый,
послушно мочил свои штаны. По дороге проносились
автобусы, из их окон глядели усталые пассажиры, до-
вольные туристы. Гугули махал им рукой и тоже был
доволен. Все было как всегда. Необычным казалось
только то, что нигде не было видно того парня. Элисо
не могла понять, поглотили его земные недра, или он
вознесся в небеса, но спросить кого-нибудь не реша-
лась, не то, что спросить, даже глянуть в ту сторону,
где мог находиться тот парень, остерегалась. Гугули
мычал: — Смотрите, теперь я — тигр, — кричал он. —
А раз так, — не отставали ребята, — иди и перекусай
всех этих девок, — они подталкивали его к девушкам,
проходившим мимо. Гугули бежал, хватал их за пла-
тья, «я—тигр», — кричал устрашающе, но он был для
девушек всего лишь Гугули, деревенским дурачком,
которого никто не боялся.

Тогда Гугули направился к Элисо.

Она улыбнулась ему.

Эта улыбка утихомирила Гугули, и он уступил ей дорогу.

И тут услышала она откуда-то сзади приглушен-
ный голос:

— Я такая счастливая...

В глазах Элисо потемнело.

— Я такая счастливая!

Нет, не послышалось ей. Все было наяву! Чей-то
чужой голос повторял шепотом слова, произнесенные
в зарослях терновника.

Элисо не обернулась, собрав все силы, продолжа-
ла идти. Было безразлично, кому принадлежал голос.
кто произнес те слова — Парнаоз или Джимшит. Сло-
ва уже разнеслись вокруг, ружье выстрелило, и ей бы-
ло все равно, кто поразил ее дробью.

Это не один парень насмехался над ней — все
село:

— Я такая счастливая...

Нет, не оглянулась Элисо, ничего не сказала. Про-
изнесший эти слова решил, что его выстрел не попал
в цель, он побежал за ней вдогонку, загородил дорогу
и встал перед ней.

Элисо оцепенела.

Перед ней стоял Джимшит Цикарашвили и двусмысленно ухмылялся:

— Я такая счастливая...

Элисо влепила ему пощечину.

Что было потом, она не помнила.

Что еще могло произойти после этого, достойное упоминания? — пишет автор вымышленной истории. — Тем более, что читателю и без слов понятно: девушка по имени Элисо должна в конце концов усесться на большой плоский валун у речного берега рядышком с Абриа Махаури, должна занять принадлежащее ей место на нашей картине, которая открылась автору на берегу реки, в окропленной дождем лощине. На этой картине, когда она обретет завершенный вид и превратится в «картину на речном берегу», должны разместиться семеро. Этого требует композиция картины, а также тысяча различных обстоятельств, сочиненных самой действительностью, в силу которых именно на этом месте в короткий промежуток времени должны встретиться друг с другом семь человек, объединиться в общину и отправиться в путь, подобно птичьей стае, улетающей в начале осени в теплые края. Самым первым из всех пришел сюда Абриа Махаури, заняв, не говоря ни слова, принадлежащее ему место на большом валуне. Теперь появился и второй персонаж — вышедшая из лесной чащи девушка по имени Элисо. Она громко произнесла:

— Здравствуйте, дяденька...

Махаури не знал, что девушку привела сюда не только судьба — она испугалась одиночества и захотела быть с людьми.

Старик и девушка в речной лощине перекинулись друг с другом еще парой слов, которые, скорее всего, не имеют для настоящей истории никакого значения, тем более, что они недолго оставались вдвоем.

Послышался чей-то голос.

Оглянувшись, они увидали прямо перед собой какую-то старуху.

У нее было темное, изборожденное морщинами лицо.

— Здравствуйте!

Махаури и Элисо молча кивнули в ответ.

Темнолицая морщинистая старуха сразу преобразилась в перепуганную женщину: огляделась, посмотрела во все стороны — не видит ли кто, и направилась в сторону леса.

Вскоре она вывела из леса быков, парную бычью упряжку — Лагу и Боселу, пустила их пастись в прибрежную траву и уселась рядышком со стариком и девушкой.

— Здесь мужики не проходили?

— Никто не проходил, — ответил старик.

Женщина сняла со спины Лаги хурджин.

Теперь на «картине у речного берега» были трое: Махаури, девушка по имени Элисо и хозяйка этих быков, матушка Гарсо, темнолицая перепуганная женщина.

Старуха шепотом спросила:

— Вы не в Чалаури идете?

Старик кивнул.

Девушка обрадовалась:

— И я в Чалаури иду!

— Все мы, оказывается, идем в Чалаури, — прошептала старуха и посмотрела на своих быков.

Глава третья. СТРАХ

Женщина, крадучись, вышла из дома. Ее позвал крик первого петуха. Она так и намеревалась — тронуться в путь с первыми петухами. Даже самой себе она не признавалась, что отправится в путь не одна, что их будет трое. Именно трое — она и пара быков, Лага и Босела. Страх, так долго мучавший ее и сжимавший тисками, как будто немного отступил, и женщина даже подумала, что он исчез совсем. Всем существом отдалась она непредсказуемому ходу событий, неоднократно пережитых в сознании, от начала до самого конца, хотя в действительности они начинались только теперь, с первым криком петуха. Страх облегчался и тем, что она окончательно решила — нет, ни в чем не виновата я перед всем миром, и никто не может бросить мне слово упрека, пусть сперва докажут, что я неправа, а потом хоть на костре жгут, ничего не

страшно. Женщина собралась украсть быков, тайком вывести из дому в полночь, с первыми петухами, украсть у самой себя, у собственной семьи.

Ни дня не жила она без этих быков. С тех пор, как потеряла мужа, быки стали ее кормильцами и заступниками. Прежде у нее были другие быки, оба коричневые. Они состарились, сдали раньше нее, и сейчас у женщины другая пара — Лага и Босела. И прежде случалось ей красть быков, очень давно, она впервые совершила это тогда, когда даже владеть скотом считалось преступлением. Однако женщина не видела в этом ничего преступного даже тогда, уведя, как и сейчас, в полночь своих быков, обоих Цабл. Она отвела их в горы, где паслось стадо ее дяди. Пастухи укрывали их все лето. А перед самой зимой, когда женщина подумала— скоро выпадет снег, и о моих быках, должно быть, уже все позабыли, к ней вновь наведались. С тех пор прошло лет двадцать. Тогда быки нужны были женщине, или как ее все называли в деревне, матушке Гарсо, чтобы выкормить единственного сына Гарсо, Гарсевана, переехавшего позже в город. Матушка Гарсо знала: если быков отберут, ничего хуже случиться не может. На них держалась вся семья, если можно назвать семьей женщину, которой тогда не было еще и пятидесяти, и ее единственного сына Гарсевана, переехавшего в город на учебу и сочинявшего стихи, не понятные женщине. Быки привозили сено с лугов, пахали землю, кормившую своими плодами женщину с сыном, возили зерно на мельницу, дрова и хворост для выпечки хлеба. Без них семья не была бы семьей... Поняв это, женщина тотчас решила: пусть делают со мной что угодно, но пока жива, этих быков никому не отдам.

И не отдала!

Сейчас, хотя с тех пор прошло столько лет, и быки уже не те, другие, женщина впервые вспомнила: как украла быков, как скрывалась от всех... Разве не права я была? За мной тогда гнались, словно от этой упряжки быков судьба целого мира зависела, но правато оказалась я, не они... Теперь, правда, никто уже не говорил — по какому праву, мол, быков держишь, взамен придумали что-то еще, для какой-то другой надобности быков требуют. Ходили, ходили и, конечно же, пришли к матушке Гарсо, — только ее быки могли их

выручить, никакие другие!.. Но женщина, убежденная в своей правоте, как и в тот раз, в самую полночь, с первым криком петуха, вывела из хлева двух своих быков, чтобы угнать их Бог знает куда, в какое-то там Чалаури, где жила ее однофамилица и товарка, вышедшая замуж за тамошнего мужика, Цокала Балиаури, та самая Цокала, которая прежде, хоть раз в году непременно приезжала к ним погостить, только в последнее время пропала с глаз совсем, и женщина даже не была уверена, жива ли она вообще. Да, она решила укрыть своих быков-кормильцев в Чалаури, о самом существовании которого почти позабыла, не знала точно, существует оно на самом деле или нет, и жива ли еще Цокала, вышедшая замуж за чалаурца.

* * *

Петухи уже прокричали. Небо было усеяно звездами. Женщина со своими быками уже готова была отправиться в путь. В хлеву, должно быть, еще все спят, подумала она. ...Но перед этим в памяти женщины еще раз промелькнут золотые деньки, которые, вот уже сколько лет прошло, она никак не могла позабыть, тем более сейчас, под этим небосводом, усеянным звездами, которым была ведома даже малая малость ее минувшей жизни. Погружаясь в мысли или возносясь в горние выси, она порою думала, что эти звезды предопределяли в ее жизни все: и хорошее, и плохое. Лишь перед звездами женщина представляла собою что-то, лишь они в целом мире замечали ее существование. Углубляясь в свои мысли, женщина готова была, встав на колени, вознести благодарность мириадам звезд. Однако все это происходило только в мыслях. Женщина никогда не становилась на колени, никогда не протягивала руки к звездам. Постороннему глазу могло показаться, что она обитала лишь здесь, на грешной земле, где был у нее сын Гарсеван, уехавший в город, где иногда, не столь уж часто, вспоминала она своего погибшего на войне мужа и присматривала за коровой, быками, копошившимися во дворе курами... Петух кричал. Она добросовестно платила все налоги, выполняла обязательные работы... В подушной книге сельсовета семья матушки Гарсо значилась под тридцать третьим номером.

* * *

Вся жизнь женщины от начала до конца умещалась в двух воспоминаниях. Этих воспоминаний ей было вполне достаточно. В ее памяти обретало величие и смысл каждое событие минувшего, рядом с которым все остальное казалось малозначащим, а жизнь становилась легче, хоть и ненамного.

Парень, ставший впоследствии ее мужем, был полуночником. Так прозвала его сама женщина в ту пору, когда была еще девушкой. Парень являлся только ночами и следовал за ней, только ночами решался произнести те несколько слов, которые навеки запечатлелись в ее памяти и напоминали всю жизнь о том, что произошло тогда.

Она помнила темные зимние ночи, когда, прижавшись в углу, не могла отвести глаз от блеклых теней, мелькавших на экране маленького сельского клуба. Тени сражались, гнались, ссорились, дрались друг с другом, влюблялись и ненавидели, и тем не менее жизнь, проходившая на экране, неизменно казалась бледной и никчемной, если за спиной девушки, ровно через ряд, не сидел тот парень. А он сидел там всегда, разве что ему приходилось уехать куда-то по делу. Затем экранная жизнь кончалась, приходил черед собственной жизни— нужно было куда-то идти, кого-то догонять... Девушка шла домой одна — кого бояться! — наедине с ночью и со своими мыслями. А тот, единственный, только и имевший право напугать ее, следовал поодаль, прислушиваясь к стуку ее каблуков, и девушка, как было принято в деревне, в душе грозилась: только попробуй, скажи хоть слово, посмотришь, что я с тобой сделаю... А он не говорил ничего, так ни разу не собрался с духом. Однажды девушка решила схитрить (до сих пор смешно, как вспомню!) и, выйдя из кино, нарочно спряталась от парня. Правда, не тогда, только на другую ночь, но она все же услыхала голос парня. Самого его не было видно, стояла темная беззвездная ночь, и во тьме раздавался только его голос:

— Хоть в землю заройся, найду, от меня не скроешься!

Девушка знала, что так и будет, что никуда не сможет спрятаться от этого хмурого, добродушного и лас-

кового парня, прежде всего потому, что сама не хотела прятаться, знала: парень в своих хвастливых угрозах был тысячу раз прав!

Брат того парня — Тухо Бекаури — ушел в первый же день войны. Девушка узнала об этом ночью. Вернее в полночь. Вся деревня была объята сном, и когда мать подошла к ней и сказала: — Вставай, бекауревский парень зовет, — все в доме поняли, что-то произошло, иначе бы Ираклий Бекаури никогда не осмелился прийти вызвать девушку даже среди бела дня, не то, что глухой ночью. Не осмелился или не позволил бы себе? Да, именно так. Он был самолюбив, горд, лишнего слова не обронит. Из-под его черных бровей прямо и честно глядели черные глаза. Девушка безоглядно готова была довериться этим глазам, и если бы Ираклий Бекаури прямо сейчас, в эту глубокую полночь, сказал: — Встань, оденься и следуй за мной, — она, не мешкая, поднялась бы, оделась и пошла хоть на край света.

Парень стоял во дворе, его глаза, словно горящие угольки, сверкали лунным светом.

До самой смерти не забыть ей этих глаз и слов, произнесенных юношей:

— Тухо взяли на войну...

Девушка не знала, что ответить. Не знала и того, что брат представлял себе уход Тухо на войну совсем иначе: он должен был уйти не в полночь, а ясным днем, для братьев это означало очень многое.

Парень исполнил свой долг, не стал дожидаться утра, как только брата забрали, пришел и сообщил об этом девушке. Тем самым он высказал все, что хотел, но даже уход его брата на войну не мог заслонить радости и счастья, которые испытала девушка от полночного визита Ираклия Бекаури.

И второй раз парень опять явился ночью. Девушка не догадывалась, сколько мучительных раздумий и колебаний, сколько бессонных ночей предшествовали этому. Лежа в темноте на кушетке, он думал об ушедшем на фронт брате и, охваченный тяжким предчувствием, ждал того дня, когда что-то непременно должно произойти.

И этот день настал.

Пришла похоронка на Тухо Бекаури.

Ираклий не понимал, что ему говорили, что пытались объяснить, это надолго осталось необъяснимым для его сознания, никак не объединяясь с вестью о гибели брата. Он не мог понять, как сумел Тухо так быстро, за пару месяцев, пройти такой далекий путь и погибнуть. Не мог понять, почему из стольких парней, взятых на фронт, погиб именно Тухо, почему именно его нашла слепая пуля, почему только на брата пришла в сельсовет похоронка и почему именно его вызвали, чтобы объявить: знай, случилось несчастье, никакой надежды больше нет...

Так продолжалось дня два, пока сознание восемнадцатилетнего Ираклия Бекаури вдруг разом не прояснилось, и он понял, что то, о чем ему со всякими оговорками и словами сочувствия объявили в сельсовете, было правдой. Его брата Тухо Бекаури уже нет в живых... Это случилось туманной сентябрьской ночью, и он тотчас, не раздумывая, вышел на проселок и направился к дому девушки. Да, он кликнул меня от ворот, — вспоминала потом матушка Гарсо, вдова этого парня, — вновь пришел сюда. Несмотря на туман, его глаза были ясно видны, только на этот раз в них горел совсем другой огонь. Они так сверкали — можно было испугаться. И я испугалась!

— Все равно убью! — сказал тогда Ираклий Бекаури, и женщина безошибочно угадала, кого собирался убить стоявший этой туманной ночью у ее ворот ослепленный горем и гневом парень.

Тогда и сказала она ему слова, о которых парень не осмеливался мечтать и которые затеплили в его ожесточившейся душе слабую лампадку счастья:

— Завтра я перейду к тебе...

Девушку отвели в дом мужа ночью. Свадебная суматоха и шум остались там, в невестином доме. Они остались совсем одни. Уже стемнело. Вокруг никого не было видно. Казалось, все в деревне куда-то исчезли, затаились. Сейчас вся деревня, весь мир принадлежали только им. По пути в свой дом Дзила Кобаидзе и Ираклий Бекаури одолели проселок, миновали широкий луг. Тьма окутала все вокруг. Только маленькая церквушка белела вдали, и парень с девушкой, не сказав друг другу ни слова, направились к ней. Уткнувшись в полуразвалившуюся стену, парень сделал шаг в сторону

и исчез во мраке. — Иди сюда, не бойся! Девушка нерешительно шагнула во тьму. Вокруг стояла ночь (такая же, как эта, темная, безлунная, только звезды на черном небосклоне), вдруг из врат белой церкви раздалось: — Венчается раб Божий... с рабою Божьей...

Такой была свадьба этой женщины с плоскими ладонями и лицом, изборожденным морщинами, хотя тогда она еще была не женщиной, а девушкой, даже девочкой с невинными глазами. Такой была та ночь, безлунная, но с россыпью звезд на темном небосклоне, ничем не отличавшаяся от множества иных ночей, прожитых женщиной за многие годы жизни. Но никогда больше не было ни маленькой церкви, белевшей во тьме, ни того парня, ни еле слышных слов «Венчается раб Божий...» Вспоминая о той ночи, женщина неизменно ощущала, как в ее душу проливался свет, хотя и не знала, что это за свет, как он назывался, откуда взялся...

В мужнином доме девушку встретили свекровь со свекром: тихая, безответная Бабуна и Тако. Так же тихо и бессловесно прожила она с ними года два. А потом они, молча и безропотно, покинули белый свет. Это случилось, когда пришла похоронка на второго сына. Словно просто взяли и ушли куда-то, в одну прекрасную ночь скрылись и уже не появлялись больше, унеся с собою и благодарность этому миру, и недовольство им. С тех пор в бекауревском доме навсегда поселилось безмолвие. Невестка, которой в ту пору не исполнилось еще и двадцати, осталась совсем одна. И этот груз одиночества суждено ей было пронести через всю жизнь, сберегая лишь скупые воспоминания о муже и робкие радости, изредка доставляемые ей издали семьей сына.

А пока... Пока девушка еще чувствовала себя счастливой .Рядом с ней — Ираклий Бекаури, двадцатилетний парень, рослый и цветущий, из глаз которого на нее неизменно изливался свет ласки и любви, хотя в самой глубине их и таился отблеск гнева или озлобления. Девушка боялась этих гневных глаз и молила Бога, чтобы парень забыл обо всем, поверил в чудо и, если брат, Бог даст, вернется живым-здоровым, встретил его радушно и радостно, с открытым сердцем ввел его в дом. Но даже «свадьба» не заставила Ираклия Бекаури забыть слова, сказанные самому себе после смерти

брата. Замкнутый неуют семьи был нарушен, доброе сердце девушки согрело стены, только с этими словами ничего не смогло сделать. После того, как миновали «свадебные хлопоты», в сельсовете его похвалили. одобрили решение, похлопали по плечу, но вернули назад с отказом. Но Ираклию Бекаури не нужны были ни одобрение, ни сочувствие. Убийца брата постепенно обретал в его сознании все более реальные очертания, выделившись из «вражьих полчищ» в того самого живого и осязаемого человека, который, казалось, еще вчера мог повстречаться ему на деревенской дороге, а теперь, испугавшись содеянного им, затаился где-то неподалеку. «Знай, я убью его!..» — грозился Ираклий Бекаури. А тот все смотрел на него, не отводя взгляда, прекрасно понимая его слова, догадываясь, что смерть неотвратима, и тем не менее не выказывая ни малейшего страха... Однако стоило Ираклию обнажить кинжал (в те дни он всюду ходил с кинжалом), тотчас исчезал куда-то. Этот парень не имел ни малейшего представления о том, что такое подлинная война, выставляя себя всем на посмешище. И впрямь смешон он был со своим намерением и со своим кинжалом. Намерение вызывало смех, потому что парень искал и надеялся кого-то найти в этой бескрайней, безбрежной войне, простодушно полагая, что может встретить убийцу своего брата. Кинжал же вызывал усмешку у того, кого он надеялся разыскать, потому что напоминал не о кровавой и губительной войне, а о маленькой сцене деревенского клуба, где при свете керосиновой лампы парень метался взад-вперед в поисках кровника, а нестрашные отблески кинжала в этом слабом свете делали ясным для каждого зрителя: пронзенный этим кинжалом на сцене «враг» через несколько минут смоет нарисованные углем усы и вновь превратится в знакомого, не опасного ни для кого парнишку. Нет, тот, главный противник из всего вражьего полчища, который в сознании Ираклия обрел и собственный облик, и имя с фамилией, вовсе его не боялся.

А парень упрямо продолжал искать его. Эти поиски увлекут его с родного проселка на деревенскую дорогу, она выведет его на другую, более широкую и дальнюю, и так будет продолжаться до тех пор, пока он не доберется до чудища, имя которому — война.

С этого дня парень позабыл обо всем остальном. Девушка только и слышала от него: — Все равно я убью его! С этими словами он жил, искал дорогу, которая должна была привести его туда, где он сможет наконец найти убийцу своего брата.

Так прошла зима, наступила весна, а потом и она миновала в томительном ожидании. И когда Ираклий признался жене: — Больше ничего ждать не буду, ни у кого спрашиваться не стану, отправлюсь, а там будь что будет! — его вызвали в сельсовет и вручили повестку.

Никто на свете не мог бы сейчас сказать, сумел ли он на бескрайних военных дорогах найти того, кого он так жаждал встретить и убить, чтобы его душа наконец обрела покой, а если и нашел, принесла ли успокоение ему смерть этого человека или же она породила иную, еще более тяжкую муку, ибо человечью кровь с рук убившего не смыть ничем и никогда. Нет, это никому не было ведомо, не знала этого и женщина, которая сейчас, в эту минуту, стояла под полуночным пологом неба вместе со своими быками, украденными у самой себя, отправившаяся в неизведанный путь, столько передумавшая за все годы об этом мужчине или юноше, что не было бы ничего удивительного, если бы она знала и это.

* * *

— Надо и мне идти...

Матушка Гарсо перекрестилась.

Тотчас к ее ногам подбежала собака. Собака уже ощутила таинственность и необычность происходящего и, уставившись на женщину, ждала приказа. Женщина же давным-давно решила ни за что не брать ее с собой — что пес, что петух, который трижды за ночь мог оповестить своим криком весь мир: тут мы, глядите! А матушка Гарсо жаждала скрыться, спрятаться, как любой вор. Хотела увести своих быков из собственного двора тайком от всех, пройти с ними по тропинкам-дорогам, добраться до лесной просеки и брести по чащобе, пока не покажется прилепившееся к небесному окоему Чалаури, где она надеялась найти Цокалу и где собиралась припрятать своих украденных быков.

Собака тоже не заслуживала доверия, она была такой же выскочкой и хвастунишкой, что и петух — часа не могла прожить, не подняв лая на весь свет, чтобы показать хозяйке: не бойся, мол, я здесь, со мной можешь никого и ничего не опасаться. А Дзила Бекаури с той самой минуты, как вывела своих быков из хлева, стала воровкой, и потому должна была пройти весь этот путь крадучись, воровски, вслушиваясь в каждый шорох, прокрасться лесом-чащей, скрываясь от чужих глаз, не оставляя за собой ни следов, ни свидетелей.

Дорога была трудной, но такой таинственной и необычной, что, казалось, разогнала все страхи женщины, оставив единственное желание — дойти до самого конца, довести затеянное до завершения. А история могла завершиться добром или злом только там, в Чалаури. Каков будет этот конец, женщина не знала, и это окутывало происходящее еще большей тайной. Нет, сейчас ей совсем не нужен был этот брехливый пес. В другое время — когда угодно, но не сейчас! Попутчиками на этой дороге ей могли стать только звезды, все видящие, все знающие со своей высоты, но ничего не говорящие, не способные выдать ее, разве что через миллиард лет, когда события, происходящие на этой маленькой планете — Земля — дойдут до их царства и станут предметом пересудов. Собака почуяла холодок во взгляде хозяйки и потянулась к ней, чтобы приласкаться, но вместо ласки услыхала строгий шепот женщины:

— Пошла отсюда под свой навес...

Собака не поверила своим ушам. Происходило нечто неслыханное. Женщина вышла на двор в полночь, вывела из хлева быков, еще дремавших, понурых Боселу и Лагу, повесила на спину Лаги хурджин, накинула на себя теплую шаль, — по всему видно, собралась в дорогу, а сама говорит ей, убирайся, мол, под свой навес! Не издавай ни звука! Собака не поверила своим ушам и не побежала к навесу, пока не услыхала еще более строгий и, судя по всему, окончательный приказ:

— Пошла отсюда, я тебе сказала!

Тогда собака повернулась и обиженно затрусила прочь, вошла во мрак навеса и свернулась в уголке. Нет, ясно, что ее никуда не возьмут...

Женщина посмотрела на звезды.

— Господи, обрати на нас свой всемилостивый взгляд.

Хлестнула быков прутом — пошли, мол, — и выгнала за забор.

Потом вернулась, заперла калитку и скрылась в темноте ночи.

Тогда уж вскочила собака, сбежала по трем ступенькам, бросилась к калитке, уселась и стала глядеть вслед ушедшим долгим тоскливым взглядом, но там уже невозможно было никого разглядеть. Доносились только хозяйкины шаги и цокот копыт Боселы и Лаги. Обида сразу же исчезла. Собака вновь почувствовала себя полновластной защитницей всего подворья. Подобное доверие наполнило ее гордостью, и она посчитала своим долгом доложить хозяйке, что поняла, что все будет, как полагается, как того желает хозяйка. Собака залаяла, но никто не откликнулся на ее лай. Долго стояла она у забора, вслушиваясь в удалявшиеся шаги, пока они совсем не заглохли вдали.

Матушка Гарсо миновала проселок и остановила быков на краю дороги.

Огляделась вокруг: не было видно ни одной живой души, не доносилось ни звука.

Кому я нужна! — подумала женщина и спокойно выгнала быков на дорогу.

Босела шагал, свесив голову. Лага осматривал темную дорогу, кося одним глазом в сторону, чтобы убедиться, что Босела следует за ним. Женщина с прутом в руке брела за быками.

Со звезды, откуда наблюдали за нашей маленькой планетой Землей, вместо двух быков и женщины виделся двигающийся по дороге большой ком. Ком то трогался с места, то снова замирал, чтобы прислушаться к звукам, доносившимся от деревни, и лишь потом продолжить свой путь. В безмолвии редко-редко раздавался то собачий лай (женщина узнала своего пса: «Никак не уймется, проклятый!»), то цокот копыт одинокого коня с верхней околицы, — тогда впервые женщина ощутила страх, погладила быков по спинам и погнала в заросли терновника. Прямо перед нею, у самых ног, скользнула змея, но женщина в ту минуту даже не испугалась. Всем своим существом вслушивалась она в дальний перестук копыт, пока он не затих окон-

чательно. Тогда женщина вытерла пот с лица черной косынкой. Должно быть, это Ника, лесник, успокоила она себя и вновь вывела быков из кустарника на дорогу. Снова покатился по темной дороге плотный черный ком, глухо топая, останавливаясь, чтобы перевести дух. Потом снизу донесся детский плач, но Дзила Бекаури на этот раз не испугалась и не остановилась. Детский плач был ей даже приятен, и если бы она решила остановиться, то только для того, чтобы подольше слышать его и убедиться, что она не одна в этом мире, что вокруг нее есть люди, народ, что совсем рядом, внизу за забором, плачет ребенок. За его плачем последовал голос женщины: — Эй, Маквала, не слышишь? Видать, спала Маквала глубоким сном и ничего не слыхала на свете. Женщина снова окликнула: —Маквала, проснись же наконец, чтоб ты сгорела, изошел ребенок криком!.. Должно быть, Маквала проснулась наконец, подсела к колыбели, покачала ее. В ночной тишине глухо доносился ее голос: — Баю-баю! Но ребенок продолжал плакать, и матушка Гарсо бодро продолжала шагать по дороге, словно уверенная, что этот детский плач будет сопровождать ее до самого Чалаури. Наконец младенец умолк. Замолчала и женщина, и теперь слышался только осторожный шорох шагов на дороге. Вновь покатился черный ком, напряженно вслушиваясь в звуки, раздававшиеся в мире. Сорвалась и стала падать звезда. Умрет кто-то! — подумала женщина, хотя, как ей казалось, в эту глухую полночь весь свет был объят глубоким сном. Когда же наконец взойдет луна, интересно? Верно, уже к самому рассвету, угасающий месяц всегда поздно восходит. Донеслось журчание родника. Женщина поняла, что скоро село останется позади. Она подошла к роднику, напоила быков, напилась сама. Все это не заняло много времени, и ком вновь покатился по темной дороге. Вот и миновали деревню... Женщина обрадовалась, но ощутила и грусть. Что ни говори, а дальше начинался уже иной мир. Здесь она всемогуща, здесь она — матушка Гарсо, вся деревня знала ее. А дальше она превращалась просто в некую женщину, погонявшую быков. Бог знает, что у нее на уме, откуда гонит она своих быков и в какую сторону... Господи, посмотри на нее своим всемилостивым оком! Женщина вновь взгля-

нула туда, где, по ее понятию, должен был обитать Бог, если, конечно, он впрямь существует и если действительно взирает откуда-то на катящийся по пустынной дороге черный ком, взирает, заранее зная все, что произойдет, где настигнут эту своевольную, взбунтовавшуюся против самого Бога женщину, на каком повороте дороги схватят и отнимут ее уворованных быков (да, именно так назовут ее поступок) и скажут: — Ты же настоящая воровка, женщина! Тогда она от страха проглотит язык, но тем не менее, поскольку сама-то она твердо знала, что не была воровкой, соберется с силами и, побледнев, обливаясь потом, все же возразит: — Нет, я не воровка! Но это случится потом, позднее, если, конечно, именно так и провидел Господь Бог окончание ее пути. В эту минуту женщина желала только одного: темноты и глубокого сна оставшейся далеко позади деревне, откуда уже не доносилось ни цокота лошадиных копыт, ни детского плача, которого она не забудет уже никогда в жизни.

* * *

Женщина проснулась. Она не могла понять, где была. Напуганная, стала осматриваться. Потом вдруг сразу вспомнила все, что произошло. Над ее головой стояли быки. Да, это было именно то место, которое она так давно искала, оно возникло перед нею с рассветной звездой, когда она решила: сверну с дороги в траву, подремлю немного. Привязала Лагу и Боселу, пусть стоят рядом, присмотрят за ней. Они так и стояли, траву принялись щипать только после того, как женщина поднялась, отряхнула платье, повязалась косынкой и взглянула на небо. Небо было голубое и чистое. Солнце только-только встало над хребтом, и женщина догадалась, что не так уж долго проспала. Слава Богу, хоть подремала немного, на весь день хватит, можно продолжить путь... Ласково потрепав быков по холке, снова перевесила на спину Лаге хурджин, достала краюху хлеба и вышла на дорогу. Тут же неподалеку журчал ручеек. Сначала она напоила быков, потом напилась сама, плеснула на лицо. Ей стало приятно, словно смыла с себя усталость и страхи целой ночи. — Ну, пошли, — громко проговорила она и вновь вышла на дорогу. Лага шагал впереди. Боссла, как

обычно, немного отстал. Женщина шла последней. Она не думала теперь ни о чем, кроме того, что деревня осталась уже далеко позади. Теперь ей предстояло пройти еще одно село, а когда дорога пойдет в гору, через лесную чащу, настанет и время завтрака. Настал день и светило солнце, и ночные опасения уже оставили ее, но днем ею овладел иной страх, страх перед человеком, перед тем, кто встретится в дороге. Если хоть один из них окажется преследователем, разом потеряет смысл и совершенная ею кража и сам побег. За нею останется лишь слава воровки, быков же потеряет навсегда. Хоть матушка Гарсо и была уверена, что пока жива, никому их не отдаст. Женщина поняла, что этот страх преследования был хуже таинственных опасений минувшей ночи, и постаралась заставить себя думать о чем-нибудь другом, о чем-нибудь, что поможет позабыть и о нынешнем дне, и о воровском побеге, и об этих чертовых быках. Долго искала она какого-нибудь, подходящего слова, но не смогла вспомнить... Женщина упорно хваталась за тысячи всевозможных историй, то пыталась оживить в памяти облик мужа, то вызвать воспоминание о сыне или придумать еще что-нибудь, способное рассеять страх, заставить улыбнуться, отвлечь от этого палящего солнца, пыльной дороги, показавшейся вдали деревни, еще более усилившей страх женщины, поскольку там, в деревне, обитают люди, да и сама деревня всякая бывает, и злая, и добрая, а теперь, возможно, только и ждет, когда покажутся на дороге три черные точки — матушка Гарсо со своей бычьей упряжкой. Люди станут звать друг друга, перекликаться от двора ко двору, от дома к дому, на дорогу выбегут злые псы... Уже приготовлены оковы для всех троих, припрятаны тут же в траве, у обочины. Стоит появиться женщине, как вся деревня разом зашумит, засуетится, станет указывать на нее пальцем: вот она, та самая женщина! Что за женщина? Да та, что украла быков! Вы хоть знаете, у кого украла? Сама у себя! Собственных быков! Разве это можно назвать воровством, такого никто не видал и не слыхал... А матушка Гарсо опустит голову, еще теснее прижмется к быкам, готовая провалиться сквозь землю. Лучше умереть, чем через эту деревню идти... И эта мука будет длиться, пока деревня не прогонит

ее из конца в конец сквозь толпу, разделившуюся надвое, пока она до конца не испытает этот стыд и пытку, пока самый последний из жителей деревни не остановит ее и строгим голосом спросит:

— Ты и есть матушка Гарсо?

Но вместо этого деревня вдруг исчезает из глаз. До нее еще далеко, и никто не спрашивает, кто она такая и куда направляется. Только доносится издали стук копыт, и женщина все так же напряженно вслушивается, хлещет быков прутом, сгоняет с дороги в кусты. Быкам кажется, что пришло время отдохнуть, и они жадно набрасываются на высохшую траву за кустами. Матушка Гарсо, как и полагается воровке, прячется в зарослях и испуганно ждет, когда же наконец покажется всадник, проскачет мимо (или прошествует шагом), скроется вдали (если только не остановится и не примется искать ее). А она выйдет потом снова на дорогу, чтобы продолжить путь, чтобы вновь испытать мучительный страх, когда на дороге появится кто-нибудь и женщина решит — теперь уже все, теперь — кончено, на этот раз, точно, преследователь настиг ее. Цокот лошадиных копыт слышится все яснее и яснее, вот уже и сама лошадь показалась, рысит, еле переводя дух, и всадник ее впрямь похож на человека, который спешит куда-то, то ли гонится за кем, то ли торопится к тому, кто ждет-не дождется его в конце пути. Господи, да какой же это преследователь! Совсем еще мальчишка, лет пятнадцати, не больше, в синей рубахе, босой, с растрепавшимися на ветру волосами, он свободно и ловко сидит на неоседланной лошаденке. Матушке Гарсо было стыдно, что она спряталась, совсем по-воровски скрылась в кустах, она жалела, что не стоит на дороге, не встречает парнишку лицом к лицу, не говорит ему: — Я обрадовалась тебе, сынок, словно Святому Георгию на коне! Нет, этого говорить нельзя, женщина не смогла бы произнести этих слов, даже если бы и впрямь стояла на дороге и юный всадник протрусил мимо. Такое не говорят, о таком можно разве что подумать про себя. И матушка Гарсо удовлетворилась тем, что вышла на дорогу, остановилась посередине и долго провожала взглядом парнишку в синей рубахе на неоседланной лошади, пока он не стал совсем маленьким, и синее пятно рубахи не потем-

нело, а потом он вообще исчез, и цокот копыт заглох вдали...

Матушка Гарсо устыдилась своего вчерашнего страха, когда все было окутано мраком неизвестности, и сегодняшней боязни, под ярким солнцем, когда ее подстерегала в отдалении, словно дракон с разинутой пастью, показавшаяся впереди деревня.

* * *

Ночь настигла ее перед самой лесной опушкой, и все вокруг вновь опутал неизъяснимый страх... Луны еще не было видно. Звезды усеяли все небо. Опять я осталась наедине со своими быками, — подумала матушка Гарсо. Ей вспомнились плясавшие парни, люди, с испугом наблюдавшие за ними, вся эта история, так рассердившая ее нынче утром. Теперь она казалась малозначащей и смешной. Значительным и важным было другое: женщина, одна-одинешенька стоявшая в эту темную ночь лицом к лицу с целым миром! В лесу не слышно было ни звука, все замерло, словно специально для этой женщины заготовленная заранее тишина поджидала ее появления. Безмолвие неприкаянности и пустоты! Хоть бы вода журчала где-нибудь, — подумала женщина, вслушиваясь в тишину. Нет, не слышно было даже звучания родника. Матушке Гарсо часто приходилось бывать одной в лесу или на покосе, но никогда не охватывало ее подобное чувство страха и бесприютности. То одиночество было совсем другим, тогда она знала, что ее просто застигла ночь в лесу или на покосе, она вот-вот вернется в свое село, ей знакомы были любое деревце и тропа, и она могла говорить в полный голос со своими быками или затянуть песню, которой отпугивают ночной мрак. Это же была совсем иная ночь, ее песней не отпугнешь. Тогда женщина встала между своими быками и обеими руками обняла их теплые шеи. Почуяв, что и быков охватила дрожь, она сразу захотела крикнуть во весь голос. вслух высказать все, о чем передумала, что испытала, начиная со вчерашней ночи. В эту минуту, лицом к лицу с усеянной звездами бездной, вместе со своими быками женщина была совсем одна, и никому в целом свете не известно, где она находится. Если бы она ис-

чезла, сгинула, никто не смог бы сказать, где именно затерялась женщина, проживавшая прежде в таком-то деревне, имевшая собственное имя и фамилию, оставшаяся вдовой такого-то, занесенная в учетную книгу сельсовета; село же, где она проживала, в свою очередь входило в районный список сел и деревень, район — в список страны, а страна занимала изрядное место на карте земного шара... Да, сын этой женщины тоже мог бесследно сгинуть с лица земли, поскольку рискнул и сделал то, чего нельзя было делать, хоть и на один только шажок, но свернул с пути, которым шел весь остальной мир. И только собралась испуганная женщина, уставшая и обессилевшая, закричать во весь голос, позвать кого-нибудь на помощь, поведать во всеуслышание, что она, женщина, которую называли матушкой Гарсо, проживавшая в таком-то селе, украла из собственного хлева собственных быков и сейчас прячется здесь в лесу, испуганная, растерявшаяся и поверженная, — как вдруг неожиданно для себя, крикнула совсем другое:

— Чтобы тебе радости не видеть! Хотя ты так и ушел, не увидев ни радости, ни счастья! Зачем отравил мою женскую долю, если все равно собирался на тот свет!

Выкрикнув это, она села на землю, прямо у ног своих быков, и заплакала.

Повествователь этой истории утверждает, что к проклятиям женщины, которые на деле и проклятиями-то не были, прислушивались со своей вышины звезды, и именно в это мгновение на одной небольшой планете, в галактике, что находится по соседству с нашей солнечной системой, происходила почти такая же история: в том лесу, где женщина оплакивала свою несложившуюся женскую судьбу, стая голодных волков раздумала нападать на быков, нашедших в этой чаще кров и защиту, а обвившая древесный ствол змея скользнула прочь, в лощину; пробудились птицы и вздрогнули деревья, медведи вылезли из своих берлог, олени и лани стали призывать друг друга, и все вместе зашептали:

— Эта женщина прокляла своего мужа, а теперь сидит и плачет...

Но все, о чем рассказывает повествователь этой ис-

тории, служит одной-единственной цели — придать путешествию некой женщины ореол величия, представить ее с самыми обыкновенными быками в самую обычную ночь в некоем мистическом ореоле. Рассказчик сознает, что в наше время, когда все вокруг ясно и понятно как на ладони, ни величие, ни мистика не пользуются особой популярностью, да что там популярность, они почитаются просто-напросто свидетельством дурного вкуса. Бедный повествователь! Он простодушно верит, что расщепление атома, полет на Луну и прочие подобные достижения, которыми в наше время гордится человечество, создали у людей временную иллюзию всеведения и всемогущества. Но пройдут первые восторги, и человек однажды вновь поймет, что, несмотря на все эти открытия и достижения, он обладает лишь весьма незначительным знанием о нашем необъятном мире, что вселенная по-прежнему полна недоступных и непостижимых тайн, что человек грядущих веков, если только земля еще выстоит, непременно будет величайшим мистиком. Все смешалось, — думал повествователь настоящей истории, — мы не сумели уладить всех своих дел на земле, и уже настало время новой встречи с запредельностью, теми самыми небесами, которые следят за нами, не отводя глаз, с самого нашего появления, может, мы хоть под чужим взглядом ощутим стыд?.. Думая так, наивный и простодушный рассказчик искренне верил, что двадцать первый век вновь обернет взор к небесам. Вновь станут писать поэты стихи о звездах, воскреснет любовь... Автор или сочинитель этой вымышленной истории размышлял над этим и над множеством других подобных вещей, пока ночь не подойдет к концу, пока матушка Гарсо, одолев свой ночной страх, утром, бодро хлестнув своих быков, и по логике весьма условного сюжета, отправится туда, куда непременно должна прийти, где ее уже поджидают подошедшие раньше. Это место — речной берег, который рассказчик назвал «картиной на берегу реки», это — община семерых, расположившихся на плоском камне.

Двое — хмурый Абриа Махаури и появившаяся из лесных зарослей в тоненьком платьице девушка — уже сидели на своих местах. Третьей должна была стать матушка Гарсо, и вот она уже показалась, идя так, словно эти двое давным-давно поджидали именно ее, и

она не могла обмануть их ожидания, шла и погоняла своих быков, Лагу и Боселу. Отпустив быков попастись тут же на береговой травке, она застенчиво приблизилась к старику и девушке.

— Доброго вам дня...

Мужчина молча кивнул в ответ.

Девушка улыбнулась.

Матушка Гарсо отыскала себе место возле самой реки.

— Эта вода до утра не спадет, — сказала девушка.

— Видно, в горах прошел дождь, — откликнулся Абриа Махаури.

Женщина шепнула:

— Вы случайно не в Чалаури идете?

Старик кивнул.

Девушка обрадованно воскликнула:

— И я в Чалаури!

— Значит, все мы идем в Чалаури, — прошептала женщина, глядя на своих быков.

С лесной опушки внезапно раздался тонкий голосок — словно сорока заверещала:

— Здравствуйте, люди!

Все трое обернулись к лесу.

К реке вприпрыжку спешила старушка.

Глава четвертая. СВИДЕТЕЛЬНИЦА

С появлением старухи-сороки берет начало комедия. На приречной косе появился бродячий театр, в большом фургоне, занавешенном старым ковром. На ковре вкривь и вкось было выведено: «История старухи-сороки, ее мужа Миха и других...» Пестрый фургон остановился под раскидистым кленом, какое-то время в его лоне что-то подготавливали, а потом трижды ударили камнем по висящей на веревке мотыге (словно бы дали три звонка, извещавших публику о начале), и представление началось!

Старушка-сорока рассказывала свои истории, и никто не знал, какая из них была правдой, а какая — вымыслом. Никто не ведал, что она присочинила к действительно случившемуся на самом деле, а о чем умолчала. Пусть себе трещит, сколько душе угодно!

Нам-то что с того, людям, образовавшим общину, общество, бояться болтовни какой-то бабы-сплетницы, пусть в ее словах содержится чистая правда или даже клевета на всех нас. Сила-то на нашей стороне! Поэтому, дамы и господа, занимайте спокойненько свои места... Этот лес с рекою превратится в декорацию. А если с Божьей помощью еще и солнце появится, посчитаем, что это загорелись осветительные прожекторы. А вы, молодой человек, подсобите нам своим магнитофоном, когда по ходу представления потребуется веселая или грустная музыка. Сейчас ведь оркестра не найдешь нигде, даже в настоящем театре магнитофонами пользуются, да и занавеса, слава Богу, не потребуется — театр отказался от занавеса.

* * *

Пока жив был мой муж, я, правду вам доложу, была счастливей всех на свете. Если у женщины муж рядом, ей грех на судьбу сетовать. Муж — это все! Я о своем Миха говорю, пока он жив был... Пусть даже девять детей окружает тебя, ты все равно одинока, мужа заменить никому не дано, разбегутся-разъедутся кто куда, хотя на словах все — с тобой, все — рядышком, стараются опередить друг друга: ну, матушка, чего тебе у Нуцы делать, ты ее с малолетства непутевой называла, с чего это вдруг к старости полюбила? Лучше ко мне переезжай, мы с мужем присмотрим за тобой, ветерку коснуться не дадим, посадим в красный угол и будем любоваться... А как пойдешь, не только денек, одной минуты покоя не дадут, тут тебе дом, тут — двор, тут — виноградник, за всем присмотр и уход нужен... А там пара дней пройдет, Вепхо подъезжает, словно бы просто так (это пока я у Нуцы живу, похищенная ею от сестер-братьев), усядется, посмотрит направо-налево, ну-ка, мол, зарежут куренка ради такого случая или нет, хоть огонь в очаге разожгут ли?.. А когда никакой готовки не заметит, с хитрым намеком скажет: — Только знайте, креплеными вином не поите, не то я сюда ни ногой. Вы же знаете, меня не провести. А моя Нуца в это время — в библиотеке. Зять отправился в баню. Ну и приходится мне самой и курицу резать, и вчерашнюю фасоль доставать из хо-

лодильника или как там еще эту махину зовут, и чеснноку натолочь. А с вином, говорю, не обессудь, не я его давила, не то хоть на кресте бы поклялась, что оно не поддельное, за чужое — как мне отвечать... Нальет он себе в стакан, посмотрит на свет, взболтает, потом осторожно поднесет ко рту. Давай, говорю ему, решайся, не убьет же в конце концов! А он — убьет, отвечает, конечно же убьет, ты ведь знаешь, каков бываю, если что-нибудь не то выпью!.. Потом соберется с духом, отхлебнет и тут же сплюнет: ну и гадость, говорит. И после этого ты скажешь, что твой зять — мужчина! Ну, ладно, говорю, других он, может, и стал бы травить, но себя-то ведь губить не станет! Неужто из-за денег на такое пойдет?! Пару стаканчиков Вепхо все же выпьет, должен ведь непременные тосты сказать! И пока дочка с зятем домой вернутся, пока Нуца брату говорит: как это я не увидела, когда ты с автобуса сошел, а зять скалит свои лошадиные зубы и прямо от ворот кричит: — Ты что, уже начал, меня не дождавшись (это он на вино намекает). Вепхо и говорит мне потихоньку: — Чего тебе здесь делать, хотел бы я знать, весь дом на тебя взвалили, где тебе с их бешеными детками справиться? (Чтоб они живы-здоровы были, как раз они-то мне не мешали вовсе, двое в школу отправились, вот-вот должны вернуться, младшенький же попросился — разреши, я с Вахто в виноградник пойду, и исчез куда-то). Так о чем я рассказывала?.. Ты, мол, уже без меня начал? — кричит. А этот в ответ: — Я-то начал, только разве это пойло сравнить с вином, что в моем кувшине!—Ну что же, мое не нравится, к тебе пойдем... — Ну и пойдем, что ты меня, как девицу, стращаешь!.. Ты где был, в бане? Смыл с себя всю грязь, вдруг, мол, гости придут?.. Так пошутят друг с другом, а потом усядутся и — пошло! Чего тут они наговорят, только зять с шурином не обижаются на шутки, все же не чужие...

Так веселимся-хохочем, слушая их. К полуночи Вепхо скажет: хватит, довольно кисленькой водицей надуваться, теперь я пошел. Как мы его ни просим, как ни уговариваем — ни в какую, отрезал и все! Он всегда таким упрямым был. Словно и не слышит, что ему говорят... Зять просит: оставайся, вином я тебя угостил, а сейчас еще и соседкину Тамару позову, в

постель тебе положу... Вот охальники! Теперь над этим смеяться начинаем. Тамара не замужем, ничего такого в своей жизни не видала, и вообще, верно, уже спит, десятый сон видит. Хоть всегда жалуется на бессонницу и головную боль, и то, говорит, болит, и другое, копается в шкатулке с лекарствами, жалуется, что в аптеке ничего не достать... О чем я говорила? Да, вспомнила! Как мы ни уговариваем, он не останется, натянет шапку на голову и уйдет. Моя Нуца волнуется: уже глухая ночь, как бы по пути с ним чего не случилось, теперь уже и автобус, небось, не ходит, и машины не ездят. Зять вдогонку еще разок крикнет: поостерегись, Вепхо, как бы тебя не похитили. Постепенно все затихает. Дело уже к полуночи, всем спать хочется, но то одно вспоминается из того, что они тут наговорили, то другое. И снова смеемся, помираем со смеху, пока и впрямь не заснем.

Я не надоела вам своей трескотней? Нет, в самом деле? Я так не люблю, когда много болтают...

Ну так вот, живу я у Вепхо, а тут и Тариэл является, в самый полдень. Я-то знаю, он нарочно это время выбирает. У меня расстелена шерсть из матраса, палочкой треплю ее. Пять лет все не удосужились перебрать шерсть. Да разве моя невестка сумеет это, даже если и надумает! Утром встанет, намажется-накрасится перед зеркалом, сначала спереди оглядит всю себя с ног до головы, потом — сзади. Намажет губы своей красной помадой, затемнит веки над ресницами. Я молчу, слова не говорю, пусть, что хочет, то делает... Мода, говорит, разве она может без моды?! Измучила и извела она моего сына Вепхо, не то бы он и впрямь барсом был! Может, вы даже слыхали о нем — Вепхо, что на канале работает... Толстый он, говорят. Это сейчас растолстел, прежде разве таким был! Вышла бы за него моя франтиха-невестка (она — школьная директорша!), если б не был парень красавцем? О чем я говорила? Да, о Тариэле начала, а на Вепхо свернула... Вот он оглядится, значит, туда-сюда и говорит как по писаному... И как только вышли они такими похожими друг на друга? Впрочем, — чему удивляться — одного отца дети! Одним лоном выношены! Оглядится, значит, и говорит: и чего тебе, мать, здесь делать, невестке до тебя дела нет, и сыну тоже, совсем одинешенька, слов-

но нечистый дух. Один телевизор у них, да и то испорченный. Пока они его в город свезут и починят, ты помереть можешь. Пошли к нам, моя жена не этой фре чета, любит тебя и почитает... Такой язык у парня — мед! Пойдем, говорит, к нам, посадим тебя возле очага, под навесом марани, мы там очаг устроили, а не захочешь — пожалуй наверх, постелим тебе постель возле тумбочки, любуйся на нас и наслаждайся. А я ему отвечаю, как же, останется у меня время по сторонам глядеть, как бы не так. Почему и нет, говорит. А кто тогда перестирает тряпки-пеленки мальцам, что в колыбели у вас лежат? Найдем, кому постирать, отвечает. Поговорит, поговорит, а тут Вепхо явится. Обнимутся братья — с детства души не чают друг в друге. Вепхо скажет, нет у меня вина, достойного тебя, только и я неплохое вино держу. Нет, отвечает, не могу, ты же знаешь, какие времена настали, я на машине, капли в рот не возьму. Милиция тебе слова не скажет — сами же винцом балуются... А тот свое: сам знаешь, какое время, стоят и проверяют всех подряд. — Да разве по тебе заметно что-нибудь, не станут ведь в рот лезть, вынюхивать... Поговорят так, пошутят, и наконец Тариэл подмигивает мне — давай, мол, шерсть уже готова, да и о машине он ради меня упомянул, что поделаешь, люблю я это: на мягком сиденье усядусь, опущу стекло, высуну голову наружу и красуюсь так перед всем светом. Тариэл гонит машину; мчимся, а у меня сердце прямо-таки млеет от удовольствия, хоть и ворчу всю дорогу: разве оставят тебя в покое, разве отвяжутся... Соседи же стоят вдоль дороги и хоть бы что — что ты проехала, что муха пролетела, привыкли, видать. У некоторых во дворах по две машины стоят! Но, гляжу, там, над забором, торчит голова моей подружки Пепо! Вертит хворостину в руке и детей ругает. Я высовываюсь еще больше, чтобы наверняка заметила, не слепая же в конце концов наша Пепо. Но нет, ей все одно, пока в самое ухо не крикнешь: видишь, женщина, это я еду! — она и не оглянется. Я ругаюсь, кляну все, на чем свет стоит, говорю сама себе, если б заметила, может, и подвезли бы ее, знаю ведь, что и ты не меньше меня охотница в машинах раскатывать (непоседливая баба она, всем это известно). Но вот уже и Пепо осталась позади, и из-за поворота появля-

ется Шакро, Маргалитин свекор, восседает важно в тачке, запряженной ослом, держит поводья в руке, а сам куда-то вверх уставился, чтобы тебя вместе с твоим ослом черти взяли, Шакро, кричу я ему. Да разве кто тебя услышит? Кричи-не кричи, он и не оглянется. Я смеюсь и ругаюсь... Наконец подъезжаем к дому Тариэла...

Мы еще и выйти не успели, Маргалита уже спешит навстречу. Здоровается, сыплет вопросами, расспрашивает о том, о сем... — Какое, спрашивает, давление, не беспокоит? Перевяжет мне чем-то локоть и давай надувать резиновой грушей. Потом вздохнет печально, взглянет на Тариэла и на невестку (хорошая у них невестка, скромная, послушная, ничего плохого сказать не могу, не помню от нее обиды, впрочем, и я ей ничего дурного не сделала, плохого не скажу, не возьму грех на душу!), и по-русски скажет: «Сто восемьдесят». Уж столько-то по-русски я понимаю! Потом ко мне оборачивается: — Как можно так с давлением шутить, мама? Надо поберечь себя. Сейчас же поведу и уложу тебя... — Если надо, уложить в постель и мы можем, — выскакивает невестка (нет, что ни говори, счастливая я женщина). Из-за этого у них даже небольшая размолвка происходит. Вечно ты меня готова обвинить в чем угодно, — говорит невестка золовке. А та в ответ: — Она еще прийти не успела, если что, во всем Вепхо виноват. Так и будут препираться, пока я не встану (меня-то обе побаиваются!): — Ну-ка, замолчите сейчас же! Почему раньше, говорю, никакого давления не было? Что-то плохо себя чувствую — говорили тогда, приляжем на минутку и головная боль сама пройдет, и живот отпустит! Это теперь для всего на свете разные имена придумали, лекарства из рук не выпускаете. Успокою я их, угомоню, они и усядутся рядком, толкуют ладком: разве не знаю я, какая ты у меня невестка, да и я к тебе всегда всей душой... А я тем временем уже у огня кручусь: жарю кукурузу, разгребаю угли для шашлыка, мясо давно насадила на шампуры, посолила-поперчила как следует... Моя Маргалита попытается подняться: темнеет, мол, муж с детьми дожидаются. Что ты говоришь, ужасается невестка, разве не видишь, уже на стол накрываю. И впрямь вскакивает, начинает посуду расставлять. Я свою дочь

знаю, она повозражает немного, только со стола, мол, премного благодарна, вы ведь знаете, я стараюсь не употреблять наваров и свинину, но в конце концов даст себя уговорить, хотя, кроме хлеба с сыром, впрямь ни к чему не притронется... Потом уйдет, и невестка ей вдогонку пару слов скажет, — нет, ничего такого, чтобы меня огорчило, я ведь говорила, она чудная женщина. А я тем временем со стола убирать начинаю. Зачем убирать, про ребятишек забыла, что ли? — говорит невестка, и не успеет она договорить, как врываются, словно голодные волчата, двое мальчишек (та, в колыбельке, девочка, чтоб она счастливой выросла!), сесть не успеют, как один хватает одну ножку, другой — другую, отнимают друг у друга, толкаются. Только когда насытятся, мать говорит им: — А с бабушкой поздороваться забыли? Тут-то они как закричат в два голоса: — Здравствуй, бабушка! — и снова убегают со двора.

На следующий день Маргалита все же забирает меня к себе.

В их доме царит тишина. Что делать, люблю я, старая, когда вокруг шум и гам. А моя Маргалита все пульс себе щупает, муж ее от газеты глаз не оторвет. Я до сих пор не знаю, что он преподает в школе. Однажды я даже сказала: — Хоть слово скажи, чем я перед тобой провинилась! А он: — Что говоришь такое, женщина ты хорошая и я тебя уважаю... С чего бы ему не любить меня! Разве мало я для них сделала? Разве не я выходила их единственного парня, что вечно болел? Лежал в постели, бледный, ни кровинки в лице, и в рот ничего не брал. Тогда я выставляю всех из комнаты, наливаю красного вина в чайный стакан, окунаю в вино кусок домашнего хлеба (у нас его боглоцо называют) — посмотрели бы вы на мальца, глотал словно индюшонок! А моя дочь, вернувшись домой, причитает — не знаю, как у ребенка в теле душа держится: не ест ничего, от горя в могилу сойду... Я-то знала, чем его душа держалась, только разве скажешь! Дочь подняла бы крик на весь мир, отняла боглоцо и впрямь свела бы сына в могилу. Поглядите-ка на него теперь, какой парень вырос! Девушки из-за него готовы друг другу глаза выцарапать. Ему и семнадцати не было, когда женился! Теперь, правда, у него другая жена. И

первая недурна была, но он предпочел вторую. Кто знает, почему? Такова, видать, его судьба... Он никак не мог с матерью первой жены общий язык найти. Знаете ведь, как теперь принято! Если бы и я так поступила в свое время из-за свекрови, отказалась от своего Миха... Да что вы говорите! Все от судьбы зависит. Я не могу упрекать внука. Теперь он в городе, учится на судью. Чего вы смеетесь? Сам можешь хоть с пятью женами развестись, а других суди по закону-по совести. Мир велик...

О чем я это говорила?.. Так вот, в один прекрасный вечер раздался телефонный звонок. — Кто у телефона? — спрашивают. — А сами-то кто будете? — отвечаю. А чего это я должна докладывать, кто и что... Какое-то время в трубке молчали, потом раздалось хихиканье, словно кто-то шептался со своей болтушкой-женой, — подойди, мол, поближе, что я тебе скажу. Я-то уже догадалась, что это был мой Гогия, ни дна ему, ни покрышки! Я называю его мой Гогия, хотя на самом деле он мне племянник, сын моей сестры. И он, и Ушо, Ушанги то есть, оба племянники. Рано ушла из жизни несчастная моя сестрица, заболела какой-то проклятой болезнью... Зять мой и года не выдержал, сорвался с цепи, привел сироткам мачеху... Я и говорю Миха, раз так, возьмем-ка тех мальчиков к себе. А как же, отвечает. Вы думаете, мой зятек возражал? Ладно, говорит, кто за ними лучше тебя присмотрит... И чего ему возражать, не так ли? Ну, я их взяла к себе, вырастила, они до сих пор меня матерью называют. Если бы человек мог выбирать, я бы врагу не пожелала судьбу их отца. Недолго прожил он, несчастный, ехал в колхозном грузовике, а тот возьми и опрокинься, раскидав сорок человек во все стороны... Нет жалости у Господа Бога. Впрочем, как то есть нету? Из всех сорока только он и помер, чтоб недожитые им дни Ушо с Гогией добавились! Да, значит, сейчас Гогия кривляется в телефоне, меняет голос, хрипит в трубку: — Это ты, Пело? Словно он — мой Миха, мой бедный Миха, чьих костей, верно, уже и в могиле нету. Ну, и я, конечно, делаю вид, что не узнаю, да, говорю, это я, Пело, а ты кто, неужто бедняга Миха?—Да, отвечает, Миха, неужели не узнаешь? С того света звоню, не могу здесь без тебя, может, встретимся где-нибудь

завтра вечером?..—Где, спрашиваю.—Ну, где хочешь, хоть за ивняком, где мы с тобой впервые встретились (все мой длинный язык виноват, как соберутся и усядутся, я начинаю все вспоминать, да и они подзуживают, ну-ка, о том расскажи, а теперь — об этом, и когда он тебя впервые поцеловал и когда ущипнул. Про это я как-нибудь в другой раз расскажу...). В общем, чтобы не болтать много (я и чужой болтовни терпеть не могу), я уже не сдерживаюсь, помираю со смеху... Начинает хохотать и он, да и невестка большеротая тоже, должно быть, вторит... Тут же является Маргалита, за нею — затек, в кои веки от газеты оторвался, я ему со смехом и говорю: твою тещу в ивняк на свидание зовут, не проводишь ли?.. Гогия прямо покатывается со смеху, кажется, вот-вот телефонная трубка расколется. Там, слышу, жена спрашивает его, что, мол, она тебе ответила? Гогия не знает, что сказать, и хохочет еще громче. Потом угомонился и говорит: в ивняк можешь не ходить, но Маргалите там скажи, пусть не пичкает тебя больше лекарствами, я завтра вечером зайду за тобой. Маргалита обижается. А мне лично не обидно и весело, видит Бог, этому безмольствующему дому предпочитаю шумливого Гогию и его большеротую жену. Потом радость отравляет другая мысль: а вдруг там встречу куму, а она, увидев меня, нахмурится и в тот же день к себе убежит? Я-то женщина веселая, но насупить брови, если что, тоже умею. Не она ли доченьке своей сказала: для того ли я тебя отпустила, чтобы ты ее портки стирала? Она-то буркнула это потихоньку, но мне до сего дня помнится, словно змеиный укус. Никогда не прощу! Не то, что давление, если бы даже пороком сердца страдала, я все равно ее переживу! На ее поминках хлеб собственными руками испеку, а потом усядусь к столу и так от души разрыдаюсь, что вся деревня откликнется. Веселая старушка, обо мне говорят. Если понадобится, могу и злой быть!

Гогия и впрямь заехал и забрал меня с собой. Дорога недолгая, на автобусе пару сел проедешь и уже на месте! Даже если автобус битком набит, меня тут же окликнут: сюда, мол, пожалуйте, садитесь! Знают меня... Может, развеселит нас, думают, или еще что, а я усядусь и молчу себе. А потом не выдержу, сердце у меня доброе, зачем людей разочаровывать. Стоит мне

рот раскрыть — они уже смеются... Знаете ведь наших? Им мизинец покажи, они начинают хихикать. Гордый Гогия разговаривает с кем-то. Слышу, говорит: это моя мать... Видишь, какая еще бодрая и живая? Ее никакая смерть не возьмет! Так мы едем, пока Гогия не окликнет: — Что-то понравилось тебе здесь рассиживаться, поднимайся, приехали. Я встану, оглянусь вокруг, поклонюсь людям на прощание и иду к выходу, пожелав всем счастливой дороги. Идем по холоду, скоро покажется и Гогиин дом. Он — молодчина, построил дом в два этажа, две комнаты внизу со своим марани и чуланом, вверху — еще четыре! Пройдет Гогия к калитке и крикнет: — Ну-ка, выходите встречать, бабка пожаловала! В доме никого не видать, в кино отправились. Но свет на всякий случай оставили. Сердце почему-то начинает колотиться, я даже предлагаю: давай-ка назад отправимся. Но куда там! Разве могу обидеть Гогию! Словно ничего не произошло, как бы не заметив заминки, иду к дому. И вот тогда-то появляется кума, собственной персоной, стоит словно никогда тех слов и не произносила про мои портки... Улыбнется, да так радушно, и скажет: — Добро пожаловать, кума.

— Здравствуй, — отвечаю и, чтобы уже окончательно добить ее, расцелую в обе щеки. Сколько времени. говорит, не была у нас, как поживаешь, что поделываешь... Очень хорошо, отвечаю, я так живу по-всякому, то, се, сама знаешь... А про себя думаю: чтоб тебя черти взяли, не сглазила бы... Она же, кряхтя, повернется, мол, куда как больно, и жалуется: и дети, словно лесные разбойники, озорничают, и слушать ничего не желают, и все кругом рушится-разваливается, и спина болит, и суставы ломит, и колени уже не гнутся. Так тебе и надо за все, — радуюсь я в душе и уже затеваю ставить тесто для хлеба (на поминки!), а сама спрашиваю Гогию, на сколько человек напечь надо, сколько гостей приглашено к поминальному ужину?—Человек триста придет, должно быть...—Хоть пятьсот, — отвечаю я, и пеку, пеку... Это я так, для смеха говорю, а то, если честно, ничего плохого она мне не сделала, пусть Бог ей долгие годы даст, ведь все мы только гости на этом свете... И все же хорошо бы хоть на пару дней она ту-

да бы отправилась, не то для чего здесь хлеб выпекать!..

На третий день я уже у Ушо, моего Ушанги, младшенького племянника. Он — гармонист! Во всей округе свадьбы без него не сыграют. Некоторые, как напьются, совсем с ума сходят. Ушанги не такой... Чем больше выпьет, тем веселее становится, а если напьется — не переставая хохочет над всем. Приеду я к нему, бывало он обнимет меня, с другой стороны женушка его бежит навстречу, вот кто и впрямь удачная невестка, мы ее из Панкиси привезли, а родные-родственники у нее еще лучше. Слова дурного от них не услышишь (пусть никто мне про горцев не говорит, охальники, мол, неотесанные). Созовут ребятишек, идите, скорее, бабушка, мол, пожаловала, они и сбегутся со всех сторон, сопливые, голопузые, немытые-нечесаные, одна девчушка и трое мальчишек. Невестка догадается, что не по мне что-то, начнет оправдываться: поверь, свекруха, часу не прошло, как всех до одного перемыла! Ну, говорю, сейчас бабушка перемоет, поглядим, измараются вновь через час или нет... Растоплю печь, согрею воду, оглянуться не успею, а невестка уже мясо накрошила, тесто раскатывает, а сама улыбается во весь рот, знает, люблю я ее улыбку, как-то я даже сказала об этом... Сказала-то парню, Ушанги, а он от жены слова не скроет. Вот и передал, раз уж, мол, ей так нравится, улыбайся, от тебя не убудет. Я еще ребятишек перемыть не успею, а невестка уже хинкали лепит. А хинкали она делает отменные, крепкие, ладные, словно нарисованные, прямо есть жалко. Но никуда не денешься, поешь за милую душу, для меня деланы, специально в честь моего приезда... Поставили на стол бутылку вина, детей рядышком усадили и принимаемся за хинкали. Едим в свое удовольствие, болтаем о Нуце, Вепхо, Тариэле, Маргалите, Гогии, всем по очереди косточки перемываем, в той последовательности, как я их объехала по дороге сюда. Оглянусь, а ребятня уже опять с перемазанными мордашками. Ну, мы и начинаем хохотать, смеемся, пока соседка не крикнет, что там у вас, не случилось ли чего? Невестка говорит Ушо, пригласи-ка ее, угостим хинкали, я столько налепила — всей округе хватит. А Ушо — ненормальный, больше ему и не нужно, залезет на навес и кричит во

все горло: — Люди! Соседи! Кто хинкали желает, все к нам идите, у нас столько — всем хватит! Соседи смеются, знают его веселый, озорной нрав, но до поры никто не откликается. Ушо стоит и зовет: — Идите, чего стесняетесь, все одно выбросить придется! Тогда сначала один отзовется, за ним другой, третий, и по-одиночке собираются, скидывают у дверей теплые чувяки, рассаживаются и — Господи! — только тогда становится мне понятно, для чего созвал Ушо такую ораву гостей. Идет в угол, берет свою гармонь, снимет чехол, усядется на кушетке с важным видом, раздвинет меха и как затянет мою любимую: «Мама-матушка-а-а, родна-а-я!..» У меня сердце сожмется, сначала припомню мою горемычную сестру, после — Миха... Вытру слезы, поднимусь и в другую комнату удаляюсь, Ушо, словно ни о чем не догадывается, допоет песню, выйдет ко мне и говорит: — Нет, тетушка, чтобы я у тебя на глазах слезы не видел!—Привыкли, что я все смеюсь. А вы ко мне в душу загляните! (К этому времени, Господи, прости, чувствую, я уже немножко под хмельком). А он: счастливее тебя нет женщины во всем мире, шестеро детей вокруг, если, конечно, ты и нас за детей считаешь... Теперь от этого сердце сожмется: когда это было, чтобы я вас от родных отличала?! Вот так-то, говорит, а внучатам, верно, и счет потеряла. Да, отвечаю, так и есть, счастливее меня женщины не найти, а слезы все капают и капают. Сама не хочу, а они текут. В ту минуту и всплывет в моем сердце тоска по моему маленькому домику, запертому дому моего Миха (никому не дала снести его, так, говорю, он и должен остаться. Здесь я жила, вырастила всех вас, здесь и помереть собираюсь). Затосковала о своей хибарке, дворике со всеми его обитателями и говорю вполголоса: пойду-ка я теперь домой... Тут начинается: куда? да в такую-то пору? что люди скажут?.. Люди про вас ничего плохого и не подумают, разве я допущу это... Тогда, соглашаются, утречком и отправляйся, на заре, когда пожелаешь и когда прикажешь... Входит невестка и тоже плакать начинает. Не обиделась ли на что-либо, спрашивает, может, я, по глупости, ляпнула что такое, не угодила тебе?.. Нет, отвечаю, хорошо бы все такими, как ты, были... Она-то догадывается, в чей огород я камушек бросила, опять начинает улыбаться,

и я невольно улыбаюсь в ответ, а про себя думаю: если бы не гармонь, никогда Ушо такой девушки в жизни не получил, но вслух этого не скажешь! Я и ссылаюсь на то, что захмелела, что уже глаза на мокром месте... Ну и ладно, смеется Ушо и возвращается в залу.

Соседи к тому времени уже разошлись.

Я всю ночь глаз не сомкнула, все о своей запертой усадьбе думала. Петухи прокричали раз, другой, третий, я встала, выглянула в окошко. Утренняя звезда уже сверкала на горизонте! Да и я готова, одета, собрана, на темные шерстяные носки натянула чувяки, поверх теплого платья — пальто, на голову накинула шерстяной платок, тоже черный. Не дам же людям повода обо мне языки чесать! Я вдова—и соответственно должна одеваться, к тому же пусть видят, по какому человеку вдовью одежду ношу... Потихоньку отворила дверь, но она все же скрипнула. Слава Богу, сон у них крепкий, никто ничего не услышал, и с зарей я уже во дворе. Сначала пешком топала по дороге, потом меня нагнал какой-то непроспавшийся шофер. Видать, и ему неохота было в одиночку ехать, он и окликнул меня: куда направилась, матушка, садись, подвезу... Я села, и мы помчались по пустынному, окутанному рассветной дымкой шоссе. Я по привычке несу то быль, то небылицу, мы смеемся, веселимся и так незаметно доезжаем до села. Еще раннее утро. Село только потягивается, пробуждаясь ото сна, никому дела до меня нет. Я, совсем позабыв о водителе и даже не попрощавшись, свернула в свой проселок и, только когда раздался грохот машины, крикнула вдогонку слова благодарности. Потом вновь заспешила к своему двору. Отперла калитку и на мгновение остановилась под навесом, словно собиралась постучаться, дожидаясь, пока мой Миха, неохотно поднявшись с постели (сколько раз бывало так!), кашляя со сна и бормоча что-то, откроет дверь... Я и впрямь постучала, в то же время оглядываясь по сторонам, как бы кто не увидел. Потом долго рылась в кармане, пришитом внутри платья, нашла наконец ключ и отперла дверь. На меня дохнуло холодом, оказывается, в помещении было холоднее, чем снаружи, выстудился весь дом за неделю или месяц. И теперь, когда я вернулась, этот нежилой холод торопился укрыться куда-то. Я разожгла очаг (я и очаг не разре-

шила трогать), сняла платок, скинула чувяки и подсела к огню. Я была одна, совсем одна в целом мире... Так вот, о том я и говорила, что для женщины ничего и никто не заменит мужа. Вот у меня детей шестеро, о невестках и зятьях я уж и не говорю, внучатам и впрямь счет потеряла, чтобы они живы-здоровы были, на них вся бабушкина надежда... Да и невестки попались удачные, особенно жена Ушо и ее родня. Если и попадется среди них кто-то не такой, пусть себе живет, сколько захочет, насытится этой жизнью, мне-то чем мешает... Да все вокруг меня суетятся, заботятся... И все же я одна-одинешенька на свете, только мышка скребется в углу, снаружи не раздается ни звука, ни шороха. И я все не могу заснуть... Прокричали петухи — раз, другой, третий. Утренняя звезда все никак не взойдет на темном окоеме... А я брожу, слоняюсь по комнате взад-вперед и жду... Чего — не знаю сама... Детей? Их и дожидаться не нужно, сами явятся. Внуков? Их только кликни, в мгновение все вокруг заполнят шумом и возней. Так чего же я жду? Почему стою одиноко в этой непроглядной ночи, вместе с мышью, что скребется в углу?

Надоела я вам, верно? Болтаю и болтаю без умолку. Прямо так и скажите, если что, я и сама женщина прямая. Не люблю, когда болтают почем зря...

* * *

Каким был Миха мой, можете спросить у других, обойдите все деревни окрест и спросите каждого, кто знал Миха. Увидите, женщины тотчас в слезы ударятся, а мужчины скажут: знали, конечно же, знали, ну просто ожившим Христом был... Но, видит Бог, он все же не был оценен по достоинству. Нет, не детьми, нет... Так, в целом если посмотреть... Не скажу, что кто-то чего-то не додал ему в смысле уважения или почтения... Да и сам он не из таких был, чтобы хоть слово сказать, пожаловаться на что-нибудь. Когда мы поженились, он дьячком служил. Не знаю, как таких юношей называли — крутился в церкви на подхвате, бородку носил, такую мягкую черную бородку, очень она ему шла. Кто ни посмотрит — говорит: счастлива твоя мать, вырастившая такого сына, только глядеть и на-

слаждаться... Мы в церковь специально ходили на него поглядеть. На амвон он выходил вслед за священником и дьяконом, держа в руках икону. Девчата выстроятся в ряд, разнаряженные, все в пестрых ситцевых платьицах, длинных, по щиколотку, толстые тяжелые косы за спину закинуты, на головах—разноцветные косыночки и платки, у кого что было... Значит, выстроимся в ряд девки-красотки, на весенние подснежники похожие, и целуем икону в его руках. А он стоит, замерев, словно всем видом показывает, мне, мол, до вас дела нету, я слуга Господа, даже не смотрит в нашу сторону. В одной руке — икона, в другой — белое полотенце, как кто к иконе приложится, он ее тут же полотенцем вытирает и только потом другому протягивает, — давай теперь ты целуй, очиститься от грехов своих! У меня тогда какие грехи могли быть в жизни, кроме того, что на святую икону не гляжу, уставлюсь на него, глаз отвести не могу, но как было признаться ему в этом... Он был Господним слугой, а разве могла я прогневить Бога! Одно только и было: кто мне сватов ни зашлет, всех с отказом обратно отправляла.

Подойдет бывало соседская Джахана к нашей изгороди, крикнет:—О чем вы думаете, состарилась ваша девчонка, дома сидя!—А тебе-то что за дело, — отвечает моя бедная бабка. — Мне она не мешает, хоть весь век в девках просидит, только есть тут парень один, из Цинандали он родом, тот, что в лавке прислуживать нанялся, его она, оказывается, покоя лишила... Тут моя бабушка как всплеснет руками, на меня набросится: —Чего ты от парня хочешь, знаю я твои штучки, девка, небось, яблоко ему бросила или водой облила. — Нужен он мне очень, отвечаю, тоже нашелся царь Ираклий! — Так что же между ними произошло?—спрашивает. — А то, что увидел ее тот парень в церкви, и в душу она ему запала. Сейчас расхваливать не стану, что его хвалить — сами, небось, его видели, да и в лавке неплохо заработает, если ум есть. Сейчас ответа не требую, обдумайте как следует, а в воскресенье опять наведаюсь, кстати, и тот парень в церкви будет, чего откладывать, верно? Уже листья пожелтели, того гляди, снег выпадет, похолодает, замерзнет ваша девка одна в постели. А парень уж такой добрый и красивый, что не будь он мне вместо сына, сама не отказалась бы к

груди его прижать... — Болтушка, что с тебя взять, язык без костей, — отвечает бабушка (они любили подшутить друг над другом),—с таким огорчением говоришь, как будто, когда в Телави ездила, себе в чем-нибудь отказала. — Чтоб мне в аду гореть, если там на меня хоть один мужчина как-нибудь не так посмотрел. Если бы я хотела чего-нибудь такого, разве осталась бы одинокой, разве стала от деревни к деревне ходить, чтобы других осчастливить? Мне девок жаль, как бы без мужиков не остались... Мужчина для женщины — главное в жизни! И, заявив это, удаляется.

Тут как набросятся на меня матушка, тетки, невестки, золовки. Тогда семьи многолюдные были, все вместе жили, а там и бабушка причитать начинает. Вот, говорит, полюбуйтесь, не девкой, а мальчишкой каким-то выросла, ни на кого смотреть не желает, ей бы только в церковь на молебны ходить, чтобы к попу подкрасться и булавкой уколоть... Бросьте в огонь, сожгите лечаки и чихтикопи, что я ей приготовила. Скажите, ради Бога, девке пятнадцать стукнуло, не век же ей дома куковать! Вот, подружке Нуце уже двадцать, а еще петух не прокукарекал про ее будущую долю-судьбину... Я, слыша это, в камень превращалась, в скалу: не хочу, и все! Почему? Из-за чего отказываешься, что не нравится? Да будь он хоть наследником русского царя, не желаю, и все тут. Интересно, кто ты такая, что за раскрасавица такая писаная, что никто по душе не пришелся? Да и не такая уж маленькая — агу! — чтобы о себе не подумать, коли так, мы сами знаем, как поступить, увидишь!..

В этих ссорах и спорах, брани и ругани, в вечном откладывании — нет, не сегодня, завтра, — наступал новый вечер, и вновь появлялась соседка Джахана. Вот когда на нее поглядеть стоило! Теперь она уже являлась не так, как давеча, выступала, поджав губы, подбоченившись, словно все сокровища мира несла. Бабушка тотчас поймет что к чему, — встанет на дороге и спрашивает: — Куда путь держишь, Джахана?—Да так, отвечает, в верхний околоток, хочу мерку снять для подвенечного платья. — А кого венчать собралась? — Такую-то и такую-то... — За кого сплавила? — Ее сплавлять не пришлось, девушка такая, что ее красоте солнце завидует, луне приказывает: ты за гору спря-

чься, а я взойду. — Как бы она со свекровью ссориться не стала, а, Джахана?! Я-то догадываюсь, в чей огород бабушка камушек бросила, упокой Господи ее душу, восемьдесят семь лет ей было, когда преставилась. Сколько слез я над ее гробом пролила... Да, а кто тот парень, кого она осчастливила, продолжает свое гнуть бабка. — Знаете кто? Тот парнишка из лавки, которого вы недостойным сочли... Впрочем, он и сам передумал тогда! — Из-за чего, что заставило его изменить выбор? — Он еще раз повстречал вашу девку в церкви, она ему и не показалась... — Чтоб ему ослепнуть, коли лучше разглядеть не сумел!.. — Не обижайся, кума, у всех своя доля, значит, не судьба была, не рождены они друг для друга...

А я радовалась, радовалась, радовалась...

Хотя и обидно было, правду говоря.

Если и впрямь не показалась тому парню из лавки, может, и тому, другому, тоже... Но моя любимая бабушка и здесь успокоит меня: — Чтобы ее черти взяли (это она о Джахане), женщине, которая так вышагивает, ни в чем веры не может быть. Мы ее не солоно хлебавши завернули, она и разозлилась!—Потом ко мне обратится, покойница, прикрикнет:—Да и ты хороша! Чтобы это в последний раз было! Если девушка в пятнадцать лет замуж не выйдет, потом ее счастье вилами по воде писано. Что ты все хмуришься, девка, или улыбнись кому, или, когда пригласят, плясать выйди, может, кто и глянет на тебя хорошим глазом. — Уж она ли мало пляшет-танцует! — подает голос из погреба невестка Тапло. — Я-то из дому не выхожу, ничего не вижу, — жалуется бабушка, — гляди, не перегни палку, чтобы ничего дурного о тебе не подумали... Такой она была, моя бабушка, хотя очень смерти боялась, ни минуты одна не оставалась, за руку хватала, умоляла: не уходите, не бросайте меня... Я все время при ней была. Когда у нее перед кончиной холодный пот выступил, она знаком показала, подай стакан вина. Я налила, она выпила. Медленно так пила, с передышками, на пожелтевших щеках легкий румянец появился. Потом ко мне руку тянет, мол, подойди поближе. Я мертвых не боюсь, а тогда боялась, пока решилась подойти, тут рядом оказалась наша крестная Анета. — Стой, говорит, не подходи! Ты думаешь, она тебя сейчас ви-

дит? Это она смерть просит, возьми, мол, меня с собой, не мучай больше. Я поверила ей, хотя лучше было ослушаться... В такое время никого слушать не надо. Как сердце подскажет, так и поступать надо. Я по сей день жалею, что ее послушалась! Когда голова на подушку упала, тогда-то я к бабушке подбежала. Только уже поздно было. Я ей и глаза закрыла, и ноги связала. Так у нас принято, пока тело не застыло... Чтобы недожитые ею дни моим детям и внукам добавились. Разве не оказали мы ей должного уважения? Двух быков заклали, чан с трехлетним «зедаше» вскрыли, специально к этому дню припасенный. Всех ее сверстников, кто только жил окрест, позвали. А? Не так-то много их и оставалось, говорите? Это так кажется, что немного, но если собрать их вместе... Лучшего зрелища придумать нельзя было, мы все поумирали со смеху...

О чем я рассказывала? Глянь, с чего начала и куда забралась! Я с моем Миха вам говорила, тогда он моим еще не был, а был Божьим слугой, на которого я и глянуть боялась, чтобы Господа не прогневать. — Смелей, хоть посмотри как следует, чего боишься! — подзадоривали меня товарки, Бабале и Дудана (это та Дудана, к которой я сейчас в Чалаури направляюсь, моя названая сестра и подружка на свадьбе). — Чего боюсь? — отвечаю. — Да батюшки и боюсь. — Дай-ка нам эту свою булавку, мы дьяка уколем, ты ведь знаешь его, станет нас проклятьями осыпать, всю церковь переполошит, священнику придется молитву прервать, твой миленок один останется недвижим. Стой себе и разглядывай, сколько душеньке угодно! Эх, только болтать и могли мы, у нас и булавки-то не было (была, как не быть, если правду сказать!), да и разве решился бы молитву прервать самый беспутный озорник на свете! Да и я не посмела не таясь посмотреть на него... Кто может прямо смотреть на солнце... (Чего смеетесь, для меня он и был солнцем!).

Однажды я даже рассердилась! Не парень он, не мужчина что ли, пусть хоть разок улыбнется, чего все торчит столбом, глаз не отводит от иконы святого Георгия, больше ни на кого не глядит. Одного святого Георгия ему хватит в жизни? Потом мой гнев на того святого перешел. Сидит себе на белом коне, в ус не дует, разит своим копьем дракона, на его лице даже

тени страха не увидишь. Неужто так-таки ничего не боится? — шепчу про себя. Стою одна в пустой церкви, на святого Георгия уставилась. Скажи хоть что-нибудь, — говорю, — чего молчишь! Он — ни звука. Да и что мог сказать? Что ему мои жалобы и страдания...

Миновала и та зима...

Мне стукнуло тогда пятнадцать. Старшая невестка объявила: уж теперь я сама знаю, как поступить, есть в нашей деревне один глазастый пастух, пойду-ка разведаю, ходит ли по сию пору неженатым или уже семью завел. Может, уже и дети есть... Сколько ему, спрашиваете? Лет тридцать сейчас будет, не больше. Я бросилась на подушку и в слезы! Неужто моя доля за тридцатилетнего старика выйти? За что Господь Бог так на меня прогневался? — Ты что, белены объелась, девка? Ну-ка, раскрой глаза пошире, твои подружки все за таких повыходили! Это сейчас ты себя маленькой девочкой считаешь, а народишь детей, вырастишь, лет за пять, глядишь, и сама женщиной в соку станешь. Ты что думаешь, пятнадцать лет — велика разница? Через пятнадцать лет и тебе тридцать стукнет! — Да. но через пятнадцать лет ему-то уже сорок пять будет! Совсем старик немощный... — Послушайте-ка эту бесстыдницу, люди, как только у нее язык такое сказать повернулся? Тут и вторая невестка голос подает:—Ее теперь на чердаке запереть нужно, а ты, невестушка, отправляйся, куда собралась, и обо всем разузнай, как там твой пастух, о чем думает, что делать собирается...

Меня заперли, только, дорогие мои, разве нашлась бы сила на целом свете, чтобы меня удержать смогла, разве не вырвалась бы я сквозь любую скалу на волю? Было как раз воскресное утро, вот-вот и служба в церкви начаться должна. Я выглянула в форточку, гляжу — по улице, словно лисичка, моя Бабале крадется. Кличу ее, она не слышит, зову — никакого толка! Я в отчаянии аж визжу: это я, оглохла, что ли, посмотри-ка сюда! Куда там! Катится колобком по дорожке, назад не оглядывается, к началу службы торопится. Верно думает, что я уже там, откуда ей знать, что сижу, запертая на чердаке, и визжу, как кошка.

Глядь, а тут Дудана семенит следом, та самая Дудана, к которой я сейчас в Чалаури иду... Там и чабаны прошли. С ними мальчишка был. Так вот этот

мальчишка встал вдруг посередине улицы, словно осел, стоит и ни с места! Зачем, почему, да что случилось, что за ослиное упрямство, не кнутом же тебя погонять... Нет, говорит, пока вон ту девчонку не дадите мне с собой, я отсюда — ни шагу! Они туда, они сюда, отару в ближнюю лощинку погнали. Дуданин отец не стал особенно упрямиться, десяток овец дадите, говорит, и забирайте девушку! — Двадцать дадим! — кричит тот паренек. Если я вам скажу, что он по-прежнему торчал посередине дороги, словно столб, ни туда ни сюда, знаю, вы не поверите. Чабаны сбегали, отыскали дьякона (поп уже назюзюкался и валялся где-то, сколько его ни тормошили, так и не добудились). Дьякон говорит: — А я что, разве не Божий слуга? Взял ключи и направился в церковь. Да что там направился — бегом побежал, а мы за ним, он бежит и мы, значит, бежим. Дудана плачет, причитает, как я, мол, без вас проживу, подруженьки... Мы ее успокаиваем, ласкаем, целуем. А она:—К тому же еще, не знаю как и сказать, не я очень этого самого боюсь...—Чего?—спрашиваем. — Ты что, совсем с ума спятила, нашла чего бояться!.. Хотя, если честно, мы и сами толком не понимали, чего или кого она так испугалась, но все же потихоньку успокаиваем, подбадриваем, ласкаем. А она, знай себе, слезы льет.

Отворяют церковную дверь, мы входим. И тот парень, что на дороге столбом стоял, уже здесь, так и стоит, упершись, и наверх глядит. Дудана незаметно поворачивается в его сторону и, видать, наглядеться не может на своего суженого. Дьякон венчания закончить не успел, откуда ни возьмись, батюшка в церковь ворвался, как начнет орать: это что такое с моей паствой происходит!—Так и так, объясняют, того, заупрямившегося паренька не то, что поп, вся русская армия отговорить не сумела бы. Схватит нашу Дудану и унесет с собой, не оглянувшись.

О чем это я говорила? Предупреждаю себя, чтобы не болтала лишнего, а как начну, остановиться не могу. Вспомнила! Я о Дудане рассказывала, я, значит, на чердаке заперта, а она по дороге семенит и напевает что-то, торопится к службе, хоть и некуда спешить. Ее песенка и разбила окончательно мою душу... Кричу:— Дудана, чтоб тебя в землю зарыли, глянь-ка хоть разок

сюда, в сторону чердака, я из окошка выглядываю, это я, не узнала, что ли, так и так, заперли меня и не выпускают! И знаете, что она отвечает? — Узнать-то я тебя узнала, только... Не могу я против воли твоих родителей пойти! — Как то есть против воли,—спрашиваю. — Раз они тебя заперли, значит, было за что! — Ты что, очумела? — кричу. — А если они мне потом что-нибудь скажут? — Ну и черт с тобой, коли так, иди куда угодно, чтоб тебе в той самой церкви кровля на голову обрушилась!

Ушла она, а я реву...

Я уже говорила, что вся в полове вывалялась.

Тут я и говорю себе: чего зря реветь? Беру корзину, на нее ставлю другую, поменьше, влезла на самый верх, но тут они опрокинулись, я оказалась в полове, и корзина сверху навалилась. Нет, говорю я, не сломить вам меня, не одолеть, а сама ругаюсь, проклинаю всех на чем свет стоит и больше всего подружек своих, дурочек Бабале и Дудану. Потом (видно, служба уже и к концу подошла) еще раз водружаю корзины друг на друга, лезу и... дотягиваюсь! Дотягиваюсь до балки чердака. Ткнула кулаком в черепицу — она подалась, еще раз ткнула — обвалилась... Боюсь, как бы кто не увидал, да кто увидит — бабка в двух шагах ничего не видит, остальные все, от мала до велика, в церковь отправились. Раздвинула две черепицы и, словно курица, наружу голову высунула. Теперь весь мир моим казался! Вдохнула полной грудью, вылезла и — бегом! Бегу, и чулки подтягиваю, бегу и платье отряхиваю, на бегу косу заплетаю, Бабале с Дуданой всячески поношу.

Боже милостивый! Будь благословенна твоя милость и справедливость! Я поспела как раз в ту минуту, когда он стоял с иконой Божьей матери в руках, а паства, склонив головы, выстроилась в ряд, чтобы облобызать икону... Уж тут-то я отвела душеньку! Дьякон выговаривал Дудане и Бабале, куда вы по второму разу лезете, один раз ведь уже целовали икону, чего вам еще, идите прочь, с глаз исчезните... Я опустила голову пониже, чтобы показать дьякону, какая я богопослушная да смиренная, встала в очередь, а у самой сердце, словно пойманная птица, стучит часто-часто. На-

конец пришел и мой черед. Глаза поднять на него не смею, склонилась покорно и приложилась к иконе.

А тут он меня за губу как ущипнет!

Кто, спрашиваете. Как кто? Мой Миха!

Нет, не может быть, показалось, разве Миха мог позволить такое, выдумываешь всякое и сама веришь... Погляди, какие ангельские глазки у него, с каким смирением протягивает икону молящимся для поцелуя... Это меня Бабале с Дуданой уговаривают, и я вижу, как им хочется, чтобы все оказалось выдумкой, чтобы я продолжала мучиться и томиться. Если не веришь, подойди вторично... Я опять опускаю голову и к дьякону:—Батюшка Лазаре, грешна я перед Господом, мимо иконы прошла и не облобызала.—Так я хнычу жалостливо и замечаю, что отец Лазаре доволен, ценит, мол, меня, уважает, не полезла, не спросясь, как те девки оголтелые. — Конечно, дитя мое, если не успела облобызать, подойди вновь, кто тебе мешает... И опять бреду, опустив голову, за людской чередой, опять дрожу, как птичка, а сама гадаю — действительно произошло все это или, как подружки-завистницы уверяют, лишь почудилось, привиделось?

А он возьми и вновь ущипни меня!

Тогда-то я осмелилась, подняла голову, — не думай, мол, что я сиротка беспризорная, что за меня вступиться некому! У меня и родители есть, и дядья, и тетки, и невестки, да и бабка в обиду не даст. Наконец, если понадобится, братья за меня сабли оголят на обидчика! Все это было в моем взгляде, как вспомню, и сейчас слезы выступают... А мой Миха голову опустил, поднес икону к губам и приложился...

Догадалась я, что он хотел этим сказать!

На следующий день с утра пораньше к нам пожаловала сваха.

Я спряталась в амбар и жду, затаив дыхание.

А, услышав имя Миха, сунула голову в сено и как зареву!

— Если и на этот раз упрямиться станешь — убью! — сказала бабушка.

Вбежали невестки, подхватили меня под руки и так — всю в сене вывалянную — повели.

Соседка Джахана оглядела меня с ног до головы и заметила:

— Если только парень не передумает...

В общем, что там долго рассказывать, так все и случилось.

А теперь мне говорят, не знаем, мол, был Миха тебе мужем или нет!

— Чьим же мужем он был, спрашиваю, Дуданы что ли или Бабале?

Потом, упокой Господи его душу, он и бороду сбрил, бросил церковь, всю жизнь от меня не отходил.

Родилось у нас четверо детей. Видит Бог, четвертого я уже не хотела, чего только ни делала, и с арбы наземь спрыгивала, и через изгородь лазила, ничего не помогло! И слава Богу — ему, Богу, лучше было знать, что и как. Я уже говорила вам, в каких трудах и лишениях вырастили мы их всех, своих четверых да еще двоих, оставшихся после несчастной моей сестры, чтоб земля ей была пухом. Теперь я люблю повторять, что мой последненький, самый младшенький, шестой мой ребенок — Ушо, Ушанги, то есть, самый любимый, не знаю, что бы я без него делала! Кто стал бы своей жене помогать хинкали лепить, кто созвал всех соседей, кто взял гармонь и затянул песню о любимой маме! Я завещала своим, как умру, мол, не нужно плакать-причитать, о чем плакать, просто я к своему Миха отправилась. Да и скрипок там всяких тоже на панихиде не нужно, или, скажем, зурны с барабаном. Ушо растянет меха своей гармони и споет свою песню! Что ты, говорят, мама, люди на смех нас поднимут! Пусть сами себя на смех поднимают, хоть собственная кончина может пройти по моей воле! Неужто лучше было, как с кокобановской Сарой? Вы не знали ее? Впрочем, откуда вам было знать... Я-то тут все рассказываю, словно вы должны были про всех слышать. Тут уж ничего поделать не могу, мне иногда кажется, что на этом свете все друг с другом знакомы, только притворяются незнакомыми! У нее остался только один сын, не как у меня — шестеро... Ну и что с того, что один, говаривал он (он на базаре мясником работал, у него даже с рук жир сочился!), таких женщин, как моя мать, не много по земле ходит, не дам людям говорить, у покойницы единственный сын остался, вот ее и не почтили, как полагалось! Для родной матери ничего не пожалею! А что ему жалеть, хорошая женщина была, покойница, хоть и шало-

путная малость. Когда она с вами говорила, не понять было, что сказать хочет. То одно заведет, то на другое перескочит... Войдет во двор, окликнет, я ей — поднимайся, мол, присядь, передохни немного. А она — где у меня время рассиживаться, спешу! А потом как заведется... Стоит и говорит, стоит и говорит. Я еще раз: присядь, женщина, дай ногам отдохнуть немного. Ведь и сидя поговорить можно... Куда там! — Тесто у меня подходит, перестоять может, не могу задерживаться, должна бежать... Но она могла стоять и болтать. Особенно если про невестку заведет, тогда ее вообще остановить невозможно. И такая, мол, она у нее и разэтакая... Другой подобной на всей земле не сыскать, врачиха она известная... Тоже мне врачиха! Из тех, к кому ходят беременность прекратить. Наша Маруса сама трижды это делала, где, говорит, у меня деньги на докторов! Ну и что с того, не померла ведь? До сих пор за всем виноградником смотрит. Я завещала, чтобы на моих похоронах такого позорища не было, как на Сариных. Помянем, говорят, вечная память... Созвали всю деревню. Пошла и я, нельзя было отказаться, к тому же она и родней нам доводилась... Гляжу: да разве это Сара лежит? Нет, это не Сара! Я уж ее и так и эдак разглядывала. Нет, не узнаю! Только разве в том многолюдье можно было что-нибудь сказать? А через пару дней отправилась я к Миха на могилу прибрать, сорняки прополоть. Тут ведь не присмотришь — все зарастет сплошь. Разве добрая трава во дворе так вырастет? Глядь, а она на меня смотрит. Встала я, гляжу, ничего не понимаю. Потом не выдержала и говорю: здравствуй, Сара! Да разве она ответит! Чтоб так ее толстопузый сынок разговаривал, как Сара на мой привет ответила. Тогда и сказала я сыновьям с невестками: слушайте и запоминайте мою волю, когда помру, вы мне на могилу простой камень положите, как у Миха, и крест поставьте, да и то для того лишь, чтобы скотина не вытоптала. Они в один голос — да что вы, мама, какое время о таком думать, — сами знаете, что в таких случаях дети говорят. А почему не время, отвечаю, не молода ведь я. Посчитайте-ка, когда Николая с престола скинули, в тот год как раз я и обвенчалась. — Какого Николая, спрашивают. — Молоды вы, откуда вам знать...

Разболталась я тут, верно? Велю сама себе болтать поменьше, да останавливаться не умею...

* * *

Теперь расскажу вам историю своей пенсии. Будете знать, для чего я здесь. По пенсионному делу хожу. Вы спросите — где Чалаури и где пенсия. Вот тут-то и зарыта собака. Все затеяла наша Нуца: хочешь — не хочешь, а пенсия моего покойного отца по закону тебе причитается! Пристала: иди в сельсовет, и все! Я и пошла. Почему бы и нет, разъясняют, по закону полагается, значит, и мы возражать не можем. Садись, пиши заявление. — Возьму и напишу, — отвечаю. Я ведь не как некоторые — и газеты читаю и «Великого моурави» пять раз перечитывала... Они помирают со смеху, написала я заявление, подписалась, ну-ка, что вы теперь скажете?

Прихожу за ответом — ничего! Прихожу другой раз — то же самое! Знаете, что они мне ответили? На посмешище всему свету выставили! В один прекрасный день вызвали и объявили: — Вот ты, мать, утверждаешь, что, мол, каменщик Миха, которого не так давно земле предали и на чьих поминках все мы были, тебе мужем приходился. Мы тут в бумагах копались, копались и ничего подобного не обнаружили. Не был он тебе мужем! — Как то есть не был, говорю, вы себя на смех не поднимайте, от кого же в таком случае четверых детей родила! — Чего ты на нас кричишь, отвечают. Верим, что от него всех четверых родила, не мы ведь тебе отказываем — бумаги, документы! Кому не известно, что Миха был тебе мужем, знаем, что по любви за него пошла, и с твоими четверыми знакомы не первый день — Нуцей, Вепхо, Тариэлом, Маргалитой, очень даже уважаем всех их, более того, что двоих чужих вырастила, тоже известно... Если по правде, тебе даже орден положен. Только войди и ты в наше положение, поверь, мир на бумажках стоит, мы тут переворошили все и нигде даже намека не нашли, мимолетного упоминания, что каменщик Миха, бывший священнослужитель (даже это припомнили!) действительно был твоим мужем.

Слыхано ли такое на всем свете? Миха — и вдруг

не был мне мужем! — Кто вас венчал? — Дьякон и обвенчал, кто же еще? — А почему не поп, где он был? — Поп зол был на Миха за то, что он от церкви отступился, потому и пришлось дьякону нашу судьбу решать. Он там чего-то бормотал, а потом — собственными глазами видела — сделал запись в церковной книге. — А где та книга теперь находится? — Откуда мне знать, когда церковь порушили и колокол скинули, верно, и ту книгу следом пустили. — Где же нам ее искать? — Где хотите, там и ищите, если только книга и может подтвердить, что Миха мне мужем был... — Мы и так верим, нам документ не нужен, бумаги мы должны послать в другое место, оттуда — еще дальше, иначе кто тебе пенсию назначит. Не от детей ведь должна ты зависеть, верно? Хочется собственные карманные деньги иметь, на сладости или еще что... — Где же мне теперь искать эту бумагу? — Тебе не бумагу следует искать, а свидетелей, кто подтвердит, что Миха в действительности был твоим супругом! Теперь только судом дело решить можно. Я как про суд услыхала, спрашиваю, а судить-то кого собираетесь — меня или Миха? — Да кого судить, мать! Просто нужно подтверждение, что тот самый каменщик Миха действительно был твоим мужем, только и всего.

Я ходила-ходила и решила: сейчас если кто и может мне помочь, только они (о своих сыновьях и дочерях говорю)... Соберу их всех вместе и сразу предъявлю. Только подумала это, сразу все перед глазами как живые встали. Самой мысль понравилась — уж теперь-то я знаю, как быть, — говорю себе.

Выхожу на дорогу... Автобусы взад-вперед носятся. Поднимаю руку одному, объясняю: Нуцу знаешь, ту, что в библиотеке работает? Как не знать, отвечает. Передай, мать, мол, к себе вызывает, чтобы в понедельник во что бы то ни стало сюда явилась! Потом другому автобусу кричу: с Вепхо знаком небось, полный такой парень, хотя что за парень, когда сорок уже стукнуло... Знаком, говорит, разумеется знаком! Передай, к понедельнику чтоб непременно к матери приехал, дело есть, иначе беспокоить не стала бы... Скажу, матушка, и автобус мчится дальше. А я уже другому вслед кричу: Тариэла знаешь? — Какого Тариэла? — спрашивает. — Того самого, у которого «жигуленок»

зеленый. — А-а, этого, не передать ли чего-нибудь? Передай, мать велела в понедельник утром, хоть живым, хоть мертвым, но чтобы сюда явился. — Скажем, скажем, можешь не бежать следом... Потом про Маргалиту спрашиваю: как можете не знать, та самая, что в медпункте давление меряет. — Такая худенькая, что ли? — Та самая! — Что ей сказать? — Чтоб в понедельник с утра все дела отложила и к матери приехала... Автобусы снуют туда-сюда, я стою и считаю на пальцах — всем передала весточку или нет? В конце решила, дай-ка сообщу Гоги и Ушо, они ведь тоже мои сыновья, а как же, стоит судье только увидеть Гоги, больше ничего и не потребуется, возьмет бумагу и напишет, что нужно...

Тут, буквально в паре шагов, показалась скрюченная Лола, она тоже давно вдовеет, и спрашивает:—Чего смеешься, женщина? — Ничего, отвечаю, так, сама над собой смеюсь. Тут уже Лола начинает смеяться, так мы идем какое-то время рядышком, пока я не говорю: —Ты, Лола, иди себе, у меня тут еще кое-какие дела есть... Лола сначала с сомнением оглядела меня, но потом все же ушла. А я стою и думаю: нет, нужно и им весточку послать, они ведь тоже мои дети...

Тут, откуда ни возьмись, прямо перед самым носом выскакивает джаваховская Нэнэ. Она то же самое спрашивает: чего стоишь и смеешься, скажи, в чем дело, вместе повеселимся... Не помню, что я придумала в ответ, но так, смеясь, и разошлись мы с нею по домам.

В понедельник, еще солнце не встало, Тариэл заявился. Еще машина не остановилась, а он как принялся кричать:—Так всегда, когда тебе чего-нибудь понадобится, сразу ко мне обращаешься, а ранние груши, небось, для других приберегаешь... Вспомни-ка, кому прошлым летом дала виноград убрать? — Как, то есть, кому, отвечаю, — Вепхо, разумеется. Ну и что? Знаешь, ведь, что по очереди даю вам виноград собрать, следующим летом твой черед, тогда, небось, замолчишь...

— В таком разе на следующий год и звала бы, чего сейчас понадобился? — Не тебя же одного позвала, чтоб твой дурной язык отсох, с минуты на минуту все остальные подъедут.

Тариэл вылез из машины, а сам мои слова за шутку принимает: как в такое поверить? — и собирает-

ся обратно садиться. Кто твоих штучек не знает, мамаша, тебе поразвлекаться вздумалось, вот и выдумала Бог знает что, лишь бы всех нас собрать...

Наконец уверился, что я всерьез говорю, стал ворчать уже из-за того, что раньше всех прибыл:—Почему я должен остальных дожидаться! Небось, Вепхо тем временем свой виноградник опрыскивает, Нуца для своих мальцов печенье печет, Маргалита не упустит случая еще одному клиенту давление измерить, десятку заработать, а я, изволите видеть, должен стоять и всех дожидаться! — Что ты, — машу на него руками, — о чем говоришь, где это видано, чтобы Вепхо в своем винограднике хоть пальцем пошевелил, или разве Нуцыно печенье можно в рот положить? Как у тебя язык повернулся, когда это Маргалита в руки пациентам смотрела? Если бы ты хорошим братцем был, если бы эта пустая тыква на твоих плечах зря не болталась, чем кричать тут и мотором тарахтеть, съездил бы и привез всех сюда, тем более, не за тридевять земель ехать нужно... — Как же, только этого не хватало, чтобы я по дворам ездил, пассажиров собирал! — Ну, как знаешь, не хочешь — сиди и жди... — Стану впустую ждать, как же, возьму и уеду себе... — Только попробуй, ты ведь знаешь, от меня и схлопотать можешь...

Пока мы так переругивались, Тариэл и впрямь залез в машину, потарахтел-потарахтел и улыбнулся мне (скалься, скалься!) — ладно, так и быть, привезу я тебе их всех...

Он еще и скрыться не успел, Вепхо показался. Я издали увидела, как спокойно вылез он из автобуса и пошел к дому, словно на панихиду направлялся, а через пару часов его здесь еще и поминки ждали. Не успев в калитку войти, он тоже начал:—Чего раньше всех меня звала, почему сначала своему любимчику не сообщила, небось, деньги на машину выложила, можно подумать, у него дел столько — голова от них болит, раскатывает себе, то он в Гурджаани, то в Кварели, то в Сигнахи! — Что вам всем его машина занозой в глазу, купили бы и себе, чем деньги в подушке прятать, своих женушек-скупердяек верхом посадив! Кто тебе доложил, что ему не дала знать, он уже приехал, сыночек мой, еще солнце встать не успело, уже здесь был, теперь вас собирался привезти, я попросила привезти

вас всех. — А можно узнать, по какому поводу всеобщий сбор объявлен, кого нам надлежит принять или изгнать из своей семейки? Кого награждаем или кому выговор выносим? Я и говорю ему, Миха-то, оказывается, не был моим мужем и неизвестно, как вы вообще сделаны, теперь именно это и надлежит доказать, что был он вам отцом, а мне супругом...—Знаешь, что я тебе скажу, матушка, если тебе захотелось пошутить, сама и развлекайся, нечего меня, да и весь свет, на смех поднимать, или ты думаешь, что мы и впрямь бездельники, если я день на работу не приду, директор потом месяц со мной не здоровается, нету у меня времени с вами шутки шутить, нету, — говорит Вепхо и только к калитке повернулся, как снова останавливается автобус, открываются двери и показываются сперва женские руки со связкой книг, а за ними — и сама Нуца. — Эта женщина меня с ума сведет, зачем ей понадобилось эти книги тащить, разве не знает, для чего ее вызывали, — разозлился Вепхо и отпустил на одну дырочку ремень на животе. Нуца, прижимая к груди свои драгоценные книги, шагала по земле с такой осторожностью, точно боялась, что ее святую душу и тело замарает дорожная пыль. Как-то она мне сказала:—Знаешь, мама, люди делятся на две категории. — Как это? — спросила я. — На тех, кто читает книги, и на тех, кто не читает... — А этих, вторых, как называют? — Этого я сказать не могу... Больше всего меня огорчает, что к их числу принадлежат и мои братья и даже, чего только не бывает в жизни, мой муж с детьми, не говоря уже о соседях и всей остальной деревне... Вот и теперь больше всего переживает из-за того, что пришлось от книг оторваться, хотя даже и не представляет, чего ради я звала ее.

— Таскаешь свои книги, больше никакой заботы и не знаешь, — приветствовал ее брат. Нуца не удостоила его ответного приветствия, не спросила, что произошло, из-за чего ее вызвали, осторожно уселась на скамейку, раскрыла книгу и больше не обращала на нас никакого внимания. Вепхо прямо взбесился! — Она всегда такой была, хоть бы спросила, для чего нас созвали, может, беда какая случилась, может, еще что... Интересно, что такое она читает, что на нас даже взглянуть не желает? Хоть бы спросила, как живете, как

жена, дети, братья с сестрами, хоть бы у родной матери узнала как и что, из-за чего понадобилось детей созывать? Только он собрался вновь выбежать на дорогу и первым же автобусом отправиться восвояси, как в наш проселок свернул зеленый «жигуленок», и в нем Тариэл с Маргалитой. У Маргалиты в одной руке туго набитая сумка(наверное, с аппаратом для давления!), а в другой — платочек, которым она утирает подступившие к глазам слезы. — Господи, сколько времени я не виделась с тобой, мама, и что это с тобой случилось, и как бы ты жила, если б не я...

Их уже четверо, и я — пятая, теперь уже мы все пятеро одновременно говорим, перебивая друг друга: это что с нами случилось такое, всем на посмешище, прямо словно во сне, а не наяву... Нуца утверждает, про такое еще ни в одной книге не написано, Маргалита согласно кивает и успокаивает нас: все это придумали специально, чтобы нашу матушку со свету сжить, ведь от чего-то должна помереть женщина. Вепхо грозится: я этого председателя на части разорву! Тариэл вновь усаживается в машину и намеревается куда-то ехать, жаловаться, искать правду. В конце концов они набрасываются друг на друга: мы сами во всем виноваты, шестеро дураков (они и двоюродных присчитали) оставили женщину в таком возрасте одну, конечно, все над ней измываться станут.

Услышав этот шум и гам, Джаваха решил: что за сборище, что случилось, не протянула ли старая Пело ноги? Решил удостовериться лично, кряхтя заспешил к калитке. Я издали кричу:—Не бойся Джавах, меня так легко со свету не сжить, знаешь ведь моих сыновей-дочерей, без меня шагу не сделают, на воскресную службу собрались, меня уговаривают... — Ну так и иди, чего упираешься? А так-то гордиться можешь, каких детей вырастила! Ну, Бог в помощь... Он нас всех благословлял, а я в душе думала: чтоб ни дна тебе, ни покрышки, старый, небось дня не пройдет, чтобы в мой огород камешка не бросил: как, мол, сестрица Пело, такое произошло, женщина ты беззаботная, всем говоришь, что небо над тобой синее и безоблачное, а, вырастив шестерых, одинокой осталась! Я-то даю таким доброхотам острастку. — Не могли же все мы, говорю, не таком малюсеньком клочке земли оставаться?

В нашем дворе мышке хвостом махнуть негде, не то что шесть домов поставить! С одной стороны с нами гочианевская усадьба граничит, с другой — кевхианевская... Небось, знаете их, на пядь не потеснятся, межу не отодвинут, — не то что дом разрешат построить... Ну и что с того, что каждый сам построился? Не за тридевять земель уехали! Стоит мне чихнуть, Тариэл тут как тут, «Будь здорова!» кричит, ему Вепхо откликается: «Эй, старая, уж не надумала ли чего такого?» (он всегда смеется, такой шутник...) Да и кому какое дело, одна я или со своими детьми. Где бы ни были, они мои, разве не так?..

Тут, значит, Тариэл говорит: давайте в самом деле не смешить народ, залезайте как-нибудь все в автомобиль, поедем в суд и узнаем наконец, кто был нашим отцом — Миха или придурок Рубен, что слонялся по велисцихскому базару, доказывая всем, что аж сама царица Тамар его любила. Вы все рассаживайтесь сзади, на переднее сиденье усадим любимую нашу мамашу. Давайте, если хотите, и других свидетелей прихватим — Лолу, Джаваха, все село по дороге подберем и докажем в конце концов свою правду, разве не так? Ему говорят: неужели так и состаришься шутом, Тариэл, неужели не видишь, в каком состоянии матушка? — А в каком состоянии? Квохчет да кудахчет, словно курица, снесшая золотое яичко.

Только мы, значит, собрались на самом деле все в машину лезть, в проулке раздался визг гармоники... — Что такое, откуда? — загомонило все семейство. — А оттуда, что я позвала, объясняю. — И гармонь ты велела прихватить? — Да, — говорю... Вот так и появились мои Ушо и Гоги. Ушо распевал во все горло, а Гоги ругался: как так, все собрались в материнском доме без них, коли они не родные братья, а двоюродные, им уже и знать ничего не следует, что ли? — А знаешь, что тут чуть ли не заново венчаться приходится, знаешь, чего ради собрались здесь? Сперва узнайте, а потом и ругайтесь... — Что да как нам, конечно, неизвестно, только похоже, вы уже пропустили по стаканчику и не видать, чтобы так уже переживали... — Не дай нам Бог повода для переживаний и траура, только останови эту свою треклятую гармошку, садись, поговорим толком да ладком...

Значит, набились мы все в тот автомобильчик и собираемся ехать. Женщины остались дома; не поместимся, мол, задохнемся в тесноте... Впереди, разумеется, уселся владелец машины — Тариэл, сзади — Вепхо, Гоги и Ушо. Рядом с Тариэлом пусть матушка сядет, наша любимая, добрая, настрадавшаяся-намаявшаяся в жизни матушка. Мы ведь еще толком и не знаем, на самом деле сделались посмешищем всей деревни или же все придумала эта востроносая сорока, нас всех, как кильку в банке, утрамбовала на заднем сиденье, сама рядом с шофером устроилась вольготно и с удобствами—и отправляемся в путь, сами не зная куда и зачем...

Тарахтит наш «жигуленок» по дороге. Ушо растягивает меха гармони и по всей округе разносится моя любимая песня: «Ма-а-ма, ма-а-ма, любимая ма-а-ама!..» На минуту я забыла обо всем на свете, как будто с плеч свалился тяжелый груз, так и подмывало подпеть, подтянуть... Но сперва положено другим вступить — кому дискантом, кому басом... Сколько радости принесли они мне нынче: и Тариэл, и Гоги, и все-все... Они, словно прочитав мысли своей матери, бесprекословно выполнили ее желание, и вот уже не одинокий голос, а стройное, слаженное многоголосье единого семейного хора выводит: «Ма-а-ма, ма-а-ма, любимая ма-а-ма!..» Весело и беззаботно летит наша машина, окутанная дорожной пылью, словно желая во весь голос заявить: в эту минуту не было на всем земном шаре более счастливой матери, чем рассевшаяся рядом с водителем Пело. Не было более счастливых сыновей и племянников, чем все они — Вепхо, Тариэл, Гоги и Ушо... Я уже ничего не говорю о женщинах, оставшихся дома.

В общем, что там долго говорить, я сама не люблю, когда лишнее болтают, в суде нам объявили: сыновья не имеют права выступать свидетелями...

Судья убеждал: пойми наконец, женщина, усвой, заруби на носу, что тебе говорят... Сначала сама нам все мозги проела, теперь еще сыновей-племянников согнала, то на гармони играли, то песни пели, то плакали, то грозились, весь район над вами потешается, о вас говорит... А женщин почему с собой не взяла? Давай, и внуков притащи... Сколько их у тебя? Человек двадцать наберется? А если и племянниковых детей посчи-

тать? Сгони их всех сюда, вот уж впрямь на потеху всему свету! Неужели не можешь двух нормальных свидетелей найти, чтобы мы тебе пенсию могли назначить? Торчишь тут, трещишь без передышки, мы — куда денешься? — слушаем... Как нам быть? Смеяться вместе с вами? Думаешь, у нас других забот нет? Веселье да шутки, конечно, дело хорошее, но нам-то не до смеха! Иди, отыщи двух свидетелей, которые при твоем венчании присутствовали, приведи в суд и покончим наконец с этим делом, и я тоже человек, не могу больше...

Короче говоря, если кто может мне еще помочь, только Бабале, решила я и отправилась сюда. Что мне еще остается, приходится обращаться к Бабале, моей Бабале Коркоташвили, той самой, о которой я вам рассказывала, помните?

Раз пришла — ее дома не было...

Второй раз — она, правду говоря, увидев меня, обрадовалась.

Но когда я рассказала, в чем дело, она испугалась, по лицу видно было, что испугалась. Я ее успокоила. Она пригласила в дом, сели мы, поужинали, немножко выпили, тут она, значит, и говорит: как я могу отказать тебе в такой малости, утром жди меня на автобусной остановке и ни о чем не беспокойся. Вообще-то я не очень люблю по судам ходить, сама знаешь, там даже у честного человека душа в пятки уходит, так что не осуждай...

Что ты, говорю, как можно, расцеловались на прощание, и я ушла.

Я еще и отойти не успела, слышу, племянник спрашивает: чего ей нужно было? А она вместо того, чтобы честно рассказать, что и как, отвечает: соскучилась, мол, подруга детства, вот и навестила. И еще: венчаться надумала на старости лет, вот меня и приглашает...

Чтоб тебе пусто было, Бабале...

Дай мне водицы, дочка, расти большая и счастливая, остальное потом доскажу... И так о моем деле все говорят, смеются, чего только не напридумывали, в чем только нас не обвинили... Будто мне в суде сказали: почему одних детей привела, лучше невесток с внуками тоже пригнала бы... Пригоню, отвечаю, нет ничего легче! В один прекрасный день все вместе явимся, уж ес-

ли я скажу, поверьте, сделаю... Вот что люди придумали себе на потеху...

Автор вымышленной истории решил воспользоваться временем, пока старушка-балаболка пила воду, и несмотря ни на что посчитал необходимым рассказать в подлинном виде все, что в народе говорили о ней самой, ее детях и внуках и что, заявляем со всей ответственностью, не имело ничего общего с истинной действительностью. Люди есть люди. Они любят преувеличивать, из каждой малости раздувают нечто такое, что уже и понять невозможно, где начало, где конец. В этом заключено скрытое желание людей — хоть немного развеяться и поразвлечься в своем однообразном житье-бытье. Однако спросите-ка саму старушку-сороку, до развлечений ли ей тогда было! И тем не менее автор вымышленной истории, или сочинитель повествования, считает своим долгом пересказать все толки и пересуды, поведать всю правду и ложь, поскольку, по глубокому его убеждению, и в вымысле нередко содержится истинная правда, или, иначе говоря, порою откровенная выдумка может сослужить неоценимую услугу в установлении правды.

Нарисованная народом картина выглядела так.

По главной улице маленького провинциального поселка, хотя, откровенно говоря, в этом поселке все улицы главные, шествовала колонна, во главе которой шла, вся в черном, вдова (наша сорока-балаболка!), за ней следовали сыновья: Вепхо, Тариэл, Гоги и Ушо. В руках у Ушо — гармонь, и никому не ведомо, когда именно может она быть пущена в ход, когда растянет он ее меха во всю длину. Следом за мужчинами выступали женщины — Нуца, Маргалита, невестки, а в самом хвосте колонны гурьбой бежали ребятишки: один, второй, третий, пятый, тринадцатый, восемнадцатый... Большие и малые, взрослые и почти грудняшки. Нет, возражали другие, их было куда больше восемнадцати, да к тому же и шли они не сзади, а носились вокруг колонны с шумом и визгом, оказываясь то впереди всех, то в хвосте. Самым беспокойным и шумным был, естественно, самый маленький — с перемазанным в шоколаде ртом и голым тугим пузом, на котором торчал пупок. Некоторые были выряжены как на парад, даже прицепили

на грудь какие-то значки, утверждали очевидцы, другие вышагивали неумытые и растрепанные, иные нели, иные хныкали, но никто не обращал на них никакого внимания. Впрочем, все это для нашей истории значения не имеет, главное, что все, как бы они ни были одеты, были отпрысками нашей вдовы. Этого никто не может отрицать. Впрочем, стоило бросить на них мимолетный взгляд, чтобы все стало ясно, как Божий день. Самый младший, выставивший наружу пупок и все свои бесстыдные причиндалы, держал в руках увеличенную фотографию деда в черной рамке. За младшим следовал мальчишка чуть постарше, но такой же неумытый и босоногий. Что там у него в руках? То ли большой бумажный лист, то ли картон, на котором написано: «Назначьте нам пенсию!». Нет, возражали другие, они вычитали на плакате иное: «Мы — внуки дедушки Миха!» А народ высыпал на улицу, толпился, шумел, словно вели пленного разбойника Арсена. Маленький поселок никогда не видел ничего подобного и все боялись упустить любую малость. Всем хотелось увидеть все собственными глазами... Впрочем, все было великолепно видно, но людям этого мало! Отталкивали друг друга, вытягивали шеи, бегали взад и вперед, перекрикивались. — Нет, ты на того погляди, видишь? — На которого? — Ну, на того самого, что впереди всех голышом топает! — Тот, что с карточкой в руках? — Да, тот самый, с карточкой, прямо душечка, проглотить хочется! Куда они направляются, как думаешь? — Должно быть, пройдут главной улицей до самого конца, а там свернут... — Чего они хотят, не знаешь? — Кто их поймет, только у людей ведь не отнимешь права маршировать по улице, верно? Знаете, что тут главное, в чем суть? А в том, что все это одна семья. — Не может быть!.. Бабка, дети, невестки, внучата... Вот так семейка! Счастливая женщина их бабушка, счастливая...

К руководству района известие об этом дошло уже в тысячекратно преувеличенном и искаженном виде: на улице устроили демонстрацию недовольных детей, разумеется, спровоцированную взрослыми... Они несли с собой портрет некоего неустановленного лица, провозглашая непонятные лозунги. Никто не мог понять, чего они требуют. Особенно подозрителен был сам плакат:

«Назначьте нам пенсию!» Если бы это было выступление стариков, тогда понятно, но с этим требованием выступили дети, один из них в том возрасте, что еще и штанов не носит, — ясно, жара, вот он и бегает себе голышом. Начальник милиции Утиашвили впал в тяжкое раздумье: силу применять оснований вроде не имелось. Но с другой стороны, демонстрация направлялась прямиком к центральной площади, где уже все их намерения прояснятся, однако тогда может оказаться уже поздно... Утиашвили уселся в машину и отправился на место происшествия. Машина остановилась прямо перед носом у демонстрантов. Утиашвили вылез из кабины и направился к маленькой старушке (наша сорока-балаболка!), которая, — словно ничего и не происходило, а просто бабушка счастлива и довольна в окружении своих домочадцев, — махала рукой собравшимся. Он подошел к ней и объяснил, что в их небольшом, прославленном покоем и отсутствием беспорядков поселке никогда ничего похожего не бывало, что женщине ее возраста, вырастившей столько детей и внуков, подобное хулиганство не пристало. Он, Утиашвили, просто обязан немедленно разогнать противозаконную демонстрацию, более того, должен будет задержать, как зачинщицу, старуху, самое меньшее на трое суток. Но пока Утиашвили вел переговоры с бабушкой демонстрантов, армия внучат захватила милицейскую машину и сейчас требовала от водителя, чтобы он прокатил их по окраинам поселка, туда, где крутилась карусель и продавали мороженое. Шофер упирался. Он почитал своим долгом в эту решающую минуту находиться рядом с начальником! Сохраняя верность долгу, он не трогался с места(со временем Утиашвили, вместо благодарности, обвинил водителя в глупом упрямстве: ну, что стоило, посадил бы ребятишек, повез за город, высадил там, и демонстрация сама собой прекратилась бы). Но водитель решительно возражал. Тут ему на помощь пришел лейтенант милиции Лекишвили, и ребятишки убежали попить газированной воды. Самое смешное, что к этому моменту уже весь поселок сошел с ума, и продавец газированной воды бесплатно наливал ее всем желающим, а разгулявшиеся ребятишки, конечно же, не удовлетворялись одним стаканом, пили по три, четыре, после чего с новыми силами вновь присоеди-

нились к рядам демонстрантов. Начальник милиции Утиашвили был человеком многоопытным и в глубине души продолжал верить, что в конце концов демонстрация завершится мирно и благополучно. Он не стал бы особенно беспокоиться из-за самой демонстрации, но его волновало общественное мнение, более же всего — мнение известного всему району (да и не одному только району) Джибо Татарашвили, который время от времени слал в центр подписанные им анонимные письма. У Джибо Татарашвили был больной желудок, однако накануне ему отказали в кисловодской путевке. Утиашвили послал лейтенанта Лекишвили с приказом непременно разыскать Джибо Татарашвили, препроводить в профком и настоять на немедленной выдаче соответствующей путевки. Тем временем ребячья армия начала сражение за мороженое, тогда как некий толстопузый молодой человек, которого, как удалось установить, звали Ушо, или Ушанги, и который не принадлежал к числу сыновей, следовательно, старухавдова привлекла его исключительно с целью увеличить количество демонстрантов, наяривал на гармони и во все горло распевал: «Ма-а-ма, ма-а-ма, любимая ма-а-ама!». Отряд малышей уже успел полакомиться мороженым и теперь продолжил шествие по направлению к суду с фотокарточкой своего покойного дедушки (которую Утиашвили принял за портрет вождя демонстрантов) в руках. Впереди всех по-прежнему вышагивал голопузый Тариэл-маленький (именем дядюшки назвали его, чтобы он рос счастливым и здоровеньким!). Тем не менее милиционер Утиашвили не мог успокоиться, носился на машине взад-вперед, его особенно беспокоило, как бы демонстранты не направились к исполкому или не захватили радиоузел и типографию. Но ни первое, ни второе, судя по всему, в их намерения не входило. Утиашвили как будто немного угомонился, но его все же томила неопределенность. По опыту он знал, что борьба неизмеримо облегчается, если известны намерения противника. Сейчас же именно намерения и планы окутаны туманом неизвестности. И Утиашвили впервые ощутил сожаление из-за того, что не имел законного права арестовать демонстрантов, в первую очередь того распоясавшегося гармониста, который создавал музыкальный фон этого непонятного

шествия, причем при помощи одной-единственной песни. Она была посвящена матери, и трудно установить, каким образом связана с этой демонстрацией. В конце концов бунтари свернули к зданию суда, и Утиашвили понял, что теперь-то он уже наверняка погиб. Он погнал свою машину к суду. Однако, по мнению автора вымышленной истории, прояви он несколько больше дальновидности, должен был сообразить, что для него дело повернуло не к краху и гибели, а наоборот, ибо как раз рядом с судом и находилась милиция.

А в это время под чинарой, напротив милиции, стоял Джибо Татарашвили. Его застукали в тот момент, когда он что-то торопливо записывал в свою записную книжку, не замечая и не воспринимая ничего, что творилось вокруг. Иного пути не оставалось, пришлось записную книжку конфисковать, хотя подобное действие, возможно, и явилось в некотором роде противозаконным. Всему виной оказалось одно-единственное слово, записанное в книжке крупными буквами, и как выяснилось много времени спустя, представлявшее собой название поэмы, давным-давно задуманной Джибо Татарашвили: «Возмездие!». Это слово разом привело всех в бешенство. По всему судя, настал день отмщения Джибо Татарашвили. Из-за одной курортной путевки он готов был опозорить весь город. Стоя под чинарой, он с торжествующим видом подробно фиксировал все происходившее в поселке. Однако (это тоже выяснилось впоследствии) Джибо Татарашвили имел в виду вовсе не события, разыгравшиеся в поселке, а своих несчастных персонажей. Фабула поэмы строилась на истории обманутой любви некоей женщины, чей возлюбленный полюбил другую. Женщина решила отомстить ему и преследовала по пятам, куда бы он ни отправился. В ту минуту, когда Джибо Татарашвили окружили с обеих сторон, он размышлял как раз над тем, где именно устроить встречу обманутой женщины и обманщика мужчины, какое именно место избрать для свершения ужасающего акта возмездия. Финал, разумеется, должен был разыграться именно здесь, где состоится суд над женщиной-убийцей. Записная книжка Джибо Татарашвили незаметно исчезла у него из рук. Он пришел в себя только после того, как ему предложили сесть в машину. Джибо Татарашвили стал кричать, но когда

ему объяснили, что его вовсе не арестовали, а везли, чтобы выдать путевку в Кисловодск, которую только что получили, сразу успокоился. Видать, подумалось ему, узнали, что я завершаю поэму, и решили проявить заботу. Но тут же снова забеспокоился, испытывая презрение к самому себе: нет, этим меня не купить! — воскликнул он и, стоило милиции на мгновение приту-пить внимание, выпрыгнул из машины.

Тем временем демонстрация прекратилась сама собой, — хихикали сплетники, сочинившие или раздувшие до непомерных размеров эту историю, смотревшие на жизнь исключительно сквозь черные очки. К счастью, вмешательства Утиашвили не потребовалось. На глазах у всего честного народа Тариэл-маленький, тот, что держал портрет покойного дедушки и возглавлял демонстрацию, вдруг... обделался посреди дороги. Тут же к нему подбежала бабушка (сорока-балаболка!), — уй, чтоб мне провалиться на месте! — засмеялась, подтерла, где нужно было, и крикнула: — Следуйте за мною! Семья покойного Миха немедленно повернула к дому. Тетушки решили, что ребенку повредило мороженое.

* * *

Вы не поверите, но во всем этом нет ни слова правды! Люди чего не говорят! Кроме моей Бабале, я не привела ни одного человека. Не дура же я, в конце концов. Так, иногда скажу что-нибудь, насмешу народ, исправлю людям настроение... Так, значит, на чем я остановилась? Да, вспомнила... Подайте-ка еще водицы, промочу горло... А теперь доскажу все до самого конца.

День тогда был — жарче не бывает, все кругом горит... Мы вдвоем направились к зданию суда, обе — маленькие, высохшие, согнувшиеся в три погибели. Я должна была доказать в суде, что покойный каменщик Миха действительно отец моих четверых детей и дедушка всей этой оравы внуков, да будет ему земля пухом!.. Что он действительно был мне мужем! Именно это и предстояло засвидетельствовать Бабале Коркоташвили. Я уже рассказывала вам, что в счастливый день нашего обручения именно эта женщина (тогда, разу-

меется, еще не женщина — девушка!) была моей подружкой.

Жарко, дышать нечем.

Глянула я и вижу — стоит наш милиционер Утиашвили и скалит зубы (мы с ним давно знакомы). Как дела, старая, говорит, все еще не смогла сочетаться законным браком?

Тут наша Бабале как встрепенется: сейчас как раз, говорит, и направляемся в церковь под венец.

Милиционер по-прежнему лыбится, гляжу, и Бабале немного успокоилась.

Прошли еще немного, она меня снова нагоняет, желтая вся — от жары, должно быть, думаю, не догадываясь, что творится в ее душе... Она не выдержала и хвать меня за рукав:

— Постой, женщина, давай воды попьем...

Хорошенькое время воду пить, бранюсь я, уже пришли на место, столько терпела, потерпи еще немного... Чего тебе бояться? Зададут вопрос-другой, тебе даже отвечать не придется, просто кивни головой и все, можешь идти своей дорогой...

Тогда у моей Бабале появляется иная нужда, и она шепотом спрашивает:

— Не знаешь случаем, где здесь то место?..

Я ругаюсь: что ты, как малый ребенок, потерпеть не можешь, всегда такой была, никакого терпения, и с чего вдруг тебе все зараз понадобилось, уж не мне ли назло, покончим с делом, а там отведу тебя, куда нужно (чтоб тебе сгореть на месте!), и воды дам, и того самого сладкого снега, или как он там называется, куплю... Но Бабале ничего слышать не желает. Идет и причитает: всегда ты была моей мучительницей и сейчас погубить хочешь...

Вот и лестница, ведущая в суд.

Нигде не видать ни одной живой души.

Мы перевели дух, перекрестились.

Вдруг Бабале села на нижнюю ступеньку и, размахивая руками, закричала: живой отсюда вы меня не поднимете, поди, скажи, что я здесь, пусть выглянут в окошко и спрашивают, чего им там приспичило, я им отсюда кивну... А больше ни на что не способна...

Слыхали вы что-нибудь подобное?

Я ее ругала, я ее проклинала! И несчастной ниче-

го другого не оставалось — поднялась с места и, дрожа в коленках, стала взбираться по лестнице.

Чем все кончилось, хотите знать?

Прямо у самой двери в зал суда свидетельница Коркоташвили потеряла сознание.

Потом, придя в себя, открыла глаза и спрашивает:

— Где я?

Когда я объяснила, свидетельница вновь закатила глаза.

Тут я как закричу:

— Будь проклято мое счастье! — и стала натирать Бабале Коркоташвили уши, плеснула в лицо согретую полуденным зноем воду, а, заметив, что она вернулась с того света, сказала: — Не погуби, хоть одно одолжение сделай, здесь не помирай!

Бабале исполнила эту просьбу. Дайте срок, скоро она отдаст Богу душу дома, в окружении племянников и племянниц, — собственных детей у нее не было.

Я тут столько наговорила, но все еще не рассказала, как умер мой несчастный Миха. Вы уже знаете, он каменщиком был... Люди, однако, по старой памяти его дьячком-расстригой звали. А ведь он, дорогие мои, дьячком и не был никогда... Как-то зимой в верхнем околотке ставил он стену Ладо. Правда, предупредил, хоть тихо и нерешительно, что не время, мол, в самую холодину стены строить, но отказать не смог. Уж такой он всегда был тихий и покладистый... Все куда-то спешат, все куда-то торопятся! Задержались они до темноты, потом выпили по бутылочке. А я стою и его дожидаюсь. Никогда не засыпала, пока Миха домой не возвращался. А он там, потом рассказывали, веселился, шутил над Теклэ, старой матерью Ладо посмеивался: где, мол, были мои глаза, как это я тебя упустил! Теклэ ему в лад отвечала: все потому, что та сорока-балаболка тебе глаза застила, — это она всегда так говорила: ты как на одну глаз положил, на других и смотреть не хочешь! Наконец поднялся он, домой, говорит, надо идти, жена ждет... Вышли во двор, кругом снег лежит. Ночь лунная, ясная... Морозит... Миха продолжает шутить и посмеиваться, Теклэ его подначивает:—Куда идешь, парень, остался бы, мужа моего, слава тебе Господи, бояться нечего, хоть раз изменил бы своей ненаглядной женушке! Мы друг над другом

всегда так подшучивали... Она, правда, в молодости едва не увела Миха у меня, хотя и была на семь лет старше него. Так они, значит, смеялись, шутили, друг друга поддразнивали, их голоса вся деревня слышала. Наконец он пришел, встал у калитки и крикнул: — Эй, кто там есть в доме?! — Сам-то кто таков?—отвечаю. Отвори дверь — увидишь!—Что там увижу такого завидного, можно подумать, ты еще способен на что-то... Завела его в комнату, уложила в постель, укрыла одеялом... Что-то я и впрямь замерз, черт побери! — только и проговорил он, укладываясь. На дворе по-прежнему сыпал снег. Утром бужу его: — Вставай, человек, протри глаза, ждут ведь тебя, надо стену заканчивать... Он поднял голову, ну-ка, говорит, отдерни занавеску. Я отдернула. Он мне: — Погляди, какая погода, разве теперь время о стене думать! Выглянула — и впрямь снега навалило, глаз не отвести. Такой красоты я в жизни не видела. Он сидел в постели и смотрел, долго смотрел в окно. Потом вдруг побледнел, — знобит что-то меня, проговорил, помоги-ка, впрямь подниматься нужно, человек ждет, неудобно... Я помогла ему встать, он прошелся по комнате — туда, обратно... А потом вдруг упал как подкошенный... Я бросилась к нему, смотрю в глаза... Только не было уже в них жизни...

* * *

Нам осталось лишь сообщить, что вдова Миха тоже направлялась в Чалаури, где надеялась отыскать другую свою названую сестрицу, вторую свидетельницу обручения Дудану, которая вышла замуж за чалаурского Циклаури. Она вот-вот тоже должна появиться на картине, что раскинулась вдоль речного берега, и тогда на ней уже будет четыре персонажа: Абриа Махаури, та девушка — Элисо, охваченная страхом матушка Гарсо и эта неунывающая сорока-балаболка. И как только она появилась, вся картина разом словно ожила, пришла в движение. Ее не пугала ни бурлящая, вырывающаяся из берегов река, ни то, что Чалаури, куда направлялась она и все остальные, находилось неведомо где, и никто даже не знал толком его подлинного местоположения, ни хмурая задумчивость Абриа Махаури, ни невнимание женщины, ни на кого, кроме

своих быков, не обращающей внимания, что же касается девушки, то на ее губах улыбка появилась лишь после того, как сорока-балаболка снова завела свое:

— Мой покойный Миха...

Немного спустя перепуганная женщина, никого не замечавшая вокруг, кроме своих быков, взяла свой хурджин и сильными, по-мужски жилистыми руками стала выкладывать из него небогатую дорожную снедь. Это означало, что завтрак накрывался для всех присутствовавших.

Махаури молча отломил кусок пресной кукурузной лепешки.

Сорока-балаболка, засмеявшись, развязала и свою котомку.

Девушка застенчиво проговорила:

— Мне что-то не хочется есть...

Но женщина все же протянула кусок лепешки и молча положила ей на колени.

— Хлеб принадлежит всем, — наконец подала голос она.

Продолжение следует

Перевод Э. ЕЛИГУЛАШВИЛИ

Глан ОНАНЯН

Нам говорили

Нам говорили: «Вы в полете!» —
Послушно жили мы в болоте,
И боль, простую, как мычанье,
Мы переплавили в молчанье:
Молчали в страхе и печали,
В житейской суете молчали,
И тем, что всюду грех и порча,
Мы возмущались тоже молча!
Нам было тошно, было душно,
Родных губили мы подушно,
И вера плакала святая,
Слепые лозунги читая...

Воздушный замок

Его воздвиг поэт-любитель
В ночных садах воображения,
В нем обрести свою обитель
Сподобилась душа блаженная.

А чем хорош воздушный замок?
А тем, сияющий, трепещущий,
Что не притон самцов и самок,
А духа горного прибежище.

В нем анфилады снов, по коим
Скользят бесплотно танцы бальные,
И что эфирным тем покоям
Земли толчки десятибалльные?

Над ним не властны страх и ужас —
Лишь радость чуда разрешается,
И с каждой новой смертью рушась,
Он никогда не разрушается.

Мерцают в зеркалах иконы,
Как свет и тени дома отчего, —
Он изначальный, он исконный,
Он возведен сейсмоустойчиво...

Не троньте мой воздушный замок!

* * *

Эти поздние желтые цветы
Не такие, как весной, златокудрые,
А какие-то грустные и мудрые,
Как ущербность любой правоты —

Облетят через день, через миг,
Не успеют обернуться плодами,
Не сумеют не меняться годами,
Став сухими закладками книг.

Вот и нежатся под солнцем октября,
Греют венчики свои обреченные,
С одиночеством они обрученные,
И не ищут добра от добра!

В метро, или Что делать?

Дружно врали указатели
«Выход». Нет его, поди.
Что же делать? Выть, кусаться ли,
Рвать рубаху на груди?

...Дружно, душно, тесно ехали
В рай подземный, в рай для всех,
Строгий чин блюли — до смеха ли,
Если в горле вязнет смех?

Полно! Остановки радио
Объявляет, как привет,
Словно радуясь и радуя,
Что в конце туннеля свет.

Оппонентов в давке тиская,
Умный, глупый, идиот
Слышат: «Станция Марксистская.
Поезд дальше не идет!»

Не постарели пасторали

Не постарели пасторали:
Закатный сумрак был багров,
С истерзанной земли сдирали
Ее асфальтовый покров.

Пророки Ветхого Завета,
Не сыпьте пепел на главу —
Постановленьем горсовета
Предписано любить траву!

Пласт неподатливый тараня,
Бульдозер чадно голосил,
Но он дарил свои старанья
Гармонии творящих сил.

Нет, не стареют пасторали —
Закатный сумрак был багров,
И в этот сумрак простирали
Бульвар без рытвин и бугров.

Шла к людям ночь, звезда дрожала,
Текла и шевелилась мгла —
Земля надеждою дышала
И надышаться не могла!

Александр ЭБАНОИДЗЕ

Рассказы из цикла «ДОМ НА ГОРЕ»

НЕМАЯ МЕРИ

Жила у нас в деревне старая дева с необычным именем Кесария, известная тем, что ее крестил прославленный революционер, один из основателей пролетарского государства.

Крестный отец Кесарии — выходец из наших краев, дальнейшей судьбой крестницы не интересовался. И не мудрено: сперва он готовил революцию, потом совершал ее и защищал на фронтах гражданской войны, потом устанавливал советскую власть на Кавказе, потом вытаскивал державу из разрухи и ставил на рельсы индустриализации, а когда, казалось, самое трудное уже позади, он вдруг умер от разрыва сердца (как выяснилось впоследствии — застрелился). Неистовый костер его жизни полыхал вдали от родных мест, в столицах и новых больших городах России, и только его малая искорка мерцала и тлела возле нас — Кесария.

Хибара-четырехстенка, огородец и виноградник на краю леса красноречиво свидетельствовали о том, что Кесария не пользовалась ни покровительством крестного отца (пока он был жив), ни его славным именем; возможно, она знала о горестной судьбе родственников крестного и не хотела разделить ее.

Так или иначе в хибаре на краю леса она пережила злосчастный тридцать седьмой, а потом и войну.

После войны на руках у Кесарии оказались племянницы — Мери и Анико (что сталось с их родите-

лями, я не знаю), и чтобы прокормить и одеть взрослых девушек, Кесария подрабатывала шитьем. Она ходила по домам, перешивала старые вещи: перелицовывала пиджаки и косоворотки, выкраивала из обветшавших платьев и ночных рубашек детские платьица и распашонки. Чаще всего она работала у нас. Думаю, что ее привлекала не только веселая общительность бабушки, но и добротный «Зингер» со складным столом и ножным приводом. Кесария приходила с утра с замшевым саквояжем песочного цвета, набитым заказами соседей. Этот элегантный саквояж, сверкающий медным замком, такой чужеродный в деревенской обстановке, был единственным предметом, косвенно подтверждающим предание о крестном отце; возможно, потому Кесария время от времени и демонстрировала его.

В глубине старого дома царил полумрак, а поскольку электричества тогда в деревне не было, швейную машинку для Кесарии ставили в распахнутых настежь дверях залы: сидящая за машинкой сухопарая старая дева как-то бочком косилась из-под очков на жизнь нашего дома, вступая в разговор с каждым, кто попадался ей на глаза. Свидетельница былого достатка, она сочувственно и даже виновато подтрунивала над теперешней нашей бедностью. Возможно, в такие минуты тень крестного отца витала над ней, и к победному чувству утоленной социальной справедливости примешивалось что-то вроде угрызений совести...

Вместе с Кесарией обычно приходили ее племянницы — Анико и Мери.

Шестнадцатилетняя Анико была удивительно хороша собой: кареглазая, белокожая, с длинной талией и ленивой замедленной грацией; она спокойно и невозмутимо являла миру свою юную красоту; — то ли сонная, то ли флегматичная, чуть зардевшаяся на августовском припеке...

Но мой рассказ не о крестнице прославленного революционера, и даже не о юной красавице, а о ее сестре.

Рядом с Анико Мери казалась негритянкой, так была темнокожа и толстогуба, так черны были жесткие вздыбленные волосы. У младшей — кроткая девственность, у старшей — огромные груди, крутые

бедра, тяжелые ляжки, мощные торчащие ягодицы — избыток плоти, рвущей застиранный ситец; казалось, она пышет жаром и глухо рокочет, как перегревшийся котел. В минуты покоя лицо Мери походило на маску из темного дерева с внимательными живыми глазами, но по малейшему поводу его искажала гримаса — муки, радости или сострадания, и слышался вопль, похожий на рев медведицы в пчельнике: — Аа-ээ-ыыыы!.. — Глухонемая от рождения, Мери даже не пыталась оформить его в членораздельные звуки. — Ыыыы-эээ-аа! — Ничего похожего на слово или хотя бы слог.

Одна только Анико каким-то чудом понимала сестру, но, усыпленная собственной ленью, одурманенная тайным цветением своей плоти, не обращала внимания, пока Кесария не говорила с досадой:

— Ну же, девонька, проснись! Глянь, чего ей надо!..

Вникая в грубые раскаты сестриного голоса, пещерно-первобытные в своей бесформенности, Аникс именно смотрела, а не слушала: с таким выражением читают неразборчивый текст на малознакомом языке. Порой она брала старшую сестру за руку и переспрашивала. В такие минуты Мери мычала громче, возмущенно тараща розовые негритянские белки и трагически морща лоб, и топала ногами от нетерпения.

Бабушка тоже умела общаться с немой, хотя ее общение больше походило на игру: она вслушивалась в ломкие, бесформенные раскаты ее баса и спрашивала с интонацией живейшего интереса:

— Да что ты говоришь!.. А дальше-то, дальше! Да неужели?! — Иногда она смеялась и сокрушенно качала головой или ласково обнимала немую, а то просто шлепала по заду и с веселой строгостью приказывала: — Ну хватит! Замолчи!.. Разболталась...

Не знаю, понимала ли что-нибудь бабушка в «словах» немой, но даже если интерес был наигранный, признательность Мери не знала границ: готовая в порыве благодарности своротить горы, она брала на себя все домашние хлопоты — дойку, кормление поросят, лущение фасоли, ошкуривание кольев для виноградника и даже стрижку овец. Бабушка смущенно и весело пыталась унять ее:

— Будет, Мерико!.. Ну хватит, хватит! Все! Спасибо большое!.. Все... Три мужика столько бы не наворочали. Кесария, уйми свою девку, ни в чем меры не знает... Анико!..

Не в пример старшей сестре, Анико не рвалась в помощницы. Она часами стояла против дверей залы и, прислонясь к перилам балкона, с невнятной улыбкой на губах слушала стрекот машинки. Если б не расслабленная поза и равнодушное выражение лица, можно было бы подумать, что она пытается освоить швейное ремесло. Изредка, по настоянию тетушки, Анико брала в зале чонгури и, присев на застеленную паласом тахту, тихонько бренчала. В такие минуты она походила на юную грузинку с картины художника-этнографа — с тугой косой, удивленными бровями и плотно сдвинутыми пугливыми ногами...

У Мери были другие интересы: ее простому сознанию жизнь представлялась вереницей действий, бесконечной физической работой, и чем труднее была работа, тем наглядней результат. Тетушку за машинкой и бренчащую на чонгури сестру она наблюдала с недоуменным и осторожным интересом, как нечто загадочное, почти непонятное, тогда как любое проявление силы, даже самое примитивное, вызывало у нее восторг. Работа по дому, большей частью мелкая и кропотливая, не требовала физического напряжения, и в поисках впечатлений она ходила на мельницу: с расширенными от восторга глазами, изумленно приоткрыв рот, наблюдала, как мужчины вразвалку выносят из сруба семипудовые мешки и укладывают на арбы или навьючивают на ослов, и ослы переминаются под грузом и прядают ушами, а быки напрягают шеи. Поскуливая и ломая руки в азарте, она высматривала тех, кто послабее, и спешила на помощь — под добродушные шутки и поощрительные возгласы: «Правильно, Мерико, держи крепче! От них, пока сама не ухватишься, проку не будет...»

Пуще мельницы ее радовал заготпункт в пору виноградного сбора, где вручную сгружались тяжеленные плетеные ящики — джины; она и там любовалась багровыми от натуги здоровяками и норовила помочь им, мало кому уступая в силе... Лишенная женских радостей, обманутая природой, она работой

утоляла сокровенную потребность своего могучего тела; при этом так простодушно и непосредственно любовалась проявлениями мужской силы, что смущала наблюдавших за ней. Но подлинный экстаз и умиление Мери вызывал только непосильный для нее подвиг: помню, когда мой дядька, с сопением орудуя пудовым ломом и надрывая жилы, выкорчевал дубовый пень за домом, у нее вырвался крик боли и из сияющих глаз брызнули слезы.

Анико не видела этого подвига и даже не слышала крика; скорее всего и в эту минуту она, как обычно, стояла против дверей залы с невнятной улыбкой на губах, то ли сонная, то ли рассеянная, погруженная в безмятежность цветения...

Такие разные были сестры.

Теперь о том, что особенно врезалось в память и почему я решил рассказать о немой Мери.

С началом лета к нам отовсюду съезжались городские родственники — привозили своих заморенных детей. Дача — лучше некуда! Обилие фруктов и ягод, родниковая вода и парное молоко, сон на свежем воздухе под теплыми одеялами и прогулки по горам... Старый дом молодел от забот и довольно покряхтывал. Поколения подрастали, проникаясь его снисходительной добротой и уютом, благодатью родного крова.

Лали, троюродная сестра, привезла из Тбилиси своего первенца. Четыре года она лечила его от мнимых и действительных болезней, холила и лелеяла и на пятом году рискнула — привезла в дом на горе, куда единственный на всю округу врач добирался верхом на кобыле.

Малыша звали Заза. Это был заласканный ангелочек, весь в локонах и ямочках, с бледной прозрачной кожей и большими карими глазами, опушенными необыкновенно длинными ресницами: помнится, мы клали на них спички и они не падали, даже когда Заза моргал. Лали наряжала его в бархатные штанишки, матроски и тенниски — их еще привозили из Германии демобилизованные офицеры, а Кесария обшивала старинными кружевами его батистовые ночные рубашки. Расчесывание золотых кудрей Зазы было ежеутренним священнодействием, так же, как вечернее умывание и укачивание —он привык засыпать

под колыбельную. А весь долгий летний день между двумя священнодействиями жизнь нашего дома кружилась вокруг заласканного ангелочка с неотразимой улыбкой: мать носила за ним взбитый гоголь-моголь и какао, мы лазали для него по деревьям за фруктами, а соседские девочки, приходившие понянчить, в виде платы за удовольствие приносили букетики земляники. Даже простейшие физиологические отправления маленького идола вызывали общий восторг, может быть, оттого что ему случалось мочиться в постель: «Зазико, золотко, ну-ка открой крантик... Вот та-ак! Ну и фонтанчик! Ай-да мы-ы...» — и он оглядывал нас, одаривая своей неотразимой, чуточку смущенной улыбкой.

Одна только бабушка не теряла головы и здравого смысла.

— Что за нежности! — хмыкала она. — Ей-Богу, корова и та умней, только неделю теленка лижет. Оставьте ребенка в покое!..

В самом деле получался перебор. А причина была вот в чем: к тому лету молодняк нашего прайда подрос; говоря словами Лали, мы выродились в подростков — нескладные и угловатые, с облезлыми спинами, облупившимися носами и ломающимися голосами, мы не вызывали прежнего умиления, да и не претендовали на него. Средоточием семейного чадолюбия сделался Заза: страсть, делившаяся на многих, обрушилась на одного.

Но похоже, что и все вместе, вскладчину, мы не смогли бы тягаться с немой Мери. Чтобы убедиться в этом, достаточно было разок увидеть, как она смотрела на Зазу: ее лицо светлело и не казалось таким уж смуглым; большие, в пол-лица глаза лучились счастьем, вся ее сильная фигура делалась тоньше, женственней, и словно унимался клокочущий в ней огонь; не грубый, сильный мужчина, разящий потом и табачищем, а нежный младенец — вот оказывается, что было ее тайной мечтой.

А малыш?

Мери пугала его. Поначалу он только косился на нее и дулся. Но неотрывный сияющий взгляд, преследовавший повсюду, раздражал и злил, а стоило Мери шагнуть или сделать движение в его сторону,

как он с воплем бросался к матери. Если матери поблизости не было, Заза искал защиты у Анико: из всех гостей нашего дома он выбрал безмятежную красавицу, встречавшую его порыв с оттенком досады.

Словно трещина рассекала помрачневшее лицо немой — так искажалось оно; и слышался рев медведицы в пчельнике — поразительно, но он звучал тише, чем обычно, словно медведица не злилась, а недоумевала.

Никогда немая Мери не вела себя так кротко и тихо, как в то лето. Она робко всматривалась в нас, ловя признаки неудовольствия; подражая сестре, часами стояла рядом с ней на балконе и даже пыталась перенять ее выражение лица — только бы не гнали, только бы позволили любоваться ненаглядным; но безразличие не давалось ее глазам — они то сияли, то туманились от слез.

Однако малыш с каждым днем делался нетерпимей — теперь даже присутствие немой действовало на него.

Раздражительность сына не на шутку встревожила Лали. Мнительная и бесхарактерная, она несколько даже истерично вступилась за свое чадо и вынудила бабушку поговорить с Кесарией.

Вечером бабушка кряхтя поднялась с циновки, где на пару с немой Мери лущила фасоль, и громко сказала:

— Не сердись, Кесария, глупый он еще, что с него взять... Нервные они в том городе. Плохо спят, видишь ли, под себя прудят... — бабушка наклонилась к своей истовой помощнице, бросила фасолинку ей за пазуху и грустно засмеялась. — А мы, видишь ли, виноваты... Эх, дочка, где справедливость?..

Пришлось Кесарии на время отказаться от приработка, во всяком случае, от «Зингера» с ножным приводом. Но немая Мери не собиралась сдаваться. На нее не действовали ни запреты, ни уговоры. Каждый день, сбежав из дому, она проделывала неблизкий путь в гору к нашему двору и, прячась за акациями вдоль частокола, высматривала своего любимца. Зрелище было трогательное и тягостное. Мы не знали, как быть. Поначалу Лали пыталась прогнать немую, но, убедившись, что тем самым привлекает к ней внима-

ние Зазы, перестала ее замечать. Мы — тем более: помогали ей маскироваться, навешивая на частокол пучки травы и ветви. Одна только бабушка при виде наших хлопот возмущенно хлопала себя по бедрам:

— Да впустите ее во двор, нехристи! Она же человек, а не волчица!

...С утра мы работали в винограднике, мотыжили подросшую кукурузу. День выдался жаркий, безветренный. Пополудни меня послали домой за холодной водой.

Когда я поднялся во двор, там никого не было.

Лали, умученная возней с капризным чадом, отдыхала где-то в прохладной глубине дома.

Выглянувшая на балкон бабушка делала предостерегающие знаки и прижимала палец к губам. Я недоуменно оглядел: под грецким орехом на застеленной ковром тахте спал Заза — кудрявая головка на продолговатой подушке, длинные ресницы тенями на щеках, розовые губы капризно надуты. Одеяльце из голубого атласа, простеганное замысловатыми вензелями — работа Кесарии, очень шло ему: поистине, в спящих детях есть что-то ангельское.

А у него в ногах, не дыша и не отрывая глаз от детского лица, сидела немая Мери. Ее взгляд был спокоен, как взгляд постигшего истину мудреца, и глубок, как взгляд разродившейся женщины; немой, он вмещал все слова материнской любви, когда-либо обращенные к дитяти, всю ее вековечную заботу. Живая картина на евангельский сюжет. Или его повторение в иные, безъязыкие времена. Над ними в зеленой кроне трещали цикады и перекликались птахи...

Вдруг спящий малыш встрепенулся: видимо, неосторожный стук калитки разбудил его; брови дрогнули, нос сморщился, он потянулся, покрутил головой, раскрыл глаза и не сразу узнал склонившееся над ним смуглое губастое лицо — в тени оно казалось особенно смуглым. Узнавание длилось недолго. В следующее мгновение из безмятежного ангелочка малыш превратился в ощетинившегося от ужаса дикобраза; впервые в его испуге не было наигрыша. Разинув рот в душераздирающем вопле и посинев от натуги, он истерически забился и замолотил ногами.

Потрясенная Мери подалась было к нему, но не посмела: вскочила, испуганно огляделась, недоуменно и грозно взглянула на меня и, протягивая руки к мальчику, закричала. Ее рев не поглотил детского крика. Они слились пронзительно и больно.

Рубец в памяти. Раскаленный кол, разодравший барабанные перепонки и поразивший сознание. До окончания дней не забыть этой минуты.

Тогда же, в отрочестве, я понял: она означала больше того, что увидели мои глаза и услышали уши.

Но что?

ИГРЫ НА КЛАДБИЩЕ

Наш дом стоял на отшибе высоко над другими домами села. Выше него располагалось только кладбище. Говорили, что когда-то село хоронило внизу, на взгорке у слияния рек, но в конце прошлого века, когда там затеяли кирпичный заводец, пришлось искать новое место. Впрочем, «искать» слово неточное: на наших кручах годные для застройки места наперечет, а для погоста и подавно... Первым делом вспомнили ложбину повыше нашего дома. Смущала ее близость к дому, к тому же ложбина, как и прилегающие к ней роща на крутосклоне и каштановый лесок, принадлежала моему деду. Не знаю, как велись переговоры, но кладбище вскоре перенесли, для начала возведя в ложбине церковку — нескладную деревянную базилику под черепицей. Стены церковки выкрасили в аквамариновый цвет, словно окунули в синьку; внутри эта синь, разделенная облупившейся позолотой, сохранилась, в особенности по углам, а снаружи повыцвела до белесой голубизны. (Ту же синь с позолотой и линялую голубизну я с удивлением распознал в отделке нашего дома, в сумрачной зале и на открытом балконе, — видно, их красили те же маляры). Под округлой восточной стеной церкви вздувался врытый по пояс огромный глиняный кувшин, бирюзовый от раствора медного купороса. Странное соседство объяснялось просто: раствор предназначался для оп-

рыскивания виноградника, с трех сторон подковой охватывающего кладбище, вплотную подступавшего к его душистым темным кущам.

Сызмала это было любимое место наших игр — из-за дивной красоты и необыкновенной прохлады, выживавшей под старыми деревьями даже в июльское пекло, а для меня еще из-за близости к дому: нас разделяли только двор, проселочная и виноградник на склоне; отчаянный мальчишка мог бы оттуда разбить камнем черепицу на нашей крыше. Когда в скорбную годовщину или в день поминовения плакальщицы голосили над своими усопшими, их вопли доносились до нас. Еще отчетливей долетал до нас звон надтреснутого колокола, висящего там на старой липе, — казалось, он звенит в конце двора. И если сорванные плачем голоса пугали до содрогания, то жидкий, дребезжащий звон был призывом к игре.

Выбежав со двора, я сперва несся круто в гору— мимо хлева, по разбитой скотом дороге до развилки, отмеченной большим терновым деревом — землю под ним усыпали перезрелые плоды. Оттуда проселочная тянула выше и вправо, а влево, почти в противоположном направлении, ответвлялась дорога к кладбищу.

Среди крутых и извилистых троп нашей деревни эта недлинная дорога, ровная и прямая, производила особое действие: уютно соразмерная, красивая тихой и грустной красотой, она, несомненно, воплощала последний путь человека, дорогу к вечному покою. Она все зарастала с краев, словно мечтала слиться с рельефом, но заглохнуть окончательно ей не было суждено. По правую руку от развилки тянулась каменная стена грубой кладки. Над камнями, подпиравшими возделанную террасу, зрел виноградник. По левую руку опутанный повителью частокол отделял другой виноградник, нижним краем выходивший к хлеву и нашему двору. В частоколе через равные интервалы стояли стройные, как на подбор, акации. Повитель плотно облепила их стволы, точно одела в кольчуги, у ветвей взбиваясь наподобие зеленых жабо. А между акациями, в живом колышущемся обрамлении, открывались горы в дымке и заснеженный хребет. Так эта дорога и брела неспешно между виноградниками, сло-

вно давая человеку перевести дух напоследок, утешая и успокаивая после житейских круч и мягким впускающим жестом вводя на погост.

Как ни хороша была ведущая сюда дорога, здесь ты понимал, что она лишь подступ к настоящей красоте. Солнце почти не проникало сквозь многоярусную листву старых деревьев, и кладбище с каменными ковчегами и голубой церковкой казалось в полуденном зное дном водоема или пространством полуразрушенного храма; сходство это усиливали блики солнца в рассеянной зелени и подвижные тени на стене церкви. Кладбище было небольшое, поэтому во все стороны просматривался обступивший его виноградник. Старые деревья в тесноте перепутывались ветвями, и порой казалось, что липовые сережки сыплются с ясеня, а вяз цветет мимозой, похожей на павлиньи перья. Это буйство зелени, этот триумф флоры венчали два патриарха — липа и дуб. Я никогда не видел деревьев такой красоты и мощи. Рядом с ними все остальные казались юной порослью. Только миф о Филемоне и Бавкиде — вечных супругах, превращенных в божественные деревья, дает представление об их красоте. Под их шатром мешанина зелени всех фактур и оттенков — от водянисто-бледной до маслянисто-темной, от мягко курчавящихся мхов до металлической жесткости лавра, — и в полуденном зное сильный, душноватый и свежий запах южного кладбища.

Внутреннее убранство церкви было убого: на голых стенах железные венки с истлевшими лентами, на замшелом полу — скорлупа пасхальных яиц. И в этой бедности красивый иконостас: по левую сторону от царских врат Богоматерь с младенцем и Нина Каппадокийская, по правую — Вседержитель с державою и Георгий Победоносец, работа художника, а не иконописца: уж больно он увлекся драпировкой одежд, блеском лат святого Георгия и в особенности миловидностью женщин; темный пушок над губой святой Нины и легкая раскосость придали ее облику отнюдь не религиозную страстность. Загадкой иконостаса осталось для меня сходство всех четырех изображений, в особенности Нины и святого Георгия — они казались прямо-таки двойняшками.

Так выглядело излюбленное место наших игр.

Заслышав колокол, я по звуку определял, кто сзывает на игры: размеренный и твердый бой был сигналом Мито: часто-часто, не давая звуку расплыться, звонила Жужуна с подружками, а Нодар колотил вперемежку — то врастяжку, то дробно.

Обычно я первым являлся на зов... Другие жили намного ниже и дальше, они добирались нескоро — взмокшие, запыхавшиеся.

— Привет!

— Здорово!

— Фу-у, ну и жарища!.. Такой еще не было.

— Ты каждый день так говоришь. Присядь, переведи дух. — Я предлагал место рядом с собой на каменном ковчеге.

— Я лучше прилягу. Тебе хорошо: раз-два — и здесь!

— Что правда, то правда.

— Кончай звонить, Нодар. В ушах зудит.

— Еще немножко — может, Зурико поднимется.

— Не поднимется. Его мать на мельницу послала.

— В такое пекло?!

— Пекло не пекло, а жрать-то надо...

Одни рассаживались по обомшелым плитам, другие ложились — перевести дух. Кто-нибудь, потеснив лежащего, царапал на плите поле для архаичных шашек — квадрат, расчерченный по диагоналям и поделенный пополам, с каждой стороны ставились по три фишки. Задача состояла в том, чтобы выстроить их в линию. (Любимая игра тбилисских курдов — режутся в нее, примостившись на краю тротуара: не иначе как они и завезли ее прямиком из древнего Вавилона).

Фишки передвигались рассеянно, играли вполглаза. Ждали появления девочек. Они никогда не приходили поврозь — гурьбой, оживленные, о чем-то бойко лопочущие между собой и, казалось, не замечающие нас, только простодушно-глуповатая Жужуна улыбалась во весь рот и беспричинно смеялась.

Последними являлись Кахабер и Гигла, вернее, прибегала их лохматая собачонка Цугрия и, радостно оповестив о приближении братьев, бросалась им навстречу.

— Шире шаг, разини! — не поднимаясь с камня, кидал кто-нибудь в пространство.

— Как же, дождешься — насмешливо тянул другой. — Может, к завтрему дотелепаются...

И впрямь, собачонка еще не раз успевала прибежать к нам до появления хозяев, причем с каждым разом на ее смышленой мордочке все отчетливей проступали смущение и озабоченность — она словно пыталась внушить нам, как серьезна причина, задерживающая братьев. Мы знали причину: Гигла болел и порой бывал так слаб, что не мог преодолеть наших круч. Тогда Кахабер толкал его перед собой или тащил на закорках. Не мудрено, что они то и дело отдыхали.

Но вот братья появлялись из-за кустов жасмина, и Кахабер с ходу хрипловато заводил:

— Вам что, разини! Полеживаете себе в тенечке на могильных камнях и поплевываете! А Каха и этого доходягу по жаре тяни-толкай, и землянику на обочине собирай, и сливы под деревом не упусти!.. Неужели твоя бабка такие сливы свиньям скармливает?! — возмущенно обращался он ко мне и протягивал подобранные на развилке перезревшие ягоды. — В таком разе я согласен в ваш свинарник. И пусть меня потом режут. Хоть в Рождество, хоть на Пасху! Ну, зажрались! Ну, кулачье недобитое!

Он выкрикивал это разбитным, хрипловатым голосом, оглядывая всех шалыми глазами бузотера, задираясь с первой же минуты. И тут же получал в ответ от кого-нибудь:

— Знает малый свое место — в свинарник потянуло...

— Из тебя можно знатного борова откормить!

— Это точно! — весело соглашался Кахабер. — Что ни стрескаю — все впрок! — И, шлепнув себя по пузу, вдруг выкрикивал по-русски: — Чай! Сахар! Белый! Хлеб! Чай! Сахар! Белый! Хлеб! (Такое заклинание — заноза голодных лет.)

Пока Кахабер бузил и горлопанил, Гигла медленно поднимался по пригорку и садился на могильный камень. Он сидел, расставив руки и ноги, словно с трудом удерживая равновесие и вперив в пространство неуверенный просящий взгляд. Мы знали, что

ему надо отдышаться, и не обращали внимания. Разве что Жужуна садилась перед ним на корточки и улыбалась снизу:

— Хочешь землянички, Гигла?

Гигла переводил взгляд на нее, но смотрел все так же просяще и неуверенно. Только когда отпускал приступ головокружения, в его глазах появлялась заинтересованность и даже искорки насмешки над своей беспомощностью.

Для нас физическая немощь Гиглы была чем-то обычным, естественным, как холодок на дне оврага. Не зная его другим, мы привыкли. На кукурузном поле среди крепких, зеленых ростков попадаются квелые, блеклые, их хоть поливай, хоть окучивай—початка не дадут и даже метелок не выкинут. Таким хилым ростком был среди нас Гигла, и мы росли и наливались соком, не замечая его, не обращая внимания, — вечный укор детской бездумности! А ведь зачем-то же он тянулся к нам, зачем-то преодолевал кручи и свой недуг. Лобастый, большеглазый мальчик с детской челкой и оттопыренными ушами... Мы так и не узнали, чем он был болен: кажется, белокровием.

Пока Гигла собирался с силами, лохматая Цугрия оберегала его, рычанием и лаем одергивая нас за слишком громкий смех. Но стоило ему влиться в наше бурление, как собачка преображалась: радостно носилась вокруг, тявкала и подкатывалась в ноги.

Девочки невольно ворчали:

— Опять собаку привели! Да еще без поводка...

— Она же играть не даст...

— Да будет вам! — отмахивались мы. — С ней интересней. Верно, Цугрия?

Собачка переводила на нас возбужденный взгляд гагатовых глаз и виляла хвостом.

Сначала мы играли в прятки. Эта простейшая забава не приедалась только потому, что играли на нашем кладбище, в зеленых кущах, окруженных виноградником. Здесь все служило укрытием: и надгробия, и каменные ковчеги, и необъятные стволы деревьев, и живые ограды из туи, лавра или вербы. Можно было забраться в церковь, а затем под облупившейся иконой проскользнуть в заднюю дверь и нырнуть в папоротниковые дебри или залечь в душной траве под

кипарисом и затаиться, от скуки наблюдая жизнь маленьких, кирпичного цвета жучков, заполонивших все кладбище... Летние игры под птичью перекличку, цикадный треск и детские голоса, такие ясные и гулкие, словно кладбище и впрямь было пространством храма!..

— Энки-бенки, сикли-са, энки-бенки-да...

— Ты жмуришься, Нодар, только честно!

— Ладно, ладно, разлетайтесь, да побыстрей... Тинико, вылезай, я тебя нашел! Ты за кувшином прячешься.

— Да нет ее там, говорят тебе!

— Как же нет, когда я платье углядел!

— Ты платье ищешь или ее?

— А разве она без платья прячется?

— Ладно, не ввязывайся, Цаго!

— А почему он всегда жилит?

— Кто жилит? Я?!.

И пошло-поехало, с каждым часом все азартней. Прятались так, словно нам угрожала смерть. Как ни многочисленны и разнообразны были укрытия, приходилось искать новые. Задачу осложняла шустрая Цугрия: носилась между камней и деревьев и весело облаивала прячущихся. В конце концов мы включались в состязание и прятались уже не столько от водившего кон, сколько от нее, и упивались ее растерянностью, и смеялись, когда она переглядывалась с Гиглой и виновато виляла хвостом.

— Что, Цугрия? Нету? Не убивайся так.

— Сдается мне, что она у вас не из породы ищеек, а, Гигла?

Гигла со слабой улыбкой подманивал собачку и брал на колени, но она вырывалась и бросалась на поиски.

— Цугрия свое дело знает, — заступался за собаку Кахабер. — Перепелиные гнезда находит — что ты! Помнишь, тем летом, Мито?

— Как не помнить! Вляпалась в гнездо, а в нем полно яиц. Чуть с перепугу не обделалась...

Собачка, навострив уши и наклонив голову набок, внимательно смотрела на Мито, точно пыталась вникнуть в смысл его слов.

— Не слушай его, Цугрия! Ищи!..

Смышленая Цугрия искала и чаще всего находила. Но порой и ей приходилось туго. Да попробуй найти, когда один ныряет в чан из-под медного купороса, другой карабкается на макушку дуба-великана, а третий — это был я — лезет на истекающую смолой сосну: запах посильней можжевелового, в полдень прямо скипидаром шибал.

Помню, я пролез через душную липучку, через потеки смолы, затвердевшие в старых надрезах, протаранил спутанные ветви и оторопел: надо мной сияло небо с единственным молочно-белым облаком, поодаль клубились исполинские кроны дуба и липы, а подо мной и за моей спиной сосну сплошь увили встрепанные маленькие розочки. Не знаю, как объяснить этот фокус, каким образом целая шпалера цветов, а они именно шпалерой обложили сосну, соединялась с землей — не из дерева же они росли!

Я вдыхал упоительную смесь нагретой на солнце сосновой смолы и неистового цветения. Подо мной звенели детские голоса и лаяла собака, а деревья переполнял треск цикад и птичья разноголосица.

Тогда же мы изобрели еще один способ маскировки — прятались за осликом, пасущимся на кладбище, и под его прикрытием перебегали от дерева к дереву: ослик бежал нетвердым галопом, испуганно поставив уши.

Гигла играл в прятки вместе со всеми, но поскольку наши тайники были ему не по силам, он находил свои.

Неподалеку от душистой сосны, в ее тени, таилось самое загадочное и красивое захоронение нашего кладбища. Печальный дворик, огражденный металлической сеткой, переполняли гортензии: в глубине между нежно-голубых соцветий белела стела с фотографией молодой красавицы — ее изображение с длинными распущенными волосами то выглядывало из цветов, то опять скрывалось, словно оживая и умирая с дыханием ветерка. В сетке имелось отверстьице, которым, однако, никто не пользовался — больно тесен был лаз, к тому же нас удерживала целомудренная красота этого места.

Но Гигла решил иначе.

Помнится, кон водил Нодар. Долго без толку блу-

ждал между деревьев и надгробий, уныло выкрикивая в пустоту:

— Ладно, Гигла, твоя взяла! Вылезай!

Потом в сердцах набросился на Цугрию:

— Чего развалилась? Ищи своего хозяина! Ну!

Но Цугрия не настроена была искать: она лежала между ковчегами и, вывалив розовый язык, благодушно ощерялась. Потом вдруг перевернулась на спину и, сложив лапки, жеманно завиляла хвостом. Нодар подлел ее ногой.

— Сука вертлявая! Ищи, говорят!

— Кончай, Нодар!.. Оставь собаку в покое! — заступились мы за Цугрию. — Ищи сам или сдавайся!

— Ладно, сдался. Только этот доходяга все равно не вылазит... Издевается! Гигла-а!

Ответом было молчание. Нам вдруг сделалось не по себе: при всем детском легкомыслии мы сознавали, что Гигла болен; мало ли что с ним случилось... Особенно разволновались девочки. Цира, по обыкновению, приготовилась зареветь. Но тут из-за металлической сетки, ограждавшей переполненный гортензиями дворик, раздался слабый голос Гиглы:

— Ребята... я здесь...

Все бросились к ограде:

— Где ты, голова два уха! Покажись!

— Ну, перепугал! Вылезай скорее!

— Никак дырку в сетке не найду... — растерянно повинился Гигла.

От этого признания мы так и грохнули:

— Дырку не найдешь? И поделом! Сиди теперь до прихода Марты! (Так звали старуху, ухаживавшую за могилой.)

— Лазаешь, как хорек!

— Скоро так отощаешь, что без лаза через сетку проскользнешь.

— Ну, где ты там? Покажись!..

Поближе к стеле гортензии дрогнули, зашевелились, и между нежно-голубых соцветий вырос почти не отличимый от них Гигла. Он смотрел на нас и кротко улыбался.

В другой раз получилось и того чище: Гигла открыл царские врата в церкви и спрятался в алтаре!

Как нарочно, кон опять водил Нодар. Искал, ис-

кал без толку и постепенно стал впадать в истерику; обдирая спину, протиснулся в ограду с гортензиями, не щадя голых ног, смял свирепую крапиву в заброшенном уголке кладбища, зачем-то влез даже на дуб и в сердцах сообщил из поднебесья:

— Упорхнул, язви его в душу!

Наконец, притихшие, мы собрались в церкви и остановились перед царскими вратами. Вседержитель, Пресвятая Дева и воинственный Георгий строго взирали на нас, только в глазах святой Нины таилась приветливая улыбка. Луч из зарешеченного оконца под крышей пересекал голубоватый сумрак и казался серебряным.

— Если он там, я его убью! — кровожадно объявил Нодар. — Разорву пополам, как лягушку.

— Сначала ты выкусишь! — заступился за брата Кахабер. — Понял?

— Но ведь туда нельзя! — крикнул Нодар. — Мы так не договаривались!

— А ты уверен, что он там?

— Гигла, зараза, вылезай! — во все горло завопил Нодар.

Ни звука. Только слабое эхо под сводами.

Гурьбой шагнули к резным дверям с облупившейся позолотой и седогривыми евангелистами в овальных медальонах. Отворили. Дверь чуть скрипнула. Еще несколько шагов, и мы оказались в сыром полутемном пространстве, заставленном и завешанном загадочными предметами: длинной одеждой, расшитой осыпающимся серебром, кованными чанами, кубками, подсвечниками; тускло поблескивали позеленевший медный крест и конусообразная ребристая чаша, дочерна обгоревшая изнутри. Обложенное пылью и затянутое паутиной, все это старье ржавело и истлевало... А посредине овального пространства, под зарешеченным оконцем, на каменном возвышении лежала книга. Она показалась нам огромной, да собственно, такой и была — распахнутая, с толстыми, шершавыми коричневатыми страницами, разделенными глубокой бороздой...

Зрелище настолько поразило нас, что мы не сразу заметили выбравшегося из укрытия Гиглу. Он при-

соединился к нам и тоже не дыша уставился на книгу. Это была Библия.

Я мог бы припомнить и другие случаи изобретательности Гиглы, но все-таки игра в прятки была ему не под силу. Обычно, пока мы лазали по деревьям, шныряли по кустам, перебегали под прикрытием ослика или по-пластунски ползали между замшелых надгробий, он тихо сидел на могильной плите в тени липы. Иногда вдруг вставал и нетвердо брел к границе кладбища, к винограднику, но на солнце не выходил — маячил костлявым большеголовым силуэтом на сверкающем фоне полдня. Тягаться с нами в прятках ему было не по силам. Зато он отыгрывался в «камешках».

Не уверен, что эта игра известна в других местах, а потому вкратце объясню ее суть.

Пять небольших камешков выбрасывается на игровое поле, затем играющий берет один из камешков и, подкидывая его, поочередно тою же рукой подбирает остальные и ловит подкинутый. Следующим номером он опять выбрасывает камни, но на этот раз подбирает их попарно, затем — один и три и, наконец, все четыре вместе. После этого он опять дважды проделывает первое упражнение, но на этот раз в усложненном виде: сначала подбирает камешки так, чтоб они со стуком сшибались в ладони (упражнение называется «чоканье»), затем наоборот — совершенно беззвучно («тихая»): для этого брать лежащий камешек надо большим и указательным пальцем, а ловить подброшенный остальными. После успешного исполнения перечисленных заданий затевается настольный футбол: левая рука ставится на игровое поле так, что дуга между большим и указательным пальцами изображает ворота; камешки выбрасываются на поле; соперник играющего выбирает из пяти камней «вратаря» — разумеется, это тот, что оказался ближе к «створу ворот». Нужно, подбрасывая один из камешков и до падения перехватывая его, остальные загнать в ворота и не задеть при этом «вратаря». Дополнительная сложность — последний камень необходимо забросить одним «ударом», не гоняя вокруг «вратаря». И — на финише — еще одно упражнение: все пять камешков кучно подбрасываются, ловятся

тыльной стороной ладони, затем еще раз подбрасываются и ловятся в ладонь. (Это упражнение называется «жатва»). Количество пойманных камешков подсчитывается, при каждой попытке их должно быть не меньше двух. Таким образом необходимо набрать двадцать одно очко, лишние очки сокращают сумму наполовину.

В сущности, игра незамысловатая, но требующая сноровки: иногда для того, чтобы подобрать широкс раскатившиеся камешки, приходилось отобранный камешек запускать высоко и до его падения обшарить игровое поле. Да и камешки для игры тщательно выискивались в галечнике у реки: лучше всего подходила некрупная галька, хорошо обкатанная, но не круглая, а угловатая и звонкая. Девочки постоянно носили эти наборы с собой в кармашках платьев. Мы считали такую старательность ниже своего достоинства, играли их наборами, чем и оправдывали в досаде свои неудачи.

Попарно рассаживались на теплых каменных ковчегах — шахматный турнир, да и только! Ковчеги-надгробия замечательно подходили для нашей игры: шершаво-пористая поверхность камня и ворсинки мха не давали камешкам слишком разбегаться. Недостатком наших игровых площадок был заметный крен; один только каменный саркофаг под липой стоял ровно, как биллиардный стол, — он отводился для самых ответственных игр. Мы оседлывали ковчеги верхом, девочки же пристраивались боком и то и дело натягивали короткие платья на исцарапанные колени. Насколько неоспоримо было наше превосходство в прятках, настолько же туго приходилось в «камешках»: девочки с их аккуратностью лучше приспособлены к играм такого рода. Ценой мелких хитростей и сверхчеловеческих усилий нам удавалось порой обыграть некоторых из них — но только не Жужуну! Против нее мы были постыдно бессильны.

— Ну, ловка, стерва! — восхищался в очередной раз поверженный Мито. — Хоть раз бы ошиблась. Так и чешет — от и до!

— Я ей пальцы пообломаю! — грозился Нодар. — Тогда по-другому запоет.

— Ты выиграть попробуй, а не пальцы ломать! — урезонивал я.

— Выиграешь, как же, когда она их как по зернышку склевывает... А жнет как ! Жужуна, дура! Садись, еще одну!..

Жужуна никогда не возражала, садилась с простодушной улыбкой, доставала камешки из кармана и протягивала Нодару.

— Начинай!

— Сама начинай! — оседлав каменный саркофаг, он упрямо тряс башкой.

Беззлобно посмеиваясь, Жужуна бросала на игровое поле пять обкатанных камешков — и начиналось представление! Она подбирала их так легко и четко, слоено и впрямь грациозно склевывала. Ее пальцы безошибочно ориентировались на игровом поле и при этом не теряли неожиданного для деревенской девочки изящества. Обычно, когда она проходила усложненные варианты первой фигуры — «чоканье» и «тихую», Нодар придирался и кричал, что он не слышал стука камней или наоборот: вот, мол, как они стукнулись, все, погорела!.. — и нахально звал нас в свидетели. Но мы при всем желании не могли его поддержать — Жужуна не допускала ошибок. Она с простодушной улыбкой ждала, пока утихнет спор и успокоится соперник, в паузу машинально подкидывая камушки и подхватывая их тыльной стороной ладони — играла «жатву». Так она проходила круг за кругом и, доведя счет безошибочных циклов до пяти, спокойно, без вызова спрашивала:

— Хватит? Или еще?

— Хватит, — угрюмо бросал Нодар и вставал с саркофага. Он даже не пытался сопротивляться, поскольку даже один круг без помарок был для него достижением.

Единственным, кто сражался с Жужуной на равных, оказался Гигла. Мы не знали за ним таких способностей и удивились, когда однажды он сел против нашей обидчицы (сел не верхом, а бочком — как девочка) и тихо, без интонации попросил:

— Начинай...

Жужуна пожала плечами, быстренько, без помарок прошла один круг и протянула камешки Гигле.

Он покачал головой, извлек из кармана свой набор и тоже без помарок отыграл все фигуры. Жужуна с веселым любопытством коротко взглянула на него и бегло отыграла еще три круга. Гигла без видимых усилий повторил то же самое. Мы приободрились и переглянулись — победа над Жужуной была нашей давней мечтой. Тесней обступили играющих, стали подбадривать Гиглу. Он еще какое-то время продержался, но в конце концов выдохся, ему просто не хватило сил: было видно, как его качнуло и на лице появилось то самое выражение неуверенности и мольбы, с каким он добирался до кладбища; играя «жатву», он грубо ошибся — просыпал все камешки.

— Это нечестно! — взвился Кахабер и выкатил на нас шалые глаза бузотера. — Нечестно! Он просто устал! Дошел до ручки! Я же вижу!..

— Смотрите, на нем лица нет, — подтвердил я.

А Нодар напустился на Жужуну:

— Ты чего лыбишься, дура? Совсем ку-ку, да? Человек копыта отбрасывает, а ты и рада?

Не скажу, чтобы Жужуна была рада победе — она просто не могла не улыбаться.

Гигла протиснулся между нами к ближайшему надгробию и со стуком рухнул на камень: тощие руки вытянулись вдоль тела, ключицы выперлись из рваной фуфайки, детская челка прилипла к взмокшему лбу. Мы словно впервые увидели жалкую немощь его больного тела.

— Подкормил бы ты, что ли, братца! — с укором проговорил Мито.

— Научи еще — чем! — огрызнулся Кахабер.

— У самого вон щеки трескаются. Небось, из одной миски хлебаете...

— Ээ, мне и поганки впрок!.. — Кахабер подошел к брату и с брезгливой досадой уставился на него. — Ну ладно, доходяга, вставай!..

С тех пор каждый раз, когда Гигла приходил на кладбище, его состязание с Жужуной делалось главным событием наших игрищ. Побеждала неизменно Жужуна, однако все видели, что в умении Гигла не уступает — ему просто не хватало сил. Не помогал ни отдых — что-то вроде тайм-аута, ни черешня с дерева, которой мы запасались для него; кончалось

приступом слабости, бледной прозеленью на скулах и вокруг рта и испуганными просящими глазами.

Не помню, кто надоумил нас: для выявления победителя усложнить игру — играть шестью камешками, а если и этого окажется мало, то и семью.

Идея показалась плодотворной. С помощью Жужуны мы опробовали ее, уточнили правила. Оставалось дождаться соперника. В те дни Гигла не ходил на кладбище, и мы через Кахабера передали ему новые условия игры — чтобы мог поупражняться.

Сами мы в ту пору увлеклись рискованным состязанием — скоростным лазанием по деревьям. Собственно, интересовал нас только дуб; покорение остальных деревьев оказалось делом простым.

Долгое время трехсотлетний великан был доступен только ловкачу Мито. Взобраться по стволу не представлялось возможным — как по стене; Мито пришлось изыскивать другой способ. Одна из ветвей необъятной кроны дотягивалась до церковной паперти, этот черт с верхней ступени допрыгнул до нее и ухватился за кончик. Конец ветки пружинил, раскачивая цепкого, как жук, мальчишку, но он продвинулся на несколько метров и обхватил ветку ногами. Дальше он полз гусеницей, пока ветка не затвердела настолько, что перестала прогибаться под его весом. Тогда он, как белка, побежал к стволу и еще через минуту исчез в необъятной кроне, наполненной треском цикад и птичьей разноголосицей.

По стопам Мито отправился я и сполна испытал всю трудность открытого им пути и радость победы: увидел далеко внизу увитую розами сосну и под ней печальный дворик с гортензиями.

Постепенно и остальные мальчишки освоили рискованный путь. Даже толстяк Кахабер одолел его, с верхушки прокричав на все село свои голодные позывные: «Чай! Сахар! Белый! Хлеб!» Из девочек наши восторги порывалась разделить Жужуна, но у нее ничего не вышло: поболталась на ветке, беспомощно суча длинными, в ссадинах и царапинах, ногами, да и спрыгнула.

В то азартное лето мы и лазание по дереву превратили в состязание. Лезть наперегонки не было никакой возможности, потому состязались на время и,

не имея часов, придумали свой способ измерения времени: как только восходящий цеплялся за ветку, судья состязаний плевал на каменную ступеньку. За время восхождения плевок высыхал и под нашим наблюдением возобновлялся. Таким образом, затраченное время исчислялось в три плевка или в четыре с четвертью... Рекорд принадлежал первопроходцу Мито: он в два плевка взлетел на макушку и скатился вниз. Правда, кто-то из умников заметил, что в день установления рекорда было прохладно, и плевок высыхал значительно медленнее. Слов нет, единица измерения получилась грубая и переменчивая, но нас она устраивала: мы склонялись над судейским плевком, как над секундомером, и видели, как материализованное время истаивало на глазах.

Наше новое увлечение не радовало девочек, из участниц игр превратившихся в зрительниц. Они пытались болеть за нас, но скоро сникали и, разбредясь по кладбищу, затевали все те же нескончаемые «камешки». Одна Жужуна оставалась с нами: во-первых, она не теряла надежды ухватиться за ветку покрепче и взобраться на дуб, а во-вторых, канитель с подругами наскучила ей — она ждала Гиглу, своего единственного соперника.

И вот опять налился светом и зноем летний день, опять нас собрал на игрища звон колокола — под треск цикад и птичий гам — в душные запахи южного кладбища; опять прибежала Цугрия, оповещая о приближении Кахабера и Гиглы, и опять кто-то крикнул в сторону дороги: «Шире шаг, разини!»; с саркофага под липой согнали плаксивую Циру, освобождая место для предстоящей игры, и Жужуна, заранее улыбаясь, вытащила из кармана шесть камешков. Но Цугрия не бросилась, по обыкновению, навстречу братьям, а завертелась у нас под ногами, скуля и униженно ластясь. И Кахабер появился из-за куста отцветшего жасмина и, не доходя до нас, сообщил, что Гигла умер.

В детстве невозможно осмыслить смерть. Несчастный случай доступней детскому сознанию: утонул! упал с дерева! попал под машину или под поезд!.. Это хотя бы похоже на потерю. Огромную, ужасную, невосполнимую, но потерю: был — и не стало.

Но умирание. Угасание. Уход... Непостижимо — от века написано на этой тайне. И не пристало детским страхам теребить ее.

Гиглу не хоронили целых пять дней. Причин я тогда не знал, а то, что узнал впоследствии, не имеет отношения к рассказу.

От пяти дней осталось в памяти ощущение вязкости и глухоты, словно заложило уши: то ли мир оглох, то ли я; все вязло, как в вате, уходило в ничто. Четкими в своей определенности были только жалкий гроб на покрытой паласом тахте и мальчик во гробе, по-младенчески лобастый и нежный. С каждым днем он уходил от нас все дальше, унося свою тайну и бессловесный укор, и мы, сгрудившиеся у гроба, смутно догадывались, что на всю жизнь он останется для нас тайной и укором, кротко и утешительно светя в начале предстоящего всем пути.

Тихо причитали плакальщицы.

За моей спиной всхлипывали девочки.

У гроба стоял Кахабер и веточкой акации сгонял мух с лица своего брата.

Пахло прогорклым маслом. Запах въелся в подкорку и на всю жизнь стал запахом горя.

На шестой день Гиглу хоронили. На кладбище между сосной и двориком с гортензиями, в котором он так смешно застрял когда-то, была вырыта могилка. Гиглу опустили в нее и засыпали. Выросший холмик обложили цветами.

Могильщик Малакия, дряхлый старик с белыми веками и обвисшей шеей, жаловался, как трудно рыть детскую могилку — взрослую не в пример легче.

Прежде чем вернуться на убогие поминки — в щелястую четырехстенку с земляным полом, все разбрелись к могилам своих близких: послышались вздохи, тихие причитания — ведь мы играли на кладбище. Странно и страшно было вдруг осознать это.

Горячий ветер теребил цветы.

Трещали цикады. Где-то далеко, словно утешая нас или обнадеживая, грустно куковала кукушка.

РЕКА УБЕГАЮЩАЯ

Жизнь зародилась в воде. Не знаю, почему для доказательства столь очевидной истины ученым пришлось вылавливать последних целакантов, исследовать мезозойские ракушки и ставить бесчисленные опыты. Мне с самого детства было ясно: жизнь зародилась в воде—иначе почему вода влекла так неодолимо, как может влечь только отчужденная силой родная стихия. Эволюция далеко увела нас от истоков жизни. Но каждое возвращение подтверждает — вода наша прародина, наша праматерь.

Даже в зрелые годы бултыхание в реке вызывает простейшую биологическую радость — сродни радости лягушонка, плюхающегося с бочажка в запруду. Настолько же естественней эта радость в детстве, когда, большеголовый и гладкий, ты и впрямь похож на лягушонка, и твои инстинкты сильней сознания.

Я не помню купаний в огромной деревянной лохани с затычкой: она рассохлась раньше, чем я научился ходить. Но и без этого комнатного пруда во тьме воспоминаний сверкает и струится водная гладь — широкая излучина нашей реки. Это моя излучина. Моя праматерь и моя купель. Местами вода в ней так мелка, что едва достает до колен малолетнему купальщику. Я передвигаюсь руками по дну то против течения, то поперек и, захлебываясь от восторга, кричу: «Смотрите, смотрите, как я плаваю!!» А вода и гладит, и щекочет, и пахнет свежо и влажно. Запах праматери. Нахлебавшись, я даже внутри себя чую его. Словно на время опять становлюсь земноводным.

Не помню, когда я первый раз ступил в свою заводь, думаю, мне было не больше трех. С тех пор, пока не поплыл, она привечала меня и бережно пестовала. Я обшарил ее песчаное дно, знал в нем каждый шершавый камень, застрявший в песке, и каждый подернутый слизью валун, и хрусткую гальку на другом берегу. Река растекалась по излучине, теплая, как остывающий чай, и такая же золотистая. У нашего берега в тени орешника она темнела и больше походила на мед. Мне кажется, что и в ее вкусе тер-

пкость и сладость сочетались с горчинкой: вкус речной воды, вобравшей десятки горных ключей, раскрутившей десятки мельничных жерновов, утопившей на дне спелые желуди, кисти рябины и вязкую дубовую паль.

Мы жили выше всех на горе, и с наших высот дорога на речку была целым путешествием. Но ни одно путешествие не вызывало такой радостной готовности! Еще бы! Я возвращался в родную стихию. Я помнил, что меня ждет. Видит Бог, река ни разу не обманула моих ожиданий.

Тропа то кремнистая, то сыпучая, то затянутая муравой, но все время петляющая и такая крутая, что приходится хвататься за кусты — только бы не побежать, а порой садиться и сползать, опираясь сзади на руки, пока наконец не сбежишь на усыпанный камнями берег. Камни прогрелись и дышат мягким теплом. Они белые и гладкие, по ним приятно ступать босиком. Сердце обмирает от предвкушения... И вот уже, скинув одежонку, входишь в воду, осторожно ступаешь по вязкому дну. Вода сперва по щиколотку, потом до колен, потом выше, и ты ложишься в нее, плюхаешься, захлебываясь от восторга и ни с чем не сравнимого наслаждения. И река тоже рада — это слышно по плеску и журчанию возле уха, — а предвечернее солнце жарит в темя и в спину между лопаток, и, прячась от него, ты глубже погружаешься в воду, ныряешь с головой и чуешь, как солнце сквозь зыбь достает тебя, а река охлаждает заботливо; оба пекутся наперебой, их касания влажны и ласковы...

Голенький лягушонок в пронизанной солнцем заводи... Ты то замираешь в стремнине, то сучишь ногами, то передвигаешься, как рак, забредший в реку из горного ручья. Какое-то время вы движетесь рядом, но он сердито и коряво поспешает к берегу и исчезает под камнем, а ты возвращаешься в стремнину. Похожий на веретено усач стрелой проносится под животом и щекочет; два глупых бычка останавливаются у твоих рук против течения, долго стоят в недоумении, вяло шевеля плавничками, и вдруг, испугавшись твоей тени, стреляют в разные стороны. А выше по течению, где вода темнеет от глубины, из реки выпрыгивает молодой карп и, сверкнув серебристым

брюшком, плюхается на спину, и, хотя ты едва успеваешь разглядеть его, тебе мерещится шалая ухмылка рыбьего рта.

В заводи просторно — она моя от берега до берега, — и все-таки я вглядываюсь вверх по течению, хочу увидеть, откуда приходит река; ревнивое любопытство сродни тому чувству, с каким думаем о неведомой жизни любимого существа. Я еще не знаю, что до истоков десятки километров. Для меня река появляется из-за лесистого крутосклона; неторопливо-медлительная лоснящаяся вода сбегается в сузившееся русло и разгоняется, вскидывая гривастые волны с клочьями пены. Не умерив пыла, она встречает на пути отлогую скалу и нехотя сворачивает. Свинцово-синяя скала и грызущий ее белопенный поток хорошо видны из заводи. Зрелище грозное и красивое. Отраженная река закручивает большие угрюмые воронки и недовольно ворчит. Ниже по течению воронки редеют и сглаживаются, гривастая стремнина вязнет в толще воды и стихает. На подступах к заводи течение замирает настолько, что кажется зеленым зеркалом с вплавленными в него валунами. Странно видеть плывущий по зеркалу березовый листок...

Не помню, как меня окунали в деревянную лохань, на речку же меня водили тетушка с бабушкой. В заводи порой застывали других женщин — они приходили со своими детьми и приносили корзины с бельем. Подоткнув подолы, женщины полоскали белье и складывали на промытых камнях или развешивали на кустах; потом принимались за нас — плещущуюся мелюзгу: намыливали, терли мочалкой, больно ввинчиваясь мизинцем в уши, с шутливой бесцеремонностью и присказками шуровали у нас между ног, пока, выскользнув, как обмылки, мы не плюхались в воду... и смытая пена шипела вокруг нас...

Но вот солнце уходило за гору, и река преображалась: казалось, она замедляла бег и стихала. По бочагам и старицам орали лягушки, почти заглушая задумчивый плеск реки. Откуда-то прилетали голубые стрекозы и зависали над водой.

Я сидел на шершавом валуне, вплавленном в зеленое зеркало, и, обхватив колени, смотрелся в него. Так заканчивался день на реке. От перегрева чуть зно-

било. Было грустно. Река обтекала валун и чуть слышно рассказывала что-то, тоже грустное. Ущелье наливалось сумерками.

Неподалеку, под прикрытием орешника, после дневных трудов купались женщины. При малейшем шорохе они погружались в воду и пугливо озирались. Их страх казался наигранным, преувеличенным. От кого они прятались? И зачем? Неужели крутобокие мясистые тела с обвисшими грудями, розовевшие сквозь орешник, могли привлечь кого-нибудь?.. Этого я не понимал. Зато подспудно сознавал, что вода их стихия, они в ней не гости, подобно мне, а дщери праматери и ее продолжательницы. Вздрагивающий от озноба перекупавшийся мальчик инстинктом угадывал, что их объединяет стихия женственности.

Насколько же очевидней это стало с годами, когда из заводи-лягушатника я попал в девичью купальню! Стоило вплыть в ее пределы, угаданное в детстве вернулось с удесятеренной силой — до сердцебиения, до оторопи: ленивая, теплая вода оказалась перенасыщенной — два десятка купальщиц слишком много для нашей речки. И хоть бы намек на спортивность; схваченная шапочкой голова или резвый кроль разбавил бы раствор, стал бы отдушиной... Так нет: длинные волосы растекались по течению, движения замедлялись до непереносимой чувственности; голые руки, темные подмышки, ослепительная белизна ключиц, а сквозь мокрые рубашки и платья коричневые каштаны сосков... Вода густела, как патока, как мед, и преображала нас, тоже делая медлительными. Вязкая чуждая стихия... Мы были в ней чужаки; разведка перед сражением, вернее, в преддверии таинства, предназначенного нам природой.

Переживание столь острое, что мы не часто наведывались в девичью купальню. Предопределенная нерасторжимость одновременно и влекла, и отталкивала. Мы искали свободы и нашли ее. Нашли место, где река, словно девчонка-сорванец, подделываясь под наши вкусы, казалось, ради нас изменила себе — с такой безоглядной лихостью катила гривастые волны, с такой задиристостью вызывала на поединок, стремительная, мускулистая, сильная. И берега устроила

по нашему вкусу — с песчаным пляжем на левой и отвесной скалой на правом.

Шумные мальчишки с пляшущими в реке краденными огурцами, с петушиными схватками на раскаленном песке, нередко переходящими в драку, с подводными подвигами и заплывами против течения. Мало кому удавалось хотя бы минуту продержаться в стремнине: поток сносил на мелководье и снисходительно окатывал с головой — наберись, дескать, сил...

Наплававшись и навсевавшись, выбирались на горячий песок. Со стороны девичьей купальни доносились звонкие голоса, и мы, приподняв головы, вслушивались недовольно.

— Чего там?

— А кто их знает?..

— Видать, загорелось... Ишь разошлись, разыгрались!..

— Похоже, Цира верещит.

— А тебе завидно!

— Еще чего! Может, сплаваем? Проведаем...

Переглядывались с невнятными улыбками, утомленные купанием, одурманенные жарой, и лениво мотали головами. Кто-нибудь вскакивал и, похабно вихляясь, кричал в ту сторону непристойности. Остальные усмехались и ложились грудью на раскаленный песок.

...Она появилась неожиданно. Спустилась с дороги на скалу и, вытряхивая камешки из сандалий, с улыбкой спросила:

— Как вода, мальчики?

Ее звали Венера, и это имя шло ей. Вряд ли мы тогда знали, что так зовут богиню любви и красоты. Когда же довелось узнать, ничуть не удивились. Года на четыре старше нас, она успела окончить школу; в то лето ей было девятнадцать. Девятнадцатилетняя Венера.

Она расстегнула просторную юбку, сбросила ее к ногам и осталась в голубом купальнике с перламутровым отливом. Затем убрала волосы под резиновую шапочку и, осторожно ступая, сошла по каменным ступеням вниз; у нее были поистине античные ноги. Очень по-женски — одновременно неловко и грациозно — она плюхнулась в воду и, морща в улыбке нос, смаргивая с ресниц капли, спросила:

— Мальчики, вы так и будете жариться?

Мы почувствовали опасность. Мальчишеская твердыня дала трещину, знамя свободы над нашей крепостью заколебалось. Нежная диверсия — вот чем было появление Венеры в мальчишнике. Обескураженные собственной беззащитностью, мы заворчали:

— Мало ей места на реке!..

— Никуда человеку от них не деться!..

Венера прекрасно плавала. Мы искоса посматривали, как, поддавшись течению, она несется вниз по волнам и машет нам рукой.

Мы нехотя поднялись с раскаленного песка и, как приговоренные, бултыхнулись в реку...

С этого дня она купалась с нами. И изо дня в день расширяя пробоину в нашей твердыне, быстро добилась окончательного падения.

— Привет, мальчики! Как вода?..

Отныне мы нетерпеливо ждали ее и, сражаясь в воде, не упускали из вида свисающую в ущелье тропу, на которой она появлялась. Мы издали замечали ее. Тропинка была крутая, и Венера против воли сбегала по ней, при этом ее просторная цветастая юбка раздувалась, как парашют. Она пересекала дорогу, вытряхивала камешки из сандалий и сияла нам ясной победной улыбкой.

— Не пережарьтесь на солнце, мальчики!

И каждый раз одно и то же. Она расстегивала юбку и, сбросив ее к ногам, представала перед нами в своем голубом купальнике с перламутровым отливом. Волосы убирались под шапочку, что в первое мгновение слегка огрубляло ее лицо. И наконец сходила по ступенькам вниз и ступала в воду, без сомнения преображая ее, возвращая стремнине и омуту дурман и сладость. И мальчишеский хоровод кружился вокруг нее, как в обрядовом танце... В свои девятнадцать лет она воплощала цветущую женственность, и, любуясь ею сквозь бегущие воды, мы не смели не только прикоснуться, но даже приблизиться к ней. Поистине, это походило на языческий обряд!

Наплававшись, Венера выходила из воды и садилась на прогретой солнцем скале. Она стягивала с головы резиновую шапочку и встряхивала золотистыми волосами. Вот тогда-то и закипала вода, взбитая са-

женками и кролем, тогда-то демонстрировались невероятные по длительности нырки и редкие по красоте прыжки со скалы. А она перебирала свои густые волосы, клоня голову то на одну, то на другую сторону, и изредка говорила тоном строгой учительницы:

— Молодец, Нодар! Пять баллов... А ты, Зурико, сплоховал. Повтори еще раз! — И улыбалась своей яркой победной улыбкой.

Откуда брались в ней эта победность и раскованность, столь редкие у деревенской девушки?

Ее выпестовала красота. Красота — великая сила, воистину последнее упование...

А лету не было конца. Дни стояли жаркие. Мы пропадали на речке — ради Венеры. Мы жили ею, не признаваясь в этом даже себе. Что это было? Если любовь, то бережная, робкая, бескорыстная. Вряд ли мы надеялись, что она выделит кого-нибудь из нас или хотя бы заметит. Нет, мы определенно не питали никаких иллюзий. Только бы видеть ее улыбку и стать — эту прекрасную, цветущую женственность, только бы слышать голос, вплетающий в ропот реки волнующе-ласковое, чуточку насмешливое «мальчики»...

Как-то раз мы застали ее после купания. Обсохнув на солнце, она собиралась уходить. И с того дня чуть ли не с утра спешили на речку, только бы не упустить ни минуты... Мы относили ей отборные фрукты, охлажденные в колодце, что забавляло ее — к яркой победной улыбке примешивалось легкое удивление с оттенком сочувствия.

— Где ты украл такие персики, Каха? А инжир там не созрел? Я очень люблю инжир...

О таком признании можно было только мечтать. Все инжировые деревья в округе подвергались досмотру в надежде обнаружить скороспелый плод — ошибку природы; мы забывали, что в наших краях инжир поспевает к осени. Однако самое удивительное, что в конце концов кто-нибудь приходил с добычей, молча подносил ее греющейся на скале Венере и, совершив жертвоприношение, с воплем восторга сигал в реку, — этот день был оправдан.

Но с какой жадностью пожирались предназначенные для Венеры подношения, когда она не приходила на речку! Как жестоко мы топили друг друга в такие

дни, как грубо и облегченно сквернословили! Чтобы на следующий день опять с замиранием сердца поглядывать на тропу в ущелье и ждать, не вздуется ли на ней цветастый парашют просторной юбки...

Как ни странно, наши отношения (если происходившее между нами можно назвать отношениями) ограничивались рекой и не распространялись за ее пределы. При встрече в селе — у кого-нибудь в доме, на проселочной или у родника (словом, на суше) все выглядело иначе: натянуто и неестественно, как свидание при посторонних. Нас связывала река. В девичьей купальне ее извечная стихия выражалась в безличном влечении, в сильном и темном инстинкте; красота Венеры одухотворила его.

Так продолжалось все долгое-долгое лето...

Затем жизнь оторвала меня от деревни.

Аттестат зрелости я получил в городе, хотя не уверен, что это прибавило мне знаний. Потом армия, институт, аспирантура, работа... Я объездил всю страну от Балтики до Памира, побывал за границей. Потом женитьба, семья, дети, семейные заботы — хочешь не хочешь, налаживай быт и живи...

Временами тоска по дому на горе отрывала от всего и переносила за тысячи километров. Обычно это случалось осенью, в пору виноградного сбора, или зимой, когда пропахшие гарью московские сугробы текли от оттепели и с водостоков скалывали сосульки.

А у нас царила благодать!..

Я бродил по каштановым рощам, отдыхал на солнечных полянах, лилово-розовых от раздвинувших прель цикламенов, поднимался на гору. Только речка в ущелье оставалась недосягаемой: с годами выяснилось, что дорога до нее далека и не в меру крута. Да и что на речке зимой!..

Минувшим летом я приехал в августе и в первый же день подался на речку. Переждал жару, чтобы не рисковать, и пошел не спеша.

Смеркалось. Река встретила меня голубоватой дымкой после жаркого дня и задумчивым рокотом. Белопенный поток по-прежнему грыз основание скалы и закручивал угрюмые воронки. Пониже, на одном из валунов, вплавленных в воду, сидел мальчик. Над

рекой летали стрекозы. Надрывались лягушки по бочажкам. За орешником кто-то полоскал белье.

Девичья купальня пустовала. На ветке ольхи белел забытый лифчик.

Ниже по мелководью девочка перегоняла вброд двух коров: мокрый подол облепил ее ноги.

Подходя к мальчишнику — месту наших игр, я издали заметил, что кто-то там плещется. Если меня не обманывало зрение, в потоке мелькали женские руки и голубая шапочка. Сердце зашлось от давнего воспоминания. Я заспешил, сняв темные очки и усиленно всматриваясь. Сомнений не оставалось — в реке купалась женщина.

Я нетвердо приближался к ней по камням, в растерянности замедляя шаг. А она выходила из воды, потоками стекавшей по великолепным античным ногам. И с удивлением, с недоверием, с испугом я узнал в ней Венеру.

Господи! Ушла жизнь! Я поседел, облысел, обеззубел, спотыкаюсь, как старый мерин. Я стараюсь не думать о круче на обратном пути. А она выходит из воды, из нашей купальни, из вечного потока, и ей по-прежнему девятнадцать. Девятнадцатилетняя Венера! Села на прогретой скале, сдернула с головы шапочку, встряхнула золотистыми волосами. И улыбнулась незабываемой улыбкой — победной и яркой.

А у наших ног несла свои воды река. Путь ее лежал между гор и был труден, но при всех изломах русла она неуклонно текла на запад, к морю, чтобы оттуда вернуться к своему истоку и опять течь...

СНЫ ШОРАПАНСКОЙ КРЕПОСТИ

Я уже рассказывал о безлесой вершине нашей горы, похожей на огромного зеленого кита: казалось, он застрял там и остался лежать, когда схлынули воды Великого потопа...

Примерно на месте китовой головы в войну был сколочен сарай из каштановых бревен и вырыты траншеи. Не думаю, чтобы они имели боевое назначение—

немцам так и не удалось перевалить через Кавказские горы; их вырыли для обучения бойцов перед отправкой на фронт. Если судить по длине траншей, ломаной линией петляющих вдоль вершины, воинское подразделение было небольшое — от силы рота, если не взвод. Сарай, служивший штабом и укрытием в непогоду, давным-давно разобрали на дрова — и следа не осталось. А измельчавшие и заросшие цветами и ежевикой траншеи сохранились до сих пор.

Это — самая высокая точка горы. С трех сторон ее обступают лесистые гряды и скалы, иссеченные ущельями, и только на Западе открывается неоглядный простор, наполненный горячим сиянием — Колхида.

В той стороне, на высоком холме у слияния рек, виднеется Шорапанская крепость, одна из самых древних в Грузии. О ней писали еще Геродот и Страбон, называя на греческий лад — Сарапанис.

Сарапанис... Шорапани... Шори пони — дальний брод... Там и впрямь можно летом преодолеть вброд Квирилу и Дзирулу...

Я мог часами смотреть на крепость, то плывущую в полуденной дымке знойного дня, то выступающую из нее, похожую на гигантский ржавеющий монолит с обломанными краями, и неясные видения проносились перед моими глазами. Казалось, я слышал ее голос, глухой и невнятный, как подземный гул:

— Я — старая крепость...

Я стою на горе над просторной долиной..

Мне видно далеко окрест...

Но мои бойницы смежаются... Они заросли травой и крапивой. Их затянуло мхом. И все чаще я вижу то, что помнят мои камни. Усталые, потрескавшиеся камни со следами ядер и стрел...

Самые старые, те, что по плечи ушли в землю, помнят легионы в белых туниках, золотых орлов на древках знамен и воинственную медь горнов... Уу, как давно это было!.. Легионы неторопливо и надменно шествовали по долине, из-под руки и шлемов разглядывая меня. Но ни одна стрела, ни один дротик не коснулся тогда моих стен...

Столетия шли за столетиями...

Я обновлялась, достраивалась, обзаводилась тайниками...

Сколько помню себя, я всегда ждала опасности. По моим стенам прогуливались часовые и, всматриваясь вдаль, перекликались...

Однажды они зажгли огонь на башне, и я поняла — пришел враг! В крепости поднялась суматоха. Ворота закрыли на засов и подперли толстенными слегами...

А на следующий день, под визг рожков и дудок, по склону полезли воины в странных шапках, с черными курчавыми бородами. Они что-то кричали мне, но я не понимала и насмешливо поглядывала с моей высоты. Я считала себя неприступной. Так внушила мне круча, на которой меня возвели, и мощные стены. Стоило самому ловкому из бородачей добраться до моих стен, как из бойниц его пронзали стрелой. Раненый долго корчился, стонал и звал на помощь родную мать, но я не жалела его. Я была матерью тех, кто в час беды спешил ко мне — по тропе с вырубленными ступенями. Ступени были неровные и старики часто спотыкались и падали, но никто ни разу не проклял строителей. Задыхаясь, все бежали сюда, под укрытие этих стен: так цыплята, завидев коршуна, сбегаются к квочке...

Коршун... Коршун налетел под белым стягом, неумолимый и жестокий, как смерть. У него было широкое лицо и узкие глаза. Его низкорослые кони скакали волчьим наметом, и плач, и стон, и дым взвились до небес...

Первым делом я укрыла за стенами малых и немощных. Потом со скрипом отворила тяжелые ворота и выпустила в бой своих сыновей — дружина витязей с песней ринулась на врага. О, как я любила их в эту минуту!

Они врубились во вражеский стан — так топор входит с маху в мягкое дерево. Но врагов было много, слишком много. В железных шлемах, с кривыми ятаганами, они, как псы на медведя, налетели на мою дружину. Я издали смотрела на сечу, но видела все — тогда у меня было ястребиное зрение... Как я ждала их возвращения и, задыхаясь, пересчитывала... Я не сосчитала и трети!..

На затихшее поле слетелось воронье: черные птицы тяжело перепархивали и каркали...

А среди ночи мне послышался стон. Слабый голос молил по-грузински: «Кто-нибудь, братцы... Я— Гигла! Откройте ворота. Ради Бога, впустите меня в крепость!..» Раненый воин истекал кровью, но его не слышали. Часовые тревожно всматривались туда, где ржали кони и дотлевали костры большого лагеря — наутро снова предстоял бой... А голос раненого слабел. Он так и умер — за крепостными воротами; поджал ноги и затих, и у меня до сих пор болит и ноет каменное сердце...

Но что сравнится с той болью, когда силой взламывали мои обитые железом ворота! Крушили тараном под вопли и гиканье!..

Только боль от предательства.

Ее я не смогла снести.

Я сама убила предателя. Лунной ночью, когда он выбрался из палатки и, пошатываясь, побрел к главному бастиону, я убрала камень из-под ноги и столкнула его в пропасть. Долго кости предателя белели на дне провала. Потом они заросли крапивой и чертополохом.

Все это было давно... Очень давно...

Уже много лет я не слышу ни пальбы, ни топота и забываюсь, и путаюсь. Разве что далекое ржание вдруг напомнит что-то...

На пологом склоне, с той стороны, откуда восходит солнце, под башней растут два персиковых деревца...

Почему их два?..

И почему они растут так тесно, переплетаясь ветвями?!.

Когда-то там сходились юноша с девушкой, молодые и красивые. Он учил девушку играть на свирели... А однажды появились янычары...

Что было потом, я не помню. Нет, не помню. Я слишком стара, и камни мои устали...

Я старая крепость.

Я стою на горе над долиной.

Каждый год по весне вся долина цветет маками

— из края в край, сколько хватает глаз. Я знаю, почему они такие красные. И почему их так много...

Теплый ветер бродит между замшелых камней: теребит, щекочет, не дает уснуть...

Шуршат кусты граната, проросшие из моих стен. Цветы граната рдеют алее маков...

Я смежаю бойницы.

Мне снятся сны...

Старые, старые сны...

Я смотрел на Шорапанскую крепость, похожую на ржавеющий монолит с обломанными краями, и слышал ее голос, глухой, как подземный гул.

А надо мной плыли по небу облака. Ветер неслышно и быстро гнал их на восток, освобождая место для заходящего солнца и погружая Имерети в прохладный закатный огонь.

И лишь когда мгла поглощала крепость, смолкал ее далекий гул. И наступала ночь.

ეროვნული ბიბლიოთეკა

Георгий **ЧАРКВИАНИ**

Мтацминда

Смешно наказывать и мстить,
Когда грехи на плечи давят,
Отрежут завтра жизни нить
Или хоть год еще оставят?
Ни двадцати, ни даже ста
Не хватит лет. Листва желтеет.
Кто старости отменит старт,
Кто ветер смерти одолеет?
К былому обращусь. Оно
Свои покроет дымкой дали.
...Мы на Мтацминде пьем вино
В почти пустом огромном зале.
Зима. Тропа. Не этот век.
Ворота города открыты.
Седые, словно прошлый снег,
Той ночи краскою облиты
Сегодня волосы твои.
Я помню головокруженье,
Предчувствие стихов любви,
И неизведанного жженье
В груди своей. Но кто беде
Обрек нас, дом любви разрушив?
Нас не ждала постель нигде,
Теплом согретая подушек.
Нет, златом не были года,
Что прожито — огню досталось.
Исчезнет, как в песок вода,
Грядущих лет такая малость.

Верэ

На Верэ, в костюме модном,
Ты куришь во всей красе.
Все женщины вероломны,
Коварны невесты все.
Здесь древле печален, светел
Был тихий приют костей,
И город кончался этим
Приютом вечных гостей.
И сколько здесь женщин лживых,
Санями измен крутых
Раздавленных в бренной жизни,
Кто ведает — сколько их?
Заткните занудам глотки,
Довольно морали петь,
Вином, виноградной водкой
Достойно мы встретим смерть.
Когда умираешь пьяный,
Танцуя, сады цветут.
Живые всегда ль коварны?
А мертвые верно ль ждут?
Всем грешницам путь на небо
Пусть ангел укажет вдруг.
Здесь — философия склепа,
Там — филармонии круг.

Дуэль

Водка гремучая, бабы красивые
Бед на тебя понакликали множество.
Хватит. Довольно идеализировать
Старой возлюбленной прелесть—убожество.
Мусора кучи вокруг. За туманами
Города — пашня, леса вековечные,
Двадцать уж лет вы стоите с наганами,
Выстрелишь—слышатся выстрелы встречные,
Тают в груди эти пули горячие,
Чуть погодя смерть победу отпразднует,
Ну, а знакомые пьют за удачу и

С добрым шампанским бокалами лязгают.
Выстрел за выстрелом. В небе расхристанном
Пьяное солнце затеяло шалости.
Лучше погибнуть от пули единственной
Женщины, чем от подкравшейся старости.
Где моей жизни граница отмечена?
К черту — загадку разгадывать стоит ли...
Лучше убить драгоценную женщину,
Чем обустраивать быт неустроенный.
Знают об этом и бабы красивые,
Знает и водка. Луне расскажи теперь,
Что палачиху идеализировать
Не прекращаешь — и до смерти вытерпишь.
Снова стреляем. И пули визжащие
В наши тела беспощадно вливаются.
Лес вдалеке. Рвутся раны свербящие,
Крови фонтаны. Дуэль продолжается.

Перевод Владимира САРИШВИЛИ

ეროვნული ბიბლიოთეკა

ИЗ АРХИВА ПИСАТЕЛЯ

Александр ЦЫБУЛЕВСКИЙ

ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК

6.10.64

Есть у Блока (в 3-й книжке) удивительно верное различие между воспоминанием и памятью. «Уходит человек или целая группа людей — и остается воспоминание. Это вовсе не память о делах, творениях, подвигах, а совсем другое — потребное только для художника» (стр. 176).

Такова и записная книжка — в ней не столько факты — сколько проба на музыку.

14.01.65

Правда жизни и правда искусства. Правда жизни — смена поколений (сын должен пережить мать и т. д.). — Но есть правда искусства. Но это не значит, что правда искусства нужна только искусству, скорее наоборот, искусство стремится к правде искусства. Категории искусства суть категории жизни.

11.10.65

Я очень раздражен целый день. На работе не клеится. Неужели ушла струя, о которой мне сказал Мазурин: «Из тебя просто выливаются стихи», — когда я прочел ему поэму.

В общем, тошно, может быть, потому, что не удовлетворена во мне тайная складка моей души — педантизм.

07.11.65

Нужно писать ежедневно. «Ни дня без строчки» — таков прекрасный лозунг Юрия Карловича...

Это ведь удивительно, как «строчка» оказывается законченным целым. Подтверждение этого не только в творчестве самого Олеши — учитывающего, помимо собственных особенностей писателя, современную психологию творчества и восприятия. Все это имеет и более древний исток.

Я в кругу двух мыслей. Божественной — Белла и Закона деления. Сводимости прекрасного на элементы простейшие: солнце, огонь, воду, воздух и хлеб.

Нет этих элементов — нет ничего, кроме претензий богемы, длинных волос и бархатных курток. Нет нормальности, которая есть основание «безумия творчества».

Необходимость Яго — Боже мой!

Иначе это мистерия, а не трагедия.

(Тайный смысл трагедии Отелло у Блока).

Разбилась черная лампа, дававшая розовый свет. Таких уже нет. В продаже таких уже нет.

16.11.65

Есть прекрасные стихи, прекрасные, но к ним не хочется возвращаться, достаточно знания, что они прекрасны. Стихи Ахматовой — прекрасны, но в них еще какое-то колдовство, влекущее их перечитывать бесконечно.

В тяжелую минуту нужно подумать, что «мир — прекрасен, как всегда» — усилием вызвать воспоминание теплого осеннего дня, солнца в ворохе листьев, той безмятежности, которой так соответствовали эти строки.

У Блока: Критерий определенности и неопределенности. Требование точности — отсутствие двусмысленности не отменяет, а предполагает некую двойственность. Все великое — двойственно.

23.11.65

И все-таки, понять, хорошо ли это произведение искусства, при всей кажущейся сложности — просто. Есть маленький ключ, открывающий массивные двери.

Так, если это произведение изобразительного искусства, следует задать вопрос — создано ли оно исключительно средствами изобразительными — не прибег ли художник с целью выражения своего замысла к смежным или далеким от изобразительности средствам?

То есть хватило ли ему чисто изобразительных средств или пришлось занимать в других областях? Если хватило — то произведение — прекрасно...

04.12.65

У меня творческое восприятие мира, зрительно-живописное. А существует еще музыкальное. Есть живопись в слове, и есть музыка в слове.

Это разные вещи.

Хотите музыку? Слушайте Мандельштама, кажется так:

И я выхожу из пространства
В запущенный лес величин.
И мнимое рву постоянство
И самосогласье причин.

01.02.66

Письма Пушкина. Что это?! Синтаксические ходы души. Они настолько прекрасны своей естественностью, простотой, что невольно заподозреваешь кощунственно: не искусственно ли все это? Этого быть не может: так говорить нельзя. Так можно только петь! А пение искусственно. Вот примерная логика кощунства. Ведь, обычно, мы не верим волшебству. На наших глазах не только произошел кризис, агония, и наступила смерть (которую все еще многие не замечают и по инерции «живут») целой школы декламации, чтения стихов, чтения актерского «с выражением». И антитезис этому чтению — школа чтения самих поэтов, где, не упуская смысл, не в ущерб смыслу — стих роднится воочию на слух — с музыкой. Соединяются две стихии, которые, собственно, и образуют стих: грубо говоря, смысл, выраженный словом, и музыка, выраженная звуком.

26.03.66

Платонов. В чем секрет? Настоящее творчество. Ибо оно — не только записная книжка увиденного — то есть то, что не придумаешь, но и то, что только придумать можно. Вот в чем секрет.

27.03.66

Великие китайцы: «Природа природы» — просто выражение — пленяющее (точность неточности) двойственностью, кажущимся непониманием, глубиной, выведенной на поверхность. А это здорово: поверхность — выдвинутая глубина. Итак, ве-

ликие китайцы: «Он раскроет природу природы, закончит деянье творца». Ван Вей.

Учение Ван Вея, пожалуй, таково: не копируй, не учись у природы, а твори природу.

«А вечером смотри: гора глотает красное светило, и свернут парус над речною мелью. Спешат идущие своей дорогой, и двери бедняка уже полуприкрыты». Ван Вей.

«Тот, кто пытается выразить дух через внешнюю красоту, утрачивает образ. Это есть смерть образа». Цзин Хао. Конец 9 в.

Прекрасное без помощи прекрасного — вот в чем суть — поэзия без помощи поэзии.

30.03.66

Я вижу все: барашек-ангелочек, ничего не выдумываю. Ничего не изменяю. Все так драгоценно, как это световое пятно на храме Шуамта. Но разве в этом заключается творчество? Дрожать над подлинным? Или это бездарность?..

11.04.66

Утро «после дня рождения Беллы». Пошел к Тенгизу на цоцхали — давно не ел я эту рыбку, воспетую Булатом: «С ней говорят о бессмертии души» — это, видимо, придумано окончательно. Как тогда — «остановись на миг послушать тишину ночную».

И вдруг пошел дождь — такие фразы должны звучать как: в королевстве все спокойно?

— Что это значит — быть всегда беспощадно правдивым? — Идет ли тут речь только о тьме? Нет. О тьме, но со скрытой стороной. Прекрасно, ибо и в «ужасном» есть то, что его жаждут наши сердца, и раз в знании ужасного — истина. Короче, этот вопрос правдивости — вопрос чисто художнический — а не житейский.

Время, как пленник, — бесшумной птицей мечется из угла в угол.

Я не могу верить писателю, предупреждающему в предисловии, что он заменил только имена. Писатель, который способен поменять имя действительное на вымышленное...

Связанно, целиком я не воспринимаю ничьих рассказов, только отдельно вырывается и доходит до отталкивающего «чужое» сознание. Невнимателен со школьной парты. Но вырвав отдельный звук, я наращиваю его до целой фразы — уже моей.

12.05.66

Мне нужно как следует обдумать все это мое раскачивание от очарования к пресыщению. Тут мне представляется целая философская система.

В конечном счете, записная книжка оказывается сводом будущих удачных мест. А Хемингуэй советовал оценить достоинство вещи количеством удачных мест, которые можно выбросить из вещи без ущерба. Опускаю все эпитеты по этому поводу.

19.05.66

А еще-еще я думал с утра о юморе. Я прочел Аксенова «По Аргентине», и это очень совпало с тем, о чем я размышлял возле гостиницы «Шарк», когда совпали чтение Хемингуэя и юмор с той серьезной табличкой с правилами такси.

Может быть, нужно во всем выискивать юмористическую сторону? Во всяком случае, я знаю, «как важно быть несерьезным в серьезном писательстве».

Аксенов сходит со стези неописуемого, вот в чем его — изъян.

В записках не должно быть географии — только названия станций. Этнография — самое последнее дело.

Писатель должен все время находиться по отношению к окружающему в этаком состоянии «ты от меня не уйдешь» — как кошка к мышке. Я знаю тысячу щелей, через которые исчезает увиденное. А бывает отчаяние: чувствуешь, что их столько, что лов-охота бессмысленная затея. — И все-таки.

29.05.66

Чтение Платонова... Что это? Почему писатель делает больно — должен расстроить?

27.06.66

Величайшее чудо природы — шишка, потом камешек, потом птица и горизонт.

Да, если бы не этот турок-художник, я и думать бы перестал о «невообразимом» «неописуемом». У него именно то, что не видно.

Блок! Признал ли бы он в Пастернаке, Ахматовой, Мандельштаме своих учеников, а себя учителем — нет, конечно. Он, главное, не узнал бы собственные приемы — собственный закон занесения в стихи случайных примет — блуждающая пристальность. Вдруг на 40-ом году я ощутил, что жизнь —

прекрасна — я слушаю шум леса и боюсь узнать на улице знакомую...

12.06.66

Читал письма Блока — от 173 к 183. Они 1908 года. Блоку 28 лет. Может быть, главная, преследующая меня черта — незрелость. Всегда незрелость. Сколько доказательств этому.

13.06.66

Синонимы (сияющего) века. «Судьба и почва, почва и судьба, веха...»

Вчерашнее растраченное вдохновенье. Его начало — пока ехал на физкультуру;

потом, в проходе «собственных костей качаете мешок» (как это зарифмовать!)

и наконец:

И тут кончается искусство
И дышат почва и судьба.

Почва и судьба. Кончается искусство. Все блоковское. На эту тему нужно много написать.

21.06.66

Одна мысль — сегодня ты видел Пиросмани — послужит упреком, когда начинаешь роптать.

Про льва я ничего не смею сказать — Про это небо синьково- какое-то и белое. На горизонте между ног льва. И выражение силы.

Но кутеж проще в отношении фона — он черен. Какой мрак за ними, вокруг этого света интимного кутежа.

Лапы льва коричневые.

И оболочка — глаза.

Какое блаженство читать впервые в 39 лет то, что должно, вобщем-то, в 15—16—17.

Поразительно в «Путешествии в Арзрум», как Пушкин позволяет себе зайти в кибитку к юной калмычке — и как он позволяет себе чуть ли не выплюнуть калмыцкое варево.

И еще: о том, что пили из донышка разбитой бутылки, еще из чего-то, и что жаль прежнего дикого состояния, замечает он после описания происшедших благоустройств.

Значит, не только у меня, но и у Пушкина (и у Блока —

в его путешествиях): «Все это сначала мне очень нравилось, но скоро надоело».

Это о переходе Военной грузинской с караваном — «По сторонам бежали конские табуны и стада волов. Около них скакали ногайские проводники...» и т. д.

Это элементарная честность, необходимая честность и в элементарном.

Пушкину «скучно» — пока он не попадает собственно в «Грузию» ...поминутно останавливался, пораженный мрачною прелестию природы.

Еще у Пушкина:

«Скоро притупляются впечатления. Едва прошли сутки, и уже рев Терека и его безобразные водопады, уже утесы и пропасти не привлекали моего внимания. Нетерпение доехать до Тифлиса исключительно овладело мною. Я столь же равнодушно ехал мимо Казбека, как некогда плыл мимо Чатырдага...» Это честно...

А я готов был и не писать о пресыщении...

«...несколько бедных сакель, осененных пыльными тополями»...

10.09.66

Видимо, надо будет, помимо записных книжек, завести и дневник — где подводить изредка итоги.

Записная книжка — импрессионизм попутный — главная кладовая.

Ведь много было сегодня чисто «дневникового» (блоковского). Например, мысли о случайности необходимости: ведь если бы случайно не прочел того, что послужило примером,— работа сегодня продолжалась бы иначе, даже совершенно иначе, — а все выглядит вытекающим одно из другого — т. е. необходимое — на самом деле — случайно.

Кроме того, дневник, естественный для тренировки способности выражать мысли и не мысли. И кроме того, ему больше подходит быть летописью, наполнять его действительными фамилиями и именами реального дня...

10.09.66

Евтушенко:

Мне стало ясно, он не копит наблюдения долго, не заносит их в записную книжку. Он мир создает — мгновенно, но и в этом мгновении — звяканье контейнеров и шум великий,

отвлеченный от реальных шумов. Шум времени не просто тиканье часов. Так, значит, он создает.

И рука моряка с татуировкой.

Эстетствующих ненавижу. А он... почему-то добр.

Так о себе он плачет отвлеченно,
Так отвлеченно — словно бы навзрыд,

06.12.66

Под одной из таких арок на садовой скамейке сидели Осип Эмильевич Мандельштам и Анна Андреевна Ахматова. Они беседовали — они были бессмертны.

Шел снег — Порошило ресницы. Осипу Эмильевичу было 39 лет. Но выглядел он стариком. Анне Андреевне было примерно столько же, но выглядела она двадцатилетней...

Время шло вспять и не вспять, и Анна Андреевна спросила: — Что вы имели в виду через несколько лет, когда сказали: «Но эти надвигающиеся губы».

Я мог бы все это назвать просто — «Вспять». Или еще проще «Цирк» — Но все же я взял название другое — «Не хватило бормотания» с эпиграфом из Катаева: «Мне долго и сладко снился Мандельштам».

— И разлетаются грачи в горячке. Только так — слово горячка передает холод...

Осип Эмильевич. Осип Эмильевич.

— Его зовут Кий?

— Он оставил себе окончание сложной фамилии.

— Неважно, как его звали.

— О, эти надвигающиеся губы.

— Осип Эмильевич, вы перепутали свой высший суд — с судом Кия. Вам казалось, что суд Кия и включает в себя ваш высший над вами.

— Это только мгновенье.

— Так как потом все оказывается над злом и добром — это становится, как сказал бы Митька Дурак, — фактом искусства, и если бы был умным, то добавил бы и судьбы.

Но губ шевелящихся отнять вы не смогли.

Блок прятался от Мандельштама.

Идея: обойти все дворы, заглянуть в каждый, задирая голову на сверкнувшую галерейку.

16.12.66

Анна Андреевна говорила:

Я — весь тот забытый сон — отмерещусь на чистой эма-

ли. Начинают с Пушкина. Господи, о, какой путь пройти, какой труд вложить, чтобы прийти к Пушкину, ощутить, почему с него начинать.

Пастернак: «Гений есть кровно осязаемое право мерить все на свете по-своему, чувство короткости со вселенной, счастье фамильной близости с историей и доступности всего живого. Гений первичен и ненавязчив».

Невежда начинает с поучения и кончает кровью.

12.01.67

И вот что еще о Толстом: некая мера неточности, свойственная самому языку, допускаемая им словно в пику педантам.

Если уже не читать газеты, то не просто — не читать, а взамен читать Толстого — быть в атмосфере старинности, старинного настоящего, вернуть ощущение языка, рока.

И последняя новость для тебя — бал у австрийского посланника и семейные заботы князя Василия.

Как случается, что останавливаются вдруг старинные часы, и некому их чинить — некоторое время они еще загромождают комоды, ничего не отмеряя.

Мазурин: О, дядя Арон, жив ли он? Он бы заплатил, чтобы ему принесли такие часы на починку.

Возможно ли упомянуть Гирея и не сказать о свойствах таланта юного Пушкина? Не услышать вызванную небытием из небытия силой воображения татарскую песню?

Юный Блок с лезвием лучезарного меча в сердце.

Совмещаю в себе педантизм с беспорядком.

Я не могу делать порядок и в то же время не могу жить в беспорядке.

Все это так, но надо подняться до уровня таинственной пошлости (эстетического двигателя) предыдущих десятилетий.

Тайная пошлость: перья страуса склоненные в моем качаются мозгу.

Читая Блока — как висело в воздухе слово преображение, и вдруг Блок его и употребил, взяв в кавычки: «Преображение» Бертрана.

Преображение и есть главное, может быть, в искусстве, в котором соединяются дальний план и план наивный. Благодаря преображению становятся возможны чудеса — «чудотворство», «творчество и чудотворство».

Блок пишет: Объяснить ли труднейшее: как роза попала

на грудь Гаэтана, почему исчез Гаэтан и т. д.? (Зап. кн. № 48 8—10 марта стр. 285).

Этим и объясняется труднейшее Преображение — ключ. Преображаясь, человек может пройти сквозь стену.

Смотри мое: И вот иду, иду сквозь стену, на чистом бархате арены является мусоровоз.

Нет, преображенье — не метафора и не сравнение — оно не возникает, не имеет их, в основе своей оно глубже — в смешении дальнего и ближнего планов.

02.03.66

Почему-то жаль расставаться с этой строчкой, которой закончилась и начиналась предыдущая записная книжка.

Куры замерзшие осколки...

А дальше? Зима — зимой перед весной. Мое красномордое отражение в стекле (наверное, оно будет завтра). Записная книжка — конечно — форма безответственности — это труд, не требующий работы. Или, наоборот, работа, не требующая труда.

Я бы мог дать серию снимков — крыши Тбилиси. Я бы влезал на чердаки домов, на крыши, выпрашивая разрешение. О, как это здорово!..

Как подымаются здания, когда ты спускаешься, и наоборот—как они уходят вниз, когда ты взбираешься на высоту, и все это с разной скоростью. Спускание или поднимание. — Удивительно. Хотите знать секрет? Извольте. Это как в танцах на льду. В выискивании немыслимого резерва, еще полет, еще виток — неизвестно из какого ресурса. Раскрытие тайн и секретов искусства — исключает возможность подражания, копирования, повторения.

Самое отвратительное — антирезерв. Недоговоренность, оставляющая впечатление многозначительности.

У Ван Гога: Табуретка и Солнце — одно, равны, и что-то неуловимое во всех портретах.

Мы воспитывались на литературе, не знающей физической боли. Если ранили друга — перевяжет подруга — горячие раны его. Ты иди, не боясь ничего. Горячие раны не болят.

17.03.67

Глядя на Кирилла (Зданевича) — чувствуешь то, что мы утеряли с шествием годов — юмор не в отделе юмора.

Обнажающая зашифрованность.

Василий Иванович (Шухаев) о Кирилле: «Левые, не умея

рисовать, берут выдумкой — искажение действительности. А тут ничего — очень плохо».

Шухаев, он как бы удваивает существующие предметы. Была бутылка, стало их две — одна на кухне, другая на картине. Было три, помню стало шесть — потом опять три, когда — одни три сгорели в печке...

Оба они старики — один академист, другой — представитель левого искусства; один умеет рисовать — другой не умеет этого... Оба прекрасны. Оба живут в одном, но как бы не соприкасающемся друг с другом мире.

Цветы Магадана.

Сосны древние.

Один рисует цветы Магадана. Другой — Париж.

Оба были и там и там. И все-таки, при нормальности каждого — каждым владеет свое безумие. Имя ему — искусство. Неправильность Кирилла становится правильностью. Правильность Василь Ивановича — неправильностью (той неправильностью, которой живет искусство).

Тут они и соединяются.

Над ними небо Парижа и сосны Магадана.

Оба они побывали и в Париже, и на Севере. Но это другой Париж, другой Север, в том смысле, в каком это у Грина в «Бегущей по волнам».

Так и быть, сделаю героев — раздвоюсь, расчетверюсь — и читайте себе.

А однажды Бажбеук-Меликов увидел торт и тотчас же ушел. Ему стало дурно от его красной глазури.

20.03.67

Поэзии мешает страсть объяснять — естественная, заложенная в человеке.

Музыка. Блок был бесстрастен в этом — он знал, что музыка необъяснима, но какое для этого нужно мужество. Не избежать соблазна объяснить.

И крылышек — твоих — грузоподъемность.

Жаль, что мир не одирижаблен. Фантасты представляли себе — что сидит человек, пьет чай на балконе — а рядом его дирижабль.

Опьянение у меня выражается так — я перестаю ощущать время, его бег. Ощущение времени у меня в единственной форме — я тороплюсь, а вот я перестаю торопиться. Я тороплюсь покончить с настоящим.

27.03.67

Упоительная проза Катаева.

Конечно, хорошо идти вслед за записной книжкой, но еще лучше ее отставить и идти — сколько тут другого неожиданного. Вот где отрава и наркомания. Рождение из ничего.

У Чуковского истины добытые, которые можно извлечь путем изучения предмета. У Пастернака — озарение. (Две статьи рядом в «Литературной Москве» — Чуковского о Блоке и Пастернак — Заметки на полях перевода шекспировских трагедий).

Стихи — вне возраста. Но они написаны поэтом определенного возраста. Это тончайшее знание — отличить, когда написаны поэтом стихи, которые вне возраста. Уметь почувствовать раннего Мандельштама или Пушкина — в зрелых стихах их.

Сказать: сон — неточно, это ведь явь лирическая, драматургическая и т. д. Это преображение — Роза Бертрана — Открытые ворота и т. д.

Это миф, но высшее — это когда думаешь — миф, а это жизнь.

Когда разум пишет под диктовку безумия, нет ничего лучше. В прозаической речи я люблю музыку.

Неизбежность и случайность — вот что в прозе. Это случайное необходимо. То, что выхвачено из многих дней — выхватилось сегодня случайно. В этом вся прелесть этой записи. Могло не быть — была бы другая, не менее важная. Но и та и другая — которая есть и которая могла бы быть—в случайности своей необходимы.

Когда идешь проулком Джабаури. И мир хорош в темноте. И булыжники похожи на черепах. И ветер развевает плащ. «Бегите, дружок»...

«Я бы век ходил только по булыжникам», — сказал тот человек. Я бы всю ночь просидел в этом дворе...

20.05.67

Бунин.

Итак, я (что называется) начну писать о людях — о каком-то землемере — (дался же он мне), переезжающем в 1900 году, но не позже, или еще раньше, ночные осенние луга, залитые лунным светом, — за телегой (м. б. пролеткой), не отстает белая лошадь — привидение (привидение?)

Полные плечи сторожих, и я напишу рассказ, который на-

писал Бунин. Я не напишу этого рассказа. Я не отличу пристяжной от коренного.

Я буду писать о трамваях. Выходят. Кондуктор — для меня слово кондуктор никогда не означало человека, продающего билеты, — кондуктор (с детства) у меня — водитель.

А продает билеты вагоновожатый. Вот он выходит с волшебным ключом — рукояткой.

Что такое творческие затруднения? Как их преодолевать?

Прочтите Бунина — и поймете что мешало.

Надо было воссоздать всю конкретную обстановку, которую реально окружало то, обо что споткнулось ваше творческое намерение, и оно тотчас встанет на ноги — это у Бунина. А у Блока взять изнутри — светящееся.

Бунин и Блок — два полюса? Может быть, назвать эту вещь «Трамван». Ты видел, ту, стоящую у окна и промелькнувшую в трамвае? Все, что можно удержать в мелькании, все, что можно удержать в мелькании, вот зачем тут дребезжит трамвай...

Совсем другое лето. Пропащее. На земле тени и блики (дрожащие). Да, я не сумею написать и строчки на бунинском пути. Учись описывать.

Почему мне так много лет?

А может быть, и не надо писать самому — зачем? — достаточно читать Бунина. А?

Пожалуй, каждый человек — история нашей совести. Но человек об этом не подозревает.

Мое преимущество — я могу возвращаться к тому, что я забыл. Так из рассказа в рассказ будет переходить в общем тот же круг.

Телевизор — Моцарт и Сальери. Моцарт входит и говорит, что тебе, я вижу, не до меня — я ухожу. И становится страшно — что он уйдет.

У Пушкина этот страх не возникает. Нужно дополнительное обаяние актера, чтоб не возник этот страх. Сложно.

Господи — как прекрасна Жизнь! — (Спешит женщина —шевелится мешок с курами, высовывающими недоуменно головы).

Смысл искусства — изображение вечного, то, что пребудет, вечным оказывается и мгновенье — автомобили со слепящим на солнце глянцем — они были всегда — и будут — неважно. Вечно то, что они отвечают какому-то второму неиссякающему руслу жизни, хотя и давят и загрязняют вечный воздух.

Хорошо. Это тема искусства. (Тайное знание).

Вечное — тема искусства. Потому оно близко «истинам ходячим». Вчера — чуть было не ушел от Сальери Моцарт — «ты нынче не в духе — я пошел», и сжалось сердце — он уйдет — его больше не увижу.

«Лика» — закончена так, как и должно оканчиваться произведение — чтобы не оставалось подозрения в узкой прикладной назидательности, басенности и т. д.

И опять-таки чувство оправдывает все.

Жизнь сложнее любого осуждения.

Даже Евангелие ухитряется выскочить из собственных догм и указаний. Заповедей. Что же происходит? Искусство о том, как оно не укладывается в рамки кодекса. Нет, дело не в том, что назидание оказывается ложным — искусство не отказывается от соблазна назидательности, оно не опровергает поучение, оно ухитряется его включить в себя и потопить в себе, если угодно, вы его вылавливаете (тут сравнения не хватает). Давайте заходить во все дворы. Неужели и это останется в области «так и неосуществимого»? Сегодняшний вечерний дождь. Золотое с черным. На асфальте. Вот когда видна каждая выбоинка и выщербинка, налитые водицей...

Окна. Лампы. Отражение ламп в черных стеклах. Картины в бронзовых рамах. Благодаря Бунину моя записная книжка стала приближаться к дневнику.

И две женщины продают тархун, лежащий в ведре на тряпке, несколько связок — схваченных деревяшками — и под тряпкой много — но их не видно, можно только догадываться.

Спасибо Бунину. Как плохо, что приходится писать окончательно.

Тархун — Ива. Ива—тархун.

Ты безнадежен . . . . . врун.

Что такое творчество — своего рода поливальная машина — она идет, и ты начинаешь отражаться, но ты торопишься ее обогнать и, вырвавшись вперед, уже не отражаешься.

Поливальная машина — вдохновение. Вот как. А иногда не торопишься, едешь медленно, но поливальной машины нет и нет. И ты не отражаешься. В конце концов (благодаря Бунину) работы писателя и контрразведчика стали очень похожи.

Наблюдательность, которая у меня есть-нет, нет-есть,

29.05.67

Опять я ловил себя на раздражении неоправданном — связанном со стремлением диктовать другому образ и подо-

бие, чуждые ему. Пусть все поступают так, как им того хочется, не пытайся изменить это. Не в этом ли первая мудрость?

Немного затормозилось «бунинским» собиранием подробностей — сколько чего ушло за эти три дня! Целый мешок. Невозвратно. Та девушка, что шла по переулку. Базар Навтлугский и кладбище. Очень шумело в листве. Гроза... Трамваи перед озером — не рискуют въехать в воду. Был град — это в субботу. А в пятницу Тбилиси за балконом темный, как на шарапи — гранатовая подливка. Что еще? Другой в мастерской лудильщика. Иду обратно с цветами — он на корточках разбивает уголь. Там все время горит на его столе — как машина с невыключенным холостым мотором. Ветер. Акации. Все уходят за тот поворот блики.

Кто-то засел у трансформатора и все время меняет освещение, то прибавляет, то сводит его почти на нет, и тогда днем видны звезды.

А ведь «так я хочу» — это действительно лозунг лирика, поэт перестает быть лириком, — пишет Блок,—если потеряет этот лозунг.

Блик, удлиненный, как сабля, полоснул по двери. Эй, ты там у трансформатора, перегорит лампа!

Что я видел за эти два часа? Итак... Не все достойно быть отраженным. Сегодняшний мой поход за лекарством, затем медная лавка, где мною были отвергнуты несколько неплохих штук.

И еще — сосисочная, где я сидел за столиком с мамашей и девочкой. Все это уйдет — вот единственный возможный смысл подобных зарисовок — уйдет и не вернется. Зарисовкам не обязательно должно сопутствовать упоение, что ли. Достаточно найти сходство пусть даже в не затрагивающем тебя никак.

Все относительно — на этом может строиться реальная основа фантасмагорий. Что неподвижно и что движется? Я прислонился к дереву плечом, и вдруг его зашатало порывом ветра. А мне кажется, что это зашаталась земля под ногами.

Представляешь, если начну — вспоминать — в буквальном смысле (Господи! Разве можно вспомнить в каком-то другом?). У Олеши есть — что он пишет то, что глубже воспоминаний (то же у Блока).

Воспоминание — не память.

Если я вот так начну вспоминать — что получится?

Кафе Норд — каштан... Пядь за пядью...

Но как же вспоминать — если я не помню ни одного на-

звания — улиц, например, (врешь, кое-какие помнишь! — Да, но это не то, а те, по которым шел, — не помню. Что значит не помнишь — ты никогда их не знал!).

...Четкость — тоже как ее достичь? Фокусировкой расплывчатости.

01.06.67

Пушкинский «Выстрел». Бессмертный сюжет. В один прекрасный день замечаешь, что жизнь прекрасна, что мы привязаны к ней. Но поздно. Мы запродали выстрел. В любую минуту могут прийти за нами.

Бессмертный великий сюжет.

Стрела солнечных часов приползла к ногам и укусила за икру. Симфония водопроводных кранов. Что собственные стандартные краны? Общий кран во дворе — это не чета частному жалкому отростку, вылезшему из стены. Тот дворовый кран, во-первых, может быть чертовски упоительно изогнут, применительно к условиям или фантазии, или к тому и другому. Прямые и острые углы закругления, даже спирали и лебединые шеи.

Пир образности у Олеши. Пир, на котором незримо присутствуют Эдгар По и Грин.

05.06.67

Где-то на краю вечности, до собственного рождения — начало сегодняшнего дня...

Бунин в 12-13 годах писал так, словно в опыте его уже были и первая и вторая война, — а комедия, комедия человеческой глупости все продолжается.

В сорок — я не буду сорокалетний — (как А. Белый у Цветаевой). Пока они, Белый и Цветаева с дочерью, идут в Zoo, я отправлюсь в Мтвари на вокзал. Зачем — все нормальные едут автобусом — увидеть нити рельс, увидеть нити...

И по земле легенды. Да. Шагать. Куда? Ах, черт возьми — символизм меньше всего литературное течение (М. Цветаева).

09.06.67

Уливался Блоком — у него непостижимое, например, все эти переносы, — в том, где «часы идут походкою столетий».

12.06.67

...С ее удивительной конкретностью, вдруг обрываемой на полуслове. Это о прозе Мандельштама. Есть проза поэтов. Проза Пушкина. Проза прозаика. Я люблю прозу поэтов.

Цветаева, Мандельштам... Белла.

Мандельштам.

Это уменье не писать — вырезать — высекать, — какой еще глагол! — Но что делать мне? Нужно запрячь в работу свое неуменье. Ну, бесформенное, ну хлипкое — двигай...

Как Мандельштам пишет о людях (вот выражение глупое — пишет о людях! Что это значит?)!

Какой проникновенный импрессионизм, точнейший рисунок... И ничего приукрашивающего...

Полная правда и тот же принцип невыразимого (выражает лишь то, что по существу невыразимо).

14.06.67

Когда-нибудь что-то приведет мне его на ум, и я окажусь на перроне детской кругосветной железной дороги. Именно кругосветной. Постепенно ты научишься говорить абзацами.

Да, теперь уже не следует не слушаться зова.

Черт знает, какие неожиданности ждут эту записную книжку... Но погоди, в какой связи находятся случайность и неожиданность? Случайность и необходимость. Это одно и то же: одно подразумевает другое, одна-единственная форма проявления другого. А вот случайность и неожиданность — противоположности. Случайное — необходимо; необходимое — неожиданно. Так, что ли — не так?

Перечти «Лику» — это может стать крылатым (окрыляющим)... Например — вместо: — Езжай на вокзал.

А что если я себя отдисциплинирую на стихотворение в день (по завету Бунина).

Трагическое, входящее в упоение миром, признак зрелости? Какой же это цвет? Слонового — но слоны вообще черные от грязи, запустения зоопарка, куда я пошел не специально в поисках сравнения, но могу сказать, что цвет краски схож с цветом нутрии, которая там в остропахнущей клетке... Но это так говорю не я. Другой.

20.06.67

У Цветаевой — абзацы — Вселенная. У Катаева — интервалы.

22.06.67

Я удрал в Бакуриани — на высоту, измеряемую в футах, получалось что-то шестьсот с лишним — удрал от автомашин.

Напиши сам себе — письмо Цветаевой.

Говорят труд, труд — искусство, труд ежедневный, ежечасный — но какой же труд, ведь когда-то оно было игрою??

Мне скучно и неинтересно впрягать взлет.

Извольте! Как же труд?

Давайте раскроем ученые фолианты — оно же было игрою, оно родилось из обряда, из буйства.

Проплывает колокол пожарной команды в трамвайном окне.

Это почти неподвижности мука — ехать на трамвае.

Я последний поэт трамвая...

08.07.67

Стихам не нужно тут давать приподниматься, расти четверостишиями — стихи ведь ниоткуда.

11.07.67

...и с той дозой аналитичности и прозектуры, без которой не может быть художественной точности. Пристяжная и коренник. Впрочем, я путаю кондуктор и вагоновожатый. Не полнозвучие, а смысл делают рифму богатой. Вернее, недостаточность рифмы восполняется смыслом — в нем как бы дополнительное созвучие.

01.08.67

Еще, еще, еще, еще позволь
Глотать горячий дым стихосложенья.

Оказалось не совсем так, как я думал — я жил завтра и думал, это всегда, но постепенно сегодня вытеснило завтра, когда-нибудь, Бог даст, будет — вчера.

И женщина в окне — не вся — часть ее — и в этом вся — вне возраста. Возилась в кухне.

Прости меня, Записная книжка.

Цветаева. Заглянул краем глаза только — и читать не надо — вижу колдовство.

Великий закон — побочного действия. Долохов едет на

коне и разговаривает — и в это время музыка шумит полковая — и как все в этом...

Этим, во-первых, уже дается мимолетность сущего.

А может быть — постыдное — единственная норма?

Не постыдно — и не стоит ничего. Постыдное. Критерий.

Новый метод творческий меня настиг вчера на остановке автобуса на Советской площади. Пильщик стоял, старик — и редкие косые нити дождя — (золото-дождем—метафора—воочию) — и группа женщин у газетного киоска — и я у хлебного магазина; ощущение вечности мгновенья — ни с того ни с сего. Мгновение, которое уже сегодня начало стираться, собственно, стерлось даже. И что же в моей власти, в моей власти — нечто. Я один в этот час ощущал вечность мгновения этого места. Один! И от площади потянулись мосты. Радужные, висячие. Вот идешь по одному (как в бакинском парке) — и вот сидит тот, с раскрытой дыней, из которой выпущены внутренности, как бараньи кишки.

Здравствуй, дорогая Записная книжка.

11.08.67

Что мне делать с этой историей, где поэт Галактион Табидзе, с нечесаной своей бородою и медиумически отдельными глазами, не там — возле Публичной библиотеки, где он встретился мне, а в Сухуми, возле лавки и т. д.

Позвольте, что же это получается — какая огромная часть жизни не желает воплощаться, а ведь вчера в лице Бебутова Гарегина — как он хлопотал, раскладывал редкие издания (кстати, где Катаев — Валя) и говорил о той недоступной жизни, где Андрей Белый — только что написавший «Ритм» и Егише Чаренц — лежащий в снегу вверх лицом — «не пойду дальше!» — в переводе Пастернака.

Прислушайся — какой тончайший инструмент — душа.

Я готов уже переселиться из Тбилиси в Сухуми.

Буду сидеть в кофейне.

Увижу море. И что?

15.08.67

А любопытно Чуковский о Чехове применительно ко всему чеховскому творчеству и концепции творческой гуманистической — все убыточно, какие убытки, убытки!

18.08.67

Нужно начинать с Толстого. С чего он начинает свой дневник. Люди (должны) повторять его духовный путь.

19.08.67

Картины Гаянэ — они, пожалуй, лишены родины что ли... Хотя поначалу удивляешься — кажется, будто у нее непроизвольно получается Армения, в которой она никогда не была...

23.08.67

Разговор о Данте. О. Мандельштам.

Схожу с ума — это какое-то неведомое литературоведение. Неприлично называть таким словом.

В «Незабудках» Пришвина: Спорьте, спорьте, ссорьтесь сколько угодно — но не делайте, друзья мои, выводы.

29.08.67

И вот начинаются думы о Данте. Что же происходит? Данте. Мне нравится, что Левий Матвей у Булгакова украл нож в хлебной лавке.

В моей прямой речи внутренняя неправильность от грузинского.

Великий пример с сюжетом.

Да, сказку прервали на половине — чем же она кончается — мучился ночью — не мог придумать. А просто тем, чем должно кончиться — родился как-то мальчик, нормальный, не отпочкованием — и т. д. Не все возвращается — вот чем все заканчивается. (Вспомнить очаровательнейшие подробности сказки). Ах, как мне не хватает знания грузинского языка, чтобы делать правильно неправильности!).

Начинается новая жизнь. Сделаем упор на жизнь.

Сегодня, 29 августа, я закончил «повесть» — и освободился — можно начать жить на записную книжку. Теперь буду садиться в трамваи и охлестывать (кто сказал, что трамваи охлестывают? — Мандельштам — «иль на трамвае охлестнуть Москву»). Ах, сразу — «полночный ключик от чужой квартиры... и целлулоид фильмы городской». Да, буду садиться в трамвай, буду давать полный круг — и за время круга, уверен, не случайное, а нечто цельное явится. Дышу.

Конец лета — тополя тронуты желтизной.

А все-таки в моей «повести» есть синкопы — ходы — значит, есть и музыка. Мне на память приходит строчка:

Я клавишей стаю кормил с руки...

Да, именно кормил с руки.

И буду думать о Данте (Мандельштам) и о Блоке, и заучивать стихи.

И сидеть в парках на скамейках—ближе быть к деревьям.

Шуршать листвой — и значит ходить (помнишь — антифейгинизм: шуршало в листве).

Тысяча существ неведомого мира — листочки тополей.

А Дант—Дант все время разговаривает в этом аду — там непрекращающийся разговор с современниками.

Еще у Данта — Александр Македонский в аду — за деспотию и тиранию, а тут еще сегодня хотят сделать Наполеона опять великим — будто не было Толстого, где он маленький и ничтожный, и Андрей с ним не разговаривает под небом.

И писать под фонарями (а мимо собака крупная), и что-то вроде керосиновой лавки, и мелкий дождь.

Ах, какой я упустил трамвай! И девочка играет на рояле, и тень ветви акации шатается на тротуаре, и очень неустойчиво становится на нем. И ухватиться бы за столб, но и сам он...

И — неожиданно — костер. И несклоняемое пиво — «пиво нет». И бочки, бочки. А огонь лизал черный котел.

В поэзии имеем дело с дематериализирующейся материей.

И серебряная фольга блеснула селедкой.

Ночная продажа арбузов. Опять и опять.

Хорошо писать в трамваях поздних, остановки — совершенно железнодорожные.

Ни полсвета, ни полтени.

Единственная власть — поэта. Как шел-летел Левин, проводника такому — Кто Дант и кто Вергилий, кто кого — ведет?

И я вновь был возле тех складов и еще раз понял, что тут я только случайный гость.

А как поет трамвай на повороте?
Тебе споет трамвай на повороте,
В делах наступит поворот.

31.08.67

Задумываясь над плохими в общем-то стихами, где соблюдены оба условия — «что и как», — приходишь к выводу — их недостаточно! В лучшем случае — риторическая поэзия — в случае соблюдения «что и как».

И разве не достойна удивления «двойственность» Блока — «двойственная природа света» новейшей физики, которой пользуется Мандельштам.

«Множественное состояние «поэтической материи» (Мандельштам). Слово — душа вещи. (Там же, стр. 65).

Итак: — читая Мандельштама — воскликнем: будем расти! — что можно записать с обеих сторон книжки. Она идет с двух концов к одному — как маркшейдеры по туннелю — ей хочется такой симметричности — равновесия.

Когда читаю «Разговор о Данте», несмотря на частные озарения, я все время как бы ощущаю целое.

Материя поэзии... Интересно, как все стиховые примеры не о том — в этот момент, помимо иллюстрации, мы оказываемся в излучаемой среде — материи поэзии, которой имени нет.

Да, конечно, явление богаче сущности. Вот в чем дело. И потому стихотворение не может быть приведено в качестве иллюстрации к тезису: оно всегда выбьется — всегда останется шире — разольется... Если только стихотворение — стихотворение, а не приготовленное по рецепту снадобье.

Настоящая поэзия обнаруживает материю поэзии — ту радужную клетку, о которой писал Блок по поводу романа «Милый друг».

Поэзия — сфера, поприще одного поэта — вот почему тут все диалектично, вот почему тут противоположности сходятся (театральность Блока и антитеатральность Цветаевой).

В поэзии, как в электричестве, одинаковые заряды — отталкиваются. Поэзия апологетов Маяковского не пронизывается его поэзией... Если только считать творчество последователей поэзией, ибо этим словом должно обозначать нечто, не имеющее ничего общего с версификаторством и подобием при всем внешнем сходстве.

И наоборот. Противоположности удивительно примыкают. Маяковский — Ахматова — Пастернак — вот явления, не столько смежные, сколько взаимопронизанные.

Насколько Блок сам сознавал, что поэзия выбивается из что и как?

Насколько там много того, что хочется, чтобы было — то есть мандельштамовского разговора о Данте?

Например, что сравнение обратно пропорционально возможности обойтись без него, то есть насколько поэзия не диктуется грамматическо-логической необходимостью.

Чеканка прозы Мандельштама: камень—воздух (воздухоплаванье), а может быть — соборы, соборы (на ум приходит). Вот откуда, да не откуда, а параллель к прозе его. Подробность и целое — (подробность не результат дробления, членения, а целое — не сумма, а прочая, и прочая софистика...).

Итак — о прозе Мандельштама, гудящей в соборе (нам не чужден стрельчатый орган).

09.09.67

Стихи нахлынули. И я понял — что променяю на них любую прозу. И что прав Мандельштам — этого «никто не знает» — (будут ли еще стихи), потому что «нахлынут горлом».

Есть сказка о голом короле, но может быть и обратная— так я все подбираю и подбираю все новые и новые одежки (работа о Блоке), все новые и новые украшения — королевские на короля, которого нет...

На базаре:

Вот длинный баклажанный ряд
И ускользающее лето.

Стихи ведь всегда — из себя — в этом их самозаворажи-вающее.

12.09.67

От гордыни спасает, например, Пастернак, сказав про гондолу, бесшумно вынырнувшую из проулка, что она была по-женски огромна...

Мое огромное — часовщик, согнувшийся с лупой. И вдруг я вижу огромный гигантский механизм из малюсеньких часов.

Ах, как мне это понравилось, и я тут же был наказан Пастернаком.

26.10.67

А может быть — это неувязка и есть — лирическое мышление. Возвышенность Беллы — попробуйте при все знающей, все понимающей Белле сказать о друзьях плохо, плохо о Булате и т. д.

Показания любви не нуждаются в обработке творчеством, это равновеликие стихии — перефраз из Пастернака (Великий человек — Пастернак).

«Самое высшее, о чем может мечтать искусство — это подслушать ее собственный голос, ее всегда новый и небывалый язык». Миф есть в сущности мечта о странном... (Блок, т. VII, 48).

27.10.67

Сегодняшний день. Сегодняшний день, прекрасный, осенний, с Гией.

Конечно, Блок прав: «Единственный настоящий вред пьянства — рассеяние собственных сил» (VII, 78).

Да, несмотря на обостренную сосредоточенность, сопутствующую пьянству, — рассеяние.

Уплыл, растаял сегодняшний славный денек — соединяясь с другими такими же, попросту — исчез...

Но как же не пить — когда у того же Блока — через строчку «...сразу напился в «Тироле» на Офицерской...»

Ненависть к автомобилям? «Я ежедневно вижу эти скучающие плюгавые и сытые лица автомобилистов всех стран, каждый день где-нибудь им выпускают внутренности, но число их неудержимо растет...» и т. д. (VIII, 368).

Что же главное? Когда идешь от главного по Блоку—к себе — вероятны те вспышки, которые бывают часто несправедливыми, — когда видишь в человеке нечто, выражающее общее зло, — и он становится его символом, носителем — ты обрушиваешь на него шквал ненависти, гнева — в тебе бунтует главное — это оно заговорило, тут ты его и поймай за руку, посмотри на этого младенца, переведи его через дорогу от того клозета с харчевней автомобилистов к изгибу Куры (там, где река образовала свой самый выпуклый изгиб) — переведи... нет того дома у стен Малапаги...

29.10.67

А ведь у Блока «то же», что и у тебя, — идея страсти, все оправдывающей и т. д. Только разная педагогика привела к разным результатам.

Конечно, сейчас — основное — иметь талант Беллы — талант Фомы Гордеева, в какой-то мере, слух на неблагополучие — трансформация блоковской тревоги — что стало с ней? — Ушла вместе с ним — выразившим, говорившим от себя— многих?

Волшебство природы. Куст темно-пепельно-серо-красный...

Блок — Блок — Блок. «Все освящено — пишет он в 1917, — все потому — не страшно». Мне страшно как я теряю нить — как не удерживаю в голове следующей, казалось, незабываемой мысли.

Главный мой недостаток — как писателя — в том, что из-за слабой памяти я никогда не смогу заняться мирозданьем

(вот эти черные стволы в золотых шапках), — а вымысел и выдумка «занятье мало почтенное».

Проходя: отражение красных цветов в бассейне похоже на красных рыб.

Но нельзя жить не только чужой совестью, но и чужой стихией. Толстой пишет — нельзя жить чужой совестью, он предпочитает весельчака-кутилу, не ведающего о совести, отталкивающего разговоры о ней, умникам, живущим чужой совестью, то есть ее не имеющим. Это верно — потому что, пока что-либо не пройдет через тебя, это остается чуждым тебе.

Но нельзя жить и чужими страстями. Хотя, вероятно, страсти, как и совесть, все-таки имеют общую (независимую) основу, и не чуждо ничто — совесть бессовестному, страсть бесстрастному.

Падают желтые листья в цирке (где утром жду Гию).

Все-таки у меня записная книжка — рабочая...

11.10.67

Проза Блока, проза Блока — вот главные темы (сравни Пастернака: что стихи — скоропись, черновик прозы). Но при всем том, как бы ни называлась тема — проза Блока или лирика, блоковское — это то, что его не оставляло всегда— поиски главного, быть на магистрали, отсутствие конформизма, бездомность и бесприютность, отражение неблагополучия общего (Фома Гордеизм) и т. д.

Помни: «Надо, побеждая восторги (частые) и усталость (редкую ...я здоров), писать задумчиво».

Еще одно начало: о чем ни писалось бы о Блоке — всегда окажется упущенным то, что всегда сопутствовало Блоку — раздумье о главном — это борец, утверждавший и знавший безнадежность борьбы (VII, 89).

Не путать эклектизм с многоголосьем, с симфонизмом...

Как найти критерий, ориентир, чтобы не путаться, не принимать эклектику за симфонизм.

Боже, сколько у искусства внутренних противоречий! Не движущих. Движенье — не из-за того, что тело и тут и там.

12.10.67

В чем разница вторых планов Бунина и Блока? Проза Бунина строится по закону (мускулистые ноги в черных чулках — прошли асфальт, дворики в черных пятнах влаги, усеянные мелкими осенними листьями) лирического стихотворения. Берется предмет и нечто за ним стоящее, но не туманное, а не

уступающее ему по конкретности. Подтверди это примером прозы и стихотворения.

Что же это такое? — открываешь Бунина — страницы давным-давно прожитой невозвратимо жизни, чем же они так западают в душу? Ведь сам Бунин знал, что все описываемое им — ушло, не вернется, но шел и шел, овеваемый другими днями, запахами, другим бытом, шел напролом к тому, что ушло — к парому на Волге, литератору модному (лет 30) на палубе вместе со случайной спутницей, номера гостиничные, половые, извозчичьи спины, дворянский картуз с красным околышком. В чем же дело?

Если бы Бунин жил в древнем Риме, если бы жил римлянин или грек со свойствами бунинского дара! Меня не трогает мифология — розовоперстая Эос, но тронул, о, как тронул нож длинный из хлебного магазина, похищенный Левием Матвеем у Булгакова. Реализм ли это — у Бунина? Думаю — нет. Как раз реализм страдает отвлеченностью, рядящейся в одежды быта.

Можем ли мы сконструировать мир по романам (беру условно, возможно ошибаюсь) Драйзера или другого доброго реалиста — Голсуорси? Тот поток неостановимый — слов — костяк психологии, облепленный вялой мускулатурой?

Мне от литературы достаточно одного: выражения чувственной конкретности зримого мира.

...Как в храме, где одновременно — и свет и сумрак — солнце, льющееся в узкие щели в куполе, и свет свечей — не бессмысленный, не меркнущий от дневного света... И то — и это.

У Бунина была жизнь. А у тебя что? У тебя тоже была жизнь — может быть, в прошедшем времени (без всяких сослагательных частиц — вот где не хватает грамматических времен и начинаешь думать, что все эти иноязычные «плюсквамперфекты» — не такое уже грамматическое излишество)...

Неужто трудно подумать о душе своей как о... материи? Передается лишь изначальное — самое важное, все остальное умирает вместе с телом...

20.11.67

Да, да, да — как прав Блок там, в том растаявшем разговоре со Станиславским! Он объяснял, что Бертран — человек, а Гаэтан — гений.

И Олеша — Боже мой! Учись, учись этой простоте — этой основе гениальности. Книгу Олеши — нужно читать не-

престанно. Иметь ее при себе (и, может быть, произойдет переселенье? Я ведь эпизод с обезьянкой: как обезьянка убежала по крыше, и стояли дореволюционные дворники в воротах — воспринимаю как собственное, как происшедшее со мной... Казалось бы, безделица...).

Что еще, что еще? Господи — как насытить эту прорву — чудовище — необразованность?

4.10.67

Блок:

Как ветер, ты целуешь жадно,
Как осень, шлейфом шелестя,
Храня в темнице безотрадной
Меня, как бедное дитя...

«О модернистах я боюсь, что у них нет стержня и только талантливые завитки вокруг пустоты».

И тут же сомнение: «Люба хорошо возражает: всякое предыдущее поколение видит в следующем циников, нигилистов без стержня. То же было и с нами. Может быть, я не понимаю. Может быть, и у них есть «священное». Будущее покажет». (т. VII, 164).

«Искусство с воздействием какой бы то ни было власти несовместимо» (декабрь 1920, дневник).

Может быть, Блок не писал — писал то, что считается неписанием дневника его. Оно значительней — мыслимо представлявшихся ему произведений традиционной художественной формы.

Интересно, как в один день — буквально — пишутся разные стихотворения.

Например, «Та жизнь прошла» — и «Была ты всех ярче»... Понятно — одно дополняет другое, но в тот же день пишется и «Разлетясь по всему небосклону» (31 августа, 1914), а на другой день: «Петроградское небо мутилось дождем».

Да, вот из таких фактов ощутимее встает понятие — Художник. Надо посмотреть, что этим днем в записных книжках и письмах. Это самое (непонятное понятное) стихотворение «Разлетясь по всему небосклону»...

Но раз уж рядом стихотворение «Мой поезд летит как цыганская песня — Впереди — неизвестность пути», т. е. то, что зовет — а что звало Блока, мы знаем — то весьма воз-

можно, и неотступная дума все жарче — и огнекрасные отсветы ярче на суровом моем полотне.

Может быть, соединяется все с тем же стержневым и основополагающим Блока — что определенно и вместе с тем несказанно. Сравни слиянно и неслиянно в предисловии к «Возмездию».

Широта толкования — возможность не запланированного поэтом смысла — ничего общего не имеющего или неожиданно оказывающегося общим — вот что характерно для больших созданий. Дума про Мадонну — не про нее? Дума про Мадонну — не о ней? Удивительно... Антиисторизм моей работы, смешение дат и пластов — не недостаток, а момент необходимый, который должен быть подчеркнут.

21.10.67

Блок...

Стихи о Прекрасной Даме... Конечно, Любовь Дмитриевна могла (где это?) считать Блока поэтом, не уступающим Фету — а это для них в те первоначальные годы было наивысшим.

Кузнечик тяжелеет — у Блока в Экклесиасте — это ли не Мандельштам?

Перечитать, перечитать Прекрасную Даму.

Искусство (да и не только искусство) не терпит вымученности — вымученность придает искусству искусственность.

26.02.68

Несколько дней назад в троллейбусе (мимо «Иверии», стала-таки фигурировать) мне вспомнилось, что в рассказе Грина «Возвращенный ад» — до его «возвращения» — герой написал чудесный на мой тогдашний взгляд рассказ о том приблизительно, как шел человек по снегу и оставлял следы галошами, а затем прошла собака и оставила на снегу свои, очень неточно. Но важно, что «пластичность» и важно, что — тогда я не сообразил (у, как длинно получается), что это гармоническое изображение уравновешенного человека должно свидетельствовать о его падении, о том, что он лишился необходимого ада...

Я не помню — что я хотел сказать в связи с этим: что в ужасном свидетельстве — прекрасное (в последовавшем затем обретении — своя утрата).

Раньше думал — воля в отличии от неволи в том и заключается, что человек может сесть в трамвай и уехать от неприятного ему человека.

Кстати — сколько маршрутов у тебя неисследованных (будем с мальчиком исследовать)?

Нет, ты не повел жизнь поэта.

Что же это было вчера? За столиками полированными. Гурам... Любопытно. Незаурядность. Жонглер. Находчивость — экспериментальность. Импровизация.

Видимо, все время мне придется сталкиваться с тем, что окружающие меня превосходят (это то, что, кажется, в предыдущей записной книжке — неспособность к мистификации. Отсутствие авантюризма, то есть таланта жизни).

Подхихикиванье. Белла-то как смешлива — подхихикивает! У меня нет таланта жизни, отсюда — вкуса к жизни.

Серьезность. Тяжеловесность. Серьезность, которой грош цена. Серьезность идиота. (Тяжеловесная работа на вечность, а надо бы на мгновенье).

Когда работаешь на вечность — только несправедливо и по счастливой случайности не становишься посмешищем.

Ходи, ходи с мрачным лицом. Говори о возвышенном возвышенно, а возвышенное — простое. Оно подкупающе не ведает о возвышенном.

Мистификации научиться невозможно.

29.02.68

Итак, мысль об объемной прозе мелькает (не заражайся размером Белого). Объемная проза — это то, что задумано, плюс то, что сейчас мелькает другое, плюс то, что перед глазами — в едином потоке не только сознания, более чем сознания — жизни зримой.

Плюс: единственность произносимого вокруг — нет плохо говорящих людей, вслушайтесь, как они точно передают то, что хотят сказать. Попробуйте восстановить — и если малейшее отступление — какой жалкой будет выглядеть ваша попытка, и как при этом выиграет, заблещет то, что утеряно, которое так внешне не эффектно, не выпячено и т. п. Итак, превращайся в ухо — слышащее — нет, это не мнимо — вокруг действительные перлы — Эх, как потерял вокзал Навтлугский...

Объемная проза. Монументальна.

04.03.68

Цветаева. Высшая математика фразы. Если убрать знаки препинания — ничего не будет понятно. Может быть это правило — так выдвинуть синтаксис — двоеточие, тире, запятую, точку...

Булгаков... Да, Гоголь, традиция носа, записки сумасшедшего — но есть и то, что ни у кого (помимо таланта — что и значит — ни у кого) — (отблеск заката на городском фонаре) — ни у кого так — связь с космосом что ли, с тем, что мы не ощущаем. Без всякой мистики... В конце концов у Блока — шлейф, забрызганный звездами, может быть, красивость — хотя это и не так.

А Додик — сегодня! И тот — тифлисец — сложность литературы в том, чтоб постепенно подняться до всех событий и персонажей дня — ничего не пропустить.

Чтобы писать такую прозу (Мандельштам — Шум времени), нужно быть удивительно точным — она вся на точностях, а я ведь эксплуатирую — приходится эксплуатировать лишь приблизительность.

Где-то мир, с прозой Мандельштама. Он участвует в миротеченьи. Это где-то во внешнем мире (не только в тебе).

Странные мои страсти. Отрицательные эмоции. Куда бы мне приткнуться вечером? Чтобы я мог писать? Надо найти что-то — я забываю о трамваях. Что может быть прекраснее! Конечные остановки со шпалами, с чернотой ночи, с ночною чернотой. Боже, сколько всего я упустил сегодня — не записал, а мог бы, если бы уехал. Зависимость и случайность моей продукции — и есть собственный метод.

Завтра Пасанаури. Я ничего не буду об этом читать у А. Белого: о трех Мама-Давидах высоты.

Виртуозный альпийский холод, скупость, трезвость, формальная ясность — этими словами Мандельштама, отнесенными к Гофману и Кубелику, — можно отнестись и к самому Мандельштаму — это целый рациональный строй, одарённость, доводящая до безумства, тут вечное — бунинское — помимо Бунина, до него и после.

Мысль святотатственная: я знаю, талант Мандельштама — общие эмоции (жалостливость и «литературная злость» — потом еще что-то органно-многоголосое — сама культура — как чувство), но знаю ли я Мандельштама? Знаю ли Бунина? Дает ли его метод — сказаться — исповедаться? Раздеться?

Это опять-таки приблизительность, отблеск, сполох — но не ясная мысль.

А все-таки надо прочесть Белого — те страницы, где об этом отрезке дороги — пусть лицо его, пусть его разтанцующая фигурка порхает где-то там в стиснутых горами просторах.

Тебе не холодно? Тебе не одиноко — приблизься к мокрой сверкающей ленте...

Здравствуй, Андрей Белый — кажется, имя твое — ни как не (рукопожимается) — колючее.

26.27.03.68

Пиросмани — вне «измов» — всяческих — включая, прежде всего, «изм» примитивизма, которым его награждают всего охотней, и удовлетворены, будто мы в аптеке, где этикетка о содержимом.

30.03.68

Две разные стихии: Пастернак и Мандельштам — кажется, вот все — и не протиснуться третьей.

О, «горстка вечереющих чувств» — посвященная дерзанию выйти на запад, где мир продолжается без людей — у Мандельштама говорит Одиссей Дантов.

Перевод Беллы. Перевод лишь в том смысле (Вознесенском) что вся поэзия — перевод — захотелось присвоить эту мысль.

14.04.68

Мысль противится афоризмам — ей быть щемящей нотой. Пустота, но не та затаившаяся, как в прятках, а полная пустота. Ленивые мысли, как прозрачные облака в пустоте неба.

Читал Гончарова. «Палладу». Какой это неукоснительный, неомраченный принцип реализма — вплоть до весел, отлитых в золоте.

И как постыдно любое отклонение. Но как без отклонения?

Первая и вторая реальность — вот о чем нужно теперь будет думать. Об условной природе искусства. О верности этой условности.

Нельзя оставлять настоящее, именно собственное! Вот к чему пришел — после того, как лелеял особенность дурацкого рода, в которой казалось кощунством поменять имена, — кощунство их оставлять.

Интересно, как прощается Гончаров со всеми «райскими» местами. Мысль: природа, одна природа не может заполнить и быть содержанием. То же честное отношение у Пушкина в Арзруме.

Наконец-то хоть что-то перестанет быть отражением. Модель танки — это самостоятельный, независимый мир.

Я думал к этому подойти. Иначе — давай такое впечатляющее отражение (доподлинность), чтобы оно становилось заменяющим миром.

Соблазн моделирования: уже в бане — все человечество; каждый раз одно и то же — вот этот, хитро улыбающийся, волшебный победительно оглянулся, словно ожидал аплодисментов, вот я — пуп вселенной. И гардеробщик всегда на сто процентов правый, не пускающий со стеклом — разбивается.

15.04.68

«...Тут я понял, что камень как бы дневник погоды, как бы метеорологический сгусток. Камень не что иное, как сама погода, выключенная из атмосферического и упрятанная в функциональное пространство» (Мандельштам. Разговор о Данте, стр. 53).

Ничего невозможно цитировать, потому что Мандельштам не говорит афоризмы, тут оно не словами — «исполнительский порыв», подготовка, раскачка...

30.04.68

Записная книжка — зеркало? Адекватное ли в нем бытие? ...вернее, осколок зеркала.

Зеркальное производство — Зеркальщик. Огромное зеркало фантастических размеров.

Щебетанье птичье. Водоем с голубями. Парк усеян отлетевшими семенами. Каким образом они приспособились к полету.

Какой я вчера придумал неологизм — прилагательное-существительное — записнокнижечность.

11.05.68

Опять взяв в руки Бунина, почувствовал таинственное продолжение жизни, видимо, он прожил двойную — свою и еще свою — в прозе.

Бунинское детство.

При имени Бунин слово «учеба» не так уж бессмысленно. Душно под деревьями — я уже 3-й раз в саду. Темнеет. Я украл у себя сегодня — день с Левой — там в селе Цинцкаро, лепящемся. Учись у Бунина — скажи, какое оно, это село.

...Я бы мог пройти мимо колокола на вокзале Мцхета и коснуться колоколов Светицховели... Благословенный формат

записной книжки — нет, это не поток сознания, это другое. Безусловно, после Бунина должен был быть Олеша — не пытается ли эта умная баба доказать, что Олеша — не писал закономерно, т. е. «не потрясенья и перевороты» — а закономерности жанра... А я мечтал сегодня быть чисто помытым (исполнено — ох и баня была прекрасная) и сидеть где-то в свежей белой рубашке, под мцхетскою луной и звездами — глотки вина из бутылки.

Передо мной на скамейке лица — галерея целая — людей, уже проживших жизнь. У них совсем другое завтра — они говорят: завтра — но так, словно не то; их память... Нет, я сейчас не сумею ухватить промелькнувшее о них — оно кануло, ушло под ноги в земную кору, присыпанную утрамбованным кирпичным песочком. Наверное, я люблю этот песочек, особенно, когда он полит — «но люблю эту бедную землю». А прошло виденье сада-двора по колено в траве, горбатые мостки — там, где была свадьба Отара Карсанидзе, на границе Мингрелии и Гурии — все зверства той и другой стороны (в смысле гостеприимства), гигантская корзина с горою стаканов — корзина Гаргантюа — его колыбель и т. д. Вспомни того типа поджарого и ту дорогу. Я шел по траве сада, по колено — и видел всякие волшебные пристройки.

Что делать... — Не писать крупно, как Олеша — самостоятельная каждая фраза, — соединить Бунина с Олешей?

Олеша и пересказ — интересно — это ведь нечто — антимандельштамовское.

Вдруг вспомнил:

Ветер налетит, завоет снег.

И в памяти моей возникнет... Совсем перестал быть с Блоком. В статье об Олеше — (при всей ее эскизности) — есть исчерпанность — то, чего мне всегда не хватает, есть статика в динамике.

Есть у Бунина место, где он говорит, что он странно радовался обеднению быта... Эта странная радость — и есть... родственное.

День умирает. Его добивают лампы дневного света, назойливо слепящие глаза...

С чем связано отсутствие у меня памяти — во-первых с тем, что я лишен был чувства принадлежности к какой-то милой для меня среде — среды не было (то, что было в бунинском детстве); во-вторых: ошибка — не дисциплинировал, не воспитал, не выдрессировал чувства, — того, что живешь —

сейчас (а не в «футурум»). Я все откладывал, откладывал — я жил, но настоящее, считал, будет завтра, я ничему не отдавался целиком. Из-за этого происходила и определенная фальшь — в отношениях — недаром.

14.05.68

Да, я снова займусь Блоком. Попытаюсь проникнуть за ту завесу, что же это такое! Откуда...

Луна над аулом, и — впервые увидел: да, действительно — освещена солнцем — солнечный свет (как утром на стенах).

«Волхвы не боятся могучих владык, и княжеский дар им не нужен. Правдив и свободен их вещий язык...»

Волхвы — а читается поэты.

15.05.68

Сколько раз повторять:

Как бы ты ни торопился — остановись для записывания — уйдет. Ведь даже в ничтожном, как потом выяснится, окажется величие неповторимости — синтаксиса, пришедшего сразу, — потом все не то. Вот как сегодня: это — уже не то!

Почему то, что волновало Бунина, — не должно волновать меня — то, что можно спросить про Гаянэ? «Откуда мы?» — тогда, когда пришла Гаянэ, получалось — теперь не то...

Но кто мы и откуда?

Пыль детская из-под колес детского велосипеда.

Опять я тут уже возле армянской церкви у знахарки — хорошо, когда на вопрос: почему ты тут? — можешь ответить — я жду, я здесь живу и т. п. Как трудно быть внутри свободным человеком.

Спины четырех мандельштамовских стариков. Не говорят — поют. А о чем — бог весть — проза... Пришел и тот молодой, беззубый, сел и съел мороженое, потом закурил. Кто он — какой-нибудь, судя по прошлому разу, певчий. Они говорят одно из двух: или — сколько стоил пуд муки в их безмятежных дашнакских временах, или какие слова идут за какими в писании...

Нет, не «ни дня без строчки», а нечто другое — дни-строчки — строчкодни, то есть, равноправие: день диктует строчку, строчка диктует день.

Итак, в чем же мудрость, мудрость?

23.05.68

Надо будет посмотреть, как это у Толстого (Шухаев читает Толстого) оказывается эффектным, но простота не может быть заданной в том смысле, что она свойство личности, а не характеристика стиля.

31.05.68

Ужас — мне 41. И не потому, что 3 года назад умерли Пушкин и Маяковский, и вот-вот умрет Блок...

Ужас — физиологический — непоправимый. Вот лежат мертвецы, — а поезда огибают и огибают Арсенальную гору...

Ужас... Зачем все? Так начинается Фауст. Кончается Одиссея.

12.06.68

Снова я полунапряженно думаю о подлинном (нет, не о подлинном и ложном), а о подлинном и доподлинном.

Что такое — доподлинно. Что ж, у Толстого — не доподлинно, что ли, а у Бунина — доподлинно? А у Тургенева... Пушкина... Пастернака — тоже ведь доподлинно — (стенограмма душевного состояния).

Ах, это ведь надо все раздробить — дать, чтобы говорили сами герои, а не ты. Так вот — скажем Толстой — не доподлинен, быть может, потому, что у него вступала в ход типизация, отбор. Не знаю, не знаю — может быть. Наверное, это и не так. Ах, какие у Толстого доподлинные диалоги!..

Что ж, ведь так можно прийти к тому, что доподлинность это есть своего рода импрессионизм, сохраняющий подробность сиюминутного впечатления (крепкий стук шаров в биллиардной).

...Зачем же, в таком случае, удваивать термин?

Время наступает на меня. — Нет, не на пятки, — торопливая, а в лоб — наперекор. Как быть?

Упустил, упустил главное — труд, наслаждение трудом. Единственное собственно наслаждение.

06.07.68

Саша Межиров. Дар мистификации.

07.07.68

Что такое мистификация? — Нечто противоположное стенографии — записножнижечности. У меня другое — и все-таки как бы я хотел развить в себе дар, зачатки которого мог-

ли быть у меня от рождения — от матери. Недаром, слушая Сашу, — я вспоминал... маму.

20.07.68

(Думая о Мандельштаме).

Я думаю, что совершенство — это чрезмерное — не бросающееся в глаза — полученное естественно, не в качестве цели — из кожи вон.

22.07.68

У Мандельштама не было ли — глухонемое время — или только — немеющее? Это демоны — глухонемые. Демоны глухонемые. Время — множественные числа. Ветер. Пересыпанье.

Господи, все только интонационно, только интонационно...

Только интонационно по Бахтину...

Была такая плоть — Мандельштам. Пушкин. Ахматова в моем представлении еще не лишилась плоти.

Плоть — не плотское. Плоть — духовное.

(Как одежда на пуговичках?).

23.08.68

Стихи нужно писать четверостишиями. Плохо, когда они приходят двумя строками — неизбежно буримачество. Должно быть неясным, что вызвало. Как в жизни: что первичней— дух или материя.

Совершенство — сперва отходит от предмета — и возвращается в него (стихи Мандельштама).

28.08.68

Написать о Мандельштаме стихи, как он об Ариосто — разве у него литературное?

«Крылатой лошади подковы тяжелы» — разве может устареть такая чеканка? Русская латынь.

С эпиграфом — «Но с русским именем и в шубке меховой».

21.01.69

В отличие от Шенгели и Ходасевича Ахматова писала, не прибегая к помощи поэзии. У нее с музой были отношения сестринства — не уз и прочего.

20.03.69

Не пора ли закрывать лавочку?

Мне не переступить отпущенного — ничего, кроме эксплуатации (природной, притупляющейся) впечатлительности.

Никакой глубины. Правда, Володя назвал мой метод композиции гениальным... Володя... Это ведь целая глава. (Как Саша, в его последний приезд).

Наверно, я еще и глух. Глух к вольному стиху. И завидую всему, что не могу...

Только я один знаю, как я ничего не знаю. Однако незнание — не простое отсутствие знания -- оно-то есть с воображением. Чего только и чему только не приписывают.

Отсюда и мнительность, и предвзятость, и недоброжелательство — все эти качества не в свите знания.

Стихия языка — воронка, в нее втягиваешься...

Главное — вырваться из общелитературного настроения, общей грусти и печали — куда-то в иную свободу.

18.04.69

То, что хорошо для классиков, — негодно для тебя. Это великая простота, которая у тебя будет ощущаться тобой как отсутствие артистизма (к рифме лебедей — лошадей).

24.04.69

День и годовщина Симона Ивановича.

Неужели я пишу — настоящие стихи? Имею в виду последние: Джвари в ржаньи лошадей.

Мандельштам не писал «шедевров» — а ты — эх, ты.

26.04.69

Ахматова (лишний раз) убеждает — что для стихов ничего не нужно — и все бревенчато, досчато, гнуто, пример — стихи растут из ничего — «когда б вы знали из какого сора растут стихи, не ведая стыда». То есть, всякое приобретение в смысле образа — ах, какой образ! — потеря — стихам, то ведь ничего этого не надо.

Таким образом, все литературоведение — наука о том, что не нужно о данном, тогда как поэзия возникает помимо данного. (Но есть закон: закон ядра и ярда).

Не могу читать Блока — хотя он, может быть, в чем-то и восполняет совершенные бунинские сонеты. Раздражает отвлеченное. Кто-то — женщина, жизнь, родина и т. д.? Нехорошая двойственность. Это — неполнота образа. Двусмысленность. Откуда это так плохо — что так хорошо?

Кто-то, Достоевский или Толстой о Достоевском? В той безнадежной области (символизма), в которой работал Блок, все-же было нечто, что заглушает инстинктивный протест.

И я опять затих у ног —
У ног давно и тайно милой,
Заносит вьюга на порог
Пожар метели белокрылой...
Но имя тонкое твое
Твердить мне дивно, больно, сладко.

Какая точность: твердить мне дивно! и целовать твой шлейф украдкой, когда метель поет, поет...

Опять многоточие — очарованье.

О прозе Блока.

Есть прямая аналогия прозы Бунина и его стихов. Есть проза Блока, из стихов вырастающая, и ей принадлежит еще будущее.

Как хорошо у Твардовского — противоположное традиционному, но не разрушающее традицию — о чуждости космическому.

09.09.69

Какое счастье, что я — не профессиональный поэт. Ведь стихи — продукт лишь определенного состояния, не поддающегося определению, не воспроизводимого произвольно.

Рой, вихрь мыслей...

Симфонизм — параллельность, не однолинейность.

05.07.69

Самое страшное — собственная бездарность. Вот еще почему хорошо, что память работает и на забвение. Осознание бездарности — ощущение ретроспективное (попались на глаза старые тетради — увидел воочию), не присущее настоящему. Прошлое покачивает этого ваньку-встаньку самоценности.

Соотнесенность с истиной — вот что приходит поздно, а многим дается в дар с самого начала. (Например, Блоку при сетованиях на «проклятие отвлеченности»).

Значит, действительно: истина — конкретна.

Самый страшный грех, софистика-софианидиевщина.

Негативность: идти к противному, а не от противного. Питаться неправотою, допускать казенщину, мертвенность...

03.08.69

Прозреть в себе душу — и значит обрести бессмертие — совсем, совсем не то, что — «познай самого себя?» — душа и «я» — различны — то бренная материя.

Иногда какой-то отблеск загробной жизни — освещение красное, как в фотолаборатории, но — умолкаю — порчу сейчас. Вкратце: это, может быть, идет от некоторых мест Ахматовой — во всяком случае, ничего общего с привычными представлениями о рае, чистилище и аде — из литературы. Может быть, ближе всего этому — булгаковское: вот бы написать о загробной жизни — не в традиции.

Пусть стихи.

Но за мной еще долг — об отвращении к скорости — прозрении, которое добыть в тумане — все под антиэпиграфом «Это почти неподвижности мука».

05.08.69

Что-то о деревьях — «тайное» — вовсе они не стоят на месте, а ходят по небу. Летят облака. Читаю дневник Блока 13 года. Ахматовский год. Больше всего волнует: «пообедал на Финляндском вокзале» — Блок умеет в это вложить много одинокой свободы, тоски и, вместе с тем...

Уже не могу говорить: когда-нибудь, например, перечту записки — этого уже не будет, а чувство настоящего все еще ослаблено...

09.08.69

Стихи должны быть щедрыми исчерпаниями — это главное условие... То, что в них должно оставаться, — условие неисчерпаемости.

Скрип сосны — есть такое — корабельный (Мне мачт корабельных мерещится скрип).

18.08.69

Куплю маленькую записную книжку — перепишу в нее Мандельштама — чтобы не расставаться с ним.

Мандельштам должен быть персонажем любого произведения — без панибратства.

Право Мандельштама на чужое добро. (Тоже, но не исполнившееся: чужие люди для него... (рыбу ловили в сети).

19.08.69

Другое слово метафоричности: декламации (Я пью за военные астры (!). Литература, безрелигиозность — атеизм.

Пастернак — вне литературы:

Я кончился, а ты жива и т. д. и т. п.

Мандельштам — литература и декламация. Спасает неуловимый элемент судьбы, говоря грубо.

Как точно Мандельштам о соснах: Там, где на арфы их нє догибает Эол, и они коричневеют. Исчерпывающе. Вот тебє литература — а точность бунинская!

Нужно, чтобы в первом смысле играл второй смысл — в оптимизме, например, пессимизм, не отменяя друг друга.

Стихотворение не должно быть чисто отрицающим — в этом плане... великий урок Ахматовой: «и ни на что не променяем пышный гранитный город славы и беды...» (это и есть отношение), далее: «и голос музы еле слышный». Вот оно — голос музы еле слышный.

21.01.70

Что значит собственная жизнь — тут нужно бы бунинское: приятно войти в теплую атмосферу вокзала после того, как продрог на перроне, ожидая, ну кого? — жену брата. — Поезд запаздывал на два часа и т. д. Бунинское — важное — отношение к жизни — опьянение осязаемой конкретностью... Суждение? Нет. Вот бы соединить Достоевского с ним... Гений будущего это свершит.

29.01.70

Вот еще одна трагедия Блока — он так и остался поэтом, хотя выходы из шаткой лирической почвы были нащупаны, — драматург без драмы, прозаик без прозы. И это — признак серьезности, ибо — не может быть пьесы, не может быть рассказа всерьез.

Единственный противовес благополучным (до зависти) стихам — преображенье — в них отсутствующее. Необходимо также равновесие: между внешним и внутренним...

В поэзии русской внешнее — неблагополучие, Россия, я счастлив что у меня есть — Грузия, грузинское — камины-бухари. Уход во внутреннее — без внешних примет — эте

странное растение, вернее, корни, которым все равно, что растет сверху, — подземные ключи души — прекрасно, возвышенно — но равновесие нарушено — нет дерева.

Сравнение это хромает — но в общем, все-таки, ходит — сойдет.

Преображение — может быть только не заданным, не спланированным, в этом вся его трудность — оно свойство таланта.

Внимательность — доблесть лирического поэта Мандельштама. Естественно, что в идеале он провозглашал качества, которые не были проекциями собственных достоинств, — как это делают другие.

Судорожные попытки портретных характеристик, например, «Путешествия в Армению» — не достигают абсолюта: от бунинской внимательности Мандельштам сбивается на лирическую себястоимость.

Внимательность — в другом, не в морально-этическом плане, а в художественном — сродни наблюдательности, а не врачебной добродетели.

06.06.70

Как все-таки приятно достичь возраста зрелости — когда ощущаешь юношескость юношеских стихов Пушкина.

Почему Цветаева не давала хлынуть своей прозе в стихи — почему она ее не переписывала стихами (ведь — такие вещи как «Крысолов», чужды ее прозе — в них декламационная игра мускулатурой.

03.06.72

И все это — воспоминанье. Ветерок. Мертвый час с голосами, способными пробудить мертвого. Все имена, имена нимфеток — и будто не 72 год, а скажем, 13 — перед первой войной — эпоха тенниса, англичанки, лютеранина, Айя-Софии, которая дана у Мандельштама.

Кто сочинит петербургские строфы? В семьдесят третьем году, 60 лет, более полувека прошли. Но не отклоняйся — идет стирка. И женщина, не боящаяся солнца, в предельно короткой для этой местности юбке. А другая с прозрачным ведром.

То, что ведро именно прозрачно — в этом заключена своя поэзия.

Что следуст помнить при переводе? Следует помнить, что будет отброшен подстрочник, — нужно его отбросить — забыть о нем; как только свершится перевод, и знать, что никто не будет впредь сравнивать перевод с подлинником.

Это не юмор, или юмор.

Подстрочники не сохранились — обычный ответ...

Публикация Киры ВОЛЬФЕНЗОН-ЦЫБУЛЕВСКОЙ
и Павла НЕРЛЕРА

Джемал АДЖИАШВИЛИ

ПРОБУДИСЬ, ЛИРА

Поистине это была пора величия и расцвета Грузии. В возрожденном Давидом Строителем Тбилиси жили люди самых разных национальностей и верований — все они имели свою религиозную автономию, но, как правило, подчинялись наивысшим интересам всея Грузии. В этой всеобщей государственной гармонии и евреям, безусловно, было отведено полагающееся место, хотя об этом не сохранилось почти никаких исторических справок. Кто знает, возможно, «кровавые дожди», обрушивавшиеся на Грузию в течение веков, стерли их с лица земли...

Однако там, где безмолвствует история, глаголет народная память; в легендах и в устных преданиях нет-нет да промелькнет упоминание об иудеях Грузии. Одно из этих преданий было записано в прошлом веке Рафаэлом Эристави и Гюставом Радэ:

«Когда царица Тамар отправилась в Хевсурети, ее, оказывается, сопровождал один еврей по имени Бисо. Этот Бисо во время своего пребывания в Хевсурети заболел, выздоровев же, уже не вернулся к себе на родину. По мнению хевсуров, сегодняшние бисойцы происходят от того самого Бисо (Бисо — деревня в Хевсурети)»...

Опираться на эту справку, а тем более делать какие-либо далеко идущие выводы было бы нецелесообразно, но сам факт существования такой легенды свидетельствует о положительном отношении грузин к евреям в тот период; когда по всей Европе преследовали и громили евреев, всячески пытаясь отторгнуть и изолировать их, грузинская легенда вводит в свиту причисленной к лику святых царь-женщины — солнцеликой Тамар, иудея и даже отводит ему роль родоначальника целой грузинской деревни...

Яков Гогебашвили:

«В Грузии издавна жили евреи, но даже в средние века

Окончание. Начало см. в № 2—3.

не были они притесняемы грузинами, а еврейских погромов, так часто происходивших и происходящих и поныне в Европе, никогда не случалось в Грузии. Евреям в Грузии цари доверяли даже трудные дипломатические дела». (Газ. «Иверия», 1901 г., № 2).

Захария Чичинадзе:

«Как повествует само «Житие Картли», зажиточный тбилисский торговец, известный Занкан Зоровавель, воспринимается нами как еврей, об этом свидетельствует само имя его...»

Очевидно, под этим «именем» автор подразумевает библейского Зоровавеля, который согласно Ветхому Завету предводительствовал соплеменниками, освобожденными из вавилонского плена, и руководил восстановлением второго храма, ибо, как говорил Господь, «руки Зоровавеля положили основание Дому сему; его руки и окончат его...» (Пророчество Захарии, 4, 9).

Геронтий Кикодзе:

«Свидетельством тому, как почитаемы были торговцы во времена Тамар, может послужить тот факт, что за первым женихом Тамар для сопровождения его в Грузию грузинская знать отправила крупного купца, некоего Занкана Зоровавеля». (Газ. «Сахалхо пурцели» («Народный листок»), 1915 г., 9. IV, с. 3—4).

Как видим, Г. Кикодзе, проявляя осторожность, не указывает на происхождение крупного тбилисского торговца, упоминая о нем лишь как о «некоем Занкане Зоровавеле», который, согласно «Житию Картли», привел к царскому двору Грузии первого жениха царицы Тамар — «юношу благоликого, статного и происхождения знатного». Не будем говорить, какую «пользу» принес этот «благоликий» грузинскому царскому двору и Грузии вообще, но еврей торговец (если мы, конечно, доверимся Захарию Чичинадзе) с честью выполнил свой долг перед царским двором Грузии.

«Не сказано и не слыхано было нигде, — продолжает З. Чичинадзе, — чтобы грузинские евреи предали либо Грузию, либо царя Грузии и, чтоб какие бы то ни было сведения были ими переданы вражеским государствам, несмотря на то, что такая возможность предоставлялась им часто, поскольку, занимаясь торговлей, путешествовали они по разным странам...»

Далее:

«Грузинские евреи путешествовали в Поцхови, Квабливни, в Чилдирское ущелье, Джавахети, и повсюду с грузинами му-

сульманами говорили по-грузински. Должен сообщить вам, что в некоторых опасных местах, где грузинский язык еще издревле был вытеснен и отброшен, **даже и там грузинские мусульмане не забыли своего языка... В этом большая заслуга грузинских евреев»*.**

Как видим, грузинские евреи внесли своеобразную лепту в сохранение языкового и территориального статуса юга Грузии. Раз уж речь зашла о грузинских мусульманах, то, опережая события, приведем здесь некоторые документы, которые ясно свидетельствуют о верности грузинских евреев грузинским христианам в сложном и болезненном вопросе их взаимоотношений с грузинами мусульманами.

Газета «Сакартвело», 1918 г.

«7 января местными христианами грузинами и евреями было проведено общественное собрание. Выступили ораторы от всех партий по вопросу, касающемуся предпринятого мусульманами окружения 28 и 29 декабря. Целью собрания было выяснить, какие меры следовало принять в отношении соседних мусульман, дабы в будущем избежать возможного кровопролития с их стороны и спасти южную часть Грузии от катастрофы и таким образом принятым в Тбилиси решением обеспечить целостность Грузии... Собрание вынесло резолюцию о том, что грузинские христиане сегодня желают установить с грузинскими мусульманами добрососедские отношения; решено было основать Интерпартийный совет. Выборы в президиум были проведены на следующий день. На собрании председателем Интерпартийного совета был избран М. Квалиашвили. Его товарищами Мд. Канделаки и раввин Давид Баазов».

Генерал Шалва Маглакелидзе, чрезвычайный военный уполномоченный Временного правительства России в мусульманской Грузии в 1917—1918 годах:

«С духовным наставником еврейского населения г. Ахалцихе и его уезда — Давидом Баазовым я лично встретился в начале 1917 года. Это необычайно эрудированный общественный деятель, личность, имеющая глубокие познания в вопросах религии; действовал он в Ахалцихе в то время, когда вследствие Февральской революции династия Романовых отошла в область истории.

Населяющие Кавказ мусульмане были встревожены, и

---

* Подчеркнуто здесь и далее нами. — Дж. А.

их тяга к Оттоманской империи, хотя бы в образе Анкары, превратилась в важный фактор.

Таким образом, христианское население Ахалцихского уезда оказалось в тяжелых условиях.

Подстрекаемые турецкими агентами, местные грузинские мусульмане-беги всячески пытались оказать услугу единоверцам туркам. Активнее всех в этом направлении действовал атабег Сервер-бег, принц Коблиани, как его называли, сын и наследник Фейзула-паши, правителя Самцхе-Саатабаго.

В своих претензиях Сервер-бег зашел так далеко, что даже учредил временное «Юго-Западное Карское правительство», намереваясь подчинить ему и Самцхе-Саатабаго.

Сформировав вооруженные турецко-курдские отряды, Сервер-бег в первой половине 1918 года неоднократно пытался, путем набегов на расположенные в мусульманской Грузии грузинские войсковые части, отторгнуть эту территорию у матери-Грузии.

Грузинскому населению в эти роковые дни необходим был покровитель, и таковой нашелся. Им оказался Давид Баазов. Пользуясь большим авторитетом в мусульманских кругах, находясь в особо дружеских отношениях с кази Али-эффенди, наивысшим священнослужителем Магомета в Ахалцихе и его уезде, Давид Баазов сумел путем посредничества и переговоров спасти от смерти многих христиан. Этим он прославил и возвысил и местное еврейство, будучи его покровителем и предводителем. Большой вклад внесен им в дело защиты интересов грузинского народа, особенно в период разгула мусульманских орд в районах Ахалцихе, Ахалкалаки, Поцхови». (Сборник «Давид и Герцель Баазовы», Иерусалим — Тель-Авив, 1976 г.).

О евреях Ахалцихе существует еще одно предание, которое приводит Захария Чичинадзе в своей книге:

«В XVII веке ахалцихские евреи были призваны на войну; на призыв этот отозвались они с большой готовностью и вскоре после приказа отправились в назначенное место, но правитель Грузии отказался послать их на войну, объясняя это тем, что евреи, мол, ведают торговлей и что следует их освободить от военной службы. Но евреи сперва воспротивились этому приказу, были уязвлены и обратились к атабагу: — Господин наш, положись на нас как в торговле, так и здесь. Ведь это оскорбительно для нас. Разве не сможем мы защитить себя и дом свой, возможно ли такое?!

Мы, — сказали они, — тоже люди, и считаем себя в дол-

гу перед страной, в которой живем.—После долгих волнений евреи все-таки вняли совету и решили вернуться домой, не забрав ничего из того, что имели, все оставив воинам, пожелали им счастливого пути и обратились к атабагу. — Поскольку вы оценили нас в делах торговли и оберегли, то и мы ответим вам на добро добром, вернемся домой и отправим на поле брани все необходимое в большом количестве.

Вернувшись к себе, они и впрямь выполнили данное обещание: вскоре армия получила несколько десятков арб всевозможных товаров и продуктов; все это, безусловно, было принято с большим почтением и благодарностью. Весть об услуге евреев облетела всю Грузию: все прославляли их. Так полезны были евреи Грузии...»

В феодальной Грузии евреи большей частью занимались торговлей. В экономическом отношении они делились на три основных слоя: крупных торговцев, купцов средней руки, мелких торговцев. Позднее евреи занимались также кустарным производством и ремесленничеством. Крепостные же евреи, разумеется, и землю обрабатывали, и виноградники насаждали, и сеяли, и пахали; но что касается каких-либо следов четко выраженного иудейского движения или иерархии служителей культа, по сведениям Веньямина Тудельского (путешественник XII века), их в феодальной Грузии не наблюдалось; так, собственно грузинская церковь не проводила антииудейскую пропаганду, «грузинская антиеврейская религиозная полемика полностью переведена» (К. Кекелидзе). Церковь, можно сказать, относилась терпимо к иудеям Грузии, и для какой бы то ни было оппозиции со стороны евреев, пусть даже религиозной, социальной почвы здесь не существовало. В случае же надобности, когда дело касалось обновления интерпретации канонов веры, назначения служителей культа или же всякого рода культово-юридических вопросов, — грузинские евреи, подчиняясь еврейским академиям Багдада, получали соответствующие советы и указания от их наставников.

«С землей и почвой Грузии грузинский еврей был связан и слит так же, как и сам грузин. Таким было прошлое евреев в Грузии и таковым является их сегодняшний день. Следует отметить, что о положении евреев Грузии было известно предводителям их веры почти во всех странах, начиная с Иерусалима, за что и были они благодарны грузинским царям и правителям. Многие еврейские раввины и первосвященники благословляли в своих молитвах грузинский народ, упоминали его при других племенах как народ образцовый и до-

стойный подражания в своем сострадании к евреям. Таково было прошлое евреев Грузии до рождества Христова и после, до XVIII века (обратите внимание: до XVIII века! Разговора о XIX веке автор избегает — вероятно, имея в виду утверждение царизма в Грузии и «некоторые» плачевные последствия этого— Дж. А.). Вот такой достойный подражания союз был у них с грузинами, — так же, как они прославляли и почитали грузии, так и грузины поддерживали и опекали евреев» (З. Чичинадзе, упомянутая книга).

И грузинский еврей, видя к себе такое отношение, ощущая свою ничем не скованную личностную автономию, со своей стороны также служит верой и правдой доброжелательному народу и его стране. В любом деле — будь то ремесленничество, земледелие или, тем паче, торговля, он старается поступать по совести, как велит ему непреложный закон чести и верности, завещанный библейскими предками, и неписаный кодекс порядочности, обращенный в норму бытия в древней Грузии:

«Грузинский еврей всячески избегает бесчестных поступков в торговых делах. Его это страшно коробит, пугает и, кроме всего прочего, он заботится и о душе. Если где-нибудь еврей совершит нечто постыдное, например, притеснит кого-либо, то поступок этот очень огорчит раввина; узнав об этом, он пристыдит его и, если придется, заклеймит позором и даже проклянет.

Потому-то грузинские евреи избегают притеснения и угнетения неимущих в денежных или каких-либо других делах, часто дают взаймы; оказать человеку помощь считают делом богоугодным. Твердо знают, что нуждающемуся надо помочь, и поэтому у них нет никакого желания притеснять угнетенных».

Исходя из слов З. Чичинадзе, можно представить нравственный сблик грузинского еврея, обозначившийся за двадцать шесть веков общения с грузинским народом и, действительно, как говорил мудрый Илья, «редко встретишь народ, с которым евреи были бы совместимы так, как с грузинами... Евреи с давних времен и по сей день не были лишены тех прав, которыми пользовались христиане...» (Журн. «Иверия», 1881 г., № 6, с. 136).

Интересно, а как обстоит дело в других странах? Отвечу сразу же, в основном, ничего утешительного. Конечно, это не означает, будто весь мир был только тем и занят, что преследовал евреев и что на протяжении веков у человечества

не было другой радости, как громить их. Отнюдь, будь это так, то расселенные по разным странам евреи не смогли бы ни выжить физически, ни создать ту благодатную культуру, которой справедливо гордится все человечество. Достаточно тут вспомнить средневековую Андалусию, не говоря уже о других европейских странах. (Для статистики: евреи составляют примерно 0,036 процента от всего населения мира, между тем 22 процента лауреатов международной Нобелевской премии — еврейского происхождения, по данным 1986 года). И все-таки это были лишь своего рода минутные передышки на продолжительных марафонах истории.

Начнем с древнего Рима.

Во времена правления Калигулы (12—41 гг.) по повелению властей в еврейской молельне поставили изваяние обожествленного императора, что было неслыханным надругательством над иудейской верой: ведь Богом Ветхого Завета запрещалось поклонение превращенному в кумир смертному. И вот этот идол в синагоге; прямо перед амвоном воздвигнут он на глазах у верующих. Рассвирепевшие молящиеся разнесли статую вдребезги, что послужило поводом к массовой резне евреев.

Спустя немного времени после этого правители Египта издали эдикт, согласно которому евреев лишали гражданских прав и объявляли вне закона. Тот же эдикт запрещал евреям соблюдать ритуальный день субботы. Евреев, когда они выходили на улицу, забивали камнями, их жгли на кострах, распинали на крестах. По приказу правительства на одном из театральных представлений на глазах у всего народа перерезали горло тридцати восьми старейшинам еврейской общины.

В 135 году император Андриан запретил евреям соблюдать ритуал «брит мила» (обрезание).

А в это самое время во Мцхета и в Урбниси существовали иудейские молельни («Багини»), где чтение молитвы «велось на языке еврейском», власть Моисеевой веры была прочной и неприкосновенной...

Англия.

В 740 году архиепископ Йорка издал закон, запрещавший христианину перешагивать порог еврейского дома и принимать участие в его трапезе.

Считалось недопустимым для христианина мыться в одной бане с евреем.

Евреев исключали из торгово-ремесленнических объеди-

нений и вынуждали пустить по ветру все движимое и недвижимое имущество.

Разрешались вымогательство денег у евреев, погромы.

В 1189 году в день коронации Ричарда Львиное Сердце было совершено нападение на евреев в Лондоне и других городах Англии.

В 1290 году евреи были изгнаны из Англии.

Лишь в XVII веке в эпоху Оливера Кромвеля появилась возможность их возвращения, что скорее было продиктовано экономической необходимостью, хотя под давлением глав церкви это решение все-таки не было узаконено.

Таково было отношение к евреям в исторической Англии...

Очевидно, это и заставило Шекспира написать полный сочувствия монолог:

«Да разве у жида нет глаз? Разве у жида нет рук, органов, членов тела, чувств, привязанностей, страстей? Разве не та же самая пища насыщает его, разве не то же оружие ранит его, разве он не подвержен тем же недугам, разве не те же лекарства исцеляют его, разве не согревают и не студят его те же лето и зима, что и христианина? Если нас уколоть — разве у нас не идет кровь? Если нас пощекотать — разве мы не смеемся? Если нас отравить — разве мы не умираем? А если нас оскорбляют — разве мы не должны мстить?» («Венецианский купец»).

На фоне всех тех трагедий, которые пришлось испытать евреям в средневековой Англии, доброжелательное отношение современных британцев к евреям, к сожалению, напоминает лампаду, светящую в спину идущему, даже если принять во внимание известные слова самого Уинстона Черчилля:

«Мы решительно отвергаем те «научно обоснованные» вымученные басни о том, что Моисей якобы был всего лишь мифической личностью, которому народ приписал свои каноны и социально-этические и религиозные принципы. Мы верим, что даже с самой новейшей научной и рациональной точки зрения более всего приемлема библейская история о Моисее в самом прямом ее смысле, а также признанием Моисея величайшим историческим явлением, с именем которого связан наиболее смелый и значительный прыжок, когда-либо имевший место в истории человечества.

Мы твердо стоим на незыблемой основе «Священного Писания»...

Франция.

В 1182 году король Филипп II Август издает указ, по которому евреям запрещалось жить во Франции.

1198 год: король издал новый эдикт — на этот раз о возвращении евреев в Париж, это было вызвано тем обстоятельством, что после выселения евреев экономика государства заметно ослабла и доход самого короля катастрофически уменьшился. И хотя, согласно этому эдикту, евреям разрешалось вернуться в Париж, однако давать взаймы или брать деньги под залог они могли только с позволения короля или графа. Подобный договор был подписан и другими феодалами, вследствие чего у них появился новый источник дохода, известный в истории Франции под названием «еврейского дохода».

1223 год: издается закон, по которому королю, так же как и феодалу, запрещено брать взаймы у еврея.

1234 год: король Луи IX издает новый закон. В статье 34, параграф I сказано: «Подданные короля освобождаются от уплаты одной трети суммы, взятой взаймы у евреев».

1290 год: евреи вновь изгоняются из Франции.

1306 год: казна страны из-за нерадивости правительства оказалась пустой. Король Филипп Красивый находит «выход»: «изгнать евреев из Франции, а все их движимое и недвижимое имущество передать в распоряжение короля...», а на случай, если еврей припрячет свое имущество, назначалась поощрительная награда за донос на него: одна пятая часть имущества должна была перейти к доносчику, а четыре пятых в королевскую казну, самому же еврею «давалось право» в течение месяца покинуть Францию, взяв с собой двенадцать су и одну смену одежды — то, во что он был одет.

Через какое-то время вновь начинается упадок экономики государства — евреев вновь возвращают во Францию.

Церковь подает все новые и новые петиции королю, категорически требуя обратить иудеев в христианскую веру.

1501 год: король Луи XIV вновь выселяет евреев из Франции, лишь в Марселе сохранилось несколько еврейских семейств...

Испания.

В 589 году евреев обязуют соблюдать воскресенье.

Тем же законом еврею запрещается иметь прислужника нееврея.

Чуть позднее 6-ое церковное собрание Толедо запрещает

жить в Испании всякому, кто не перейдет в католическую веру.

То же самое повторяет 12-ое церковное собрание Толедо: в том случае, если еврей в течение одного года не примет христианства, его лишают имущества, наказывают ста ударами розог, для посрамления со лба у него сдирают кожу и выселяют за пределы Испании.

В 693 году евреи лишаются права владения землей и домами. Евреям запрещается мореплавание, торговля с африканскими странами и какие бы то ни было торговые взаимоотношения с христианами.

1013 год: на трон восходит предводитель берберов Сулейман. Взят город Кордова, еврейские кварталы полностью разгромлены. Лишь нескольким евреям удалось спастись бегством.

1293 год: по настоятельному требованию кортесов, король Санхо I запрещает евреям покупать землю у христиан.

12 января 1412 года издается т. н. «эдикт непримиримости»: евреев обязуют жить только в отведенном для них месте, огороженном со всех сторон, с одной-единственной калиткой. Евреям запрещается врачебная практика, кредитные операции, аптечное дело и ремесленничество.

Тот же эдикт не гнушается и другими запретами.

Запрещается еврею вступать в торговые отношения с христианином!

Запрещается ношение оружия!

Запрещается стричь волосы и бриться!

Запрещается надевать праздничную одежду!

Запрещается какая бы то ни было автономия!

После всех этих запретов евреи, что и говорить, не пожелали более оставаться в Испании. В эдикте предусмотрено и это обстоятельство.

В случае эмиграции, евреи теряют всякие права на владение собственным имуществом.

Грандам и рыцарям было строжайше запрещено давать у себя приют беглым евреям.

Начатое предками дело окончательно было завершено королем Фердинандом V. В 1492 году 2 августа евреи полностью изгоняются из Испании; число беженцев достигало трехсот тысяч...

Между тем знаменательно, что на второй день после этого, 3 августа 1492 года, от берегов Испании отчаливает Христофор Колумб, чтобы открыть миру неизвестный дотоле ма-

терик; Христофор Колумб, чья мать Сусанна принадлежала к знаменитому роду Фонтерозас, а собственно еврейский капитал, как это явствует из источников, сыграл немаловажную роль в успешном завершении предприятия Колумба. «Я служу тому самому Богу, который на царский трон Иерусалима возвел пастуха Давида», — записал в своем дневнике легендарный путешественник, отправляясь в плавание по необъятному океану, откуда, согласно предсказаниям каббалистов, евреям, уставшим от тысячелетнего ожидания, должен был явиться мессия.

Так, скорбя и стеная, скитался вечно гонимый иудей по сумрачным дорогам жизни, и подобно библейскому Иову, ни разу не проронил он ни слова упрека в своем обращении к Богу. Ежедневно с наступлением рассвета, устремив в небо смиренный взор, он возносил хвалу и молитву Господу:

«Благословен ты, Господь, Бог наш, Владыка вселенной, за то, что ты не создал меня рабом!»

А ведь вся история его — это бесконечная книга плена и рабства...

Произнося эти слова, уходил он от безрадостной действительности, создавая в своем воображении иную, желанную для себя реальность, ибо всегда был исполнен веры во всесилие слова, уверенность эту он приобрел еще тысячелетия назад у древних египтян, убежденных в магической силе слова настолько, что порой они даже прибегали к фальсификации и на саркофагах умерших грешников огромными иероглифами делали надписи: «Я не грешил», «Я не кощунствовал» и т. д., поскольку, по их убеждению, мысль, выраженная словом, в конце концов превращалась в реальность и на судилище могла защитить умершего грешника.

И, наверное, с надеждой на это, порабощенный иудей возносил ежедневную молитву небу:

«Благословен ты, Господь, Бог наш, Владыка вселенной, за то, что ты не создал меня рабом!».

Быт евреев Испании породил множество легенд и преданий, некоторые из которых в разных вариациях отразились и в художественной литературе:

Во времена инквизиции один из церковных сановников перед смертью призвал к причастию епископа, и вот, когда остались они вдвоем и приготовились к причастию, умирающий, плача, обратился к епископу на древнееврейском:

«Шема Йисраэл Адонай Элогейну Адонай Эхад» (Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Бог единый»).

И епископ не замедлил с ответом:

«Барух Шэм кевод Малхуто Ле'олам Ва эд (Благословенно славное имя царства его во веки веков»).

Оба они оказались евреями.

В 1348-49 годах в Европе свирепствует чума, оказавшаяся роковой для евреев: их обвиняли в распространении эпидемии. Как это «разъяснялось» населению, еврейские старейшины привезли с собой из Стамбула целый мешок яда и отравили им водоемы. Стоило пустить этот слух, как евреев тут же стали громить. Особенно отличились немцы: в сотнях городов они начисто уничтожили все еврейское население.

А евреи все так же молились, все так же возводили к небу полные мольбы взоры:

«Благословен ты, Господь...»
«Благословен ты, Господь...»
«Благословен ты, Господь...»

* * *

Лишь только глаза закрою я,
Слезы роняю во сне.
Еврэйская эта мелодия
Плачет, рыдает во мне.

(Тициан Табидзе)

Польша.

1494 год: Ян Альбрехт изгоняет евреев из Кракова.

1495 год: указом великого князя Александра Ягеллона евреи покидают Литву.

1651 год: местное население беспощадно громит евреев.

1663 год: снова погром — во время нападения на евреев во Львове погибает двести человек. Нападающие разоряют еврейские дома и лавки, рушат синагоги, похищают подсвечники, ковры и другое имущество.

1761 год: в результате клеветничества франкистов, шляхта устанавливает за евреями полицейский надзор. Евреям запрещается молиться на еврейском языке.

В тот же период иудеев принуждают слушать проповеди ксендзов в католических храмах.

В больших городах евреев обязуют жить в отведенных для них кварталах — гетто. Въезд в Варшаву им разрешен лишь во время сейма...

И как это нередко случается, подобным мероприятиям правительства хвалу воздают поэты — «соль земли», которые, надо полагать, должны были бы служить человеколюбию и добру. Вот как наставляет своих читателей поэт Себастьян Кленович:

«Вы спрашиваете, как ведет себя еврей среди нас, отвечаю: как волк в овечьем стаде, он врывается в укрепленные города и сеет вокруг голод и нищету, подобно червю, что точит дуб, или пиявке, впившейся в ласточку и постепенно высасывающей из нее кровь...»

Затем автор, используя для большей достоверности библейскую фразеологию, продолжает:

«...как одежду, съест их моль, и, как волну, съест их червь» (Исаия 51, 8), так поедает мир паршивый жид и обедняет государство. В конце концов правители образумятся, когда испытают зловредность евреев, но будет уже поздно и заплачут они в голос».

Трогательная картина: рыдающее, по вине евреев, правительство...

Примерно тот же мотив звучит в словах австрийского поэта Зейфрида Гелблинга:

«Невозможно описать всю мерзость и позор, творимые евреями в нашей стране. На всем свете нет такой страны, которой бы евреи принесли хоть какую бы то ни было пользу. Будь проклят каждый, кто доверится евреям и кто по наущению их похитит христианина. Будь я правителем страны, я бы всех до единого евреев предал костру. Император Веспасиан, разгромив Иерусалим, продавал по 30 связанных веревкой пленных жидов за 1 пфенниг. Но почему этот благословенный человек не предусмотрел то, как опоганили бы эти жиды закупившие их страны...»

Немецкий поэт Гратенауэр (XVIII век) искренне сокрушается о том, что «благородный христианин в наш просвещенный век не имеет права даже на то, чтобы беспрепятственно, по своему усмотрению уничтожать жидов».

Доктор Холст тоже не отстает от своего «просвещенного» соотечественника:

«Зависть, вражда, скупость, корысть, зло, ложь, грубость, безбожие и всевозможная мерзость присущи лишь евреям. Случаются и среди христиан подобные пороки, и тем не менее все это лишь чисто еврейское явление».

Как говорится, комментарии излишни...

И снова послушаем голос мудрого Ильи:

«Какие только документы не были пущены в ход для того, чтобы преследовать и терзать евреев? Нет такой несправедливости, которая бы не способствовала угнетению их. Евреев преследовали как народ, преследовали как исповедовавших своеобразную и исключительную веру, преследовали — как представителей несправедливого экономического устройства и как угнетающих экономически другие народы. Преследователи отдавали предпочтение то одному, то другому доводу и, таким образом, никогда не остывала ненависть к евреям...»

Сколь велика разница между Ильей и упомянутыми выше «европейскими пнитами»...

Как метко было сказано когда-то, некоторые из них, возможно, и не верили в существование Христа, зато были абсолютно уверены в том, что распяли его именно евреи, несмотря на то, что в числе четырех способов смертной казни, установленных синедрионом, распятия не было вообще: «Еврейский суд, даже осуждая преступника на смерть, не разрешал унизить его достоинство, как это делали римляне» (Энциклопедия иудаизма, Иерусалим — Тель-Авив, 1983 г.).

Так тяжело и безрадостно следовали по своему жизненному пути иудеи Европы. И в этой смертельной безысходности, словно колокол, звучат пророческие слова Шекспира и Гейне, скорбный монолог Уриэля Акосты...

Лессинг — «Натан Мудрый»:

Рыцарь христианин выхватил из костра прекраснейшую девушку Реху, но узнав, что спас он, как оказалось, еврейку, тут же отдалился от нее. В конце концов события разворачиваются так, что благодаря Натану, он все-таки знакомится с Рехой и влюбляется в нее. Рыцарь просит у Натана руки девушки, но Натан не соглашается. Тем временем рыцарь узнает, что Реха не родная, а приемная дочь Натана. Возмущенный, он отправляется к патриарху и делится с ним своей бедой, утаив при этом имя Натана. Разгневанный патриарх требует смертного приговора для еврея, осмелившегося удочерить христианку...

Так развивается эта драма людей разных вероисповеданий.

Подобные проблемы никогда не ставились в грузинской литературе...

Для этого в тогдашней Грузии не было никакой социальной почвы, очевидно, и потому, что здесь основательно был продуман истинный смысл христианского учения. А впрочем, дадим лучше высказаться об этом опять-таки ученым:

«Относительно церковно-монастырских крепостных евреев

можно сказать, что, кроме как в Грузии, они почти нигде не встречаются. Это было вызвано тем, что в странах Европы церковь вела непримиримую борьбу с иудаизмом и различными репрессивными мерами, требовала обращения евреев в христианскую веру... Посредством подобных репрессий церковь стремилась к окончательному изгнанию евреев и конфискации их имущества». (Труды историко-этнографического музея евреев Грузии, т. III, с. 274).

Из всего множества жалованных церквам и монастырям грамот, определяющих юридически-бытовой статус грузинских евреев, привлекает внимание книга пожертвований царя Имерети Соломона и царицы Мариам, которые в 1764 году посвятили братьев Давида и Ицхака Чахвашвили Гелатской церкви:

«Великая Богоматерь Хахульская, святой твоей церкви Гелати в услужение и для подношения тебе дани посвятили мы еврея Чахвашвили Давида и брата его Ицхака с тем, чтобы **десять четвертных воска и одну четвертную ладана подносили они тебе ежегодно в августе месяце...»**

Воском и ладаном служит грузинский еврей церкви Грузии; трудно представить, чтобы что-либо подобное произошло где-нибудь в другом месте.

Наверное, безропотно и бескорыстно трудились Давид и Ицхак Чахвашвили, с честью завершили они свой жизненный путь, оставив потомкам добрые деяния и надпись на могильной плите — завещанную предками мудрость Екклесиаста:

«Доброе имя лучше дорогой масти, и день смерти — дня рождения».

Подобными надписями испещрены могилы евреев почти во всех уголках Грузии...

«К у п ч а я», данная князьями Бардзимом, Иванэ и Григолом Мачабели Аврааму, Ицхаку и Моше Иосебашвили, 1831 год, 3 апреля:

«Купчая эта написана нами, нижеподписавшимися: князем Бардзимом Мачабели, братьями моими Иванэ и Григолом. Вручаем ее тебе, Иосебашвили Аврааму Хахаму, сыновьям твоим Ицхаку и Моше — с тем, что нами продано тебе немного земли возле твоего виноградника. Владей ею и дай тебе Бог счастья, коего заслуживает честный покупатель. Если же кто станет оспаривать ее у тебя, заступниками твоими будем мы.

Свидетелем сего будет тот, кто подпишется
под этим, а по сему оставляем свои подписи:

Князь Бардзим Мачабели
Князь Иванэ Мачабели».

«Владей ею и дай тебе Бог счастья!

Если же кто станет оспаривать ее у тебя, заступниками твоими будем мы»...

Россия.

«Опыт» европейских стран был довольно быстро воспринят и основательно развит Россией. Об этом более подробно позднее, а пока предлагаю вам лишь два факта.

В 1536 году русские взяли Полоцк и потребовали от еврейского населения города принять крещение. Большая часть отказалась, тогда их всех от мала до велика утопили в реке.

В 1638 году король Польши вознамерился направить в Россию своего еврейского агента. Русский царь ответил категорическим отказом: поскольку — обосновал он — «евреев никогда в России не бывало, и с коими никакого сообщения христиане не имеют...»

Такова была «визитная карточка» самодержавной России в мировой кампании антисемитизма.

А сейчас давайте вновь обратимся к тогдашним грузинским документам.

Договор, данный князем Григолом Церетели абастуманскому еврею Даниилу Пичхадзе, 1816 год:

«Волею и с помощью Божьей, бумага сия дана мной, князем Церетели Григолом Сахлтхуцидзе, тебе — абастуманскому еврею Даниилу Пичхадзе — и сыновьям твоим Мамаджану и Кобо и остальным сыновьям твоим и последующему поколению твоему, — в том, что ты приехал из Турции и подписал соглашение служить мне и вручил мне договор, и что я также вручаю тебе сию бумагу о том, что позволяю тебе жить по вероисповеданию твоему, если и ты будешь всем сердцем преданно служить мне».

«Позволяю тебе жить по вероисповеданию твоему» — обещает грузинский князь еврею, да еще в присутствии свидетелей юридически оформляет свое обещание...

Краткая еврейская энциклопедия, том III, Иерусалим, 1986 г.

На 280 странице книги напечатан один из украинских народных рисунков XVIII века «Казак Мамай». Рисунок изображает времяпрепровождение казаков: на переднем плане сидит музыкант с национальным инструментом в руках, услаждая слух пирующих, сзади же один из участников веселья подвешивает на веревке за ноги еврея. Так развлекались

украинские гайдамаки XVIII века (и все это запечатлено на рисунке как обычная бытовая деталь)...

А попробуйте представить себе полотно какого-нибудь грузинского художника — к примеру, Пиросмани — «Семейный пикник в компании Бего» или «Кутеж с шарманщиком Датико Земелем» и на фоне этого самого кутежа подвешенного кверху ногами еврея.

Представить такое, согласитесь, довольно трудно...

. . . . . .

Мир этот беспощадный героев своих сокрушает
И снова их повергает в бездну мирских страданий.
Воздвигнутое веками воды Нила смывают.
Иосиф братьями изгнан, Яков исходит слезами.

Это уже Сулхан, великий Саба Орбелиани, остро переживающий все беды родной земли, и, чтоб унять эту боль, он вызывает из прошлого библейские души Иосифа и Якова.

Над Грузией уже нависли черные тучи, уже меркло сияние грузинской мысли, и отягощенная мусульманской пестротой душа народа с трудом пробиралась по сумрачным дорогам истории.

В 1453 году турки захватили Константинополь. «Ворота понта» закрылись для Грузии, пала Византия, ее единственный союзник и оплот в христианском мире. Турецкий полумесяц поселился на куполах византийских храмов. Христианские песнопения сменились пронзительным голосом моллы, призывающим ранним утром к намазу молящихся. Очутившись в полном одиночестве, потеряв единственного союзника, Грузия оказалась один на один с мусульманским Востоком. Великая ночь опустилась на Грузию, — «Горе Картли» — так назовет ее грузинский поэт, испытавший на себе всю горечь того мрачного времени. Пошатнулся, дал трещину народный дух, народ позабыл о той миссии, которую с честью выполнял он испокон веку перед христианским миром. В культуре усилились восточные тенденции: «Покаянный канон» и «Ты есть виноградник»* сменились «Свечой и мотыльком» и «Соловьем и розой»**. Непримиримость и произвол воцарились в

---

* «Покаянный канон», «Ты есть виноградник» — образцы древнегрузинской духовной христианской поэзии.

** «Свеча и мотылек», «Соловей и роза» — поэтические произведения грузинского поэта царя Теймураза I. В них особенно чувствуется влияние персидской поэзии.

стране. Храм любви и благости бездействует. Померкло сияние древнебиблейского мира, и лишь изредка вспыхивает оно в воображении поэта.

Я храм нашел в песках. Средь тьмы
Лампада вечная мерцала,
Неслись Давидовы псалмы,
И били ангелы в кимвалы.

Но если и озаряли время от времени эти видения воображение поэта, то они тут же подавлялись ощущением трагизма безысходной реальности. И, причастный божественным явлениям, всего минуту назад внимающий волшебным струнам лиры Давида, он вновь и вновь возвращается к безрадостной повседневности, издавая, подобно легендарному царю, псалмовый вопль:

Не возведет на этот раз
Моя любовь другого крова,
Где прах бы я от ног отряс
И тихо помолился снова.

(Н. Бараташвили, пер. Б. Пастернака)

Так, глядя на разрушенные храмы и угасшую лампаду, в сумрачных лабиринтах истории ищет выхода грузинская душа.

И грузинский еврей так же остро переживает горькую участь Грузии, ибо меч, занесенный над Грузией, занесен и над ним, и в ее кровавой одиссее достанется и ему безрадостная доля. Вместе с грузинским поэтом он так же горько скорбит по видениям минувшего прошлого.

Вспоминаю и я свое детство,
Слышу голос лиры Давида...
Жена Потифара,
Сраженная красотой Иосифа,
И Сидония, и Светицховели,
И нашедший здесь приют
Абиатар.

(Тициан Табидзе)

Но блаженная пора детства прошла, нет уже ни Иосифа, ни Абиатара, и, слившись с Светицховели, окаменела в истории душа Сидонии, печально безмолвствует многострадальная лира Давида, дожидаясь порывов нового ветра...

Лира Давида.

Согласно народному преданию, царь-пророк повесил свою лиру на дворцовой ограде в святом Иерусалиме. Весь день до самой полуночи она безмолвствовала, но в полночь с первым порывом живительного северного ветра, овевавшего храмы и крепостные стены Иерусалима, лира, качнувшись, начинала звенеть. Пробудившись от звона струн, царь-поэт выходил из своих покоев, снимал со стены лиру и до самого рассвета слагал свои бессмертные псалмы. Ведь сказано же в одном из них:

Пробудись, лира,
Разбужу я рассвет.

А в храмах Грузии безмолвствует лира Давида, затаившись, «помня лучшие времена», дожидается она порывов нового ветра. Но тщетно взывают из глубины веков души предков к ночному небу:

Пробудись, лира,
Разбужу я рассвет...

Издалека же приходят все более и более тревожные вести.

И снова **Польша**, начало XIX века.

В документах Сейма мы читаем:

«Евреи, составляющие одну седьмую часть населения нашей страны, представляют собой угрозу уничтожения нашего народа, необходимо принять против них срочные меры. Покорнейше просим вас, всемилостивейший государь, вовремя обратить мудрость разума вашего на нашу беду. Еврейский народ, полностью отличающийся от нас языком, религией и обрядами, непомерно быстро увеличивается в своей численности и в ближайшем будущем станет превосходить коренное христианское население страны, а к каким последствиям это приведет, вы сами можете себе представить. А посему покорнейше просим ваше королевское высочество вынести на очередную сессию Сейма вопрос о еврейской реформе, что столь необходимо для свободного и мирного развития нашей страны. В первую голову считаем самым необходимым и безотлагательным освободить их от занятий торговлей на основе обнародованного ранее декрета и призвать их в рекруты».

На фоне этого документа давайте еще раз вспомним справку З. Чичинадзе об атабеге Самцхе, отозвавшем евреев с

войны: **они, мол, руководят торговлей, а потому должны быть освобождены.** Здесь же напротив: **«Освободить евреев от занятия торговлей и призвать в рекруты»...** Рекрутство это еще не так страшно: с течением времени усилятся такие тенденции, что подобные заявления покажутся детской игрой.

...А в Грузии в ту пору — беспросветная ночь, в церквах и синагогах Мцхета с мольбой взывает к небу слившаяся с вечностью душа пророка:

Пробудись, лира,
Разбужу я рассвет...

А рассвет...

* * *

После раздела Польши (конец XVIII века) большая часть евреев оказалась в Российской империи. В 1801 году на престол России восходит Александр I. По его приказу создается чрезвычайная комиссия, которой следует «определить» права и обязанности российских евреев. Большинство членов комиссии единственно правильный путь решения еврейского вопроса видели в «исправлении» самих евреев. «Исправление» подразумевало отказ от национальных обычаев и традиций и полную русификацию еврейского населения.

В 1804 году выносится чрезвычайное постановление: для проживающих в России евреев установить «черту оседлости» — евреям запрещалось жить в деревне. Начинается массовое переселение в город, однако и город также оказывается закрытым для евреев: чиновнический аппарат России утверждает, что города, находящиеся в «черте оседлости», и без того «перегружены» неимущими евреями и что для «прибывающих» из деревни евреев нет места...

1825 год — на престол восходит Николай I. Он недоволен темпами «исправления» евреев и с целью ускорения этого процесса вырабатывает следующие рекомендации:

1. Срочно обратить евреев в христинскую веру. В случае же надобности применить и силу.

2. В русской армии нехватка рекрутов; ряды ее следует пополнить евреями.

3. Проживающие в «черте оседлости» евреи детей своих должны отдать в специально отведенные для них школы, где обучение ведется исключительно в русском духе.

В 1826 году устанавливается строгая цензура на еврейские издания: по всей империи печатание еврейских книг раз-

решено только лишь в двух городах — Житомире и Вильно и то под строжайшим надзором.

1840 год: обнародован законопроект «Для определения мер коренного преобразования евреев в России», их вынуждают отказаться от традиционных ритуалов, от национальной одежды, от собственной религии. По степени «полезности» все еврейское население делится на пять категорий: «бесполезным», т. е. «неисправимым» евреям срок службы в рекрутах увеличивают в пять раз.

Осуществить законопроект Николаю I не довелось.

1855 год: на престол восходит Александр II, в империи наступает век преобразований, то есть век «великих реформ»; часть этих реформ коснулась и евреев: право на проживание за чертой оседлости дается купцам I гильдии, солдатам николаевской армии и т. д.

Но недолго длился медовый месяц русского «либерализма».

С 70-х годов начинается наступление на «нерусское», и в первую очередь еврейское население. Славянофилы ведут антиеврейскую пропаганду, призывают население страны на борьбу против еврейского «засилья», составляются списки «опасных для России элементов», в самом начале этих списков, как правило, упоминаются евреи, представителей евреев изгоняют из Государственной думы, закрывают еврейские школы, раввинские училища; в прессе учащаются антисемитские выступления.

1871 год: в Одессе вспыхивают еврейские погромы.

1877-78 годы, русско-турецкая война: журналы и газеты империи, соревнуясь между собой, бранят и поносят евреев.

1881 год: с убийством Александра II по российским губерниям вновь прокатилась волна антисемитского движения. В целом ряде городов — в Елизаветграде, а затем в Киеве и Одессе устраиваются массовые еврейские погромы. Правительство, вместо того, чтобы усмирить, подстрекает и без того распоясавшуюся толпу, всю тяжесть преступлений сваливают на евреев — они, мол, притесняют коренное население. После этого, как отмечает Илья Чавчавадзе («Иверия», 1881 год, № 6), «что удивительного в том, что несознательный и обнищавший народ увидел бы врага в каждом еврее и выместил бы на нем ту злость, которая в течение нескольких сотен лет таилась в его сердце»...

Конец 1881 года: погромы в городах России дали толчок еврейским погромам в Варшаве.

Май 1882 года: издается знаменитый декрет Игнатьева (тогдашнего министра внутренних дел России), в котором сформулированы «временные правила»: евреям даже в самой «черте оседлости» запрещено возвращаться в деревни, приобретать недвижимое имущество за пределами города, арендовать поместья и участки земли. Государственная политика ставит себе целью «очистить» Россию от евреев. Обер-прокурор Синода Победоносцев торжественно провозглашает: с помощью наших мероприятий одна треть евреев покинет Россию, одна треть вымрет, а еще одна треть смешается с коренным населением страны — с русскими и окончательно «исправится».

В том же 1882 году в городе Балта на границе России с Румынией устраиваются массовые погромы евреев.

1883 год: под председательством графа Палена создается «Верховная комиссия по пересмотру законов о евреях», цель которой — хоть сколько-нибудь облегчить участь евреев России. Пять лет длилась работа над законопроектом, после чего царь отклонил его...

1884 год: волна погромов вновь перекинулась в самое сердце России: эстафету на сей раз принял Новгород.

Евреи пытаются спастись бегством за границу, бегут в Швейцарию, Германию, Америку, бегут от погромов и вместе с тем от воинской службы, поскольку армия России насквозь пропитана ядом антисемитизма. Однако подавшихся за рубеж евреев в пути настигает указ, согласно которому с лиц, направляющихся за границу, взыскивается крупный денежный штраф. Евреи вынуждены отказаться от отъезда за границу и начинают вновь перемещаться в глубинные города России. Однако имперский шовинизм и в этой ситуации находит «выход». Большая часть провинциальных городов России объявляется деревнями, в деревнях же, согласно существующему законодательству, евреям запрещено жить...

Июль 1887 года: правительство устанавливает численную норму учащихся евреев. «Привилегии» распространяются лишь на живущих в «черте оседлости» евреев. 10% их детей будет допущено в местные училища, в других местах эта норма не превышает 5%. Что касается Москвы и Петербурга, здесь предусматривается лишь 3%.

1889 год, еще один новый закон: евреям запрещено работать в государственных учреждениях, запрещена также адвокатская практика. Пресса предоставляет страницы журналов и газет для антисемитских выступлений.

И в такое вот время под сумрачным небом России, по

добно раскатам грома, прозвучал голос из Ясной Поляны, напоминая миру о всесильности еврейской души и призывая одурманенных ядом шовинизма соотечественников опомниться:

«Что такое еврей? Этот вопрос вовсе не такой странный, каким он может показаться на первый взгляд. Посмотрим же, что это за особое существо, которого все властители и все народы оскорбляли и притесняли, угнетали и гнали, топтали ногами и преследовали, жгли и топили и который назло всему этому все еще живет и здравствует. Что такое еврей, которого никогда не удавалось сманить никакими соблазнами в мире, которые его притеснители и гонители предлагали ему, лишь бы он отрекся от своей религии и отказался от веры отцов?

Еврей — это святое существо, которое добыло с неба вечный огонь и просветило им землю и живущих на ней. Он родник и источник, из которого все остальные народы почерпнули свои религии и веры.

Еврей — первооткрыватель культуры. Испокон веков невежество было невозможно на Святой Земле — и еще в большей мере, чем нынче даже в «цивилизованной» Европе. Больше того, в те дикие времена, когда жизнь и смерть человека не ставились ни во что, рабби Акива высказался против смертной казни, которая считается нынче вполне допустимым наказанием в самых культурных странах.

Еврей — первооткрыватель свободы. Даже в те первобытные времена, когда народ делился на два класса, на рабов и господ, Моисеево Учение запрещало держать человека в рабстве более шести лет.

Еврей — символ гражданской и религиозной терпимости. «Люби пришельца, — предписывал Моисей, — ибо сам был пришельцем в стране Египетской!» Эти слова были сказаны в те далекие варварские времена, когда среди народов было общепринято порабощать друг друга.

В деле веротерпимости еврейская религия далека не только от того, чтобы вербовать себе приверженцев, а напротив— Талмуд предписывает, что если нееврей хочет перейти в еврейскую веру, то должно разъяснить ему, как тяжело быть евреем, и что праведники других религий тоже унаследуют царство небесное.

Еврей — символ вечности. Он, которого ни резня, ни пытки не смогли уничтожить; ни огонь, ни меч инквизиции не смогли стереть с лица земли, — он, который первым возвестил слова Господа, он, который так долго хранил пророчество и передал его всему остальному человечеству, — такой на-

род не может исчезнуть. Еврей вечен, он — олицетворение вечности».

(Лев Толстой, 1891 год).

Свое апологическое отношение к еврейскому народу и еврейской культуре Толстой выразил еще и тем, что уже в преклонном возрасте стал изучать древнееврейский язык. А к концу жизни, как рассказывают, он постоянно повторял слова Екклесиаста:

«Я, Екклесиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме;

И предал я сердце мое тому, чтоб исследовать и испытать мудростию все, что делается под небом: это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем.

Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот, все — суета и томление духа!

Кривое не может сделаться прямым и чего нет, того нельзя считать.

Говорил я с сердцем моим так: вот, я возвеличился и приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом, и сердце мое видело много мудрости и знания.

И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость: узнал, что и это—томление духа;

потому, что во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь».

Поистине тщетно прозвучали слова пророка из Ясной Поляны: призывный голос его остался лишь «гласом вопиющего в пустыне»...

Как, однако, знаменательно, что пуришкевичам, марковым и прочим подонкам антисемитам в русской империи предоставлена была полная свобода деятельности, тогда как Льва Толстого (правда, по совсем иной причине и с иной подоплекой) в 1901 году, ровно через десять лет после написания вышеупомянутых слов, предала анафеме русская православная церковь. Текст обвинения был подписан обер-прокурором Синода Победоносцевым, тем самым Победоносцевым, который еще в 1882 году предлагал правительству злосчастный план «очищения» России от «жидов»...

1903 год: в Кишиневе громят евреев. Число пострадавших на этот раз относительно «невелико»: по официальным данным погибло «всего» 50 человек, 500 получили увечья,

что касается разгромленных домов и разграбленных лавок, то это «и не стоило принимать во внимание».

Правосудие же выносит «соответствующее» решение:

«Иверия», 1904 год, № 289.

«На днях Судебная палата Кишинева рассмотрела дело 30 человек, обвиняющихся в еврейском погроме. Суд приговорил к тюремному заключению 17 человек сроком от 5 до 10 дней, двоих от 20 дней до двух месяцев, 11 человек были оправданы».

На такой вот «благодатной» почве и создаются всевозможные черносотенные организации, из коих наибольшей желчностью и человеконенавистничеством отличался «Союз русского народа», состоявший из хулиганов и наемных бандитов, представлявших собой ударную силу в погромах, с соответствующим призывом:

«Бей жидов, спасай Россию!»

1905 год, 17 октября: опубликован правительственный манифест, дающий гражданам России право свободных действий. Только этого и нужно было черносотенцам: при поддержке полиции и военных в Одессе начинается невиданный погром, который длится несколько дней.

Послушаем теперь **Давида Клдиашвили***.

«Разъяренная толпа под предводительством черносотенцев безжалостно давила, немилосердно уничтожала еврейство, беспощадный погром евреев совершался с позволения и при попустительстве правительства. То, что происходило на улицах, напоминало страшный сон: кровь лилась на каждом шагу; прямо на улицах валялись бесчисленные жертвы, погибло несметное количество людей...»

(«На моем жизненном пути»)

Падали наземь обессиленные и беззащитные, но не было никого, кто бы заступился за них и протянул руку помощи. Тогда отчаявшийся народ вновь обратился к своей единственной надежде — Богу: впереди обреченного на смерть еврейства белобородые старцы с наброшенными на плечи белоснежными ритуальными покрывалами (по-еврейски: «цицит») со свитками Торы в руках запели древнебиблейские молитвы, ступая по превращенной в кровавую бойню улице:

«Шема Йисраэл Адонай Элогэйну Адонай Эхад».

---

* Давид Клдиашвили — классик грузинской литературы.

(«Слушай Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть»).

Озверевшие палачи двинулись в сторону молящихся, направив на них оружие. Неожиданно от толпы отделился некий юноша и заслонил собой беззащитных старцев...

«Иверия», 1905 год, в номерах от 28, 29 и 30 октября помещено следующее объявление:

«Евфросинья Каихосровна Клдиашвили с глубоким прискорбием извещает родных и близких о безвременной кончине дорогого и любимого сына — лаборанта Одесского университета Александра (Сабы) Григорьевича Клдиашвили, убитого в Одессе 20 октября, и просит оказать милость явиться в воскресенье 30 октября в 12 часов пополудни в церковь Анчисхати на поминальную панихиду по душе усопшего».

Давид Клдиашвили:

«Погиб молодой ученый, человек редкой души, личность всеми любимая. Глядя, как уничтожают людей, он не мог оставаться дома и вышел на улицу, чтобы протянуть руку помощи несчастным: но и сам был убит — пуля, пущенная извергом, попала ему в лоб. Гибель его вызвала глубокую скорбь в обществе...»

Прах убитого был перенесен из Одессы в Грузию. Вот как описывает Давид Клдиашвили его похороны:

«...Было утро, когда корабль пристал к берегу. Гроб с телом покойного спустили с корабля на берег. Никого, кроме родных и близких, не подпускали к нему, но один солдат все-таки сумел прорваться к гробу. Я хорошо помню его взволнованное лицо, его дрожащий, срывающийся голос, которым обратился он к покойному:

— Дорогой человек, ради нас пожертвовал ты своей жизнью, наукой, ты вышел из дому, чтоб заступиться за обездоленный народ... И тебя постигла та же участь, что и наших, и мы вечно будем помнить твое имя, такое для нас дорогое имя! Спасибо, спасибо тебе, дорогой человек! Проклятье убийцам твоим; проклятье — извергам!

Горько рыдая, отошел он от гроба.

Этот солдат был евреем...

Все евреи Батуми собрались на площади Азизие, чтоб почтить память убиенного. В голос рыдая, слушали они обращенные к покойному проникновенные слова взошедшего на трибуну раввина...»

«Цнобис пурцели» («Вестник»), ноябрь 1905 года.

«В тот день весь Кутаиси был на запоре. Не осталось учреждения, общества, ремесленников, училищ, учащихся, чиновников, не украсивших гроб венками».

Газета **«Хиди»** («Мост», израильская грузиноязычная газета), 12 июня 1987 года рассказывает о событиях тех дней.

«Труппа еврейской оперетты, возложив венки на гроб, устроила отпевание на еврейском языке «эл мале рахамим».

В Тбилиси, в храме Сиони, была назначена в честь памяти Сабы Клдиашвили гражданская панихида. Присутствовал на ней и Илья Чавчавадзе.

В вышеупомянутом номере газеты «Хиди» воспоминание известного грузинского режиссера Михаила Корели:

«В 1906 году я после недавней женитьбы вместе с супругой отправился в Париж. Нуца в то время ждала первого ребенка и нуждалась в серьезном лечении. Неоценимую услугу в этом деле оказал нам один русский еврей, студент по фамилии Циклис. Когда мы поинтересовались у него, чем заслужили мы такое внимание и уважение, он ответил нам вопросом на вопрос: — Знакомы ли вы были с молодым ученым Сабой Клдиашвили?

— Разумеется, были знакомы, — ответили мы ему.

— Наверное, вы знаете и то, что человек этот, один из лучших среди грузин, пожертвовал собой в Одессе ради еврея?

— Да, знаем.

— Тогда почему вас удивляет, что я, чем могу, хочу почтить память Сабы Клдиашвили?».

В Кутаисском государственно-этнографическом музее на стенде, посвященном Сабе Клдиашвили, вместе с другими экспонатами вывешена лента с венка, украшенная надписью на еврейском языке...

И все-таки кем он был — Саба Клдиашвили, который не колеблясь пожертвовал собой ради беззащитного народа?

В той же газете читаем.

«Александр (Саба) Клдиашвили родился в г. Кутаиси 22 января 1878 года в семье военнослужащего Григола Луарсабовича Клдиашвили... У Григола было 11 детей. Старший брат Александра Луарсаб прекрасно владел английским, французским и немецким языками. Когда картвелолог (грузинолог) Марджори Уордроп, переводившая «Витязя в тигровой шкуре» на английский, находилась вместе со своим братом Оливером в Кутаиси, Луарсаб выполнял роль переводчика...»

О матери Сабы — Евфросинье Клдиашвили — Давид

Клдиашвили, которому она приходилась тетей (женой дяди), отзывался так:

«Представительной женщиной была тетя Ефро, исполненная материнского тепла, необычайно ласковая... В доме ее собирались деревенские девушки, которых она обучала грамоте, рукоделью, особенно искусству ткать ковры, что помогло встать на ноги многим крестьянским семьям. Будучи любимицей всей деревни, она, в свою очередь, платила им той же любовью, и эту свою **любовь к людям, готовность всегда прийти на помощь каждому внушила и своим детям.** В Кутаиси она принимала живое участие в кружке любителей сцены, была превосходной исполнительницей ролей... Ее семья взрастила архитектора, строителя сегодняшнего государственного университета Симона Клдиашвили, дочь Мариам — по мужу Дзнеладзе, была первой грузинской певицей, окончившей консерваторию и внесшей значительный вклад в развитие грузинской музыки; трагически погибший сын Александр Клдиашвили был молодым ученым-химиком, подававшим большие надежды, занимал должность лаборанта Одесского университета...

Часто бывал в их доме тогда еще молодой, делающий первые шаги в области музыки, а ныне почитаемый и всеми нами любимый композитор Захария Палиашвили»...

Вот, в какой атмосфере воспитывался Саба Клдиашвили, вот, где впитал он в себя чувство любви к ближнему, способность сопереживания, заставившую совершить его этот бессмертный поступок, хоть и оказавшийся для него роковым, но озаривший вечным сиянием его светлое имя мученика...

Знаменательно и символично, наверное, и то, что, по словам Давида Клдиашвили, **«мать Сабы Клдиашвили, тетя Ефро, происходившая из семьи квишхетских Кипиани, была ближайшей родственницей Димитрия Кипиани»**, того самого Димитрия Кипиани, который первым из грузинских деятелей выступил против тогдашнего экзарха — Павла Лебедева, осудив его низкий поступок, а именно — предание анафеме вместе с Иосифом Лагиашвили, убийцей Чудецкого, всего грузинского народа. Возмущенный этим фактом Димитрий Кипиани, бывший в то время предводителем дворянства Кутаисской губернии, потребовал, чтобы человеконенавистник — экзарх покинул Грузию, вследствие чего сам он был выслан в Ставрополь, а затем в 1887 году предательски убит...

Так замкнулся круг и переплелись судьбы двух достойных сыновей своей отчизны — Димитрия Кипиани и его млад-

шего родственника Сабы Клдиашвили. Один вступился за честь Грузии, второй — встал на защиту задавленного и беззащитного еврейства. А между тем судьбой как одного, так и второго распорядилась одна и та же беспощадная рука, оба этих смертельных выстрела были произведены из одного оружия.

В обоих случаях курок был спущен рукой самодержавия России...

А кровавая вакханалия все не прекращалась.

1906 год. В Белостоке устраивается страшный еврейский погром, сопровождающийся разнузданной антисемитской кампанией реакционной русской прессы. В погромах принимают участие полиция и военнослужащие, которые не только не понесли за это наказание, а напротив, были представлены к награде...

Михаил Джавахишвили:

«В течение четырех дней город находился в руках грабителей. В течение четырех дней варвары двадцатого века, превзошедшие в своих зверствах и жестокости монголов и первобытных дикарей, плавали в лужах невинной крови и, опьяненные этой кровью, уничтожали все на своем пути, все, что попадалось под руку. И хотя дело это еще не рассмотрено подробно, и хотя еще официально не составлен обвинительный протокол, тем не менее уже существуют явные доказательства того, что нападение на евреев в Белостоке было заранее подготовлено, сначала же был выработан план нападения, приказ о котором был так же заранее дан издалека, из Петербурга.

Мы и до того знали, что приказ о погроме шел из Петербурга, но среди нас немало таких, которые не могут поверить в этот поистине невероятный факт. Сейчас уже завеса спала и все убедились в том, что за этой тайной завесой в Петербурге кто-то издает приказы о погромах, составляет план, и рабски преданная ему полиция последовательно выполняет диспозицию.

Настанет ли конец этому варварству? И есть ли предел человеческому терпению? Кто знает, возможно, и нас постигнет та же участь, не сегодня, так завтра?»

1907 год, 3 июня: в стране устанавливается диктаторский режим Столыпина. Несмотря на видимость «порядка», с трибун Государственной думы вновь раздаются желчные призывы Пуришкевича, Маркова и их собратьев, упорно требующих «очистить» Россию от евреев.

1911 год: начинается т. н. «дело Бейлиса», которому предъявлено обвинение в убийстве (с ритуальной целью) ребенка А. Ющинского. Вновь распространяется страшный слух, новой клеветой пополняется многовековый перечень «кровавых наветов», насчитывавший до сего времени почти сто пятьдесят случаев...

Прискорбно то обстоятельство, что в какое-то время удалось экспортировать этот негодный товар и в Грузию: имеются в виду события 1877 года, в Кутаиси и в Сурами, особенно же «дело Сары Модебадзе» из Сачхере (1878 г.), возмутившее всю передовую грузинскую общественность.

Илья Чавчавадзе, газета «Иверия», 1879, № 8:

«Это дело, которое привлекло к себе внимание почти всей страны и за которым в процессе суда следили почти все журналы и газеты как наши, так и другие, было основано на одном лишь предположении, ограничено предположением, окутано предположением и завершено также предположением... В еврейском деле, где решалась судьба не только восьми человек, но и почти всех наших евреев, мы не видим ни щита, ни меча правосудия...»

Знаменательно, что и сегодняшняя израильская пресса по-своему оценивает связанные с «делом Сары Модебадзе» события и дает соответствующую квалификацию тогдашним явлениям:

«Следует отметить, что распространение и развитие антисемитизма в Грузии было следствием влияния чиновнического аппарата самодержавия, но несмотря на это, антисемитизм здесь никогда не был проявлен в таких ужасных формах, как на Западе. Причину этого следует искать в глубоко гуманистических традициях грузинского народа» (Сборник «Пасхальная агада», 1980 г., с. 30).

Безусловно, «дело Сары Модебадзе», равно как и сурамские и кутаисские события, было инспирировано шовинистически настроенными служителями самодержавия. Послушаем снова Захария Чичинадзе:

«В старину никто не слыхал ни о чем подобном в Грузии. Было бы иначе, ясное дело, сохранилась бы какая-нибудь справка об этом в грузинских исторических хрониках, в самом «Житии Картли» этому явлению было бы отведено место. Ясно, что и царь Вахтанг в своей книге правосудия упомянул бы об этом. Но ни в его правосудии, ни в правосудии Агбуги и Беки, ни в каких-либо других законодательных книгах ни словом не упоминается ни о чем подобном... Не оставили бы

незамеченным этого ни законодатели наши, ни историки, ни духовные наставники...»

«Иверия», 1895 г., 12 ноября:

«Одно из наиболее ценных качеств грузинского народа — готовность прийти на помощь и способность уживаться со всеми нациями и вероисповеданиями, нашедшими себе приют в Грузии. Великолепный пример дружелюбия и терпимости являет собой такая великая личность, каким был Давид Строитель. Подобное поведение его, безусловно, было плодом традиций и обычаев народа, чьим сыном он являлся. Он с одинаковой любовью и уважением относился ко всем своим подданным, к какой бы нации или религии они не относились...»

Ниже автор статьи делает своего рода экскурс в историю, говоря о еврейском народе, который, по его словам, «став в религии наставником всего передового человечества, научив его единобожию, дал миру священные заповеди, дал Моисея, Соломона Мудрого, Исо Зераха, Юдифь, Баруха, Иеремию, дал Иисуса Христа, Священное писание, Спинозу, Мендельсона, Берне, Гейне, Маркса и тысячи других великих наставников человечества...» Статью подписывает **Антон Пурцеладзе.**

А в России в то время бушует «процесс Бейлиса», который угрожает сметением на своем пути всего еврейства. В русской прессе публикуются статьи черносотенцев, в Государственной думе исходят ядом антисемитизма славянофилы.

Интересно, как оценивает этот процесс грузинская общественность того времени.

«Имерети», 1913 г., 16 октября:

«Процесс Бейлиса полностью откинул завесу и сорвал маску с недуга официальной России, с ее вырождения и низости. Диагноз больной плоти России определен, и ясно одно, для ее оздоровления необходимо удалить и отбросить эту больную часть ее. Много еще предстоит подобных сюрпризов до того, пока в больном теле не будут уничтожены поселившиеся в нем, под видом «истинно русских», бациллы.

Мало им было погромов в Кишиневе и Белостоке, мало им было нападения на евреев в Киеве, не хватило им изгнания и переселения тысяч евреев, отбросы русской жизни не могут удовлетвориться пролитой доныне еврейской кровью и жаждут широкого поля деятельности для своих низменных устремлений, хотят снова заставить матерей лить слезы над детьми, жен над мужьями и весь народ предать мукам распятия...»

И наконец: «Бейлис оправдан», — сообщает газета «Ахали азри» («Новая мысль», 1913 г., № 22).

«Месяц длился этот процесс. Целый месяц вся страна взбудораженно ожидала вынесения судом приговора: обвинили бы многомиллионный еврейский народ в отвратительном преступлении — использовании христианской крови — или нет, и вот 28 октября судьи выносят приговор:

«Не виновен».

В шесть часов вечера судьи огласили решение присяжных заседателей. Председатель объявил Бейлису — ты, мол, свободен.

Стража опустила сабли.

Заседание закрылось».

Эхо процесса Бейлиса еще долго не смолкало на страницах грузинской прессы. Газета «Ахали азри» (1913 г., № 27), наряду с другими материалами публикует мнение **Максима Горького о процессе над Бейлисом:**

Сегодня в России, по его словам, удивительный праздник — победило правосудие, победил честный народ.

Этот приговор — весьма значительное явление. Он, как гвоздь, должен быть вбит в память России...

Но, как видно, для того, чтобы «вбить этот гвоздь», недостаточно было одного лишь благородного желания Максима Горького. Сразу же после окончания процесса черносотенец Замысловский, исполнявший на этом процессе «функцию» истца, во всеоружии начинает объезжать города России, дабы еще раз выплеснуть яд на и без того пораженное хроническим недугом антисемитизма население. По сообщению прессы, в его «просветительский» маршрут включена была и Грузия.

Грузия же отказалась принять Замысловского: «Наш народ и не подумает слушать его лекции» — во всеуслышание объявила газета «Эри» («Народ», 1913 г., № 46).

1914 год, 19 июля (1 августа). Россия вступает в первую мировую войну.

В ходе войны еще более усиливается дух антисемитизма. Командование армии разжигает среди солдат антиеврейские настроения: евреев обвиняют в австро-германском шпионаже. Солдат еврейского происхождения берут в заложники, устраивают скорые полевые суды, следует расстрел за расстрелом. В прифронтовых поселениях устраиваются еврейские погромы..

1915 год: полководческая мысль России терпит крах, русские оставляют Галицию. В несостоятельности командования

обвиняются евреи. Их обвиняют в измене. Вот что пишет газета «Сахалхо пурцели» (1916 г., 11 марта, № 524):

«Государственная дума России

Депутат Замысловский: Не могу говорить спокойно о жидах, поскольку они изменники родины...

Депутат Чхенкели: Прошу не говорить так. Это не парламентское выражение.

Замысловский: Какие позорные времена, когда в Государственной думе России нам не позволяют говорить о жидах!

Чхенкели: Вам говорят, не употребляйте подобных слов!

Замысловский: Именно, причина дороговизны тоже главным образом в жидах.

Чхенкели: Хулиганы!

Председатель: Выведите из зала депутата, который произнес это слово.

Чхенкели выдворили из зала заседаний».

...Но даже антисемитское «переливание крови» не может спасти находящуюся при последнем издыхании империю: катастрофически падает курс российской валюты. Великорусскому шовинизму кажется, что и в этом замешана «еврейская рука»...

Наслушаешься всякого такого и «невольно тебе вспоминается один эпизод из Талмуда: царь Навуходоносор, задумав покорить Иерусалим, прежде пустил стрелу, сказав при этом: — Земля, на которую упадет стрела, будет разгромлена; пустив стрелу на юг, он попал в Иерусалим, пустил ее на север — попал в Иерусалим, пустил на запад, попал в Иерусалим и, пустив стрелу на восток, снова попал прямо в Иерусалим.

Таково положение нашего несчастного народа и сегодня. Куда ни посмотришь, повсюду увидишь терпящих страшные муки евреев: мать ищет сына и не находит его, сын тоскует по отцу, но не может с ним встретиться. Две тысячи шестьсот лет назад сидели на берегу вавилонской реки Евфрат плененные отцы наши и оплакивали возлюбленную родину свою, сегодня же, в двадцатом веке, они так же, как и тогда, плачут на берегах реки Волги...» Раввин евреев Они **Давид Баазов**, газ. «Самшобло» («Родина», 1916 г., № 317).

«Плач Израиля у рек вавилонских заставляет нас пла-

кать и поныне». Грузинский поэт **Тициан Табидзе,** газ. «Сакартвело», 1917 год, 28 июня, № 139.

Вот какая, примерно, картина вырисовывается в исторической России. Как видно, это не такое уж завидное наследие...

. . . . . .

«Сумеет ли кто-нибудь постичь всю глубину печали, теснящую душу еврея, когда на закате солнца бредет он по дороге, затянув свою скорбную мелодию» — писал когда-то Константин Гамсахурдиа.

Но не угасла душа народа: в ней все еще тлела неистребимая воля доблестных предков, которые в разгромленной Веспасианом Иудее в течение трех лет защищали свой последний бастион — крепость Мацаду и самоотверженно отражали набеги римских легионов до тех пор, пока, убедившись в бессмысленности дальнейшего противостояния, они сами же не покончили друг с другом. Когда римляне в конце концов проникли в крепость, увидели — все девятьсот защитников ее мертвы, а посреди зала накрыта великолепная трапеза, что больно кольнуло предводителя легионеров. Подавленный этим зрелищем, он вынужден был признать — мы не смогли покорить народ, захватили лишь вот эту голую скалу. Так герои Мацады дали понять разнуздавшейся империи, что свобода — наиценнейшее сокровище, и никакие земные удовольствия не восполнят утрату ее...

И этот неукротимый дух все еще тлел в усталых после двухтысячелетнего скитания иудеях, в ожидании новых ветров истории, чтоб вспыхнуть с новой силой и, говоря словами одного грузинского писателя, преподать поистине бессмертный урок миру...

1894 год. В Париже ведется судебный процесс над офицером французской армии Альфредом Дрейфусом, которому, как еврею предъявлено обвинение в государственной измене. Вся эта политическая вакханалия, инспирированная юдофобами страны, была рассчитана на низменные инстинкты темных масс, с ужасающими лозунгами в руках наводнивших улицы Парижа, угрожая уничтожением всему еврейскому населению.

За ходом процесса напряженно следил молодой, в то время еще неизвестный журналист Теодор Герцль, на которого произвел тяжелейшее впечатление этот позорный, оскорбляющий достоинство целого народа процесс. Вследствие этого он убеждается, что единственная гарантия спасения евреев — создание самобытного независимого государства.

1897 год. Город Базель в Швейцарии, I Всемирный конгресс сионистов. Герцль выдвигает оказавшуюся пророческой программу создания независимого еврейского государства.

Израильское государство должно быть создано в течение пятидесяти лет!

Большинство встретило это заявление со снисходительной улыбкой: Герцля назвали неисправимым мечтателем, а программу его — несбыточной мечтой. Герцль, тем не менее, убежден:

«При желании это может стать не только мечтой!»

Каково положение в этом смысле в Грузии?

Газеты и журналы того времени пестрят еврейской тематикой: на идею создания евреями собственной независимой родины сначала же горячо откликнулась грузинская общественность, с симпатией и сочувствием воспринявшая ее, хотя идея эта и казалась поначалу неосуществимой:

«Возможно ли рассеянное по всему свету еврейство вместить в врата древнего Сиона? Ну-ка, подумай, в какой колокол надо забить, чтобы суметь вернуть стоящий на краю пропасти народ. Какие сладкозвучные струны нужно заставить звучать, чтобы еще раз напомнить народу божественный плач лиры Давида...»

Так пишет из Германии студент Константин Гамсахурдиа в 1913 году.

Зато Иродион Эвдошвили иного мнения:

О реки наши, Тигр и Евфрат!
Мы не исчезли с лица земли!
Сердца по-прежнему стремятся к вам,
И взор, как прежде, устремляем к вам.
Зуб за зуб! Око за око!
Врага оковы этим разорвем.
Вновь Моисея заповедь спасет Израиль.
Слушай, народ Израиля.
Зуб за зуб! Око за око!
Возьмемся мы вновь за меч Давида.
Путь наш к Сиону! Ради Сиона!
Слушай, о, слушай народ Израиля.

Сорок лет шел пророк Моисей к земле обетованной.

Сорок лет вел он вышедших из Египта иудеев по раскаленной пустыне.

А более позднему преемнику его потребовалось пятьдесят лет на взятие нового Иерихона.

1948 год. По решению Организации Объединенных Наций провозглашается создание независимого государства Израиль.

Вновь возродился дух народа.

Вновь засияли нимбы на обновленных небесах Палестины.

Со всех четырех частей света устремились к заново обретенной отчизне некогда утратившие родину евреи. Или, как говорил Бог Ветхого Завета:

«И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран и приведу вас в землю вашу». (Иезекииль, 36, 24).

Евреи Грузии тоже присоединились к этому невиданному доселе паломничеству и устремились к блаженной обители своей исторической юности.

Не уподобились они блудному сыну, отступившемуся от своего приемного отца, и кинулись не на поиски сказочного Эльдорадо, а потянулись к земле обетованной по велению сердца и разума — от любви к любви или, говоря словами поэта, от земли обетованной к земле обетованной.

Не стану вам докучать рассказами о деяниях евреев Грузии в Израиле: дела их говорят сами за себя.

И, таким образом, еще один раз овеществились история и время, еще один раз замкнулся круг, и, подтверждая связь времен, получили новое осмысление слова Кириона Второго, сказанные когда-то в адрес мцхетских евреев.

Тогда: «Каждый удар пульса Иерусалима вибрировал во Мцхета». Теперь: каждый удар пульса во Мцхета вибрирует в Иерусалиме.

А в ханаанских небесах по-прежнему светит библейское солнце, так же, как светило оно пять тысяч лет назад, и каждое утро взирают израильтяне на то, как возвращает поднявшаяся из глубины веков рука пророка ключи обновленных храмов...

* * *

Второе августа 1987 года один из счастливых дней в летописи новой Грузии. В этот день, на празднике пророка Ильи, грузинская православная церковь причислила к лику святых Илью Чавчавадзе. Звон мцхетских колоколов прокатился над всей Грузией и далеким эхом отозвался у древних врат Иерусалима...

С самого утра потянулся народ к храму Светицховели, под сводами которого бесшумно скользила возникшая из древнейших веков тень Сидонии, с хитоном Спасителя в руках и для страны этой — этого удела Богородицы — молила она у

Всевышнего мира и благоденствия. А на амвоне возвышался католикос — патриарх всея Грузии Святейший и Блаженнейший Илья II, возвещая обступившей его со всех сторон пастве, что обитель святых мира пополнилась еще одним именем — именем бессмертного сына Грузии, надевшего на себя терновый венец и принявшего мученическую смерть ради своей отчизны. Вся Грузия от мала до велика с одинаковым воодушевлением приняла эту весть; и никто еще не знал в эти вдохновенные мгновенья, что пройдет совсем немного времени и евреи, выходцы из Грузии, собравшись вместе, благоговейно внесут икону Ильи Праведного в монастырь Креста, поместят ее рядом с фреской Шота Руставели и с собратьями-грузинами вознесут совместную молитву. А пока Илья Второй здесь, в Грузии, с амвона Светицховели благословляет свою паству; под вечер он отслужит заупокойную на могиле Ильи Чавчавадзе на Мтацминда и испросит у Господа мира и спокойствия для людей... И вот все собравшиеся на Мтацминда стали свидетелями необычайного зрелища: за полчаса до начала службы внезапно полил дождь, затем так же неожиданно небо прояснилось и над горой Мама-Давити (Мтацминда — Святая гора) семицветной дугой засияла радуга. И было это воспринято как знамение свыше, будто в наш беспокойный век молил Всевышнего о спасении и долголетии родной земли сопутствующий Грузии бессмертный дух:

И радугу живительную вновь
Яви как добрый знак грядущего спасенья.
(«Видение»)

Не в таком же ли трепетном ожидании взирал и библейский Ной на обновленные небеса первозданного мира, когда он после сорокадневного потопа выпустил из ковчега голубя, взлетевшего в небо: небо и в тот день озарила радуга, как верный знак единения Господа с Землей, как знак всеобщего мира...

Испокон веку человек стремился к миру на земле, а создавший Библию народ еще издревле объявил его нормой человеческого бытия, составив целую теософическую систему всеобщего мира и единства: «Никакой сосуд не сможет заполниться благословением Господним, кроме мира на земле», — гласит древнееврейская мудрость, аллегорически указывая на то, что даже наивысшая благодать вне мира напоминает собой налитую в разбитый кувшин воду. Мир по еврейски—

«шалом», и этим словом приветствуют евреи друг друга, ибо в отягощенных слезами и кровью тысячелетиях более всего недоставало мира многострадальному народу Израиля. Кто знает, возможно, эта тоска по миру и заставила их дать родному городу название «Ерушалаим», то есть «Ир шалом» — город мира... Этимологический корень слова «шалом» в других вариациях («шалем») означает также целостность, цельность, что, согласно интерпретации еврейских теологов, указывает на то, что от мира на земле до гармонической целостности всего мира — один шаг, ибо каждый человек или народ, каким бы совершенным он ни был, это лишь частица целого и вне союза со всеми, вне любви, он становится ущербным и неполноценным.

Возможно, эта древнебиблейская мудрость и вдохновила одного замечательного архитектора (еврея из Грузии) на создание (как наиболее желаемого символа XXI века) эскиза блуждающих в беспредельности океана вселенной островов с установленными на них гигантскими, символизирующими взаимопонимание и коммуникацию скамьями, на которых изображены храмы всех вероисповеданий. Творческое вдохновение это, возможно, питало учение древнееврейских богословов, проявленное в одной из традиционных молитв — «Отче наш, благослови нас всех, как одного» — и подкреплялось оно благословенной мудростью Руставели и Давида Строителя, даром человеколюбия грузинского народа, освященным католикосом-патриархом Всея Грузии Ильей Вторым, вознесшим Создателю молитву о благоденствии и долголетии двух древнейших многострадальных народов...

Кто знает, возможно, в этой любви и содружестве проявлена глубоко сокрытая мистерия, которая сумеет дать жизненные силы усталому человечеству двадцать первого века.

Кто знает...

Мир Грузии!

Шалом 'ал Исраэль! Сентябрь, 1988 г.

ПОСТСКРИПТУМ:

Тяжелое время переживает Грузия. Столь долго подавляемое стремление к свободе хлынуло неудержимым потоком, всколыхнувшим и поднявшим на поверхность и всяческую грязь и скверну. Разбушевавшаяся стихия все смешала, закрутила в мутном

водовороте. И невозможно стало различить, где правда, а где ложь, где друг, а где недруг; и вот уже брат поднял руку на брата, и обагренный их кровью меч навис над Грузией.

В полной мере и евреи Грузии ощутили на себе разгул зла и насилия: разбой, грабеж, осквернение могил, шантаж и вымогательство, похищение людей, в том числе, что особенно бесчеловечно, детей с целью получения выкупа.

И в довершение скажу о беспрецедентном случае вандализма — из могилы были выкинуты останки, а потрясенным родным был предъявлен беспощадный ультиматум.

Предшествовали всему этому некоторые неосторожные публикации, которые могли быть восприняты как идеологическое обоснование вновь извлеченного на свет недоброй памяти мифа о «всемирном жидо-масонском заговоре», и вот уже вновь используется многократно испытанный прием, суть которого — поиск козла отпущения.

Помню скорбные лица евреев Грузии в те дни. Как удручены были они все — и стар, и млад, как выражали негодование и обиду... и лишь много на своем веку повидавшие старейшины, уединившись в синагоге, в который раз повторяли про себя пронзительные строки Екклесиаста: «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем».

Воистину, под солнцем нет ничего нового. И притеснения, и погромы не внове для евреев. Прошедший через множество испытаний народ с привычным самообладанием выдержал бы и эту локальную несправедливость, но мыслимо ли, чтобы на земле Давида Строителя и Ильи Чавчавадзе проросло семя человеконенавистничества, заставившее изменить сложившимся в веках благостным традициям взаимопонимания и терпимости друг к другу. А это ведь всегда давало право евреям Грузии испытывать гордость перед еврейством всего мира. И еще — не отголосок ли это извечного исторического безобразия, никогда прежде не проявлявшегося здесь, имя которому антисемитизм?

Хочу подчеркнуть, что строки эти не адресованы евреям Грузии. Им и без того все ясно — народ, который вот уже третье тысячелетие живет на этой земле, разумеется, считает себя частью ее истории и любую произошедшую в Грузии трагедию воспринимает как глубоко личную. Я обращаюсь к евреям, живущим за пределами Грузии, дабы события последних лет не были истолкованы ими ошибочно. Понятно, что они не могут оставаться безучастными, сталкиваясь с притеснениями, насилием и ущемлением национального достоинства. Евреи в полной мере испили из этой чаши. Еще живой болью отдается

в сердцах Бухенвальд и Освенцим, еще слышится из Бабьего Яра отчаянный вопль обреченных стариков и детей. Пролитая кровь безвинно убиенных шести миллионов и по сей день взывает к ответу...

...Многим, очень многим пришлось пожертвовать евреям, прежде чем они обрели утраченную некогда родину. Отныне еврейский народ уже не допустит никаких жертв, не допустит, чтоб где бы то ни было безнаказанно притесняли их соотечественников. Сегодня в Израиле для освобождения из плена хотя бы одного израильского солдата немедленно поднимают целые армейские подразделения. Слишком дорога им жизнь каждого соплеменника. Это неписаный закон единства, выстраданный исторический инстинкт национального самосохранения...

Теперь несколько слов об антисемитизме. Следует решительно заявить, что употребление этого слова в отношении грузин неправомерно, хотя на первый взгляд может показаться, что тому есть причины. Еврейский народ в состоянии дать правильную оценку всем проявлениям антисемитизма. Усиление этого явления наблюдается в наименее развитых слоях общества во время глобальных перемен, особенно в кризисных ситуациях. Если рассматривать события последних лет в Грузии в этом аспекте, можно было бы предположить, что здесь мы имеем дело с проявлением одного из видов антисемитизма (хотя бы развившегося на так называемой социально-бытовой основе), однако хочу предостеречь от подобного рода выводов. Преступлениям, свидетелями которых мы, к сожалению, оказались, куда более подходит такое определение, как обыкновенный разбой, основой которого является не что иное, как безнравственность, жажда наживы, словом, все, что угодно, кроме антисемитизма.

Как-то Черчилля спросили, почему в современной Англии не привился антисемитизм? Потому, ответил премьер, что современные англичане не считают себя менее умными, нежели евреи. В этом остроумном ответе, несомненно, кроется доля истины: антисемитизм, равно, как и любая другая аномалия общества, — измышление умственно отсталых и ущербных, с такой же яростью и ожесточением обрушивающихся на любого, в чем-либо их превосходящего, с какой невежество восстает против разума, зло и безнравственность — против добродетели и блага, низость — против благородства. Не знаю, кто как, но слова британского премьера я воспринимаю как своего рода продолжение известного высказывания Наполеона: «Достоинство каждого народа, уровень его культуры и цивилизации определяются его отношением к еврейству». Кто знает, быть может, под понятием «еврейство» ле-

гендарный корсиканец подразумевал и любой другой угнетенный народ, но, отдавая приоритет евреям, он, скорее всего, имел в виду тяжелейшую судьбу этого народа. И действительно, рассеянное по всему миру еврейство всегда являлось неким зеркалом, безошибочно отражающим окружающую действительность. Грузии, Божьей милостью, ни разу не пришлось напоминать эту истину. Что же тут поделаешь, если на одном из важнейших перекрестков истории чуть было не попутал ее лукавый, заставляя свернуть с привычного пути человеколюбия и миротворчества, которым на протяжении веков неуклонно следовали великие знаменосцы грузинского национального духа.

Да, мне не забыть растерянность и горе евреев Грузии в те дни, но не забыть и возмущенные, смятенные лица грузин — моих друзей, многочисленных знакомых и совершенно незнакомых людей. Именно эти выражающие негодование лица и есть порука тому, что в стране, где была создана «Вепхисткаосани» («Витязь в тигровой шкуре»), никогда не взойдут семена зла и человеконенавистничества. Будь не так, а иначе, подстерегающая сегодняшнюю Грузию темная сила не пощадила бы никого — ни грузина, ни еврея — с одинаковой дикостью набросилась бы и на христианскую церковь, и на синагогу, осквернила бы святые страницы Библии, и если бы это было возможно, снова убила бы у Цицамури восставшего из мертвых Илью. Что же касается «бербичашвилства» (Бербичашвили — убийца Ильи Чавчавадзе), то это, конечно, не «привилегия» одного какого-нибудь народа. Свои бербичашвили, к прискорбию, найдутся у всех.

Трудные, очень трудные дни переживает сегодня Грузия...

Но, верится, настанет день и, говоря словами библейского Исайи, «перекуют мечи свои на орала, и копья свои — на серпы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать».

МАРТ, 1992 г.

Перевод Гины ЧЕЛИДЗЕ

26 мая—день независимости Грузии

Эдуард **ШЕВАРДНАДЗЕ**

ВЕРЮ—ГРУЗИЯ ВОЗРОДИТСЯ!

26 мая — день независимости Грузии — в нынешнем году мы встречаем, к сожалению, без праздничного настроения. По календарю у нас праздник, но не празднует наша душа. Мы поглощены тяжелыми, мучительными думами. Можно без преувеличения сказать, что думы эти о нашем бытии—небытии.

Мне часто задают вопрос — где же выход, путь избавления? И есть ли он вообще?

Верю, что есть! Верю, что мы способны победить! И сейчас я хочу поделиться с вами своими мыслями по поводу того, какой же нам избрать путь, который приведет к храму.

Скажу прямо: я вижу две основные силы, две мощные опоры, которые, если взять их в основу, непременно спасут нас.

Первая опора — это наше прошлое. Исторически Грузия многажды попадала в более тяжелые условия, нежели сегодня, многажды разорялась как внешними, так и внутренними врагами, но всегда находила в себе силы, подобно феник-

су, возрождаться из пепла. И наше прошлое является опорой потому, что посредством него можно разгадать тайны удивительной жизнеспособности Грузии.

Одна из тайн, по моему глубокому убеждению, состоит в следующем: на протяжении всей истории грузинской государственности наши предки достигали того, что сейчас называется социальной стабильностью. Великий Илья особо подчеркивал эту мысль (сегодня мы очень часто, вероятно, даже излишне часто, беспокоим тень нашего великого соотечественника, но что поделаешь, когда нам никак не обойтись без его мудрости). Илья считал, что исторически одной из главных причин бессмертия Грузии была поразительная толерантность во взаимоотношениях представителей различных сословий общества. С этих позиций наша история уникальна. Иностранным историкам, этнографам, фольклористам с трудом верится, что двухтысячепятисотлетней истории грузинской государственности чужды революции, классовые войны, серьезные социальные кризисы; что нашей классической и народной прозе, поэзии, песне чужды мотивы борьбы между угнетенными и угнетателями, что в Грузии существовал институт молочных братьев — господин и крепостной росли вместе.

Эта феноменальная социальная гармония была одним из важнейших факторов бессмертия Грузии. И если наши предки могли примирять антагонистические классы, идти на уступки и оказывать поддержку, то что же происходит с нами?! Что же мы боремся друг с другом сегодня, когда для национального раскола уже не существует значительных политических, социальных, экономических причин? Неужели потому лишь, что каждый считает правым только себя, стремится утвердить только свое мнение и провести именно свою политику?!

Если такое положение продлится и в дальнейшем, если мы не придем к национальному консенсусу, мы погибнем!

Первым делом нам необходимо успокоиться. Необходимо, чтобы все политические силы приложили максимум усилий для проведения предвыборной кампании в спокойной конструктивной атмосфере. Все политические партии и группировки имеют возможность нормально функционировать, и если и мы, политики, создадим условия, чтобы люди смогли сделать свой выбор в нормальной обстановке, народ больше не ошибется, народ разберется в том, кто достойный и кто недостойный. Станет ясным и то, чей политический курс истинно национальный, истинно нужный народу.

Я уверен: сегодня создают эксцессы те силы, которые прекрасно понимают свою непопулярность в народе, которые хорошо знают, что смогут ловить рыбу только в мутной воде, что только узурпаторским путем смогут удержаться на политическом поприще.

Второй тайной бессмертия Грузии Илья считал то, что наши предки создали весьма мудрую и гуманную экономическую систему. Мы и в этом должны следовать предкам. Все несчастья нашей экономики вызваны тем, что перед предприимчивыми, инициативными людьми сегодня возникает множество труднопреодолимых и вовсе неодолимых препятствий. Плодотворное творческое созидание усложнено до невозможности. Преодоление этих самоцельных, абсурдных и, я бы сказал, нечеловеческих препятствий есть одна из важнейших задач правительства Грузии. Ничто и никто не должны мешать честному трудовому человеку. И святой долг властей, государства стать гарантом этому.

Еще одну великую мудрость завещали нам предки — братские отношения с живущими на нашей земле негрузинами. К сожалению, в последнее время на эти отношения пала тень.

Народы кавказского региона, издавна славящиеся обычаями взаимной поддержки и дружбы, мы сегодня словно позабыли, что невозможно обрести счастье, если не желаешь добра ближнему, соседу. Мы, грузины, должны суметь сплотить вокруг себя азербайджанцев и русских, армян и осетин, абхазов и греков, евреев и курдов, все национальные меньшинства нашего государства. Мы должны суметь вовлечь их в строительство единой, независимой, демократической Грузии.

Грузия не сможет победить, если не консолидируется грузинский народ, если не восстановится наша дружба с негрузинами, если не будет создана динамичная, гуманная экономика. Этому учит нас прошлое — опора нашей родины.

Вторая же опора — это наша молодежь, и о ней я хочу сказать несколько слов. Начну несколько издалека.

Вследствие ряда исторических причин наш народ вместе с многочисленными другими народами оказался вовлеченным в борьбу за грандиозную социальную утопию. Этой борьбе принесены были в жертву силы, талант, здоровье, свобода и жизнь нескольких поколений.

Не меньшим несчастьем, чем репрессии, была для нас всесокрушающая, дьявольская пропаганда. Целые поколения воспитывались на слепой вере фальшивым идеалам. Судьба

этих людей трагична, пожалуй, не менее, чем судьба репрессированных. В зрелом возрасте пришлось им осознать, что молодость растрачена впустую, что они оказались перед мучительной необходимостью переоценки пройденного жизненного пути. Многим хватило смелости посмотреть правде в глаза, и они и сейчас могут служить родине. Но авангардом в борьбе за возрождение Грузии может быть только молодежь, чей дух не затронут насаждавшимися десятилетиями ложью, страхом, террором, рабством. Только чистые души молодых способны полностью причаститься высшим ценностям, созданным нашими предками, только безграничная энергия молодых способна проложить мост из настоящего в прошлое и в будущее. А старшее поколение непременно должно выбирать лучших представителей молодежи, направлять их на верный путь и постепенно перепоручать им судьбу Грузии. Наш долг замечать молодых, а молодые должны показать себя. И сегодня, слава Богу, у них есть такая возможность: чем больше проблем, тем шире поприще для молодого поколения.

...Сегодня многие люди впадают в безысходное отчаяние от того, что у нас происходит. Определенные силы осуществляют поджоги школ, взрывы железнодорожных путей, тоннелей, вышек электропередач. Эти же силы пытаются устроить блокаду, перерезать энергоресурсные артерии. Постыдно, что все это делают наши же соотечественники. Делают для того, чтобы использовать в политических целях ими же самими искусственно созданные экономические проблемы. В определенной степени эти силы достигают желаемых результатов. В народе возрастает безнадежность, порой услышишь и такое, что, дескать, наша нация устарела. Возможно, хаос, в котором оказалась наша страна, есть та грань, за которой нас ожидает и вырождение?

Нет, и ни в коем случае нет! Я заявляю со всей ответственностью — Грузия стоит на пороге возрождения и оздоровления. Однако возрождение не наступит само собой. Мы должны проявить мудрость, спокойствие и доброту по отношению друг к другу; мы должны опереться на наше славное прошлое, на нашу прекрасную молодежь, на огромный потенциал нашего народа, и если мы сумеем все это одолеть, то в ближайшем же будущем мы ощутим позитивные сдвиги.

Элизбар ЦИСКАРИШВИЛИ

Выстоять бы тебе, моя Грузия!

В конце двадцатых годов в Надзаладэви[1] я познакомился с машинистом паровоза, звали его Апрасион. Апрасион был необычным человеком: при Николае — сидел, при меньшевиках — сидел, при большевиках — сидел. Удивленные соседи спрашивали: «Апрасион, к какой же это партии ты принадлежишь, что при всех правительствах за тобой охотятся?» Ответ довольного собой Апрасиона всегда был одинаковым: «Я противник всех существующих властей».

Политическая грамотность Апрасиона исчерпывалась опытом, полученным еще при царизме, на маевках в Худадовском лесу. Апрасион знал, что своим образованием и способностью к общественной деятельности он вряд ли пригодился бы какому-либо правительству. Зато он обладал смелостью критиковать правительство и поэтому свое вечное оппозиционерство превратил в политическое ремесло, что создавало ему иллюзию самоутверждения в общественно-политической жизни и доставляло удовольствие. Происходящее в последние годы в Грузии, в частности, то, что проявилось в нашем национально-освободительном движении, заставило меня вспомнить уже давным-давно забытого Апрасиона.

Национально-освободительное движение Грузии было национальным, чисто грузинским не только по своей целенаправленности, но также по формам своего выражения. Ну кто бы

---

[1] Надзаладэви (русск. Нахаловка) — один из районов Тбилиси.

опередил нас по устраиванию митингов, манифестаций, голодовок на тысячу душ населения! Никому, наверное, не угнаться за нами в пропусках рабочего времени, проведенного на митингах! Ведь такие акции, как правило, имели место в дневное время, дабы все могли публично проявить свой патриотический дух. Правда, подобный подход к интересам нации приучил подавляющее большинство учащейся молодежи к полному безделью (наплевательское отношение к делу и по сей день продолжается в «патриотических массах», несмотря на обретение независимости), но в то же время полностью защищалось право на отдых, закрепленное Конституцией — по выходным дням обычно не митинговали).

Если судить по выступлениям ораторов на митингах, основной целью национально-освободительного движения было свержение существующего строя. И поэтому поношение коммунистического режима, советской власти, для чего не требовалось особого ума и образования, превратилось в достаточное условие для обретения имени самоотверженного патриота Грузии. И мощный поток новоявленных апрасионов примкнул к митингам и манифестациям, к нашему национальному движению. Их благоденствию ничто не угрожало со стороны властей, так как все они были «легальными повстанцами» (а читающего проповеди несчастного Апрасиона однажды прямо из хлебной очереди замели в тюрьму). В основном, апрасионы нашего времени являются обладателями дипломов высших учебных заведений. Хотя они многого не смыслили в своей профессии и не были способны на какую-либо полезную общественную деятельность, бьющая через край «образованность» зажгла в них желание поучать других, для чего они приписывали себе чужие идеи, подхваченные на митингах.

Организаторы и ораторы митингов не больно задумывались над тем, как должно было развиться национальное движение после свержения существующего строя и прихода к власти демократических сил. Не додумались, что беспрестанные проповеди об обретении независимости без обеспечения ее нормальных функций в дальнейшем принесли бы нам голодную и голую «свободу» (так оно и случилось), что более всего растлевает нравственность человека.

Словом, нашему национальному движению недоставало компетентности. Признанные лидеры его не обладали ни малейшим опытом управления государственными механизмами, были дилетантами в социальных и экономических вопросах, не

говоря уж о государственной обороне и международных отношениях. Низкий профессиональный уровень национального движения обусловил принятие губительных для народного хозяйства акций (самоуверенные дамы с филологическим образованием определяли генеральную линию гидротехнического строительства, их невежество погубило строительство Худон-ГЭС, создало перебои в проведении газопровода, более того, некоторые требовали ликвидации Жинвальской ГЭС.

Настоящей бедой для национального движения обернулась «инфляция» политических партий, что разобщило народ и вывело на политическую арену «активистов» сомнительной репутации. К захвату власти лучше всех оказался подготовленным избирательный блок «Круглый стол», он и одержал победу на выборах. Это было обусловлено разными причинами и прежде всего личностью его лидера.

То обстоятельство, что Звиад Гамсахурдиа — сын выдающегося грузинского писателя Константинэ Гамсахурдиа, изначально способствовало его популярности в народе. Вместе с тем, перед выборами, благодаря всяческим усилиям многих «патриотов», его личность оказалась в центре внимания. По всей Грузии ходила молва о нем как о несгибаемом диссиденте, еще со школьной скамьи пострадавшем за независимость своей родины, как о ближайшем друге Мераба Костава и таких же, как он, политзаключенных.

«Круглый стол» активнее других блоков развернул предвыборную кампанию. Его пропаганда, преследуя целью эффективное воздействие на политически неграмотное население, опиралась в основном на разжигание низменных националистических чувств, на проповедь исключительности грузин, поношение России, лозунг «Грузия для грузин» и т. п. Все это для широких слоев населения создавало иллюзию, что «Круглый стол» и его лидер больше всех других борются за интересы Грузии. Проповеди об исключительности грузин, разумеется, отнюдь не невинное занятие. У доверчивой молодежи, например, возникает ложное представление о себе и убежденность, что раз ты появился на этот свет грузином, то уже одно это позволяет тебе пользоваться всеми благами мира.

«Круглый стол» прекрасно учел безразличное отношение избирателей к выдвинутым блоками политическим программам (кстати, эти программы особенно не отличались друг от друга) и сделал верный ход для привлечения избирателей, обратившись к ним с призывом — «Отдайте голос Звиаду Гамсахурдиа и избирательному блоку «Круглый стол — Свободная

Грузия». Другие политические блоки не имели таких ярких лидеров, и народ отдал предпочтение «вождю» (а к вождю народу было не привыкать).

В ходе предвыборной кампании Звиад Гамсахурдиа не чурался дискредитации политических противников, окрещивая их агентами Кремля и КГБ. Прибегнуть же к обратному действию для подрыва его авторитета или хотя бы для раскрытия истинной сущности его диссидентства никто не попытался. Более того, лидеры других избирательных блоков явно поддерживали «Круглый стол»; президент общества Руставели записался в список кандидатов в депутаты сорок девятым по счету, что было почти отказом от предвыборной борьбы, газета же этого общества «Мамули» («Отчизна») встала на службу Звиаду Гамсахурдиа. Из номера в номер печатались дифирамбы в его честь, а в номере, вышедшем за день до выборов, было опубликовано восемь фотографий большого формата, на семи из которых был изображен крупным планом Гамсахурдиа в процессе работы. Вызывает недоумение и то, что активист «Круглого стола» (восемнадцатый по счету в списке кандидатов в депутаты) работал в ту пору референтом в президиуме общества Руставели (спрашивается: чем он помогал образованнейшим руководителям общества?). Подобное «политическое кокетство» нанесло ощутимый удар выборам.

Компартия Грузии, которая обладала большим опытом пропагандистской работы, фактически отказалась от активной предвыборной борьбы. Позицию партийных функционеров можно объяснить растерянностью и утратой веры в будущее партии, вследствие чего они проявляли лояльность к оппозиционным силам в надежде на дальнейшее сотрудничество с ними. В высказываемые в последнее время в нашей прессе предположения о том, что приход к власти Гамсахурдиа был в интересах коммунистического Центра, верится с трудом.

Грузинская интеллигенция возлагала большие надежды на «Союз национального согласия и возрождения», возглавляемый Валерианом Адвадзе, но союз этот сформировался всего за несколько недель до выборов и поэтому не смог провести полноценную предвыборную кампанию, хотя представленные им депутаты и отличались высоким профессионализмом и компетентностью.

В победе Звиада Гамсахурдиа заметную роль сыграл неожиданный интерес грузинских женщин к политической жизни. Раньше даже наши интеллектуальные дамы с прохладцей от-

носились к первой полосе газеты, сейчас же, оказывается, укоренился феномен «тотально мобилизованных женщин», которому философ Ираклий Брачули дает следующее пояснение («Мамули», № 2, 1992 г.); «Существует сублимация — переключение неудовлетворенной половой энергии, скажем, в политическую энергию; еще «красная магия» (эротическое колдовство), дистанционный донжуанизм, которые осуществляются оккультно-гипнотическими контактами». Так или иначе, впечатляющая победа «Круглого стола» в предвыборной борьбе, в основном, заслуга одной личности и отражает культурно-политический уровень нашего национального движения.

В своем предвыборном выступлении по телевидению господин Георгий Хоштариа обиженно заявил, что у людей ошибочное представление о политическом блоке «Круглый стол», многие думают, что здесь только Звиад Гамсахурдиа и больше никого, а разве Тэдо Пааташвили не личность? Нет, батоно Георгий, люди не ошибались, ни Пааташвили и ни другие общественные и политические деятели в жизни грузинского народа ровным счетом ничего не представляли и оказались в парламенте только благодаря Звиаду Гамсахурдиа (я не имею в виду писателей и художников).

Если мы просмотрим списки кандидатов в депутаты от различных избирательных блоков, то убедимся, что наиболее низким уровнем профессионализма отличался именно «Круглый стол». В списке встретятся переводчик Грузинформа (№ 5), ветеринар кооперативной фирмы (№ 9), человек неопределенного рода занятий (№ 10, тот самый, который позднее призывал у Дворца правительства к прицельной стрельбе короткими очередями), зестафонский безработный инженер (№ 13), болнисский безработный геолог (№ 28, что может быть лучшим занятием для безработного, как не митинг), методист профессионального центра ориентации (№ 22, выдуманная должность выдуманного советского учреждения), лаборанты кафедр, младшие научные сотрудники и т. д. В этом списке мы не встретили известных ученых, экономистов и юристов. Лидер блока правильно подобрал свою команду, ему были нужны бессловесные исполнители, а не имеющие свое мнение профессионалы.

После победы «Круглого стола» люди сомнительной профессиональной репутации, а в некоторых случаях и вообще безработные, которые не обладали даже минимальным опытом управления государственными структурами, составили подавляющее большинство Верховного Совета. Они смогли вы-

дворить из парламента депутатов от коммунистов и начали преследование депутатов от Народного фронта (хотя именно эти последние отличались ясностью, логикой мышления), за чем последовал полный беспредел во всех сферах общественной жизни и наконец, как естественный результат невежества, позорный конец господства «круглых».

Что сделал Звиад Гамсахурдиа для перестройки столь ненавидимого им коммунистического режима за 14 месяцев своего правления? Как выяснилось, он и не знал, что ему надо было делать, он не был способен разбираться в вопросах экономического управления, не имел представления о положении в народном хозяйстве Грузии и не собирался серьезно изучать этот столь сложный вопрос. «Сведущий в делах» президент думал, что Грузия и сегодня имеет богатейшие в мире запасы марганца, причем самого высокого качества, как он похвастал в интервью с корреспондентом «Шпигеля». Как политик и дипломат он проявлял недальновидность и конфликтность. В условиях начавшегося развала советского строя он успешно рушил его в Грузии, но оказался непригодным в нелегком деле формирования нового государственного устройства.

Очевидно, господину Звиаду не с руки было находиться в бездействии в уютном президентском кабинете, и он невольно вернулся к испытанной и любимой им деятельности — организации бесчисленных митингов. Гамсахурдиа испытывал ностальгию по борьбе с правительством (симптом «апрасионистов») и, так как враг был повержен, он начал создавать образ врага в лице «агентов Кремля», «криминальной интеллигенции», «инспирированной Кремлем оппозиции». Врагами считалась и «орденоносная интеллигенция» (неужели господин Звиад запамятовал, что его отец дважды награждался орденом Ленина?). Таким образом, он вернулся в привычную ауру, и мы все были свидетелями тому, «с каким неистовством требовал он уничтожения оппозиции, с какой сатанинской энергией размахивал руками и хватался растопыренными пальцами за воздух» («Мамули», № 2, 1992 г.).

К сожалению, его ближайшие соратники уже здесь предали своего лидера: ни один из них не захотел возвратить Гамсахурдиа к действительности, призвать к примирению и милосердию, умерить его безумное стремление к величию. Напротив, все исходили из интересов упрочения собственного положения и беззастенчиво льстили президенту; переводчик Грузинформа объявил его на многотысячном митинге большим политиком, нежели Буш и Тэтчер, он же устроил прилетев-

шему из Москвы Гамсахурдиа парад в аэропорту, приложившись к его плечу, как если бы тот был венценосцем, и тем самым выставив президента на посмещище перед всем миром. Другой на очередном митинге сравнил Гамсахурдиа со святым Георгием, а третий объявил его мессией.

Все это совершенно лишило Гамсахурдиа способности контролировать собственные действия, свело на нет чувство ответственности за свои политические и другие государственные заявления. Потому-то сегодня он мог сказать одно, а завтра — другое, нимало не заботясь о своем престиже в глазах широкой общественности. Так, например, в интервью иностранному корреспонденту он сказал: Г. Чантуриа задержан за нарушение общественного порядка и его политическая деятельность тут ни при чем. Затем на сессии Верховного Совета заявил, что Чантуриа летел в Москву для встречи с американским дипломатом с целью дезинформации последнего, чего нельзя было ни в коем случае допустить; он убеждал иностранных корреспондентов, что передачи центрального телевидения не транслируются потому лишь, что оппозиция разгромила здание теледепартамента, а позднее на сессии прихвастнул, что это он сам запретил трансляцию программ центрального телевидения, распространяющего враждебную дезинформацию.

Многие называют Гамсахурдиа диктатором, что, на мой взгляд, весьма спорный вопрос. Далеко не каждый может стать диктатором. Для этого недостаточно одного только желания, даже если ты стоишь у власти. Чтобы стать диктатором, необходимы высокий политический профессионализм, железная воля, гибкий ум, способность при необходимости замаскировать свои истинные намерения и, что, пожалуй, самое главное, умение устанавливать контакт с влиятельными личностями и склонять их на свою сторону. Гамсахурдиа был лишен этих качеств. Вся его «дипломатия» была шита белыми нитками, вследствие чего он больше напоминал комедианта, нежели диктатора. Свидетельством тому его артистизм на ежедневных «информационных митингах», которые не имели никакой функции, кроме как выражение толпой беззаветной любви к своему идолу и разжигание всеобщего психоза. На сессии Верховного Совета президент поддержал создание комиссии по изучению событий 2 сентября, но не смог удержаться и заранее дал устраивающую его оценку событий, потребовав, чтобы в комиссию не включали лиц, которые бы только усложнили дело. Это и есть самая настоящая политическая близорукость

(коммунистический лидер проделал бы все так, что его противозаконное влияние осталось бы незамеченным).

Грузинские поэты посвящали Гамсахурдиа стихи, которые печатались на первой странице «Литэратурули Сакартвело» (после Сталина никто не удостаивался такой чести), издательство «Хеловнэба» издало сборник его статей стотысячным тиражом (тогда как собрание сочинений самого Константинэ Гамсахурдиа исчислялось сорокатысячным тиражом, в пору, когда еще не было дефицита бумаги), Институт грузинской литературы без защиты диссертации присвоил ему научную степень доктора, что не согласовывалось с действующим законом (заседание совета прошло с приятной для комедианта помпезностью). И поэтому мы не должны удивляться заявлениям Гамсахурдиа, что «закон — это я».

3. Гамсахурдиа обвиняют в грубых ошибках, допущенных им в кадровой политике, в назначении некомпетентных лиц на ответственные должности. Причина здесь довольно простая, так как и сам Гамсахурдиа был некомпетентным, он не был знаком со спецификой деятельности государственных учреждений, не имел ни малейшего опыта работы на какой-нибудь руководящей должности и наивно полагал, что подбор преданных ему людей будет верной гарантией в успешном управлении страной. Он не испытал никакой неловкости перед богатой традициями грузинской медицинской общественностью, когда назначил рядового гинеколога министром здравоохранения Грузии... Но главная беда в том, что он имел дело с людьми, жаждущими должностей. Так например, как могла согласиться с назначением на пост министра просвещения другая особа, которая ни одного дня не проработала ни в школе, ни в вузе? Как согласился принять руководство телерадиодепартаментом (и всячески цеплялся за стул) человек, которому коллектив выразил свое недоверие из-за его некомпетентности? Интересно, как чувствовал себя ветеринарный врач на должности председателя постоянной юридической комиссии при Верховном Совете, или спортсмен — борец, имевший опыт работы всего лишь в спортивных организациях, на должности министра внутренних дел?

Не говоря уж об искусствоведе, который, не раздумывая, «взвалил» на свои плечи должность министра иностранных дел и сегодня даже поучает нас с телеэкрана с претенциозностью опытного политика.

Один писатель-юморист сказал о Гамсахурдиа: ну как

можно, чтобы диктатором был мужчина, у которого на голове сидят жена и свояченица?

Хорошо сказано, не так ли? Но этому может быть и другое объяснение. Ведь президент считал себя мессией, так почему же его супруга не могла быть Божьим даром, ниспосланным грузинскому народу? Вероятно, поэтому появилась подпись его супруги под Актом независимости Грузии, что в действительности было попранием исторического документа и позором всей нации.

Удивительно, что охваченный манией преследования президент не смог обеспечить собственную безопасность и допустил, что противостоящая сторона значительно превзошла его в вооружении. Это еще одно подтверждение его беспомощности как правителя.

Многочисленные интервью Гамсахурдиа и его публичные заявления подорвали престиж не только его самого, но и — что гораздо хуже — престиж всей Грузии в глазах цивилизованного мира.

Непростительным преступлением Гамсахурдиа является то, что он разжег злобу и ненависть между жителями различных регионов Грузии (чего стоит хотя бы одно его заявление — «меня защитят Самегрело и Сванэти»!). А ведь консолидация нации является одной из главнейших забот правителя.

Несостоятельность Гамсахурдиа явно проявилась при его встрече со студенческой молодежью. Мы увидели на экране совершенно растерявшегося человека, который не смог аргументированно ответить ни на один заданный ему вопрос. Зато нам доставила радость аудитория, отличившаяся бескомпромиссностью, прямотой и честностью (совершенно иначе выглядела последующая встреча со студентами, когда зал был заполнен «неокомсомольцами», которые, казалось, соревновались в лицемерии и низкопоклонстве). Телевидение показало нам и встречу с университетской молодежью Председателя Верховного Совета (переводчика Грузинформа), которая еще раз убедила нас в том, насколько случайными и ограниченными были люди, находившиеся в высших эшелонах власти.

После побега президента нам предоставилась возможность посмотреть видеозапись встречи руководителей министерства культуры с коллективом «Грузия-фильм». Министр Звиада Гамсахурдиа (во всеуслышание объявивший себя его покорным рабом) с двумя заместителями (которые предстали перед нами духовной родней Доксопуло и Риктапелова) цинично оскорбили выдающихся деятелей кино. Вот какую желч-

ную и злобную «заботу» проявляло правительство «Круглого стола» о грузинской культуре. Когда же известного кинорежиссера, женщину, в обморочном состоянии выводили из зала, у «Доксопуло» и «Риктапелова» ни один мускул не дрогнул на лице (меня приятно удивило гражданское мужество и чувство собственного достоинства всего коллектива, благодаря чему пришельцы потерпели полное фиаско). Заметим, что «Доксопуло», как оказалось, был крестником Константинэ Гамсахурдиа и позже предстал перед нами в качестве премьер-министра (в замерзании Черного моря он видел огромные перспективы возрождения нашей экономики, советовал всячески подрывать российскую экономику и одним из факторов этого считал закупку товаров в России).

Оппозиционная фракция внутри «Круглого стола», возглавляемая господином Тэдо Пааташвили, возникла с некоторым опозданием, только лишь после событий 2 сентября, когда антиправительственные выступления приняли массовый характер и президентское кресло изрядно пошатнулось. Видимо, поэтому Теймураз Коридзе оценил действия этих оппозиционеров как «тактику уклонения от происходящих событий».

После свержения «круглых» эта фракция начала сотрудничать с временным правительством, но вместо того, чтобы приступить к делу, требовавшему, разумеется, огромной энергоотдачи и высокого профессионализма, она предпочла встать в оппозицию. Причем, свое решение фракционеры преподнесли нам в помпезно-комическом стиле: по телевидению от «Хартии-91» с двухминутным заявлением выступил Тэдо Пааташвили в окружении команды единомышленников. Они, очевидно, выполняли роль декорации, так как ни один из них не издал ни звука, и невольно возникает мысль, что их присутствие на экране было всего лишь желанием «запечатлеться на страницах истории». Так что, господин Тэдо Пааташвили и братья его по духу боролись с коммунистами, боролись с Гамсахурдиа, борются с временным правительством (ну как тут не вспомнить моего старого знакомого Апрасиона).

Как стало известно, «Хартия-91» сформировывается в независимую политическую партию. Бог в помощь, только пусть не забывают, что за грехи «Круглого стола» и им следует покаяться. Они должны помнить и о том, что каждого из них вывел на свет З. Гамсахурдиа и что победа на выборах 28 октября вовсе не была показателем «поразительно высокой политической культуры» грузинского народа, как раньше изволил выразиться господин Тэдо Пааташвили. Я это не к тому

говорю, чтобы разворошить чувства к бывшему идолу; просто не нужно забывать, какая почва тебя взрастила.

В последнее время идет широкая пропаганда восстановления в Грузии династии Багратиони и установления конституционной монархии. Я низко склоняю голову перед памятью грузинских царей и ничего плохого не вижу в конституционной монархии, однако ведь царская фамилия не какой-нибудь саженец, который высадишь и он даст определенный плод. Безосновательны надежды на высокий род Багратиони и какой-то особый генетический код. Их величие основывалось на том, что престолонаследник с рождения воспитывался при дворе, в соответствующей среде, получал соответствующее воспитание и образование, проникался идеей самопожертвования родине, а главное, в нем формировалась психология царя еще до восшествия на престол. Трудно поверить в то, что потомки династии, упраздненной двести лет назад, волею судеб заброшенные на чужбину, утратившие связи с родиной, не знающие ничего о тех процессах, которые здесь происходили и происходят, занимающиеся делом весьма далеким от управления государством, морально и психологически будут в состоянии нести столь тяжкое бремя — править Грузией.

Несомненно одно, что сегодняшней Грузии в первую очередь нужна стабилизация, достигнуть которой невозможно без отречения от узкопартийных интересов и, тем более, — без личных политических амбиций и претензий. В этой связи особая роль принадлежит выступлениям выдающихся деятелей в средствах массовой информации. Их долг высветить жизненные интересы народа, содействовать упрочению его единства, нахождению разумных путей в будущее, что, разумеется, нереально без высокого профессионализма. К сожалению, некоторые утрачивают чувство меры и при обсуждении любых проблем, несмотря на свою некомпетентность, выступают в роли ментора. Примером может служить статья «Борьба начинается сейчас!», опубликованная в газете «Сакартвелос республика» (20.02.92 г.). Автор этой статьи безапелляционно заявляет, что империя в Грузии имела и имеет многотысячную агентурную сеть, о существовании которой не ведали ни секретари ЦК, ни председатели КГБ, и что по сей день «ни один агент в Грузии не выявлен, не арестован, не разоружен, не изгнан». На подобное сенсационное заявление способен разве что генерал КГБ в отставке типа Калугина, либо лицо, завербованное этой же агентурой. Автор не относится ни к одним и (по моему глубочайшему убеждению) ни к другим. Его столь эк-

стравагантное заявление способно только разжечь психоз недоверия среди населения; шутка ли, оказывается в Грузии действует многотысячная армия предателей, поэтому мы должны внимательно следить друг за другом и тщательно проверять взаимную деятельность! Однако, если из этой многотысячной агентуры не выявлен ни один человек, то что же дает столь богатую пищу фантазии автора? И если он настолько глубоко посвящен в структуры союзного КГБ, то не лучше было бы ему поделиться своим богатым опытом с руководством КГБ Грузии (ведь они ничего не знали!) и не будоражить население?

У автора статьи имеется и другое «открытие». Он с полной серьезностью заявляет, что, оказывается, беспартийная часть грузинской интеллигенции всегда выгодно отличалась талантом и квалификацией от партийной интеллигенции. Я не знаю, какими единицами измерял господин исследователь талант и квалификацию и какие статистические данные использовал в своем опусе, но ясно одно, что все сколько-нибудь думающие люди даже постановку вопроса по поводу сравнения таланта партийных и беспартийных сочли бы абсурдом.

Исходя из результатов своего «фундаментального исследования», автор заявляет: «Таким образом, ориентация на бывших коммунистов в укомплектовании новых структур грузинского управления в корне неправильна». Неужели уважаемый автор не понимает, что подобное бессмысленное противостояние, пусть даже в отношении к бывшим коммунистам, нанесет только вред делу консолидации нации. Нам остается думать, что автор пытается упростить себе путь проникновения в новые государственные структуры (невозможно, чтобы автор и вправду не чувствовал, что именно в области государственного правления он не выдерживает сравнения с бывшими коммунистами типа Левана Алексидзе, Валериана Адвадзе, Евгения Харадзе, Ираклия Менагарашвили и множества других грузинских интеллигентов).

Сегодня в Грузии существует множество политизированных лиц, которые поднаторели в выявлениях недостатков оппонентов, они с апломбом поучают нас тому, «**что** нам надо делать» (что и без того всем ясно), но по поводу того, «как все это сделать», они хранят молчание. А главным сегодня является именно «как», а то, что — плохо, что — хорошо, а что еще лучше, знал и наш покойный Апрасион. Наши авторитетные общественные деятели должны разъяснить грузинскому народу, что его благоденствие возможно только в том случае,

если к кормилу власти придут люди высокопрофессиональные, которые знают, «как надо делать». Инертность видных общественных деятелей в прошлой предвыборной кампании открыла путь демагогической пропаганде.

Если мы обратимся к национально-освободительному движению последних лет, то вынуждены будем признать, что оно не достигло цели, соответствовавшей понесенным жертвам. Оно не привело к главному — к консолидации нации. Бесконечные политические словопрения отодвинули на задний план национальные интересы, более того, политиканство стало одним из методов собственного выдвижения и приучило к безделью множество людей.

Беспрестанная ругань нашего недалекого прошлого никоим образом не могла стать основанием сплочения нации. Была попрана и оскорблена память 350 000 погибших во второй мировой войне грузин, унижено достоинство ветеранов войны — вы, мол, защищали Российскую империю и отдавали жизнь за ее интересы. Это был не просто цинизм, а и политическая близорукость при оценке значения борьбы против нацизма (впрочем, некоторые ораторы и сами находились в плену националистических идей). Гибельным оказалось для консолидации нации отрицание заслуг отцов, будто бы они за время советской власти не создали никаких ценностей. Это породило противостояние и недоверие между поколениями .В результате невежественной пропаганды советская империя была идентифицирована с русским народом, из названий тбилисских улиц наряду с именами Кирова и Дзержинского изъяли имена Герцена и Белинского, отвернулись от вековых связей с передовой демократической русской интеллигенцией и замкнулись в своей скорлупе. Да что русские, если мы отдали на растерзание подонкам своих всемирно известных соотечественников.

Хвастаясь, что митинги и демонстрации пробудили грузинский народ, почему-то запамятовали, что Грузию пробудили Илья, Акакий и Важа и что она, вообще-то, никогда и не засыпала. Благодаря самоотверженным сынам отчизны (Иванэ Джавахишвили, Эквтиме Такаишвили, Шалве Нуцубидзе, Михаилу Джавахишвили, Константинэ Гамсахурдиа и многим, многим другим) в Грузии никогда не угасал национальный дух. И не надо создавать себе иллюзию, что падение коммунистического режима в Грузии это заслуга лишь только национально-освободительного движения. Падение режима обусловлено множеством различных причин и процессов. Не надо забывать, что даже в тех республиках, где национальное дви-

жение в своем развитии далеко отставало от нашего и где у власти оставались коммунисты, социалистическая система разрушена, восстановлен национальный суверенитет и государственность, установлены дипломатические отношения со многими странами.

Сегодня у нас множество проблем; не хватает энергии, топлива, продуктов (можно перечислять до бесконечности). Но главная беда в нас самих, в грузинах. Сможем ли мы наконец избавиться от политических словопрений? Осилим ли мы наконец «агрессивный провинциализм» и «примитивный патриотизм»? Укротим ли наконец болезненное стремление казаться лучшими, нежели мы есть на самом деле? И самое главное, проявим ли мы наконец способность ставить интересы нации над узкопартийными и личными интересами? Не знаю. Но у меня лишь одно желание: выдержать бы тебе, моя Грузия.

Симон АРВЕЛАДЗЕ

Галактион и Тициан

Кроме имени Галактиона,
там слышится и Тициново имя*
Мурман Лебанидзе

Тициана Табидзе и его семью связывала искренняя дружба со многими выдающимися грузинскими писателями и писателями других народов. Даже смерть Тициана не смогла оборвать эти дружеские связи, и в этом большая заслуга жены поэта — Нины.

Галактион как будто остался без друзей и предстает перед нами одиноким человеком. По-видимому, без Оли Окуджава (первой жены поэта — С. А.) его жизнь стала столь тяжкой и безрадостной, что он отдалился от всех своих знакомых и отношения с ними носили официальный характер.

Что касается взаимоотношения самих поэтов, то они ограничиваются детскими и юношескими годами и исполнены особого интима, взаимной любви, уважения, что так ярко отражено в дневниках Галактиона.

«Одной мечты мы пара близнецов...» Известно, что Галактион и Тициан были двоюродными братьями, воспитывались в одной среде, более того: «неразделенными остались дом

---

* Здесь и далее переводы стихотворений подстрочные.

и двор». Об этом весьма образно пишет Тициан в стихотворении «Галактиону Табидзе».

Выросшие на берегах Рионн, братья никогда не забывали своей родной деревни, любимой реки, двора и маленького домика, близ которого, как рассказывает Галактион, «всего в сорока саженях протекает Рионн, я и Титэ купаемся в реке три раза в день — утром, днем и вечером, вместе читаем книги, какие у нас есть, как стемнеет, снова идем к речке через хлебное поле, устраиваемся под осинами с кувшином вина, беседуем, вспоминаем знакомых, друзей, родственников, но более всего своих возлюбленных. Титэ рассказывает мне о своих московских похождениях, я — о кутаисских. Порой выходит, что жизнь в Кутаиси куда интереснее, чем в Москве, так как я больше вру и Титэ лопается от зависти». Это — фрагмент одного из писем Галактиона к Ольге Окуджава, написанного 24 июля 1914 г.

В своих воспоминаниях Галактион часто говорит о своей матери, брате, о его матери — тете Элисабед. Галактион вспоминает, как однажды — дело было в 1935 году, тетя Элисабед зашла навестить мать Галактиона. Галактион показал ей газету «Комунисти» со статьей Тициана. «Писать — это ваше занятие!» — ответила тетя племяннику. А потом вспомнила, как маленький Галактион, которого мать ласково называла «Гатуния», каждый Новый год первым переступал порог ее дома — она считала, он приносил ей счастье. Элисабед рассказала, когда должен был родиться Тициан, в новогоднюю ночь свекровь завела к ней маленького Галактиона и уложила его к ней в постель: мол, он приносит счастье.

Обе матери радовались и гордились тем, что их сыновья завоевывают известность на пути к вершинам поэтического мастерства. Как хорошо сказано у Галактиона: «С детства меня мучила та даль — лазурные влекли меня поля и читал ли я, мечтал, пел или писал — меня преследовали, звали, влекли к себе те вершины».

Из села Галактиона отчетливо видна гора Хвамли, вдали же, за рекой Рионн, маячат вершины Кавкасиони, покрытые вечными снегами. Без сомнения, этот прекрасный вид вдохновил поэта на такие строчки: «Вспоминаю юность, вдали, очень далеко, за рощами виднелся склон скалистой горы Кавкасиони, по вечерам, как корабль, подорвавшийся на мине, загоралась на солнце и гасла грудь великана... Виднелась Хвамли, как трепет, как бархат, как безоблачная судьба бесснежной юности, как холодные когти будущих бурь, как

гроб, как надежда. Меня преследовали, звали, влекли к себе те вершины... Полностью покорили меня выстреленные небом синие кедра, воздушность, тайна покрыли склон, будто я все так же лежу на этой горе навзничь, и каждая страница огромной звездной книги — это Тетнулд, Ушба, Сванети, ее утро и полночь, окрашенный солнцем ее вечер с синим океаном сумерек — меня преследовали, звали, манили к себе те вершины...»

Галактион и Тициан очень любили родной округ Сачинс (что в переводе означает видный, замечательный). Их отцы были родными братьями, и дети унаследовали от них любовь друг к другу. Отец Тициана был священником, отец же Галактиона — сперва дьяконом, потом был посвящен в сан священника, впрочем, после этого он прожил недолго. Мать — Макринэ Адеишвили одна растила своего малыша Гатунию. Родившийся после смерти отца Галактион вместе с матерью жил у отца Тициана. Тот после смерти брата вернулся в Сачино, но и он прожил недолго. Тициан и его четверо братьев и сестер остались сиротами. Отныне, как сказано в стихотворении Тициана: «Согнувшись, пекут здесь хлебцы две матери, которые освящает лишь скупая слеза...» Обе с трудом, но сумели поставить детей на ноги. Жена Тициана Нино Табидзе в своих воспоминаниях подчеркивает, что свекровь ее была благородной, трудолюбивой женщиной, преданной своей семье. Односельчане называли ее Отаровой вдовой. То же можно сказать и о матери Галактиона.

До восьми лет Галактион рос в селе. От своих ровесников он отличался тихим нравом, задумчивостью и робостью. Дружил только с Тицианом. Смерть матери он пережил очень тяжело. Долго не мог забыть мир своего детства, хотя редко посещал эти места, где все еще «стоит дом — сокровище». Здесь они с Тицианом читали, плавали, ловили рыбу, «здесь в прошлом и будущем замрут столетия», — как писал Галактион.

Тициан любил мать и родные места не меньше Галактиона. В стихотворении «Матери» он писал:

Ты снова ждешь, наверно, мама,
Что я приеду, и не спишь,
И замер в стойке той же самой,
Как прежде, на реке камыш.
Не движется вода Риона
И не колышет камыша,

И сердце лодкой плоскодонной
Плывет по ней, едва дыша.
Ты на рассвете месишь тесто —
Отцу-покойнику в помин.
Оставь насиженное место
Край лихорадок и трясин!

. . . . . .

Люблю смертельно, без границы
Наш край, и лишь об этом речь.
И если этих чувств лишиться —
Живым в могилу лучше лечь.

(Перевод Б. Пастернака)

Тициан часто вспоминает Орпири в своих стихах. В стихотворении «Орпири» есть такие строки: «Снится еще не забытое небо мне детства, что лаской меня еще греет...» (пер. Н. Тихонова).

И если Тициан «навеки полюбил свою Орпири», а Галактиона «с детства ослеплял лишь лавр», то это потому, что, как пророчески сказал Тициан, «Рионской волной погналось за нами чистое слово...»

Первой любовью Галактиона была Оля Окуджава. Она стала преданным его другом и единомышленником. Вместе с ним переносила тяготы жизни. Их любовь смогла преодолеть все препятствия, даже сопротивление Олиных родителей, но против злого рока оказалась бессильной. Превратности судьбы разлучили их, Оля была выслана из Грузии, но Галактион никогда не забывал о ней, горячо переживая потерю ближайшего друга.

В одном из своих писем к Оле, датированном 1913 годом, Галактион пишет: «Мне кажется, ты единственное существо на всем белом свете, которое переживает за меня... Я страшно одинок духовно... Никого не хочу видеть... ни с кем разговаривать, хочу только, чтобы ты была со мной». Позднее Галактион вспоминал, как они поженились в 1916 году и отправились в Москву... После этого он публикует на страницах газеты «Социал-демократ» стихи «Знамена скорей!» и «Революция», готовит к печати книгу, Оля помогает ему. Вскоре Галактион возвращается в Грузию, Оля же на время остается в Москве. Все это время Галактион чувствует себя очень одиноко, старается не бывать у ее родных, а если случится зайти, что было редко, чувствует себя весьма неловко. Он очень честен и чистосердечен со всеми, но между ним и

Олиными родными «разрушенный мост». Материально он не обеспечен и для них «уличный мальчишка», чужак, так же как и они для него — чужаки. Галактион открыто боготворит Олю, считает ее талантливой женщиной, своим преданнейшим другом. «Ты не можешь себе представить, как я люблю читать твои письма, — пишет он в одном из своих посланий.— На твоем месте, я бы начал писать прекрасные новеллы, полные огня и молодой энергии, пронизанные солнцем и легкой меланхолией и, будь уверена, добился бы успеха».

На одну из встреч с Олей в 1913 г. (тогда она училась в Кутаисской женской гимназии) Галактион пришел с Тицианом, который сказал: «У нее потрясающие глаза». В письме к Оле, датированном 1916 годом, Галактион подробно рассказывает о своем конфликте с группой «голубороговцев»: «Я, Гаприндашвили и Яшвили расстались навсегда. Мы крепко повздорили и наговорили друг другу такое, что никогда не позволит нам сблизиться вновь. Я не жалею». Если предположить, что Тициан к тому времени находился в Москве, он, естественно, не мог участвовать в этом конфликте, но поскольку он был «голубороговцем», надо полагать, что отношение Галактиона к нему оставляло желать лучшего. Наверно, отражением этого была фраза, логически завершающая рассказ о разрыве с «голубороговцами»: «...а Титэ, оказывается, пишет здесь чуть ироничные статьи обо мне».

До отъезда в Москву Галактион и Тициан неразлучны, живут в деревне, купаются и рыбачат, читают книги, беседуют и даже спорят. Во время одной из таких бесед они вспоминают Олю Окуджава — невесту и возлюбленную Галактиона, ее необычный характер. В одном из писем Галактион пишет Оле: «Я и Титэ часто беседуем о тебе: Титэ находит тебя «странной» и вспомнил, что ты обещала побить его. Я сказал Титэ, что однажды Оля избила двенадцать человек. Титэ раскрыл рот от удивления, а я смеялся, смеялся и смеялся...»

В Кутаиси Галактион и Тициан встречались редко. Однажды, правда, они участвовали в юбилейном вечере, посвященном 50-летию творческой деятельности Акакия Церетели (1908 г.). В другой раз они встретились и сфотографировались, когда в Кутаиси приехал русский поэт Константин Бальмонт (1915 г.). К этому времени Бальмонт перевел «Витязя в тигровой шкуре» и приехал в Кутаиси — здесь, на его взгляд, литературная жизнь была более бурной, нежели в Тбилиси. Все, кто с ним сфотографировался, так или иначе были благополучными, материально обеспеченными людьми, за исключе-

нием Галактиона и Тициана; по словам Галактиона, у него порой не было денег на обед, но держался он, как английский лорд. Тициан находился в аналогичном положении.

Галактион придавал большое значение своей первой книге. Он надеялся потрясти ею мир. Однажды в разговоре с Тицианом он сказал: «Странная все же выпала судьба моей первой книге. Только она вышла, как началась война, не везет мне, мой Тития, не везет». Война же расколола группу молодых писателей — все подались кто куда: Константинэ Гамсахурдиа — за границу, Титэ — в Москву, остались Галактион и Оля Окуджава. В 1913—1916 гг. Оля учительствовала в Чиатура, давала частные уроки в Кутаиси. Она с интересом следила за творческим ростом Галактиона, восхищалась и гордилась первой книгой его стихов, вышедшей в Кутаиси в 1914 году и имевшей большой резонанс.

В статье «Кавалер ордена одиночества» Тициан писал, что в Галактионе, «помимо личности, говорит национальный дух», что в нем есть что-то от магии, совершенно простые слова у него звучат ритмически, будто «танцуют танец в диком порыве ветра». «...У него сильный темперамент и художественная искренность. Его стих исполнен чувства и привлекателен... Нет необходимости молиться, чтобы расцвел талант поэта, как не надо молиться о восходе солнца... Солнце должно всходить каждый день, и песня поэта должна возноситься, наливаясь силой и исполняясь новизны».

Галактион и Тициан, будучи двоюродными братьями, сильно отличались характером и поведением. Как поэты, они, естественно, были своеобразными, резко отличающимися друг от друга индивидуальностями, и им не было чуждо некое тайное, скрытое чувство соперничества. Впрочем, Тициан одним из первых отозвался на выход первой книги стихов Галактиона, всплеска его творческого гения.

Как-то в Петербурге Иосиф Мегрелидзе познакомил Галактиона с одной русской художницей, которая сказала, что Тициан (она знала его лично) больше похож на поэта, чем Галактион. Галактион скорее походит на мудреца. Мудрости и идейной глубины хватало и у Тициана, но это сравнение русской художницы говорит не только о внешнем, но и о более глубоком, существенном различии между ними.

Галактион прославился раньше Тициана, он привлек к себе внимание Акакия Церетели и был признан им поэтом с большим будущим. Тициан болезненно пережил случай, когда автором его стихотворения «Цветок», напечатанного в газете

«Сакартвелос моамбе», был назван Галактион. Он не скрыл этого от Галактиона и как-то сказал ему: «Что я тебе сделал такого, что ты присвоил мое стихотворение?» Галактион объяснил, что он тогда же объявил в кругу друзей, что это не его стихотворение. Он понятия не имел, кто поставил его имя под ним. Как затем выяснилось, Иосиф Гришашвили — в то время сотрудник редакции — заменил имя Титэ на Галактиона, так как, по его словам, он знал лишь одного поэта — Галактиона Табидзе.

Различие характеров поэтов проявляется и в конкретном поведении. Об этом свидетельствует один фрагмент из письма Галактиона Оле: «Титэ купил удочки, и мы вместе с ним ходим ловить рыбу, иногда нам это удается, и мальчишки воруют ее у нас... В такой момент Титэ не знает, что делать. Готов перевернуть весь мир, и видя, что я абсолютно спокоен, приходит в еще большую ярость. А меня все это очень веселит...»

Галактион любил вино, но пьяницей не был, просто в тяжелые минуты его тянуло выпить, душа как бы искала убежища. Вот что он писал о себе: «Первый поэт, нравящийся всем, он имеет один недостаток: кажется, любит вино». Эта черта, кроме прочих других, сближала его с Тицианом. «Усыпляет и будит вино Григола Лагидзе, меня же и моего Тициана вино превращает в петушков», — продолжает Галактион. «Мой Тициан» — это не случайно оброненная фраза.

Известно, что и Тициан гордился тем же: «По вину и стихам меня все узнают». В одном из стихотворений он писал: я настоящий бог лени, а если добавить к этому, что пьянство моя стихия — более национального поэта, чем я, в Грузии не найти.

Налейте, братья, дайте выпить,
наполните мой рог красным вином,
В Грузии меня много ругали,
добавят, что я еще и пьяница!

Или вот надпись на кубке:

Истина — в вине —
это я понял,
во всем остальном
неразумным остался Тициан.

Ника Агиашвили вспоминал: «Говорят, Галактион любил выпить, но всем известно, что он не предавался беспробудному пьянству и бесшабашным кутежам, напротив — это вызывало в нем отвращение. С близкими друзьями кутил, чтобы

провести время, пить предпочитал небольшими стаканами, но и от небольшого количества выпитого быстро хмелел. Если предстояли какие-то важные дела, например, издание книги или подготовка к юбилею, то в течение года он не пил ни капли. Но когда дело было сделано, он говорил друзьям: «Давайте покутим, мне хочется петь и веселиться».

Галактион сам чувствовал собственное величие, справедливо гордясь своим несравненным поэтическим даром. Кто может утверждать, что такие слова могли вырваться только у пьяного: «Как единствен весь мир, так единствен Галактион». Или: «Нет никого похожего на меня и равного мне. я единственный, великий, бессмертнейший».

И Галактион, и Тициан, подобно руставелевскому Придону, были способны на такую самопохвалу. В обоих естественно переплетались мудрость с наивностью, непосредственностью, доходящей до гениальности; оба отрицали ложь и показуху. Все их существо, вся жизнь дышали поэзией.

Несмотря на различие, и Галактион и Тициан, как поэты-новаторы, имели некоторые общие черты. В первую очередь оба внесли большой вклад в дело обновления и совершенствования грузинского стиха. Необходимо подчеркнуть и их творческое родство, духовную связь с классиками — Николозом Бараташвили, Ильей Чавчавадзе, Акакием Церетели и Важа Пшавела. То обстоятельство, что в поэзии Галактиона и Тициана нашли отзвук ведущие мотивы классического наследия, безусловно свидетельствует об их творческих корнях, глубоко уходящих в почву национальной литературы.

И Галактион и Тициан имели в жизни и творчестве один девиз, эстетическое кредо, выраженное в лаконичной поэтической формуле: «Поэзия — прежде всего!». И «Не я пишу стих... Стих сам пишет меня». В поэзии обоих отчетливо заметно стремление к вариационному развитию тем и мотивов. Не только в поэзии Галактиона, но и тициановским поэтическим идеалом было глубокое патриотическое чувство, преобразование национальной энергии в художественный факт... Особо следует отметить и их творческую активность в сфере демократизации литературного языка.

Поэтический мир Галактиона и Тициана богат и неисчерпаем. В большей степени это относится к Галактиону, который прожил дольше. Его поэзия — это безбрежное море: непросто переплыть, и берега не достигнуть.

Автандил НИКОЛЕИШВИЛИ

ВАЛЕРИАН ГАПРИНДАШВИЛИ

Разговор о Валериане Гаприндашвили всегда вызывает чувство грусти у человека, хорошо знакомого с литературой. Это связано не только с ним, но и со всем поэтическим поколением, которому он принадлежал, и в первую очередь, с «голубороговцами», судьба которых оказалась столь трагичной. В. Гаприндашвили — одна из колоритных фигур этого замечательного поколения. Его имя время поставило в один ряд с такими именами, как Тициан Табидзе, Паоло Яшвили, Колау Надирадзе, Серго Клдиашвили и другие.

Это поколение заняло особое место в истории грузинской литературы первой половины XX века не только благодаря своему художественному творчеству. Весьма значительную роль сыграла и романтическая жизнь «голубороговцев», их личные взаимоотношения, бескорыстное братство — содружество, ставшее красивой поэтической легендой. С годами эта легенда приобретает все больше очарования, и творческие портреты грузинских символистов уже немыслимы вне ее.

Начиная с 20-х годов, как известно, «идеологически закаленные» представители пролетарских писателей, которых новая эпоха вытолкнула на общественную арену, объявили беспощадную войну «опасным, реакционным», с их точки зрения, писателям и мыслителям.

Одной из главных мишеней для них стали «голубороговцы». Пролетарские писатели агрессивно противостояли «буржуазным, самоцельным» эстетическим взглядам символистов и делали все, чтобы заставить их перейти на новую литературную платформу.

Шло время, идеологические оковы становились все тяжелее и исповедующие собственные литературные принципы группы и объединения постепенно уходили в прошлое. Многие писатели были вынуждены навсегда отказаться от своих прежних взглядов, публично осудить свои «кровью написанные» произведения и превратиться в агитаторов новой эпохи.

Представители старой литературы оказались в железных

тисках идеологического догматизма; живые тенденции творческого процесса были подчинены жесткому контролю. Воцарившиеся в обществе в результате массовых репрессий страх и насилие вынудили многих из них встать на путь компромисса. Все это оставило неизгладимый след в нашей литературе, ограничило, обеднило ее возможности.

Естественно, не остались в стороне от этого процесса и «голубороговцы». Им пришлось пойти на великие жертвы как с творческой точки зрения, так и в физическом смысле. Два признанных лидера этого поколения — Тициан Табидзе и Паоло Яшвили стали жертвами репрессий 1937 года. Остальным, правда, удалось сохранить жизнь, но они вынуждены были платить литературную дань и в течение определенного времени идти путем конъюнктуры. Следствием этого явилось то, что в 30—40-е годы в их творчестве усилилось славословие и умножились панегирики новой эпохе.

Так возникла реальная опасность превращения литературы в идеологический рупор правительства, на литературной арене активизировались искатели счастья и карьеристы, опирающиеся в своей жизни и деятельности на политическую конъюнктуру.

Но следует подчеркнуть и то, что лучшие представители нашей литературы всегда сохраняли самобытность и внутренне противились создавшемуся положению. И если в этот период своего творчества они и создали произведения, не соответствовавшие их мировоззрению, не надо удивляться, поскольку это было тактическим отступлением и вынужденным компромиссом, позволявшим им сохранить свои жизни.

Среди писателей, которые в результате создавшегося положения в какой-то мере свернули с верной литературной стези и изменили своим прежним воззрениям, — был и Валериан Гаприндашвили.

В результате этого вынужденного компромисса, начиная с 30-х годов вплоть до своей кончины, В. Гаприндашвили, увы, разменивал свой талант на создание безликих конъюнктурных произведений. Правда, его поэзия и в этот период обогатилась безусловно интересными стихами, но, думается, не ошибусь, если скажу, что большая часть произведений В. Гаприндашвили той поры с художественной точки зрения явно уступает его ранним поэтическим творениям.

Внутренний цензор жестко ограничивал творческую фантазию идеологическими рамками, полагая основной и почти единственной целью поэтического воображения героизм «сча-

стливой эпохи». Так из стихотворения в стихотворение переходит безграничное восхваление «невиданных успехов» того времени, прошлое рисуется как невежественная мрачная эпоха. а новая жизнь — как эпоха трудового героического энтузиазма, счастья и могущества народа. Дети братских народов с песнями, вдохновенно строят новое социалистическое государство. Классовые враги бессильны перед ними. Примеры подобного стереотипного, «идейно здорового» образа мышления 30-х годов, к сожалению, довольно часто встречаются в творчестве В. Гаприндашвили.

Как и многие другие писатели, творившие в 30—40-е годы, В. Гаприндашвили вынужден был использовать всю свою творческую силу и энергию на создание парадного фасада «счастливой жизни». Как результат этого, его поэзию начинает отличать лозунгово-праздничное видение действительности. Кто отходил от этой тенденции, окрещенной социалистическим реализмом, тот безоговорочно объявлялся идеологически колеблющейся, реакционной личностью, классовым врагом и политически неблагонадежным человеком.

Так что, если верить поэзии того периода, вся страна представляла собой гигантскую строительную площадку в лесах, где дымят устремленные в небо заводские трубы, гудят трактора, и в ритм ударного труда вовлечены и стар и млад. Именно такое видение действительности считалось тогда признаком идейного здоровья и верностью социалистическому реализму. Об этом свидетельствуют и произведения В. Гаприндашвили той поры. Вот одно из его стихотворений:

«Мы рыли землю для большого канала, полны были энтузиазма. В руках я держал большую кирку и походил на настоящего рабочего... Хотя мой труд весьма скромен, и я вношу свой вклад в строительство, и представляется мне надеждой раскинувшийся передо мной сад мира. Этот субботник, как река, впадает в бурное море Октября, этот день останется лучезарным в моей мечте!»*.

К концу 20-х годов в поэзии В. Гаприндашвили господствующее место занимают подобные «гражданственно-публицистические» мотивы, что, безусловно, обеднило его творчество. В этом смысле можно сказать, что из всех «голубороговцев» он как поэт пострадал больше остальных.

Таким образом, второй период творчества В. Гаприндашвили был по существу трагическим отходом от истинных по-

---

* Здесь и далее переводы стихов подстрочные.

этических принципов. Впрочем, отнюдь не надо думать, что в его поэзии этого периода не было создано ничего цельного и полностью исчезли благодать и свежесть его творческой мысли. В. Гаприндашвили и в эти годы пишет несколько весьма интересных произведений, но, давая подобную оценку этого периода его творчества, мы имеем в виду основные сдвиги и тенденции, проявившиеся в поэтическом мышлении автора.

Мировоззренческая метаморфоза явственно проявляется в изменившемся отношении В. Гаприндашвили к Кутаиси — городу, ставшему неотъемлемой частью его жизни. В связи с этим интересно написанное в 1935 году стихотворение «Кутаиси». Это уже не тот город, каким он был в юношеские годы поэта, когда в нем собирались молодые писатели, охваченные романтическими мечтами, и своим творчеством вливавшие новую жизненную энергию в нашу литературу. Этот Кутаиси, полный красивых воспоминаний и юношеских мечтаний, навсегда отошел в прошлое. Вместо него появился новый город, в котором господствуют совершенно иные действительность и настроения. Здесь все пронизано пафосом созидания и труда, храм Баграта заслонен новым огромным строением, небо утыкано заводскими трубами, постоянно гудят гудки, улицы покрыты слоем бария, и город живет бурной индустриальной жизнью.

Поэт воспевает обновленный Кутаиси, хотя от наблюдательного читателя не укроется и та боль, которая временами проскальзывает в авторских воспоминаниях о прошедших днях. Далекий отзвук тех грустных воспоминаний определенным образом снижает мажорное настроение стихотворения.

«Воспоминания сладкие и горькие будто преградили мне дорогу. И каждый уголок для меня сейчас — все равно, что неожиданно встреченный друг... Виднеется келья храма Баграта, опаленная пожаром времен, предметом других песен стал этот Кутаиси — по-юношески молодой».

Процесс переоценки наглядно отразился в большом стихотворении «Антология и бетон», написанном в 1930 году. В нем, с одной стороны, ранние творческие искания оцениваются как самоцельное формалистическое увлечение, с другой проявляется восторженное отношение поэта к новой эпохе.

Но, несмотря на старания автора, его новые поэтические творения оказались лишенными характерной для него художественной самобытности. В этих агитационно-пропагандистских стихах поэт, по существу, поверхностно воспринимает и оценивает явления. Он признает, что «обречены все, кто остался

вне этих ураганных дней», что «земля должна иметь лишь флаг с серпом и молотом» и т. д.

Читателя, знакомого с историей советской литературы, не удивит подобный идейно «здоровый пропагандизм» в поэзии В. Гаприндашвили. В 30—50-е годы весьма рискованно было противостоять этой мощной тенденции, утвержденной партийным диктатом, что открыло дорогу идеологическим стереотипам, отражающим могущество нового времени: прошлое — время тьмы, отсталости и невежества, капиталистический мир — отвратительный мир несправедливости и угнетения рабочих. Социалистическая эпоха — сбывшаяся мечта о братстве народов, равноправии и счастье.

«Строительство в нашей стране устремлено ввысь, как скульптура, мы живем в эпоху победившего труда, безуспешным будет нападение врага. Зря Европа окружила нас кольцом. Филины стремительно исчезают перед солнцем, никогда на нашей планете народ не удостаивался большей победы».

Читая подобные произведения с целью объективно разобраться в сущности большинства из них, небезынтересно вспомнить одно высказывание М. Джавахишвили, относящееся к тому же времени:

«Сегодняшнему грузинскому писателю не достает веры, и истоки кризиса именно в этом. Он не верит в то, что говорит, а когда верит, писать не может; когда нужно плакать, он смеется, а где надо смеяться, плачет. Поэтому его пафос лжив и пуст. Сорвите с его уст замок и вы увидите: он так заплачет, что от жалости к нему растает даже камень, и вознесет такую молитву, что оживит и Богоматерь».

Но трагедия заключалась в том, что некому было сорвать этот замок.

В литературе двадцатых годов широкое распространение получил выдвинутый В. Гаприндашвили так называемый поэтический лозунг «возвращение к земле» поэтов. В 1923 году он писал в первом номере газеты «Лашари»: «Поэты возвращаются с полей искусства. Возвращаются из элизиума поэзии и подобно Елеазару греют свои замерзшие тела на солнце действительности... Это не означает отрицания достижений нашего прошлого. Это есть возвращение к земле».

То было первое, самое значительное проявление необходимости переоценки старых взглядов, определенный отход от принципов так называемого чистого искусства и попытка еще ближе подойти к реальной действительности. Так в творчестве В. Гаприндашвили появляются мировоззренческие основы для

формирования новых литературных взглядов и увеличения масштабов поэтического воображения.

Позднее, когда речь заходила об усилении гражданского духа нашей литературы двадцатых годов, В. Гаприндашвили придавал особое значение этим своим словам. «Мне принадлежит лозунг «возвращение к земле», которым я звал своих литературных коллег на позиции реалистического творчества,— писал он в 1936 году. — Для меня как поэта Октябрьская революция сыграла величайшую роль... По мере возможностей я откликнулся на тематику наших дней. Символизм для меня уже пройденный этап, и в сегодняшних своих стихах я хочу быть совершенно свободным от методов моего прошлого».

В этих словах читатель несомненно почувствует влияние командно-идеологической политики, проводившейся в то время, вынудившей В. Гаприндашвили поступиться истинными литературными принципами и поставившей его на компромиссный путь тенденциозного освещения действительности. Объективности ради надо сказать, что «освобождение от «методов прошлого» и переход на позиции «реалистического творчества» не принесли пользы поэту.

В его поэзию, как было отмечено, входит и укореняется многое такое, что не являлось непосредственным плодом убеждений автора. Интимные настроения его лирики, поэтическую вольность и непосредственность чувств сменил продиктованный политической ситуацией идеологический шаблон. Его поэзия утратила дающую ей внутренний импульс силу, которую Шалва Апхаидзе характеризует так: «Поэзия Валериана Гаприндашвили — отражение субъективных эмоций, волшебное зеркало. Каждый нюанс его душевных переживаний нежными, отяжелевшими тонами оседает на это зеркало».

Именно субъективностью восприятия и отображения явлений пожертвовал В. Гаприндашвили на втором этапе творческой деятельности и ее место заняли публицистическая риторика и пропагандистский трафарет. Оскудели художественно-изобразительные средства. Утихло и волнение страстей в сфере версификационных исканий.

Новым поэтическим вариантом лозунга «возвращение к земле» можно считать стихотворение «Песня» (1930 г.), в котором поэт с гордостью сообщает о достижениях новой эпохи. «Мы распрощались с витанием в небесах и с поцелуем вернулись к земле» — говорит он, имея в виду не только себя. Подобная жизненная позиция, как видно из стихотворения, диаметрально изменила литературно-мировоззренческие принципы

В. Гаприндашвили и его поколения. Новое время привнесло в их легкое и отточенное слово «тяжесть железа». Позади осталась грустная тоска по «мерцанию луны», и поэт, ныне солдат обновленной страны, по зову заводского гудка решительно становится в ряды передовиков.

«Наша родина стремительно строится. Будем солдатами нового времени. И наше слово родится там, где сверкает солнце производства! Заводские гудки вновь зовут. Так все — в передовые ряды! Сегодня поэзия — коллектив, служащий пятилетке, как передовик!»

Так диаметрально меняется точка зрения В. Гаприндашвили на эстетическую функцию и назначение поэзии. К подобным взглядам его привела новая политическая ситуация, с течением времени все более сковывающая творческую свободу, ставящая в жесткие идеологические рамки литературные группы, придерживающиеся иных взглядов.

То, что это действительно так, четко прослеживается в творчестве В. Гаприндашвили. Новое время поставило его перед необходимостью идти в своих поисках именно в этом направлении. В 1930 году он писал: «Еще выносливы мои ноги, иду все время вперед — смелее других, или сорвусь где-нибудь в пропасть, или же выйду на желанную дорогу».

Но, несмотря на подобное настроение, сердце поэта, находящегося на мировоззренческом перепутье, нередко теснят печальные сомнения в собственных литературных достижениях и возможностях. В результате создаются стихи, критически оценивающие пройденный им поэтический путь. Признание того, что его «голос звучит бедно» рождает грустный настрой этих стихов. Автор сравнивает себя с высохшим родником и «больным Бетховеном», мечтающим о желанных минутах приобщения к великой поэзии («Неужели я лишь высохший родник», 1933 г.). То, что было ценного в его жизни и личности, ушло в область мечтаний. «Опаленная вдохновением судьба» как будто окончательно разгневалась на поэта, навсегда разлучив его с поэзией. Вот фрагментарное отражение такого пессимистического настроения: «Неужели я лишь высохший родник и стал похож на больного Бетховена, неужели не смогу радоваться стихам и должен распрощаться с поэзией?».

Истоки этого грустного настроя, как уже было сказано, — в прощании со старым литературным миром. Поэт вынужден был решительно отказаться от всего того, что было частью его веры, души и сердца. Он навсегда должен был проститься с годами лелеемыми и нежно пестуемыми литературными меч-

таниями, в которых он и его единомышленники видели истинный путь в литературе. Новая политическая обстановка разрушила их прежние представления — духовный мир строителя социалистической эпохи не нуждался в подобном бремени.

Этот перелом был весьма болезненным этапом в творческой биографии непролетарских писателей. Не составил исключения и В. Гаприндашвили. Поэт с сожалением и болью прощается с прежними взглядами и клянется в верности новой стране. Большинство этих поэтических деклараций пишется в конце двадцатых годов. Поэт старается определить в них предмет своей завтрашней поэтической деятельности и стремлений. В связи с этим интерес представляет стихотворение «У чистильщика обуви» (1928 г.), настроение которого перекликается с настроением лирической исповеди Т. Табидзе «Не удивляйся» (1926 г.). Основная мысль его — признание того, что уставший от бесцельных мечтаний поэт излечился от старых ошибок и нашел истинный путь в жизни.

«Я устал на дорогах мечтаний и бездомный возвращаюсь к тебе. Слишком разрежен воздух в горах. Слишком ярко сверкают яхонты. Белому аромату хризантем я предпочитаю запах хлеба и ужасу одиночества — братское приветствие трудового народа... Мой чистильщик напоминает мне Христа, омывшего ноги своим ученикам. Отныне меня, излечившегося, не опечалят ни гнев, ни ярость».

Особая заслуга В. Гаприндашвили-поэта перед грузинской литературой состоит в том, что он наряду с выдающимися писателями своего времени стоит у истоков качественного обновления национальной поэзии начала двадцатого века. Увлеченный в десятые годы символизмом, поэт много сил и энергии отдал борьбе с литературным трафаретом, шаблонными поэтическими формами.

Как справедливо отмечал Тамаз Чхенкели, «Даисэби» («Сумерки», 1919 г.) В. Гаприндашвили, «Артистические цветы» (1919 г.) Галактиона, «Антология грузинской поэзии» (1919 г.) и «Балдахин» (1920 г.) Колау Надирадзе — фактически первые сборники грузинской поэзии XX столетия.

Правда, со временем интерес к этим книгам, за исключением «Артистических цветов» Г. Табидзе, заметно понизился, но подобная оценка их значения исторически вполне оправдана. Усиление к концу 20-х годов тенденций модернистского обновления грузинской поэзии, что закладывало основы качественного обновления поэтического мышления, впервые наиболее ярко проявилось именно в названных сборниках.

Не надо, однако, думать, будто у истоков литературного обновления стояли лишь вышеупомянутые авторы. Когда речь идет о качественном обновлении грузинской поэзии 10-х годов, нельзя не отметить ту первостепенную роль, которую сыграли в нем Т. Табидзе, П. Яшвили, Г. Леонидзе, И. Гришашвили, Ал. Абашели и другие.

В. Гаприндашвили — достойный представитель этого замечательного литературного поколения, творческую деятельность которого определяла вера в то, что для достижения поэтической самобытности необходимо отмежеваться от старых форм и традиций. Этот путь исканий привел его к символизму, он стал одним из активных творцов, внедрявших в грузинскую поэзию совершенно новые тенденции. Позже многое из этих новаций оказалось самоцельным и неприемлемым, но главное то, что В. Гаприндашвили вместе со своими единомышленниками смело выступил против штампов и шаблонов, ставших тормозом на пути литературного обновления, и привнес в национальную литературу новую живительную струю.

Он, несомненно, сыграл большую роль в деле развития грузинской литературы не только своим художественным творчеством, но и практической деятельностью. Особенно следует отметить его заслуги в качестве редактора журнала «Мечтающие газели» (1919-24 гг.). В. Гаприндашвили собрал вокруг себя именно тех талантливых молодых писателей, которые самоотверженно боролись за внедрение новых литературных форм и принципов и настрой грузинской литературы на «европейский радиус» (Т. Табидзе).

Интерес современного читателя к творчеству В. Гаприндашвили связан, в первую очередь, с его символистским периодом. Кроме того, он во многом обусловлен и личными его взаимоотношениями с остальными «голубороговцами». В литературных кругах он единодушно признан одним из почетных членов «троицы», в состав которой, кроме него, входили Паоло Яшвили и Тициан Табидзе. В годы увлечения символизмом, включающие примерно двадцать-пятнадцать лет, В. Гаприндашвили как поэт и человек предстает цельной личностью. Разрушение этой целостности и противостояние прежним литературным убеждениям, как отмечалось выше, начинается в конце двадцатых годов. В период увлечения символизмом В. Гаприндашвили потратил много сил для утверждения нового понимания поэзии. Этой цели служили как его стихотворения, так и эссе. Несомненный интерес для современного читателя представляют и его литературные статьи, в

которых четко сформулированы эстетические воззрения поэта, его взгляд на литературу и искусство.

Таким образом, стихи и статьи поэта как составная часть весьма интересного периода нашей литературы занимают свое достойное место в истории грузинской литературы первой четверти двадцатого века. И то обстоятельство, что время многое из литературных новшеств тех лет отвергло, умалило значение и сделало принадлежностью минувшего исторического процесса, не может снизить наш интерес и обесценить их роль.

Сегодняшний читатель, к примеру, не может полностью разделить восторга современников поэта перед творчеством В. Гаприндашвили. А ведь в десятые и двадцатые годы наша литературная общественность, особенно же «голубороговцы», весьма высоко оценивали его поэзию, что подтверждают статьи и стихи, посвященные поэту и его творчеству. Как было сказано, время ослабило, погасило этот интерес, но в истории национальной литературы навсегда осталось имя В. Гаприндашвили — талантливого, весьма колоритного и смело противостоящего литературным трафаретам поэта.

Несмотря на то, что в поисках собственной индивидуальности В. Гаприндашвили пришлось преодолеть немало барьеров (вначале он писал стихи на русском, затем, в первые же годы увлечения символизмом, резко противопоставил себя литературным традициям...), он все-таки сумел обрести ту живительную силу, которая придавала его лирике особенную прелесть. Главной целью своей сознательной литературной деятельности поэт считал укрепление «национального хребта» (выражение автора).

«Сегодня, — писал он, — начинаются глубочайшие изменения в грузинском мышлении... Поэзия, из этнографии и национального провинциализма вышедшая на универсальные формы, в большей степени укрепляет национальный хребет и служит оправданием нации».

Этот процесс возрождения национального поэтического сознания писатель связывал с восстановлением независимости Грузии:

«Восстанавливаются традиции государственности Грузии. Порабощенное сердце обретает свободу. Рождается грузинская идея».

Но, как подтверждает литературная деятельность В. Гаприндашвили, возрождение национального духа он считал возможным лишь в кровной связи с мировой прогрессивной культурой. И эта точка зрения — поиски путей развития грузин-

ской литературы в неделимом единстве национальных и мировых (в первую очередь, европейских) культурных традиций — стала основополагающей в его творческой деятельности.

В. Гаприндашвили внес большой вклад в дело версификационного многообразия грузинской поэзии десятых и двадцатых годов. Особенно нужно подчеркнуть его заслуги в утверждении стихотворной формы сонета. Сонет для него был поэтической формой выражения духовного аристократизма.

Особая любовь В. Гаприндашвили к сонету проявляется не только в его поэтическом творчестве, но и в статьях. Он часто рассуждает об особенностях этой стихотворной формы, его внутренней природе и поэтической структуре. Подтверждение этому — статья «Проблема сонета», напечатанная в 1919 году в первом номере журнала «Мечтающие газели». Но несмотря на особенное внимание к поэтической форме, для поэзии В. Гаприндашвили не характерно многообразие версификационных размеров и ритмических интонаций. С этой точки зрения более всего интересны его символистские стихи. Со второй же половины двадцатых годов в его лирике, по существу, господствуют, за редким исключением, два стихотворных размера — десятисложный (чаще) и четырнадцатисложный (сравнительно реже).

Не надо, однако, понимать вышесказанное как полное отсутствие в поэзии В. Гаприндашвили ритмического многообразия и утонченности. Нет, в творчестве поэта встречаются обычно исходящие из недр грузинского классического стихосложения мелодические версификационные формы и ритмические интонации.

Вспомним хотя бы «Сентиментальный триолет» — один из лучших образцов лирики В. Гаприндашвили — с его непосредственностью настроения, нежнейшим лиризмом и грустным музыкальным напевом. Форма триолета в данном случае сыграла определенную роль в достижении художественного совершенства. Благодаря именно этой весьма специфической форме, поэту удается достичь неповторимой поэтической мелодии и приобщить нас к своему минорному душевному настрою.

Можно сказать, что из всех «голубороговцев» В. Гаприндашвили самый яркий теоретик, замечательный законодатель в области эстетических принципов. Поэтому его эссеистическое наследие имеет огромное значение для постижения грузинской литературной жизни первой четверти нашего столетия.

В первую очередь, оно помогает нам постичь тайну лите-

ратурных побед «голубороговцев» — как им удавалось заряДить национальный поэтический феномен новыми жизненными импульсами — только путем естественного освоения новшеств иностранной литературы, иначе подобные поиски, как правило, приводят к бездуховной поэтической бутафории, художественной экзальтации и бесперспективному подражательству.

Помимо всего прочего, литературные статьи В. Гаприндашвили и других представителей его поколения имели огромное просветительское значение. Благодаря им широкие читательские круги в Грузии впервые знакомились со многими новшествами европейской литературы, составляли представления о новых эстетических концепциях, знакомились с литературным миром, весьма отличным от классических национальных традиций. Большая часть общества поначалу скептически отнеслась к этим поэтическим исканиям, но «голубороговцы» твердо и убежденно отстаивали избранный ими путь и последовательно утверждали основополагающие принципы нового поэтического мышления. В. Гаприндашвили с самого начала был признан одним из лидеров этого движения.

В его символистских стихотворениях чувствуется стремление к ирреальному запредельному миру, что определенным образом усложняет мышление поэта и делает его стихи трудными для восприятия широким читателем. Это не случайное явление. Поэт создавал свои стихотворения не для массы Стих, по его мнению, таинственная красота, доступная и понятная лишь избранным. Он отмечал: «Нам особенно дороги стихи, недоступные для вульгарного понимания и вызывающие страх, как непостижимые иероглифы».

Интересна также и другая тенденция, характерная для поэтического вдохновения В. Гаприндашвили. «Малларме создал эстетику комнаты, — говорил он. — Значительной категорий комнаты, разумеется, является зеркало. Возможно, Малларме первый из поэтов, обративший внимание на зеркало как на предмет творчества и давший нам поэзию зеркала Зеркало ведь — величайший символ нашей жизни. Ничто столь мистически не выражает призрачность нашего бытия, нашу действительность, нашу связь с прошлым и будущим как зеркало». Эта характеристика поэзии Малларме фактически есть и характеристика лирики самого В. Гаприндашвили, поскольку подчеркнутые здесь черты полностью соответствуют и его символистским стихотворениям. Например:

«Зажгу свечу перед Врубелем слабой рукой, раскрою Бодлера, перечитаю его «Одиночество». Скажут мне призра-

ки, чуждые призраки: «Мы все еще ждем тебя, присоединяйся к нам, будь нашим братом... Рискни только, откажись от тяжкого бытия, повторения солнечного света и дней, и ты поймешь, что такое аромат луны, и ты поймешь, что есть призрачная жизнь».

Так проявляется в лирике поэта культ «призрачной жизни» и желание уйти в ирреальный, оторванный от действительности мир.

Подобное понимание назначения искусства, естественно, вступило в противоречие с теорией реализма. Писатель решительно отмежевывался от реализма как «грубого отражения действительности». Реалистическое восприятие явлений, по его мнению, сковывает и обедняет воображение, в то время как «мышление символами» походит на те «волшебные зеркала», которые «дают множество отражений действительности». Преимущество символа в том, что он насчитывает века, и «содержание его бездонно и неисчерпаемо».

Подобное восприятие действительности, естественно, рождает другую тенденцию — мифологичность. В лирике поэта появляется культ двойников, призраков и других ирреальных образов-символов. Это чувствуется, например, в стихах, посвященных друзьям-писателям, в которых личная дружба мифологизирована и подчеркиваются отношения, кои «интимность превратили в поэзию и своим интимным чувствам придали характер универсальной лирики».

Из всех литературных жанров «голубороговцы» отдавали преимущество лирике, поскольку в первую очередь именно ее считали самой предпочтительной формой для достижения своих творческих идеалов. Эту точку зрения подтверждает как их поэтическая деятельность, так и эссеистика. В. Гаприндашвили, к примеру, посвятил характеристике достоинств лирического жанра специальные статьи. Наиболее интересной из них является «Заметки о лирике» (журн. «Мечтающие газели», 1919 г., № 3), в которой сформулированы некоторые основополагающие принципы эстетической теории «голубороговцев».

Лирика, по мнению поэта, «дает чувство высшего блаженства, и ни один вид искусства (кроме музыки) не погружает душу в нирвану так, как лирика». Она дает возможность познать таинственную, ирреальную сущность мира. Автор считает, что «порою один лирический стон может перевесить многотомный роман», что «лирика — квинтэссенция мировой печали».

Особую любовь к лирике поэт пронес через всю жизнь. Он, по существу, остался поэтом-лириком и даже не искал дру-

тих литературных форм для выражения своих мыслей. Главнейшим достоинством лирики он считал автобиографичность. Лирика, фактически, «автопортрет поэта», но автор не должен ограничиваться камерными, чисто субъективными чувствами, и «боль, которую он испытывает, должна подняться до уровня мировой проблемы».

Таково гаприндашвилевское понимание лирики, от которого он, к сожалению, отходит в своей практической деятельности 20-х годов, поступившись именно личностным подходом к явлениям, субъективностью, место которых заняло декларативно-пропагандистское описание фактов.

В. Гаприндашвили в своей поэзии отдал дань и урбанизму, как одному из существенных признаков символистской лирики. По его мнению, «современную лирику несомненно создала городская богема». Место природы занял город, сама природа, как ландшафт, теряет свой первозданный облик. Подобное теоретическое объяснение урбанизма находит своеобразное воплощение в творчестве поэта. Но урбанизм в его лирике еще не стал трагическим истоком отчуждения людей, который пробудит в душе личности ностальгию по первозданной природе.

Поскольку урбанизм — приемлемая для лирического героя поэзии В. Гаприндашвили форма цивилизованной жизни, из которой исключены сильный конфликт и противостояние. Это отношение обусловлено и тем, что творчество его любимых поэтов — Верлена, Бодлера, Лафорга, Малларме, Рембо и других «родилось при электрическом свете на улицах города и в кафе».

Культ городской жизни у поэта тесно связан с воспеванием богемы. В своих статьях В. Гаприндашвили фактически фетишизирует богемную жизнь как необычную форму проявления аристократизма и духовной свободы творца. Мириан Абуладзе справедливо отмечал, что подобная идеализация богемы, по существу, была «своего рода литературной позой, весьма своеобразным проявлением богемного артистизма и искусственного подражания западным писателям-декадентам».

Следы этого подражания заметны и в стихах поэта. Но тем не менее в личной своей жизни В. Гаприндашвили и его друзья никогда не доходили до того крайнего проявления богемности, которое он считал идеалом для истинного поэта.

«Любая иная карьера, кроме самоубийства, позорна для поэта. Я не желаю быть Виктором Гюго или Акакием, я предпочитаю погибнуть, как богема. Для поэта позорна любая иная карьера, кроме безумия. Я не хочу быть счастливым, как

Гёте, я предпочитаю погибнуть, как Роллина. Для поэта любая позорна карьера, кроме чахотки! Долгожителю Малларме я предпочитаю Лафорга. Я уверовал в эту карьеру для поэта: безумие, чахотка и самоубийство...»

В этих строчках наблюдательный читатель, безусловно, увидит театральную позу, маску, которые поэт и его друзья считали необходимым атрибутом искусства. Жизнь для них была сценой, они же сами — актерами, участвующими в вечном спектакле жизни.

Но их практическая жизнь и теоретические взгляды не всегда совпадают. Это проявляется и в статьях В. Гаприндашвили. Он, как уже было сказано, хотя и считал богему жизненным идеалом творца, однако в личной жизни был весьма далек от нее. «У богемы, — писал поэт, — нет своего очага, своей семьи, она бездомна, часто ночует на улицах, под мостами, в кофейнях и тюрьмах, богема — отрицание семейной и спокойной жизни, она — враг нормы и рвется к скандалу».

Несмотря на то, что романтическая жизнь «голубороговцев» полна эксцессов и неординарных приключений, она никогда не доходила до крайней богемности. Для этих аристократических денди совершенно чужд и неприемлем мистицизм, вызванный «опиумом, гашишем, нищетой и голодом», который они так идеализировали.

Вся сознательная жизнь В. Гаприндашвили была ожиданием чудесного мига, когда желанная строка, как вспышка молнии во глубине небес, сверкнет в тайных глубинах воображения. «Искатель жемчуга, ищу я удачные строки», — писал он с глубокой верой в то, что «в глубине души покоится величие еще невиданного богатства», что «далекая волна сорвет с головы покрывало и, прослезившись, тихо откроет мне тайну». Так в ожидании желанной строки прошла его жизнь, в ожидании того, что «вдохновение повторит свое чудо и немым предметам будет дан бессмертный язык».

Другой мечты у него не было... Стих для него был самым большим кладом и богатством. С этой мечтой сошел он в могилу и унес с собой грезу о стихотворении, которое вместо него осталось бы на этой земле.

«Я был богат лишь стихами и не искал других богатств, и ничто другое, кроме стихов, не покоряло мое воображение. Я хочу написать такой стих, чтобы больше не понадобилось писать стихов. Я хочу превратиться в пепел, как святой огонь, и это будет песней судьбы».

Гурам БАРНОВ

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО И СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

О плачевном состоянии грузинской литературной критики писал в свое время Илья Чавчавадзе в статье «Почему у нас нет критики». Известно, что грузинские шестидесятники придавали литературе большое значение в деле пробуждения национального самосознания и борьбы против социальной несправедливости. Именно с этой целью совершили они языковую реформу, заключавшуюся в сближении литературного языка с языком народным, и фактически создали литературу нового типа — утилитарную, мобилизующую, организующую... Но поскольку все же литература в первую очередь художественный феномен, в котором главная мысль лежит не на поверхности, а преломляется сквозь художественную призму, ее совершенное восприятие, т. е. такое, когда не страдает эмоциональная сторона, в большой степени зависит от того, насколько глубоко удается читателю постичь художественный мир автора. Помочь ему в этом — призвание литературной критики. Но то, с чем столкнулись в Грузии «тергдалеулеби» («испившие воды Терека»), было скорее антикритикой, которая могла помешать становлению новой литературы.

Вспомним Г. Баратова, попытавшегося «разработать» небольшое стихотворение Ильи Чавчавадзе, и в строках:

Отчизна любимая,
когда ты расцветешь?

увидевшего «тоску по зеленой траве». Илья Чавчавадзе с иронией писал: «Действительно, надо иметь беспредельную фантазию и талант г. Г. Баратова, чтобы понять простую, высказанную без затей мысль».

Или вспомним, какой гнев у Ильи Чавчавадзе вызвал критик «Сослан», опубликовавший в газете «Новое обозрение» статью о «Коварной Тамар» Акакия Церетели под красочной рубрикой «Рецензия». «Что общего у этой статьи с «рецензией»? — вспрошал Илья Чавчавадзе, — рецензия— та же критика. По нашему мнению, в рецензии, как и в критической статье, должен быть разбор произведения, его оценка, обоснование достоинств и недостатков. Бездоказательные утверждения типа «хорошо» или «плохо», «автор справился с материалом» или «не справился», «есть движение в пьесе» или «нет» и тому подобное — пустые фразы, а не рецензия. От рецензии многое требуется, и это многое отсутствует в этой статье».

(А сколько подобных так называемых рецензий или критических статей печатается и сегодня!).

Первейшим долгом литературной критики Илья Чавчавадзе считал всестороннее «рассмотрение, разбор, анализ и оценку» художественного произведения и оставил нам блестящий образец художественного анализа нескольких пассажей из «Витязя в тигровой шкуре» (см. статью «Г-н Акакий Церетели и «Витязь в тигровой шкуре»).

Неимение критики в то время многие связывали с бедностью грузинской литературы. Илья Чавчавадзе решительно отверг этот нигилистический взгляд: «Отсутствие критики у нас не следует приписывать беспредметности нашей литературы вообще и поэзии в частности. Беспредметность нашей литературы — явная ложь. Кто обвиняет ее в этом, обвиняет по незнанию или же умышленно, с целью оградить себя от ответственности за отсутствие у нас критики и свалить вину на другого».

Илья Чавчавадзе совершенно справедливо считал, что отсутствием критики мы были обязаны «собственному нашему бессилию и беспомощности», вызванным не бездарностью или необразованностью, но тем, что не было у нас традиции, навыка задумываться о собственных проблемах, а постольку и способности ценить и оценивать собственную литературу: «Мы нигде не найдем заранее сбдуманных, сложившихся мыслей о нашей литературе... Это обстоятельство обязывает каждого из нас, используя свои знания и опыт, приступить к сложному,

нелегкому делу создания собственной критики, собственного суждения... Наша так называемая интеллигенция весьма слабо подготовлена к подобной самодеятельности».

В странах же, где критика заботилась и помогала литературе, искусству, все более или менее значительные культурные явления были проанализированы и оценены. И что главное, оценены со знанием дела, увлекательно. Именно по этому поводу писал Илья Чавчавадзе: «Наши ученые, образованные мужи досконально преподадут вам теорию Дарвина, раскроют перед вами эстетику Гегеля, философию искусства Лессинга и Тэна, ибо знают их как свои пять пальцев, и о Шекспире, Гете, Байроне, даже о Гомере, которого, между нами, мало кто читал, напишут огромные труды, и, может быть, даже, чем черт не шутит, достойные чтения, а с одним небольшим стихотворением какого-нибудь нашего поэта, как правило, справиться не могут».

После опубликования вышеназванной статьи Ильи Чавчавадзе прошло более ста лет, но и сегодня разговор о низком уровне нашей литературной критики не устарел. Какова же нынешняя причина того, что у нас нет критики? В нашей периодике время от времени публиковались статьи, авторы которых пытались разобраться в причинах этого. Из множества статей на эту тему я выберу одну по двум причинам: 1. статья написана в 1987 году, когда официально уже можно было с определенной долей искренности выразить свою мысль; 2. написанная с высоким профессионализмом, она частично отразила и взгляды тех, кто в разное время задумывался над сущностью современной литературной критики, о ее завтрашнем дне.

Я имею в виду статью под названием Почему у нас нет критики? — опубликованную в газете «Литературули Сакартвело» (1987 г., № 4) за подписью «Литератор».

Прямое повторение заголовка чавчавадзевской статьи, да еще без кавычек, указывает на то, что данная статья — не просто юбилейная публикация, автор не отрицает начисто существования современной критики («Есть хорошие литературные статьи — Боже упаси, чтобы их не было, — но их очень мало, и они не делают погоды»), но отмечает, что критику, которая «растворяется в весьма вредном море нивелирования», которая «не в состоянии выполнить свое назначение», «сбивает с толку читателя», никак не помогая литературе, а напротив, «препятствуя ее развитию», фактически нельзя признать критикой.

«Литератор» называет две основные причины бедственного положения нынешней критики:

1. «Нелитературная оценка и опошление литературного наследия, происходившие на протяжении десятилетий».

Трудно не согласиться с автором, но скорее это следствие, нежели причина отсутствия у нас критики! Главное, разобраться, как стало возможно подобное или по какой причине происходили «нелитературная оценка и опошление литературного наследия»? Неужели имел место «заговор» против грузинской литературы? А может быть, критика просто не могла дать литературной оценки литературному наследию? А если это так, то почему не могла?

2. «Групповщина в литературе, когда представители определенной группы преследовали живую мысль».

Действительно, немаловажная причина, но в подобном положении у нас была не только литературная критика, ведь литературная критика не единственная арена деятельности упомянутых «представителей определенной группы», преследовавших «живую мысль»? В конце концов, из этой же статьи становится ясно, что преследование живой мысли, к счастью, лишь в отдельных случаях сказалось отрицательно на самой литературе и театральном искусстве. Почему же именно для литературной критики оно оказалось губительным?

Вот вопросы, которые невольно возникают при чтении этой статьи.

Может быть, в самом гене нашей критики кодирован такой порок, который сам по себе уже исключает возможность какого бы то ни было значительного успеха?

Илья Чавчавадзе в вышеупомянутой статье оставил нам в качестве завещания следующее:

«Не только необоснованная хула, но и необоснованная хвала оскорбительны для правдивого человека, и советую грузинской литературе никогда не мириться ни с тем, ни с другим».

Современное литературоведение великолепно примирилось как с одним, так и с другим. Более того, к «необоснованной хуле» и «необоснованной хвале» оно прибавило «незаслуженную хулу» и «незаслуженную хвалу».

Сегодня уже ясно, что Илья Чавчавадзе хорошо понимал, какие последствия влекут за собой «необоснованная хула» или «необоснованная хвала» не только в литературе, но почти во всех сферах общественной жизни.

Зачастую нашим критикам хватало и остроты, и прямоты,

но такие выступления ничего не стоили, ибо критика (за редким исключением) была не в состоянии ни обоснованно хулить, ни обоснованно хвалить. Поэтому хвалу обычно заменял панегирик, если же речь шла о недостатках — выставляли на позор. Эта болезнь приняла хронический характер.

В чем была причина?

Прежде всего в том, что на литературу фактически была возложена только и лишь только социально-идеологическая функция, и на протяжении десятилетий фольклорные или литературные памятники подвергались не художественному, а идейно-социологическому, в лучшем случае историко-филологическому анализу, т. е. без внимания оставалась основная характерная черта художественного произведения — его художественность. Это явление дало о себе знать еще в начале нашего века, когда Ленин назвал творчество Льва Толстого «зеркалом русской революции», тем самым фактически определив назначение литературы в будущем новом обществе. Тут нельзя не вспомнить и Ф. Махарадзе, который отмечал, что «Сурамская крепость» Э. Ниношвили выше «Витязя в тигровой шкуре» по той причине, что отразила картину крепостничества и социального неравенства и является правдивым зеркалом классовой борьбы.

Совершенно ясно, что лидеры нового строя хотели превратить литературу в эффективное орудие для как можно быстрого преобразования людей и общества. Поэтому они требовали от современных писателей произведений, в которых новые политические, идейные и нравственные тенденции находились бы на поверхности, на возможно более «видном месте». Но чем более оголена тенденция в художественном произведении, тем меньше эмоций вызывает оно в читателе, т. е. тем меньше воздействует на него. Происходила профанация литературы, ввиду чего она не могла выполнять ту функцию, которую выполняла на протяжении всего своего существования. Более того, уже стала фактом определенная апатия по отношению к истинному художественному слову, и это вполне закономерно. Авторитарным режимам всех мастей необходимо крайне покорное и склонное к фанатизму общество, и политика и практика формирования подобного общества сами по себе потребовали фактического отрицания литературы. Находящиеся во власти иллюзий создания «новой культуры» новые правители пытались утвердить собственную мораль. На этом пути препятствием встала старая культура.

Оценка художественных памятников только с идейной,

идеологической или социологической точек зрения была довольно легким делом, и современная литературная критика в основном пошла по этому пути, тем самым безбожно предав литературу.

Что касается художественного анализа, его, правда, не объявляли вне закона, но он был низведен до простого перечня типа: какие тропы использует писатель, к какого рода рифмам прибегает и т. д.

Представим себе исследование, посвященное какому-нибудь негрузинскому поэту, в котором речь идет о рифмах, сравнениях, метафорах, афоризмах или дается школярская характеристика персонажей. Разве оно даст нам представление о художественном мире этого писателя?

Ведь художественные тропы, подобно тем, что встречаются в «Витязе в тигровой шкуре», использовались до Руставели и после него. Встречались как в западной литературе, так и в восточной, но что создает индивидуальность Руставели, его неповторимость, в чем удивительная сила его воздействия на читателя, что выделяет его среди других поэтов?

Если поэт использует распространенные и испытанные на Западе и Востоке тропы и поэтические образы, но тем не менее достигает невиданных поэтических высот, очевидно, что главная сила его воздействия на читателя совершенно в ином, и коли найти разгадку этому трудно, то можно хотя бы попытаться определить сферу, где ее искать.

Исследование вопросов поэтики, изолированное, оторванное от единой художественной ткани — лишь первый шаг на большом пути постижения художественного мира любого писателя. Такое изолированное, фактически формалистическое исследование в свое время привело нас к тому, что Чахрухадзе был признан таким же гениальным поэтом, как Руставели. Тут же замечу, что несмотря на то, что после советизации у нас как будто была объявлена война формализму, именно формализм стал господствовать во всех сферах нашей общественной жизни, будь то просвещение, литературная критика или другое.

Как вне идеи и художественности нет истинной литературы, так вне идейно-художественного анализа нет литературной критики, литературоведения, ибо отдельно взятый, выполненный на высоком профессиональном уровне идейный, мировоззренческий, социологический или исторический анализ ничего не говорит об истинной ценности художественного произведения.

В двадцатых годах XX века идейной стороне художествен-

ного произведения отводится решающее значение и, хотя официально художественный анализ не отрицается, он, как я уже говорил, принимает явно формальный, в ряде же случаев явно формалистический характер, что способствует профанации литературы. Критика уподобляется диспропорционально развитому телу, или, говоря другими словами, формируется своеобразное клише, стереотип по существу неполноценной критики со всеми вытекающими печальными последствиями. Что касается неблагоприятных внешних факторов, они помимо своего основного «назначения» параллельно выполняют роль лакмусовой бумаги и способствуют выявлению слабых сторон, с самого начала закодированных в природе нашей критики.

Азбучная истина — поскольку фольклорное или литературное произведение, в первую очередь, явление художественное, фактическое пренебрежение художественной стороной делает невозможным его обоснованную оценку, а критика, утратившая критерий оценки, естественно, не может быть более или менее объективной и принципиальной, ибо необъективность и беспринципность — близнецы-братья. В то же время беспринципность имеет свое «преимущество» — развязывает человеку руки, надежно защищая его от назойливого взгляда того странного феномена, который по традиции зовется нравственностью.

Если бы не беспринципность и необъективность, литературная критика, возможно, до конца осталась бы честной перед грузинской культурой и не принизила собственный авторитет. Вместе с утратой критерия оценки критика потеряла и доверие читателя: трудно довериться критику, который «по тем или иным причинам» называет белое черным, а потом «в случае необходимости» названное черным объявляет белым, при этом ни мало не заботясь о пересмотре прежней своей позиции. Точнее, он не может позаботиться об этом, ибо не способен ни на справедливую хвалу, ни на справедливую хулу. Такая коварная переменчивость может повторяться столько раз, сколько раз в ней возникает необходимость (вспомним хотя бы перипетии, связанные с оценкой творчества М. Джавахишвили). Словом, наша критика привыкла к «попутному ветру» и без него не делала ни одного шага, виртуозно реагируя на малейшее изменение направления ветра. Как испытанный гедонист, наша критика жила только сегодняшним днем, совершенно не заботясь, «что скажут о ней потомки».

Общество, правда, не может требовать от кого-либо самопожертвования, но некоторые критики с каким-то нездоро-

вым азартом забывали, что порой и молчание бывает красноречивым. Впрочем, кто его знает, может быть, потому и забывали, что молчание порой слишком красноречиво. Так или иначе, критика постепенно утратила свою прямую функцию и уподобилась тому обвинителю, глаза и уши которого закрыты для восприятия прекрасного, эстетического, эмоционального, т. е. всего того, ради чего, собственно, возникло, чем пленяет нас и чем ценно искусство слова.

Когда критика не способна ни на обоснованную хвалу, ни на обоснованную хулу, у нее нет иного принципа, кроме одного, — «так нужно». «Нужно» для кого? Для самой литературы? Народа? Давно уже известно, «нужно» было для тех, кто жил по этому «принципу» и в своей «деятельности» им руководствовался.

Этот «принцип» весьма облегчал соответствующим образом оценивать ситуацию. Правда, порой случалось, что создавшаяся ситуация не мешала, а напротив, способствовала вынесению критикой справедливого, независимо от нее, приговора (впрочем, опять же необоснованного), но эти редкие, отдельные случаи имели свою теневую сторону: они как бы узаконивали, придавали оттенок справедливости ранее вынесенным или будущим несправедливым приговорам, согласно которым достойных выставляли на позор, а недостойных возводили в пример. Критика уподобилась тому гончару, который где хотел, там и приделывал ручку к глиняной посуде. Было бы преувеличением утверждать, что все общественные проблемы обусловлены неумелостью, необъективностью и беспринципностью критики, но безусловно и то, что это оказывало негативное влияние на общественное сознание — в народе видели, что избранными и особо ценимыми писателями оказывались те, кто успешно руководствовался в своей жизни единственно вышеупомянутым «принципом» (или поступал по «необходимости»), а большая часть общества, к сожалению, проникалась симпатиями к ним.

Всем известно, какие последствия имели факты, когда недостойные возводились в пример. Возведение плохого в ранг образца не могло не сказаться на литературе (да и не только литературе). Писателям проще было следовать требованиям критики, нежели своему назначению и долгу. Критика требовала от них «немногого», а они, в свою очередь, старались держаться в рамках этого «немногого» (не давать «лишнего» оброка). Одна часть писателей не избежала соблазна, другая

просто не могла дать больше. Только истинные творцы не теряли ориентации.

«...На литературном небосклоне наряду с заметными, действительно заметными явлениями немало и ложных звезд: якобы крупнейшие наши писатели на самом деле оказываются пустышками», — пишет академик Д. Лихачев. («Лит. газ.». 1987 г., № 1)*.

Оказались «пустышками», разумеется, потому что и были ими; но критика специально позаботилась о том, чтобы именно за ними в первую очередь закрепился статус «великого писателя». Естественно, писатели должны равняться на лучших, но когда большинство этих лучших состоит из таких «великих писателей», подражать им весьма легко и весьма прибыльно, а вкус читателей, воспитанных на произведениях действительно выдающихся писателей всех времен, между тем безнадежно портился (подтверждением этому служит то, что сегодня на книжном рынке макулатура пользуется большим спросом, чем высокохудожественные произведения).

Были, правда, случаи, когда живая мысль прорывалась на поверхность, но на фоне торжества высоко ценимого фарисейства она оставалась «гласом вопиющего в пустыне».

Сегодня нашей критике, возможно, очень хочется быть справедливой, объективной и, что главное, квалифицированной. но глаз отвык уже от правильного восприятия.

---

* «Сейчас выходит собрание сочинений замечательного писателя Михаила Зощенко, — пишет Д. С. Лихачев в той же статье. — Когда зашел разговор о том, чтобы включить в собрание повесть «Перед восходом солнца», один из ответственных работников издательства заявил членам комиссии по литературному наследию Зощенко: «Повесть включать нельзя, о ней говорилось в постановлении, а постановления никто не отменял». «Да вы прочтите повесть! В ней нет никакого «криминала»! — настаивали члены комиссии. «Мне незачем читать повесть. Я читал постановление».

Показательно, что никто — ни ответственный работник издательства, ни члены редакционной коллегии — не задался вопросом: а какова повесть с художественной точки зрения? Каковы ее художественные достоинства? По сей день мы находимся в плену у стереотипа — важна не художественность произведения, а «криминал» — есть он или нет его.

Современная критика главной своей обязанностью считает объяснить, что хотел сказать писатель; что же касается того, как он это сказал, существенного значения не имеет. История литературы знает много примеров, когда на основе обычной хроники создавались литературные шедевры. Сегодня мы нередко сталкиваемся с примерами, когда критика пытается низвести художественное произведение до уровня хроники. Происходит «аккумуляция», «выжимка» художественного полотна, и в результате остаются лишь сентенции, поучения, мудрые высказывания...

Согласно взгляду, распространенному в фольклористике, часть пословиц, поговорок, сентенций, крылатых выражений представляют собой остатки давно забытых сюжетов, их осколки. Если этот взгляд соответствует истине, тогда мы смело можем назвать их своеобразными «визитными карточками» художественных произведений или «эпитафиями», сохранившими лишь основную их идею, главную мысль. Современная критика как бы старается искусственно распространить на литературу совершенно естественный для фольклористики процесс (т. е. приобщить читателя к идее художественного произведения прямо, «непосредственно», безо всяких «излишностей»), нимало не заботясь о том, что совершенное восприятие идеи, преломленной сквозь художественную призму (такое восприятие, при котором у читателя возникают эмоции), невозможно без постижения художественного мира писателя. В противном случае сборник типа «Дамаквирди» перевесил бы любое истинно художественное полотно.

Если прежде роль «селекционера» литературных памятников играли десятилетия и века, то ныне эта функция возложена на критику. Но поскольку современная критика основное достоинство литературных произведений видит в заключенной в них идее и философии, постольку достоинства и недостатки их оценивает, исходя из этого.

Критические статьи со временем уподобились (разумеется, не объемом, а содержанием) аннотациям, сопровождающим сегодня все поэтические и прозаические сборники, и состоящим из дежурных фраз: «Писатель воспевает родину, трудового человека, светлое будущее человечества, молодость...»

Если верить этим аннотациям, все одинаково интересно, на всем лежит «печать индивидуальности» и пр. К чему же такая аннотация? Правильно замечено: чем бессмысленнее традиция, тем труднее от нее избавиться.

То, чего наша критика требует от художественной про-

зы, дело, скорее, художественного очерка. Но то, что выходит за рамки художественного очерка и делает прозу художественной, критике давно уже не интересно. Писатели пошли на поводу у критики, и состоялось своего рода неписаное соглашение: критики уже не требуют высокой художественности (а если требуют, то для вида), а писатели, в свою очередь, не ждут от критиков высокохудожественного анализа или обоснованной хвалы. Обе стороны, в основном, довольны (мнение читателя можно не учитывать). Писатели же, действительно достойные обоснованной хвалы, вынуждены довольствоваться хвалой необоснованной.

Критика уделяла идеям, идейности и идеологии такое безраздельное внимание (причем на таком скверном материале), что заставила читателя усомниться (при этом сама уверовав в это), что высокоидейность и высокохудожественность фактически исключают друг друга, что если произведение высокохудожественно, то оно слабо в идейном отношении и наоборот. Когда натренированный таким образом глаз критика за высокохудожественностью произведения затруднялся увидеть его идейность, произведение на всякий случай обычно объявлялось слабым в идейном отношении.

Борьба против многоплановости литературы породила ходкую, отличающуюся «желанной» одноплановостью, дефиницию: «Социалистический реализм это лесть начальству в форме, доступной начальству».

Если бы критика не на словах, а на деле исповедовала ту азбучную истину, что художественность для литературы такой же непременный признак, как и идейность, тогда большая часть материала, попавшего в орбиту исследований современной критики, вообще осталась бы за пределами литературы.

Наша критика так долго убеждала нас, будто образы некоторых героев грузинской литературы 30-х годов в то же время и высокохудожственные, что это стало для всех нас аксиомой, но, как видно, отношение читателя к персонажу определяется не только правильной общественной позицией последнего или его высокими и светлыми идеалами, но и художественной правдой или высокохудожественностью, без которой в читательской душе не возникнет тепло, необходимое, чтобы полюбить героя и подолгу не расставаться с ним. Вспомним, как смеется Сервантес над своим героем, его фантазиями, целями, но все попытки гениального автора «тщетны» — читатель остается рядом с бедным идальго не только потому, что у него появляется желание остеречь его: что, мол, ты де-

лаешь, это ведь всего-навсего ветряные мельницы (то же говорит ему и верный Санчо), но и для того, чтобы самому взяться за оружие и помочь несчастному одолеть эти мельницы.

Нам могут возразить: Сервантес — это мировая классика! Конечно же! Но тогда вышеупомянутых героев литературы 30-х годов не надо было причислять к классическим образам современной грузинской литературы. Действительно, когда в один прекрасный день выяснилось, что дело, которому они служили, было не таким уж правдивым, тогда же стало очевидным, что в течение всего этого времени нас внутренне ничего с ними не связывало.

Критики, которые в свое время старались навязать читателю мысль о высокохудожественности этих образов, действовали не всегда добровольно, и в этом их определенное оправдание, но сегодня хотя бы не надо упорствовать в идеализации этих персонажей как художественных образов. Как видно, в определении положительного персонажа с самого начала был допущен ляпсус, поскольку совершенно не предусматривалась эмоциональная сторона, и, наверное, поэтому от этих героев, кроме фасада, ничего не осталось. Эмоциональное же отношение к герою компенсировалось выражающими эмоции словами: «Нам смешны его стоны и метания...», «Поэтому его непосредственные, искренние переживания доходят до сердца читателя», «...Сочувствуем его горю или радости» и т. д. Главное заключается в том, чтобы показать, почему нам смешно, почему принимаем близко к сердцу, почему переживаем, почему радуемся или почему сочувствуем.

Справедливости ради надо отметить, что существует и другой способ анализа произведения, когда суть его видят, в основном, в его моделировании. Хотя произведение строится по такой готовой модели, которая данному конкретному случаю не соответствует. Этот способ художественного анализа схож с рассмотренным выше тем, что он в конце концов не дает нам настоящего художественного анализа и фактически представляет собой сравнительно более сложную манеру передачи содержания произведения.

А странно как будто, однако недаром говорится — «прекрасное пробьет себе дорогу», — но достойные литературные явления занимали подобающее себе место в сердце читателя. Как все же получалось, что без помощи официальной критической мысли, а зачастую и вопреки ей, читатель гораздо более быстро и квалифицированно оценивал литературные явле-

ния? Трудно предположить, что такое могло стать возможным благодаря коллективной интуиции, стихийно, инстинктивно, с помощью врожденного критического чутья, которое характеризует всех нас без исключения — правильная и, что главное, квалифицированная оценка литературного явления невозможна без глубокого осмысления его художественно-эмоциональной стороны. А если допустить, что параллельно с современной письменной критикой существовала и современная устная критика, свободная от всяческих стереотипов? Факт остается фактом — рождающиеся в недрах невидимой критики, а затем распространяемые устно, оценки литературных произведений точно отражали их суть, художественные достоинства и значение.

Было время, когда критерии устной и письменной критики резко расходились друг с другом и, как правило, охаянное критикой произведение пользовалось особым интересом и вниманием читателя. Позднее письменная критика постаралась сблизиться с устной, но, как видно, старый груз, который она тянула, не очень способствовал этому. Когда оценки устной критики стали перениматься письменной критикой в готовом виде (как правило, с большим опозданием), они оставляли впечатление неорганических, «случайно попавших в цель» выводов. И это неудивительно, письменная критика по возможности избегала анализа художественно-эмоциональных особенностей произведения.

Возникновение устной критики обусловил тот факт, что грузинский народ был хорошим «читателем» еще в те времена, когда у нас не было не то что литературы, но и самой письменности. Об этом свидетельствует богатейший и древнейший фольклор, созданный им, и, что не менее важно, пронесенный сквозь века, — а без «читателя» с высоким вкусом невозможно было бы ни первое, ни второе.

У Галактиона Табидзе есть юмористического характера стихотворение, в котором говорится:

Есть читатель
прекрасной книги
и есть только
перечитывающий...
. . . . . .
Но кто тут
судия?

(Подстрочный перевод)

То, что грузинский народ был истинным читателем, подтверждает, в первую очередь, «Витязь в тигровой шкуре». Вряд ли народ на протяжении стольких веков хранил это эпическое произведение не только разумом, но и сердцем только из-за его увлекательного сюжета или афоризмов, сентенций, поучений. Афоризмы или сентенции, воспринятые сами по себе, звучат как сухие декларации и в лучшем случае могут выполнить роль лозунга или призыва, истинная же их ценность всем хорошо известна! Нет никакого сомнения, что наш народ сумел глубоко постичь именно художественный мир этой в высшей степени национальной поэмы, и потому сохранил ее.

Как я уже отметил, устная критика гораздо более оперативно оценивала литературные явления. Так, к примеру, она лет на двадцать-тридцать раньше официальной критики провозгласила классиками современной грузинской литературы М. Джавахишвили и К. Гамсахурдиа. Если бы не пример с К. Гамсахурдиа, можно было бы подумать, будто из-за трагической судьбы М. Джавахишвили письменная критика «не успела» признать его классиком еще в 20-е годы, но именно на столько же лет «запоздала» она с признанием К. Гамсахурдиа (есть примеры и того, как, несмотря на большие старания письменной критики, читатель не принял некоторых восхваляемых ею писателей как классиков современной литературы).

Единственное достойное исключение — Г. Табидзе, которого современная критика подняла на щит уже в начале 20-х годов, хотя следует сказать, что подняла как певца революции. Что касается дореволюционного Галактиона (за исключением нескольких стихотворений на революционную тему), письменная критика его не приняла. Не приняла так же, как и послереволюционную его поэзию, визуально (если можно так выразиться) «не связанную» с современностью.

Устная же критика никогда не разграничивала поэзию Галактиона Табидзе с этой точки зрения. Многие, наверное, помнят, как «нервничала» обычно наша письменная критика в связи с ним — время от времени пыталась наставить поэта на «путь истинный», учила, советовала, а то и угрожала. В связи с этим Галактион часто «старил» свой стих, подписывал прошедшими годами. Все это, к сожалению, не прошло для него без следа.

Поэтому, наверное, нами не воспринимаются похвалой слова, сказанные в адрес какого-нибудь писателя: «Современная критика признала его с первым же появлением на литературной арене».

Устной критике, правда, за ее беспристрастность никакие неприятности не грозили, поэтому она могла быть вполне искренней, но главное ее преимущество перед письменной критикой заключалось в том, что она воспринимала литературное произведение в первую очередь как художественный феномен.

Как будто мы помним, но на деле постоянно забываем совет Ильи Чавчавадзе: «Не только необоснованная хула, но и необоснованная хвала оскорбительны для праведного человека, советую грузинским писателям не мириться ни с тем, ни с другим».

Инерция «читательства» сохранялась у нас вплоть до конца 30-х годов, поэтому, надо полагать, что приблизительно именно к этому времени устная критика и прекратила свое существование.

Вот уже более полувека, как мы превратились, вернее, нас превратили в «перечитывающих». Цель? В кратчайший срок требовалось сформировать такого «нового человека», который должен был жить как можно более нищей духовной жизнью. Само собой разумеется, что эта «великая миссия», в первую очередь, должна была лечь на плечи литературы и литературоведения.

Самое значительное открытие, которое сделало человечество на всем протяжении своей истории, есть открытие человеческой души. История человечества — не просто история смены общественных формаций, но и история еще большего очеловечения человека, его самопознания, духовного возвышения.

Как видно, поначалу человечество познало грандиозный характер и значение открытия души все же благодаря религии. Впоследствии же христианство оказалось религией, которая не только не задержала исповедующие ее народы на каком-то определенном рубеже цивилизации, а напротив, способствовало их развитию, нравственному и духовному возвышению.

Исповедальность христианства прежде всего подразумевает приобщение к мировоззрению этой религии, ее нравственно-моральным и этическим убеждениям, а не просто осенение крестом или возжигание свечей.

Ничего удивительного в том, что даже самые убежденные атеисты прошлого века или начала нынешнего с точки зрения нравственности и морали были гораздо ближе к христианству (ибо не так уж давно вышли из его недр), чем большинство сегодняшних верующих: это и понятно, сегодняшний

верующий вышел совсем недавно из совершенно иных недр и невольно захватил с собою многое оттуда.

Не случайно, что сегодня именно христианская литература оказалась в авангарде культуры современного цивилизованного мира. Не удивительно и то, что Илья Чавчавадзе так настойчиво и вполне справедливо говорил об европеизме грузинской литературы, т. е. об ее христианской сущности. Правда, на протяжении нескольких веков грузинская литература испытывала сильное влияние Востока, но в сущности своей она оставалась явлением христианским, т. е. европейским, как и грузинская культура в целом. Известно, что Европа и Азия в свое время были разделены не только по географическому признаку, но и по религиозному. Фактически именно религия определила духовный мир грузинского народа, характер его фольклора, литературы да и всю его историческую судьбу. Наряду с религией, именно художественное слово взяло на себя тяжелое бремя познания человеческой души, именно художественное слово призвано передать внутренний мир человека, великие человеческие страсти.

В недрах же «классово-материалистической религии» не нашлось места для человека как индивида. Для нее человек — в основном лишь общественный феномен, и поскольку «все человеческое ей чуждо», понятно, почему «новая религия» не отличалась доброжелательностью к литературе, которая по сути своей есть не что иное, как человековедение, личностноведение.

Естественно, что художественное слово утеряло свою основную функцию и превратилось в придаток обществоведения.

В силу понятных причин «большую политику» никогда не устраивало выдвижение на передний план дисциплин, способствующих духовному возвышению человеческой личности, гуманизации общества. В этом отношении литература и литературоведение не без основания считались наиболее опасными явлениями. Поэтому и происходила, с одной стороны, чрезмерная идеологизация художественной литературы, игнорирование ее художественно-эстетической функции, а с другой стороны, критике и литературоведению поручалась оценка с позиций «большой политики» как современной, так и древней и новой грузинской литературы. Поэтому литературная критика была вынуждена уделять основное внимание идейно-социальной стороне литературы, в лучшем случае производился филолого-исторический анализ произведения. Литературоведение постепенно превратилось в содержаниеведение. Творцы

«большой политики» воспитали целое поколение «специалистов», очень слабо разбирающихся в сущности художественной литературы.

По мнению творцов «большой политики», общественное является первичным, главным, а личное — вторичным; общественное определяет личное, а не личное — общественное. Обо всем этом еще можно бы поспорить, но когда «общественное» понималось как обычный эвфемизм и под ним подразумевалось лишь «государственное», личностноведение попросту было перечеркнуто. Основное внимание уделяли «общественному» (т. е. государственному), для человековедения же (т. е. художественной литературы) не оставалось места.

Послушное «большой политике» литературоведение привело к разрушению литературных памятников (как же иначе назвать то, что суть произведения не может быть постигнута читателем?), и сегодня они требуют заботы о восстановлении так же, как и памятники материальной культуры.

На фоне сегодняшних общественных явлений все остальное как будто бледнеет, но если мы действительно являемся народом, у которого есть будущее, наша духовная культура должна стать предметом ежедневной заботы. Необходимость этого особенно четко проявилась именно в связи с последними явлениями в общественной жизни.

В самое лихое время истории грузинского народа Давид Гурамишвили полагал, что опасение страны — в просвещении, за которым непременно последует нравственное возрождение. Ему не поверили, посчитали за наивность, в глубине души мы и сегодня не верим в животворную силу просвещения. Да и повод для этого есть — всего несколько десятков лет назад мы твердо знали, что Грузия среди республик (и не только среди республик, но и развитых капиталистических стран) одна из самых просвещенных, так как в процентном отношении у нас не меньше людей с высшим образованием. Что мы еще могли! Но в то же время мы видели, что эти специалисты намного уступали и в знаниях и в культуре людям со старым гимназическим образованием. Более того, количественный рост людей с высшим образованием не оказывал благотворного влияния на культуру и нравственность нации. В силу нашего характера мы отнесли нравственное несовершенство к эпохальным явлениям, а низкий уровень общей культуры — к результатам изъянов в системе просвещения. Начались бесконечные эксперименты, которые, как и следовало ожидать, ничего путного не приносили. Необходимость совершенствова-

ния процесса обучения давно уже стала одной из главных наших забот, и разговор об этом поднадоел обществу. А практические шаги все еще не сделаны.

Решение всех проблем, перед которыми мы сегодня оказались, естественно, невозможно путем нормализации одной сферы нашей общественной жизни (скажем, просвещения), но безусловно и то, что подготовка высококвалифицированных специалистов (недостаток в которых так ощущается в нашей стране) кровным образом связана с уровнем духовной культуры. Вот почему необходимо вновь приблизиться к литературе, чтобы уметь постигать мир художественного слова.

ХРОНИКА политической жизни

Апрель—май: создан Комитет по межнациональным отношениям и защите прав человека. Возглавляет Комитет вице-премьер г-н Сандро Кавсадзе.

Начинается процесс урегулирования взаимоотношений в Цхинвальском регионе. В результате переговоров председателя Госсовета Республики Грузия г-на Эдуарда Шеварднадзе с руководителями бывшей Юго-Осетинской АО и Северной Осетии достигнуто соглашение по прекращению огня в регионе. По инициативе г-на Э. Шеварднадзе созданы и введены в регион объединенные миротворческие силы.

Начинается процесс признания независимого Грузинского государства. Визит в Грузию министра иностранных дел ФРГ г-на Г.-Д. Геншера, затем — визит госсекретаря США г-на Дж. Бейкера. Республику Грузия признают страны мирового сообщества, она становится членом Международного Валютного Фонда.

Принят закон о парламентских выборах и назначен срок их проведения: 11 октября 1992 года.

26 мая — большой национальный праздник, день независимости Грузии — (26.05.1918 г.) отмечается, хотя и очень сдержанно (страна в тяжелом положении). Объявлена амнистия.

Все это время продолжается яростная деструктивная работа экс-президента и его приспешников против собственного народа: взрывы на железной дороге, ограбление составов, складов, взятие заложников и т. д.

Лия АРЧВАДЗЕ

Жизнь взаймы

Литературный мир Тамаза Чиладзе особенно близок нам своей современной тематикой, нравственными принципами, этическими и эстетическими канонами, но как бы хорошо мы ни знали литературный мир того или иного писателя, всегда ждешь от него чего-то нового, особенного, радостного. Именно эти эмоции пробудили в нас новые романы Тамаза Чиладзе «Кактусовый сад» и «Луч заходящего солнца» («Мнатоби», № 5, 6, 1991 г.), и отрадно, что сегодня, в условиях всеобщей политизации жизни, писатель беседует с читателем не как политик, но как художник, и своими художественными произведениями помогает ему понять боли или радости, облегчает поиски «родины души». «Луч заходящего солнца», на котором мне хотелось бы остановиться особо, суровый и объективный роман. Ушли в прошлое полуденные иллюзии, придуманные сны, клоун Аркадий, мечтательница Тэбро и другие. Самое главное и значительное то, что поиски, начатые в романе «Полдень», нашли воплощение в «Луче заходящего солнца». Литературный путь, пройденный писателем, весьма интересен. Если в первом романе полностью выявилась моральная атмосфера нашего сегодняшнего дня, исполненная пластических видений, осевших в глубинах памяти, и повседневного драматизма, то «Луч заходящего солнца» — замечательный образец поэтической и психологической прозы, отличающийся отрицанием биографической точности и стремлением к воображаемому.

Новый роман Тамаза Чиладзе полон глубокого трагизма, порожденного нашим бытом, который всерьез заставляет нас

задуматься о загадочном и мучительном одиночестве любви, так как по роману любовь — не радость и счастье, а тягостное одиночество, расцвеченное лучами заходящего солнца. И вот носит женщина в тяжелой сумке: каменную соль... мельничный камень... могильный камень... и больше всего на этом свете боится трех вещей: одиночества... непонимания... объективности... Структура романа опирается на ретроспективный и реальный мир, в котором самое значительное — чувства героев, их переживания, воспоминания о прошлом. Тамаз Чиладзе — замечательный психолог — хорошо понимает, что редкий человек живет без маски, маска зачастую — убежище для него. «Я ни от кого не требую сострадания, и умру, наверное, когда меня пожалеют. Впрочем, меня никто не пожалеет, потому что я всех раздражаю. Смеюсь, когда надо плакать, и плачу, когда надо смеяться». В романе, основная тема которого человек и одиночество, сделана попытка понять причины отчуждения, замкнутости, «смысла бессмысленности». С особым сочувствием выписан образ главной героини, которой автор не дает конкретного имени. Просто женщина, в судьбе которой отразилась исполненная горечи и муки жизнь обыкновенной женщины. Трагедия этой женщины исходит из глубин нашего сегодняшнего бытия. Женщина борется, страдает, пытается спасти свою любовь, но однажды обнаруживает, что дни, проведенные с человеком в лучах заходящего солнца, оказались одолженными ей на время. «Море волнуется. Я лежу рядом с тобой. Мне холодно. Господи, как хорошо! И все же, разве этот вечер принадлежит мне, все мною взято взаймы — и минута, и день, даже несколько мгновений». В романе говорится не только о трагической любви мужчины и женщины, но вообще о «дефиците» любви. «Луч заходящего солнца» — это история человеческого одиночества и ненадежности. Мир, с которым нас знакомит писатель, вырожденческий мир, поскольку в нем давно утеряна способность любить, щадить, прощать. Подсознательно чувствуешь, что причина всего этого — в социальном окружении. Впрочем, писатель не раскрывает сути фактов, так как роман решен в психологическом и нравственном аспектах и показывает, как пренебрегают в обществе именно нравственной культурой и канонами морали. Не зависящие друг от друга, на первый взгляд, сюжетные линии, каждый компонент, деталь, вставка составляют одно целое в романе и служат единой цели: показать реальную картину сегодняшнего дня, безысходность и однообразие нашего быта. Здесь уже нет места памятной с детства красивой мелодии.

Женщина извлекает из глубин памяти самые мучительные эпизоды из своей жизни. Писатель и на этот раз не изменяет своим творческим принципам, что, в первую очередь, выражается в особом интересе к человеческой психике и его внутреннему миру. Что бы ни делали главные герои романа, как бы ни пытались сохранить внешний мир и покой, эхо суровой и мучительной жизни постоянно отзывается в их повседневном существовании. В сером длинном кадре невыносимой жизни появляются: «спрятавшиеся в темноту дома, едва освещенные подъезды, провисшие под тяжестью снега провода». Герои романа разъединены, отчуждены и озлоблены друг на друга. Милиционер рассказывает женщине, как Мустафа с приятелями связали несколько собак, а потом облили их бензином: «Представьте себе, горящие собаки бросились не в море, а друг на друга и разорвали себя в клочья. Ошалевшие от огня собаки напоминали огненное колесо». Этот совершенно варварский эпизод несет на себе большую эмоционально-смысловую нагрузку. Герои романа ничем не отличаются от горящих собак, лишившихся инстинкта самосохранения. Для человека характерны ложь, безудержное стремление к собственной выгоде, зависть, злоба. Перед нами проходят прожитые без радости и любви дни, минуты, секунды повседневной жизни различных людей, порой непонятных профессий, пестрого общества: Зурико, его жены, женщины из кафе, продавца огурцов из Пантиани, Ионы, Мустафы, милиционера, супругов-пенсионеров, с трудом снявших дачу в Кикети, чтобы хоть раз в жизни отдохнуть.

Тамаз Чиладзе обладает удивительным даром увидеть за людьми, их взаимоотношениями, за внешними чертами простых, на первый взгляд, вещей и явлений существенное, главное. Если для окружающих женщина из кафе — человек безнравственный и бессердечный («Про тебя говорят, ты не мать, а паскуда»), то на самом деле она одинокое, всеми брошенное, бесприютное существо, в котором давно убили чувство женского достоинства, потому что «любая тварь — вор или бездельник, сифилитик или маньяк, может поступить со мной как заблагорассудится. Даже вытащить из кафе и там же, во дворе, за ящиками для лимонада, почти прилюдно, как собака, удовлетворить свою похоть. И даже имени моего не спросит, тут же отольет на стену, в то время, как я сижу в грязи с раскоряченными ногами, с задравшимся подолом и приглаживаю волосы обеими руками, как будто если я приглажу их, все будет в порядке... И хоть бы кто заступился за меня, сказал

бы, все же женщина, как женщину пощадим ее». Безжалостное окружение, в котором живет эта женщина, ничем не отличается от мира зверей и одинаково ужасно и возмутительно, так как точно отражает моральную атмосферу сегодняшнего дня.

Герои «Заходящего солнца» охвачены страхом. Страх — постоянный спутник их жизни. Отношения Зурико и его жены не что иное, как попытка избавиться от тяжелых оков страха, восстановить духовную связь, которая заканчивается безрезультатно. Все их существование — это беспомощное сопротивление бессмысленности жизни. Писатель рисует ужасные картины этой бессмысленной жизни и смерти. По роману, истинный смысл и оправдание жизни — в любви, но люди, как охваченная пламенем свора собак, рвут друг друга на части. Под конец Зурико попадает в мир преступников, хотя неизвестно, кто больше виноват: Зурико или те, кто хочет арестовать его. Безнравственный мир, олицетворением которого является продавец из Пантиани, убивает сперва Зурико, а потом и прекрасного коня. Этот человек как будто рожден для того, чтобы уничтожить, убить все красивое и истинное. «Кони спокойно шли за каким-то высоким парнем... Их вид не только испугал, но и взволновал его. Более того — ужаснул, как если бы его верный подданный и примерный гражданин оказался уличенным в политическом заговоре. Было действительно что-то от заговора — даже политического — во внешнем облике этой странной группы, во всяком случае, она выглядела очень странно и необычно».

Картины жизни с неумолимой последовательностью сменяют в романе друг друга. Несчастному и обреченному здесь никто не окажет помощи. «Разве человекоубийцу не жалко? На суде сказали, он защищался, — ухватилась за соломинку женщина, — он защищался, он не хотел убивать, Зурико не убийца, вернее, невольный убийца. Понимаете?» Единственный человек в романе, которого мучает совесть, — старый пенсионер:

«Я не сплю ночами, перед глазами все время стоит его худое лицо. Он держит в руке скомканный мокрый платок... Иногда я думаю, может, мне показалось — тогда я ждал своего сына, а когда ждешь сына, к тому же на улице, чего не передумаешь, какое только несчастье не представишь себе, что с ним может приключиться, самое же большое несчастье, наверное, в том, что случайно встретив кого-то, принимаешь его за человека, думаешь, он поведет себя с тобой по-челове-

чески, хотя бы спросит, не нуждаешься ли ты в помощи, но оказывается, что этот кто-то не человек, уже не человек, он забыл, что такое быть человеком».

Гражданская позиция героев почти не видна в романе, но, на мой взгляд, показать жизнь именно тех людей, которые остались по ту сторону сегодняшнего дня, по ту сторону национальной и политической жизни, и составляло задачу писателя. Не они оторвались от реальной действительности, но она отторгла их. А ведь судьба каждого человека должна составлять предмет заботы общества, разумеется, если это общество здорово. В романе же оно серьезно больно, а доктора не видно. С какой тоской и сожалением вспоминает Зурико Тбилиси! Он часто думает о Тбилиси. «Иногда он слышал, как воспитатели или воспитанники рассказывали о волнующих тбилисских событиях, о демонстрациях, митингах, там ему не было места, убийца никому не нужен».

Бесспорной удачей писателя наряду с точным, объективным отражением духовной жизни героев (в некоторых ранних произведениях Тамаза Чиладзе превалировало субъективное «я» и имелась опасность отрицания объективного изображения) мы считаем то, что Тамаз Чиладзе сумел отшлифовать весьма интересные поиски современной прозы. В романе сосуществуют и повседневная реальность, и мечта о любви. С помощью «вольной фантазии» писатель сумел создать картину, соответствующую действительности. В отличие от других произведений в этом романе писатель расширяет эмпирическое содержание чувственного мира, показывает его под новым углом. Поэтому читателя не удивляет поразительная, на первый взгляд, история — лошади беседуют, думают, любят, и все это выглядит очень правдоподобно. Эпизод с Тапло и Мерабом возведен до уровня символа и предстает в романе своеобразным микромиром. В этом мире пока еще горят огнем любви «Его сознание было где-то очень далеко отсюда, там, где сливаются небо и земля, растворено в розовой дали и поэтому было уже не сознанием, а чувственным воздухом, трепещущим от ощущения собственной бесконечности... Тапло уже любила этого глупого, красивого жеребца и, сама безмерно счастливая, думала осчастливить Мераба, если, конечно же, вообще возможно осчастливить глупца». И вот они идут к любви и смерти. В столкновении с любовью и смертью видит писатель весь трагизм человеческой жизни. Правда, он не делает выводов, но создает настолько живые, впечатляющие картины, придает тому или иному эпизоду такой большой мыслительный и

эмоциональный заряд, что мы одновременно слышим звук выстрела и видим, как на цветущем зеленом лугу падают сперва Мераб, а потом и Тапло, как спешит к берегу какая-то женщина, как тащит, прижав к груди, завернутую в брезент секцию радиатора и, войдя по колено в воду, полную медуз, обматывает себя привязанной к радиатору цепью, и идет все глубже и глубже...

После прочтения романа естественно возникает вопрос, что хотел сказать писатель, какую цель преследовал?.. Разумеется, сформулировать идею романа, его концепцию в нескольких предложениях очень трудно, несмотря на то, что мыслительное кредо произведения понятно — здесь ведь любить и чувствовать боль дано лишь единицам, за что их карают, и они вместе с жизнью, взятой взаймы, погружаются во мрак повседневности.

ЛАУРЕАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ им. ШОТА РУСТАВЕЛИ

В мае нынешнего года стали известны лауреаты Государственной премии им. Ш. Руставели за 1991 год. В области литературы ими стали: Чабуа Амирэджиби — за произведения последних лет с учетом всей его творческой деятельности; Тамаз Чиладзе — за четыре пьесы, вошедшие в книгу «Птичий базар», и Тариэл Чантурия — за стихи последних лет. Редакция «Литературной Грузии» поздравляет лауреатов со столь почетной наградой и желает им дальнейших творческих успехов. Тамаза Чиладзе поздравляем особо, так как незадолго до того в его жизни имело место еще одно знаменательное событие: Тамазу Ивановичу исполнилось шестьдесят лет.

Гела ХАРШИЛАДЗЕ

КЛЮЧ К ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШЕ

Всю 70-летнюю мистерию нашей жизни нас преследовали бесчисленные катаклизмы. Одни продавали маску нравственности, другие покупали ее. О совести часто забывали и вспоминали тогда, когда этого требовали обстоятельства. Людей заставили забыть о душе и превратили их в убойный скот. Религию уничтожили (дескать, над человеком нет никого!), но на шею народу посадили вождя, того же «бога». «Проложили русло» — чтобы мнение народа, как река, не меняло своего течения... Любовь к отечеству окрестили национализмом, более того, само это понятие лишили естественного смысла, искусственно определив его суть. Грузин, русских, армян и остальных собрали в «единую братскую семью», заменив этническое определение термином «советский народ». Так было объединено множество видов совершенно различных родов, многообразие превращено в однообразие (превращено ли?), и всеобщие «любовь», «мир», «братство» утвердились на одной шестой части земли. Горе тому, кто не вписывался в эту всеобщую гармонию, выпадал из колеи словом или делом, он должен был исчезнуть и исчезал-таки, уничтожались его следы и идеи. Сколько было таких — уничтоженных, выселенных, эмигрировавших, сколько идей осталось неосуществленных, идей, направленных на благосостояние родины. Многое утеряно безвозвратно, но многое, к счастью, дошло до нас, и сегодня, вступив на нелегкий путь обновления, мы используем их идеи, потому что истинная мысль бессмертна и не имеет временных границ.

Григол Робакидзе был одним из тех, кто нарушил всеобщую гармонию и словом и делом. В глазах властей он был «националистом» (грузину не прощалась любовь к Грузии) и предателем родины (побег в 30-е годы в Германию). И это говорилось о писателе, которого Константинэ Гамсахурдиа назвал классиком грузинской литературы и книги которого хранятся в книгохранилище Конгресса США.

Григол Робакидзе писал на трех языках — немецком, грузинском и русском. Однако само имя его в Советском Союзе, а значит и на родине, было предано анафеме, как имена многих других деятелей литературы и культуры, потому произведения его вплоть до последнего периода оставались неизвестными широкому читателю. Первая его публикация на русском языке была осуществлена во втором номере «Литературной Грузии» за 1988 г., на грузинском — чуть раньше того. В минувшем, 1991 г. «Литературная Грузия» опубликовала одно из основных его произведений — роман «Змеиная рубашка», о котором и пойдет речь.

Читаешь «Змеиную рубашку» и чувствуешь, будто нашел ключ к человеческой душе, ощутил тайный смысл жизни, соприкоснулся с чем-то светлым и чистым. В этом романе — чувства писателя, переживания, его боль. «Змеиная рубашка» — мысль творца, годная и для других, это сочинение человека, вынужденно оторванного от родины, «о боли корней».

Действие романа происходит в 1914-17 годах — время многочисленных перемен во всем мире.

В этот период преображения земли главный герой романа, прозванный «англичанином», находится в Иране. Вынужденный покинуть Грузию последний потомок древнего аристократического рода Ирубакидзе Арчил Макашвили зовется на чужбине Арчибальдом Мекешем.

У Арчибальда Мекеша нет корней, поэтому и испытывает он бесконечную боль от корней сорубленных.

Единственный, кто связывал Арчибальда Мекеша с родными корнями, был его отец. Но он потерял и его следы — от отца у него остались лишь фотография, пачка документов и кисет с землей, увезенной с родины. Арчибальд Мекеш ищет самого себя, и знает, что единственный способ достичь этого — возвратиться на родину.

В XIV веке род Ирубакидзе распался на две фамилии— Макашвили и Чолакашвили — по именам сыновей одного из князей Мака и Чолака. Арчибальд Мекеш узнает об этом, и одно-единственное желание завладевает им — вернуться к своим корням, увидеть родную землю и бывшее поместье недалеко от Саирме. Он осуществит свое желание, приедет в Грузию (вместе с Вамехом), увидит свой дворец, вернее, то, что от него осталось. Арчибальд приникает к стволу огромного, стоящего у дома орехового дерева, будто хочет впитать в себя его силу, которая поможет ему одолеть невыносимую боль. Лишь в одном ему повезло — он застал в живых кормилицу.

узнавшую своего воспитанника. В Арчибальде просыпается голос крови.

Арчибальд Мекеш вместе с Вамехом вновь возвращается в Иран, возвращается (его беспокоит судьба Ольги), чтобы на этот раз окончательно вернуться к родным корням вместе с любимой женщиной.

После посещения Грузии наш герой предстает совершенно иной личностью — сильной и свободной. Он обрел ту опору, которая зовется отечеством. (С чего начинается жизнь человека, куда постоянно стремится его душа и где должна закончиться его бренная жизнь, — если не превратности судьбы).

К сожалению, не все происходит так, как предполагает человек... И Арчибальду не суждено вернуться в Грузию вместе с Ольгой — она кончает жизнь самоубийством. Но жизнь продолжается и ничто не в силах нарушить этот непоколебимый закон. Мекеш смиряется с тяжелой утратой. Он навсегда запомнил мудрые слова Таба Табай: «Змея рассталась с самой собой: сбросила старую кожу и покинула ее. В этом — великая мудрость»...

После смерти Ольги Арчибальд Мекеш вновь возвращается в Грузию, на этот раз навсегда. Здесь он встречает своего отца, Тамаза Макашвили-Ирубакидзе, который оказался жив. Он также, тоскуя по своим корням, вернулся на родину (провидению было угодно, чтоб перед смертью отец увиделся с сыном).

Это же провидение уготовило Арчибальду Мекешу судьбу продолжателя знатного рода. У Арчибальда и его юной жены Матаси появляется на свет маленький Ирубакидзе. Герой «сбрасывает» с себя свое прошлое, как змея — рубашку.

В романе дается еще один образ грузина — Вамеха Лашхи: «Высокий лоб иберийский. Орлиный нос. Глаза: медового цвета с серым отливом. Губы: как у ребенка. Речь спокойная и уверенная». Арчибальд познакомился с ним во время инцидента, происшедшего в одной из лавок Казвина и сразу же подружился с этим молодым человеком, оказавшимся впоследствии его братом (сыновья одного отца!). Цель пребывания Вамеха в Иране не известна. Ясно одно: смутное время забросило и его в эту страну. Вамеха характеризует главная черта, дарованная Богом грузинам — отзывчивость, подтверждением чему является его поведение (поездка в Россию за Ольгой).

Отзывчивость — главнейший признак высокой нравственности, и, несмотря ни на что, существование в этом мире имен-

но отзывчивости имеет смысл даже при наличии ее у одного человека, не говоря о нации.

Вамех Лашхи — воплощение ирубакидзевской грузинской расы. Гордый и в то же время чувствительный, строгий и мягкий, он умеет владеть собой и вместе с тем очень эмоционален. Выполняя последнюю волю несчастного Саргиса Петридзе, он привозит его тело в Грузию. Тот с миром уходит из жизни, зная, что Вамех сдержит свое обещание и отвезет его останки на родину. Арчибальд дарит Вамеху в знак дружбы фамильную саблю. Вамех владеет ею так, словно она часть его тела (и это также признак грузинской расы!).

Легко представить себе ту душевную травму, которую перенес Вамех, узнав, кто его настоящий отец. Но он сумел одолеть себя, вернулся домой и принял своего сводного брата Арчибальда Мекеша как родного. В этом эпизоде отразилась сущность грузина — великодушие и терпимость.

Нам вполне понятны глубокие переживания старого Тамунчо, вернувшегося на родину. Хоть и ненадолго, но к нему возвращаются та сила и бодрость, которые дарит человеку родная земля. Старик берет в руки ирубакидзевскую саблю и на глазах молодеет. Выпрямляется, расправляет плечи, одно слово — натянутая струна.

Из всех персонажей «Змеиной рубашки» отдельного упоминания заслуживает Саргис Петридзе. Это человек, закинутый судьбой в Иран.

«На высохшем растении порой остается росток. Растения как такового уже нет. Нет и почвы. Но на безжизненном стебле сохранился росток жизни. Для истории?.. Саргис Петридзе — пафос этого ростка» — говорил писатель.

Особенно много значит для Петридзе история креста Св. Нино. По его словам, «крест у других народов — либо каменный, либо железный, либо деревянный. Всегда сухой и бесплодный. Здесь же крест — из лозы. А ведь лоза есть образ земли — почвы — жизни. У других народов крест — символ муки и наказания. У нас крест — свет и радость!»

Саргис Петридзе — уже умирающий — сжимая в руке саблю Вамеха (здесь вновь соединяются грузин и сабля), целует щепоть родной земли и умирает со словами: «Горька ты, грузинская земля!»

История креста Св. Нино в романе полна не только прекрасного, но и глубокого смысла — она указывает на реальное существование Бога. Составные грузинского креста — виноградная лоза и женские волосы, каждое в отдельности —

живые. Они образуют крест, который приносит в Грузию девушка, символ бытия, и если вдуматься в это, мы поймем, что грузинский крест живой. С креста, то есть с жизни, снисходит на нас Божья благодать, значит тот, кто дает грузинскому кресту эту благодать, реально существует и конечно же одушевлен, поскольку неодушевленный предмет никогда не сможет войти в контакт с живым — крестом.

«Змеиная рубашка» пробуждает в читателе множество мыслей. И в первую очередь о самом себе. Кто ты? Что собой представляешь? Откуда пришел? И куда идешь? Главное, где бы ты ни находился, не отрывайся от родных корней. Не забывай о них (об этом весь роман). В противном случае ответы на эти вопросы никогда не будут найдены, ибо тогда нет личности, вместо нее остается чучело, кукла, которая никогда не ставит вопросов и, тем более, не отвечает на них.

К счастью, у нас всегда было больше достойных людей, чем таких кукол — и здесь, на родине, и там, в эмиграции. Именно это помогло остаться Тбилиси, да и всей Грузии, «вечно девственной», несмотря на то, что «женихов множество было. Византийцы. Римляне. Турки. Персы. Хорезмийцы. Сарацины. Арабы. Половцы. Монголы. Русские. Всех отвергла. Вековухой осталась?! Нет: повели под венец, да ласки ее не познали. Было все только силой — но кто узнает любовь женщины, если грудь ее закрыта?! Осталась женственность не раскрывшейся: цвет пергамента скрывает неутоленную страсть... Не было распаления, не познала и утоления. Кого же, кого она ждет?!» В этой цитате — судьба грузинского народа: постоянная угроза вырождения и борьба с ней и твердая уверенность автора, что у Грузии в конце концов появится «настоящий жених» (после стольких «лжеженихов»), и он непременно будет зваться «свободой». «Миг этот» настанет тем быстрее, чем быстрее «станет целым» меч Саакадзе, сломанный на Базалетском поле, что представлено в романе символом нового объединения разобщенных братьев.

У иберов выработался собственный национальный облик и удивительная способность защищать основные традиции, что спасло нас как этнос, и помогло избежать величайшей опасности исчезновения с лица земли как нации.

После этого нам становится понятно, почему Гр. Робакидзе славит в «Змеиной рубашке» «грузинскую расу», и эта «раса» у писателя абсолютно иное понятие, нежели раса в нацистском понимании. Фашисты вкладывали в него момент превосходства (над другими народами), Гр. Робакидзе же име-

ет в виду идею самобытности как грузинского, так и других народов.

Мое толкование робакидзевской «расы» подтверждает следующий отрывок из произведения: «...обломки расы. Стремительность гурийцев и их звонкая песня (подобной не знает мир). Изящество движений и вкрадчивый взор мегрелов (несущий в себе ароматы морских берегов). Узловатые мускулы сванов и гимн «Лиле» (который — солнце, пораженное мечом). Буйволиное упорство и откровенность картлийцев (которая— знак силы или стойкости). Пляска кахетинцев и сабля (которые — сам праздник), поэтические состязания пшавов (явивших Важа). Фехтование хевсуров (которое испытывает бесстрашного борца). Изысканность и степенность расы имеров (спорящие со всеми расами)». В приведенном отрывке писатель точно схватывает и мастерски формулирует черты, подтверждающие грузинскую самобытность. Разве можно было считать национализмом или расизмом выявление естественного «кода», заложенного в сущности людей, живущих в разных регионах нашей родины? Однако у нас ведь все делалось наоборот, причем, под видом того, что делается как надо.

Под внешней маской благополучия Гр. Робакидзе сумел разглядеть истинное лицо большевистского режима. Писатель верил в предопределенность явлений. Ленина он считал «ступицей фатума» и, как видим, не ошибался. Ильич сыграл роковую роль в судьбе народов, входящих в состав Российской империи, да и всего мира.

Иран в романе «Змеиная рубашка» — пристанище для потерявшего родину Арчибальда Мекеша, и это факт, заслуживающий внимания. Но герой рвется на родину из этой страны. В этом намек на то, что Иран — роковое наше прошлое.

Нельзя сказать, что писатель настроен против этой страны или ненавидит ее, и если в романе проскальзывает мысль о недоброй роли Ирана в истории Грузии, это есть не что иное, как проявление антииранского «кода», переданного нам от предков, великое множество которых погибло в борьбе с персами.

Наше стремление к родной земле является неотъемлемой частью нашего существа, и этому, на мой взгляд, есть объяснение: неизбывное стремление грузина жить на своей земле, помимо любви к ней, обусловлено в первую очередь сознанием того, что физическое выживание нашей немногочисленной нации возможно лишь при сплочении всех ее детей. Эта

мысль передавалась из поколения в поколение как вечный, неизменный неписаный закон.

Важнейшим проявлением расы Гр. Робакидзе считал грузинский танец. Когда грузин начинает танцевать, сразу узнаешь, из какого он «уголка». «Пляшет лезгинку. Название пляски — несуразность: при чем тут лезгины! Эта пляска грузинская, и, кроме грузин, никто ее не спляшет. Не хватит расы... Сколько мужского напора и сколько девичьей застенчивости! Сколько строф поэмы любви — или страсти!» Есть у грузин нерукотворный клад — это песня, трехголосье. Она, пожалуй ярче всего выражает индивидуальность каждого из нас.

В Грузии издавна существует культ женщины. Это тоже проявление «расы»! Более всего он выражен в танце. Именно женщина обратила иберийцев в христианскую веру (это тоже, наверное, воля Всевышнего). На грузинском земля называется «мать-земля» и отечество — «мать-родина». Поэтому в Грузии к нравственности женщины предъявляются высокие требования. В «Змеиной рубашке» есть героиня — Матаси, «...языческая дева, чья раса — драгоценный камень, омытый прозрачными струями источника. Кровь чистая и несмешанная. Таковы были, вероятно, дочери картлийских племен, впервые выбежавшие на брег Черного моря».

Матаси красива не только физически, но покоряет нас своим духовным совершенством. Автор разделяет принцип: «в красивом теле — красивый дух», и именно особенное обаяние этого духа позволило грузинской женщине с честью выполнить свой извечный долг материнства перед народом и родиной.

Когда мы говорим о «Змеиной рубашке», нельзя не отметить и того особого уважения, которое лежит в основе отношения автора к евреям. «Народ — без дома, без крова — без постели. Вместо дома — шатер. Вместо постели — песок На дорожку не посошок — верблюд и осел. Народ, странным огнем сбожженный: беспокойный, неукротимый, неуемный Народ — не присвоенный или неосвоенный. Народ, чье имя таинственное — «ибрим»: находящийся на «той» стороне. «Находящийся»?! Нет, еще нет!.. Народ, грезящий о новых и новых странах. Идущий все новыми и новыми дорогами». Они пришли в Грузию около 2600 лет тому назад и признали нашу страну второй после Израиля родиной, где этот народ никогда не испытывал гонений и притеснений.

С большой симпатией характеризует Гр. Робакидзе басков: «Народ удивительный. Сердце нежное и гордое. В харак-

тере — рыцарственность сдержанная. В теле — огонь затаившийся». Говорят, грузины удивительно похожи на басков. Они строят такие же крытые черепицей дома, как и мы, и очень схожи с нами темпераментом. Оба народа стремятся к одной и той же цели — свободе.Символично и то, что Тамаз Ирубакидзе, в Басконии носивший имя «Тамунчо», возвращается к себе на родину именно оттуда.

Множество проблем беспокоило человечество со дня его появления. Главный спорный вопрос для мировых умов — первичность материи или идеи и он, видимо, так и останется нерешенным.

Свои мысли по этому поводу Гр. Робакидзе вкладывает в уста Таба Табай.

«...Один... Безусловно один... Безымянный... Но каждый созданный — в создателе (мысль идет вверх и вверх)... Каждый создатель сам — в созданном... (мысль идет ниже и ниже). Но и созданный больше создателя, и создатель больше сотворенного... То, что остается — вот странность и вот — загадка (в сознании рождается «один»)!.. Да: Элохим — один, и вместе с тем — множество».

По мнению писателя, созидающая космическая сила — повсюду, на небе и на земле одновременно. Она — в вечном движении: сверху вниз — снизу вверх! Материя и дух — части одного целого, одна — в другой! По словам Робакидзе, «отец и сын — едины друг в друге», стремление человека к Богу — не что иное, как стремление Бога к нам! Извечное изречение: «С нами Бог!» — истина, поскольку космическая сила — в глубине человека, личность же сама — «часть целого».

Понятия «материя», «дух», по мнению Таба Табай, приду маны европейскими философами, на Востоке же «...и Фауст немыслим — ищущий отца...», поскольку «у нас «сын» с начала же — в лоне «отца»... Но эта мысль никогда не уложится в голове Канта».

«Когда читаешь «Змеиную рубашку», тобой овладевает чувство постижения сущности жизни, и это не патетика. Роман ясно дает понять, что жизнь лишь тогда имеет цену, когда она посвящена твоей стране, что назначение человека в служении своему народу, это определено с самого его рождения. Гр. Робакидзе показал своим романом, что главная забота человека на этой земле — его отечество.

Есть в романе еще одна важная деталь. Это — глубокая вера писателя в воскресение родной страны. Символическое

указание на это — маленький Тамаз Ирубакидзе, сын Арчибальда Макашвили. В этом маленьком мальчике вновь слилась одно время расчлененная надвое фамилия древнейшего грузинского рода, из двух фамилий получилась одна, цельная и вечная, и именно в этом видит Гр. Робакидзе путь к освобождению Грузии!

Народ только тогда достоин свободы, когда каждый из нас станет личностью.

Сможет ли человек когда-нибудь объединить в себе материальное и идеальное, что фактически приблизит его к Богу? Трудно сказать, но несомненно одно. Человек обязательно должен стремиться обратить свои два «я» в одно, более великое, завершенное и вечное, ибо это единственный путь приближения к Богу.

Обо всем этом заставляет нас задуматься герой «Змеиной рубашки» Арчибальд Мекеш и его духовное «я» Вамех Лашхи. И здесь происходит слияние двух в одно «целое». Физическое «я» (Арчибальд) всегда стремилось к идейному «я» (Вамех) и, встретившись, они тотчас узнали друг друга. Вспомним слова Мекеша, произнесенные при первой встрече с Лашхи: «Это он». «Он» — это не что иное, как дух!

Сам Мекеш предстает в романе не отдельной личностью, под ним подразумевается грузинский народ вообще, как один человек, сильный, непоколебимый, ищущий и находящий собственную душу. Здесь есть важная деталь: в результате соединения Арчибальда (народа) с Матаси — символическим образом Святой Нино или же веры (вспомним Матаси в роли Св. Нино) рождается Тамаз — образ новой Грузии. Этим писатель выдвигает еще одно обязательное условие для возрождения замученного отечества — возвращение к вере, к религии, и, благодарение Богу, мы наконец начали заполнять вакуум нашего безверия благодатью веры.

Леван БРЕГАДЗЕ

Почему пахнут деньги в приморском городе?

Современный грузинский читатель не избалован остросюжетными, созданными на одну конкретную тему романами, где повествование затрагивает определенную проблему и подчинено классическим канонам композиции: на своем месте и экспозиция, и завязка, и кульминация, и развязка... Трудно сказать, почему это так, но многотомные романы, исследующие множество проблем, получили широкое распространение. Авторы их стараются как можно полнее представить целые эпохи... И нередко небезуспешно.

Это немалое дело!

Но читатель соскучился по однотемному, однопроблемному остросюжетному роману, соскучился по классической композиции.

Роман Заура Каландиа «Агнец», напечатанный в журнале «Цискари» несколько лет назад и затем изданный отдельной книгой, — один из таких.

Роман этот о мести, точнее — о кровной мести, вендетте.

В одной из книг Ветхого Завета читаем: «Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб: как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать».

Этот канон Ветхого Завета на более высокой ступени общественного развития заменяется христианской, евангелической моралью. В Нагорной проповеди Иисус Христос учит: «А я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую».

Налицо существенное различие этических норм Ветхого и Нового Заветов, развитие их от ответной жестокости к прощению.

С первых же пассажей романа мы узнаем, что, отбыв

срок, вернулся в приморский город Бондзи Бедна, убийца Гуджи — брата главного персонажа Алиа. Он отсидел за это преступление двенадцать лет. С Алиа мы знакомимся в момент, когда он просит оружие у известного рецидивиста по кличке Барон...

Что предпримет Алиа: отомстит убийце брата или же пощадит человека, сделавшего несчастной его семью, но отсидевшего за это срок? И если захочет отомстить, сможет ли исполнить задуманное? Бондзи не тот человек, который даст себя в обиду, тем более это трудно будет сделать простодушному и застенчивому Алиа.

Алиа отправил к Бондзи троих приятелей и наказал: «Городок наш маленький, не сегодня-завтра все равно где-нибудь встретимся... Ты убил моего брата, я с этим не смирюсь, советую тебе уехать отсюда!..» Тот, в свою очередь, пригрозил: «Если он не заткнется, я засуну его голову ему же под мышку и отправлю к его ублюдку братцу. Так и передайте слово в слово этому несчастному».

Ситуация накалилась.

Поскольку вопрос — как поступит Алиа, отомстит или же простит — ставится уже в начале романа и ответ не ясен вплоть до финальных пассажей, произведение читается с большим интересом. Это вполне естественно: как бы ни была решена человечеством проблема мести в теоретическом плане, каждое конкретное проявление мести или прощения волнует человека, поскольку затрагивает самые существенные и глубинные пласты человеческого бытия.

Но интересно повествовать об интересной истории (Заур Каландиа же действительно интересный рассказчик) — это лишь одна сторона писательского мастерства. Другая сторона — отношение писателя к рассказанному, обычно исподволь проявляющееся в художественном произведении (имеется в виду художественное произведение, выполненное в реалистической манере) и выражающееся не декларативно, а средствами художественного изображения.

Истинному читателю очень интересно, что скрывается за рассказанной автором историей, что заставило его взять в руки перо: какую цель (философскую, политическую, социальную...), кроме той, чтоб «развлечь» нас, преследует писатель, куда он стремится направить наши чувства и мысли, или, другими словами, какая художественная идея лежит в основе произведения?

И вот после того, как выявилась тема романа, возникает

сомнение: не будет ли его художественная идея выглядеть трафаретной и шаблонной?

Давайте разберемся.

Вряд ли современный писатель страны с богатыми христианскими традициями попытается своим произведением вызвать наши симпатии к кровной мести, реанимировать этот древний, дикий обычай.

Если же автор призывает нас к прощению (тем более, когда преступник уже искупил свою вину согласно существующим законам), значит, в основу своего произведения он положил довольно несвежую художественную идею, неоднократно обработанную как художественной, так и философской и религиозной литературой...

Мы читаем, как приятели Гуджи упорно толкают Алиа на кровную месть, и у нас рождается вопрос: неужели общество, в котором приходится жить персонажам романа, на закате XX века требует от своих граждан кровной мести? Тем более после того, как убийца понес заслуженное наказание! Неужели дикий обычай «око за око» вошел в кровь и плоть этих людей?

Может быть, мы имеем дело с каким-то анахронизмом?

Понятно, трудно осудить убитую горем мать, вернувшуюся домой после суда и с воплями сообщившую сыну: «Убийца твоего брата жив, Алиа...» «Но Алиа с самого начала знал, что Бедиа не расстреляют, это мать думала, что правосудие не оставит в живых убийцу ее сына»...

Разумеется, трудно осудить и Алиа, который все эти годы «ни о чем, кроме как о кровной мести, думать не мог, порой ему казалось, он жаждет ее; кровь смывается кровью, повторял он про себя услышанное где-то, но его пугала минута перед убийством, и его добрый или злой Бог сковывал ему руки и ноги и развеивал в прах с таким трудом принятое решение... Кто лучше самого Алиа знал, на что он способен. Его сердце разорвалось бы прежде... чем он спустит курок...»

Алиа действительно горит желанием уничтожить Бондзи, но от мысли, если хотите, от мечты о кровной мести до ее осуществления дистанция огромного размера.

Из вышеприведенной цитаты видно, что Алиа по натуре своей не убийца. Это стало ясно еще двенадцать лет назад, когда подстрекаемый дружками Гуджи, он решил «пустить в расход» Бондзи до начала судебного процесса, но в последний момент у него сдали нервы, и он не смог осуществить

задуманное. Да, по натуре он не убийца, но после возвращения Бондзи вокруг Алиа создалась невыносимая обстановка: дружки Гуджи настойчиво требовали от него мщения. «Гуджа был нашим братом, — говорили они ему, — мы и тебя знаем и ценим... Но обычай таков: сперва свое слово должен сказать брат, а потом посмотрим... Это означало: хочешь остаться в стороне, оставайся и не тяни с этим... У нас, у друзей Гуджи, свои счеты с Бондзи».

Бывший судья, встретившийся Алиа на улице, предусмотрительно наставляет его: «Он свое получил... я был суров к нему, дал ему максимум... видишь, он вернулся, отсидел свое от звонка до звонка... Такие как Бедиа выносят все, не погуби себя... Нечего смотреть так, меня не проведешь».

Но подобные наставления уже не имеют смысла, поскольку дружки Гуджи хорошо обработали Алиа; для него уже ясно, если он не убьет Бондзи, его посчитают трусом, оскорбившим память о любимом брате. Алиа убьет Бондзи сапожным ножом, а спустя какое-то время, в помутнении рассудка, неудачно упадет и напорется на тот же нож.

В романе с большим мастерством и убедительностью показан процесс превращения Алиа, застенчивого юноши, в жестокого убийцу. С точки зрения психологической и художественной в романе все в порядке. Сомнения вызывает иное.

Вспомним, что говорят Алиа дружки Гуджи: «...сперва свое слово должен сказать брат, а потом посмотрим...»

Что это значит? То, что «зуб за зуб» — это осознанная и твердая вера этих людей? Но ведь эти бывалые парни, эти вояки и циники совсем не похожи на людей, исповедующих хоть какую-нибудь, даже самую примитивную веру. Кажется, есть что-то лживое в их стремлении отомстить за друга, убитого двенадцать лет назад. Такая безграничная преданность неестественна даже для персонажей героико-романтического эпоса!

И когда в сознании читателя начинает зреть мысль: похоже, здесь дело в ошибке писателя, — он читает один необычный пассаж, являющийся ключом к художественной идее писателя. Постепенно становится ясно, что на самом деле движет дружками Гуджи, выдающими себя за людей, заботящихся о памяти убитого друга... Глубинные мотивы поступков персонажей вскрыты с соблюдением всех правил художественности.

Выше я назвал пассаж, дающий понять истинные мотивы, движущие дружками Гуджи, необычным. Он резко вы-

деляется на фоне всего романа. Повествование, характерное для традиционной, реалистической прозы, в этом месте на короткое время сменяется манерой «нереалистического» изображения, бросающейся в глаза своей условностью.

Это — картина города, которую дает писатель, города, где живут и действуют персонажи романа. И она вроде бы дается не вовремя: роман приближается к финалу, а автор только сейчас «вспомнил», что надо наконец показать среду, в которой происходит вся эта история!

Описание городка начинается «нормальными» фразами: «Городок, безразлично, как до него добирались — морем ли, поездом, на машине или пешком — зимой и летом с трех сторон окруженный зелеными горами, с широкими асфальтированными улицами, двухэтажными деревянными домами с балконами, украшенными резным орнаментом и балясинами, чистыми дворами, фруктовыми садами и огородами, с колышущимся райграсом, радовал глаз... Он был пронизан ароматом морского воздуха, хвойных деревьев, чая, цитрусов, трав, и если вас ждали в гости, то щедрость и почтительность хозяев, их вежливость и улыбающийся взгляд повсюду сопровождали вас».

Все как будто в порядке вещей, но дальше мы вдруг читаем: «Но... что еще было характерно для этого городка, — это какой-то необычный странный запах, который поражал приезжего! Он долго не мог понять, что это за запах. С утра до вечера ему приходилось бродить по улицам, заглядывать в каждый уголок, принюхиваться, чтобы наконец понять, окончательно выяснить для себя, от чего так раздражающе щекочет в носу... После долгих размышлений, любопытствующих взглядов, блужданий, его вдруг осеняло — да ведь это запах денег! Поначалу он поражался собственному открытию, даже испытывал неловкость, сомневался, но проходило время, и он убеждался — во всем решительно львиная доля в этом городке приходилась на деньги, в воздухе, подобно горячей пыли пустыни, носился лишь их запах, вызывая у новичков головокружение...»

С точки зрения манеры письма этот пассаж «из другой оперы», поэтому он сразу бросается в глаза, привлекает внимание, «выпадает» из всей ткани романа. Необычная форма лишь выделяет, подчеркивает заключенную в ней мысль. Подобная форма высказывания мысли — сигнал к тому, что речь должна идти о чем-то значительном, глубоком, существенном.

Такая смелая, радикальная перемена в писательской ма-

нере в нужный момент весьма интересное явление с точки зрения писательского мастерства, примечательно, что указание на нечто существенное потребовало «нереалистичной», фантастической формы выражения.

Когда император Веспасиан поставил себе цель пополнить государственную казну, опустошенную расточительным Нероном, то он установил налог и за пользование отхожими местами, чем вызвал возмущение своего сына Тита. Тогда Веспасиан взял монету из денег, собранных за пользование отхожими местами, поднес ее к носу сына и спросил: — А ты понюхай, пахнет? — Не пахнет, — ответит Тит.

А вот те деньги, которые крутятся в родном городке Алиа, пахнут!

Эта скрытая полемика с известным изречением Веспасиана в романе не случайна и имеет глубокий смысл, но прежде, чем мы продолжим разговор об этом, вернемся к прерванной цитате:

«И действительно, хотелось вам того или нет, но человек здесь ценился тем, сколько денег он имел, этим мерили его и взвешивали не только знакомые и незнакомые, но и родные, и даже дети!.. Везде — на свадьбе ли, на поминках — нужны были деньги, и чем больше ты давал, тем больше выделялся. Деньги освобождали из тюрьмы, безденежье сажало туда на долгие годы... Похоже, и приветствие стоило денег, если у тебя их было достаточно, с тобой старались поздороваться первыми, чтобы не задеть твою гордость, бедного же человека, от которого никакой пользы, не замечал и друг детства, убирал улыбку с лица, опаздывал с приветом. Даже новорожденному совали под подушку деньги, представьте себе, и покойник должен был держать в остывших пальцах аккуратно сложенную хрустящую сторублевку...»

Во всем мире «деньги не пахнут», какими бы сомнительными способами они не были заработаны. Здесь же весь город провонял деньгами! Но этот запах чувствовал лишь посторонний, — отмечает автор, — местные уже привыкли к нему!

Итак, это какие-то другие деньги. Это деньги, которые не могут служить добру и сеют лишь зло. Здешние деньги — единственные в мире, которые пахнут. Здесь и дружба меряется деньгами, и дружба пахнет деньгами, и любовь, даже любовь...

Есть в романе одно небезынтересное сравнение. Автор сопоставляет Алиа и Ано, красотку из «высшего круга», весь-

ма сомнительного поведения: «В обществе, в котором постоянно, как деньги, вращалась Ано, Алиа был редчайшим гостем. Он попал туда как-то раз, притом совершенно случайно».

Посредством выделенного нами сравнения «легально» говорится, что в этом обществе Ано чувствует себя как дома: «нелегально» же (между строк) указывается на функцию, выполняемую этой обаятельной дамой в «высшем обществе»... Сравнение в данном контексте красивой женщины с деньгами рождает мысль, что в этом обществе и любовь — деньги, и любовь пахнет деньгами.

В романе есть такая фраза: «...возможно деньги на этом свете вообще решают все (может быть, это действительно так!)».

Да, деньги все решают. Но Алиа не знает, не догадывается об этом и становится жертвой собственного простодушия. И до него, правда, дошел слух, «будто вернувшийся из тюрьмы Бондзи требовал у парней какую-то «долю», между прочим, не такую уж незначительную сумму, в которой ему еще тогда, двенадцать лет назад, отказали. Он же стоял на своем и именно поэтому Гуджа избил его, а он в него всадил две пули...»

Вот почему дружки Гуджи хотят избавиться от Бондзи, вот истинная причина этого (о ней, впрочем, говорится вскользь, на уровне «сплетни»).

Еще раз вспомним цитированные выше слова дружков Гуджи: «Но обычай таков: сперва свое слово должен сказать брат, а потом посмотрим...»

О каком обычае речь?! Они же попрали все обычаи, и старые и новые, им просто надо убрать Бондзи.

Можно представить себе обратный вариант изложенных в романе событий: скажем, окажись Бондзи необходимым им человеком в «смысле бабок» и угрожай ему опасность со стороны Алиа, брата которого он убил... Тогда бы мы увидели, какими примерными христианами предстали бы дружки Гуджи, какие лекции о прощении, терпимости, человеколюбии прочли бы Алиа!

Но в этот раз дело потребовало такого поворота... Осуществилась мистерия кровавого жертвоприношения золотому идолу...

Эпиграфом к роману взяты слова Важа Пшавела: «Стал человек праведный агнцом невежества»... Мы уточним: собственного невежества...

ეროვნული ბიბლიოთეკა

Роксана АХВЕРДЯН

Философы-грузины— последователи Монтескье

Борьба за демократическое гражданское устройство государства, за внедрение гуманистических идей началась в нашей стране не сегодня. В Грузии издавна были деятели, мыслители, философы, которые в своих трудах разрабатывали идеи справедливого общества, проповедовали их и стремились внедрить в жизнь, часто подвергаясь гонениям за свои радикальные убеждения. Еще совсем недавно, анализируя взгляды и творчество этих деятелей с позиций марксистско-ленинской материалистической идеологии, наши ученые снисходительно указывали на утопичность их мировоззрения и учения, на отклонение от казавшейся тогда единственно верной марксистской теории необходимости социалистической революции и построения коммунистического общества, отмечая «недопонимание» ими законов общественного развития. А может быть, это не они были утопистами, а мы пошли по неправильному пути? Иначе, почему мы сегодня возвращаемся к идеям,

высказанным ими на заре возникновения европейских демократических государств? Почему так часто сегодня вспоминаем имя Монтескье, его труд «О духе законов»?

Шарль Луи Монтескье (1689—1755) — французский философ, писатель и историк — стоял у истоков философии Просвещения XVIII века — передового идеологического течения и философской концепции, враждебной феодально-абсолютистскому строю и его порождениям в экономической, социальной, духовной областях. Философская позиция Монтескье, изложенная в его основном сочинении «О духе законов», основывалась на познании причинных связей материальной действительности. Согласно его концепциям, всеобщие законы истории определяются комплексом социальных факторов: производством, собственностью, принципами правления, обычаями и религией. Критикуя феодально-деспотическую форму правления, Монтескье выдвигал как лучший образец монархическо-конституционный политический режим, осуществлявший разделение законодательной, исполнительной и судебной власти. Таким образом, он выступал против отживших к тому времени средневековых институтов абсолютной монархии, церковного мракобесия, невежества и темноты народа. Он звал к построению нового демократического государства, нового гражданского общества.

Одним из первых последователей Монтескье в Грузии был яркий грузинский мыслитель конца XVIII — начала XIX века князь Александр Амилахвари (1750—1802) — старший сын одного из самых знатных в Грузии феодалов Димитрия Амилахвари, писатель, историк, публицист, политический деятель, воспитанный на освободительных идеях эпохи французских энциклопедистов, воплотивший их в своих произведениях. А. Амилахвари — исключительно сложная, трагическая и противоречивая личность. Этот талантливый мыслитель и писатель-полемист погиб в неволе. Его жизнь полна мятежностью, трагическими событиями, тяжкими страданиями.

В 1765 году, пятнадцати лет от роду Александр был участником заговора, возглавляемого его отцом и направленного против Ираклия II. Дядя его, Гиви Амилахвари, за свой свободолюбивый дух многими был признан героем. Это ему в 30-х гг. XIX в. Григол Орбелиани посвятил свою поэму «Исповедь Гиви Амилахвари», которая явилась своеобразным переводом-переложением отрывка из поэмы декабриста Рылеева «Исповедь Наливайко». Вся семья Амилахвари поддерживала потомков Вахтанга VI, мухранских Багратиони и находи-

лась в оппозиции к царю Теймуразу II и его сыну Ираклию II — т. е. к кахетинским Багратиони. Восстание было подавлено Ираклием II и участники его были заключены в крепость. В автобиографической книге «История георгианская...» (Спб., 1779) Александр рассказывает о том, как строго наказал его Ираклий II. Бежав из плена, он поселился в Петербурге, где попал в окружение эмигрантов, настроенных против Ираклия II. Ценность книги заключается в том, что в ней впервые грузинский автор знакомил русских читателей с историей своей страны, «от начала до нынешнего века», основываясь на летописных источниках и легендах. В ней приводятся географические данные о Грузии, дается родословная царей, начиная со времен Александра Македонского, рассказывается об основании Тбилиси, войне с турками, персами, о распрях грузинских царей с феодалами, описывается семья Амилахвари, жизнь отца автора, кн. Димитрия, и его отношения с Ираклием II. Книга эта — памфлет, направленный против Ираклия II. В произведении, характеризующем жизнь Грузии конца XVIII века, А. Амилахвари дает свое изложение острой внутриклассовой борьбы между крупными феодалами и царской властью в Картл-Кахетинском царстве. Написано произведение тенденциозно, автор подчеркнуто субъективно и искаженно описывает всю историю заговора, его жестокое подавление Ираклием II, изображенным в книге сугубо отрицательной личностью, политическим авантюристом и узурпатором.

О книге сразу же узнал Ираклий II и обратился к Екатерине II с просьбой запретить ее, как подрывающую основы грузинского царствующего дома. Книга была запрещена, конфискована и уничтожена, а автор ее арестован. После выхода в свет «Истории...», т. е. после 1779 года, правительство запретило Александру выезжать за пределы России. Но в 1780 году он бежал и направился в Имерети, где объединился с Александром Багратиони для совместных действий против Ираклия II. Мятеж вновь был подавлен. Багратиони вскоре умер в Смоленской крепости, а Амилахвари был помещен в Выборгскую тюрьму, где в невыносимых условиях провел 18 лет. В 1801 году он был помилован, получив разрешение Александра I вернуться в Грузию. Но родину ему увидеть так и не привелось: он скончался в пути, в Астрахани, в 1802 году.

В философской науке А. Амилахвари известен как последователь в высшей степени либерально-демократических идей, как автор философского трактата «Мудрец Востока, или Намерения его по управлению государством», написанного в

1780 году на грузинском языке. Впервые этот трактат опубликовал Эквтиме Такаишвили в 1902 году в журнале «Моамбе» («Вестник»), № 2, снабдив его небольшим предисловием. В трактате нашли отражение прогрессивные идеи Монтескье применительно к грузинскому феодальному обществу. Написан он был под влиянием идей энциклопедистов, волновавших в то время передовые умы. Несомненно, что особое влияние на трактат Амилахвари оказало сочинение Монтескье «О духе законов», из которого он приводит некоторые места слово в слово в своем переводе.

Сочинение состоит из 10 глав. А. Амилахвари выступает в нем сторонником просвещенного абсолютизма. В I главе рассматривается проблема управления государством. Как и Монтескье, Амилахвари считает, что во главе государства должен стоять образованный, умный правитель, который создает разумные законы и придерживается их. Автор считает, что царь — это не «помазанник Божий», а «избранник народа». «Горе народу, попавшему под начало человека, который терпит равнодушно плач вдов и ни во что не ставит горе сирот», — пишет Амилахвари. Он признает за народом права, согласно которым народ может сбросить царя, если он не оправдал его доверия.

Одним из главных достижений просветителей, особо выделенном в «Духе законов» Монтескье и подхваченном Амилахвари, была проповедь равенства между сословиями: «...для правителя, который свои права считает не беспредельными, все люди равны между собой... Я уважаю происхождение, считаюсь с заслугами, но почитаю благие деяния как нечто божественное», — пишет он. Согласно Амилахвари, гарантией мира в стране является национальная гармония, взаимопонимание между правителем и народом. По словам философа: «Блажен народ, имеющий мудрого царя; и блажен царь, имеющий народ, покорный ему; без такого царя не будет полного счастья для народа».

Во II главе Амилахвари раскрывает вслед за Монтескье буржуазно-демократическую теорию ограничения власти монарха конституционным путем. Как большинство просветителей-энциклопедистов, Амилахвари выступает против кровопролития. Философ пишет, что главный долг правителя сохранять естественное состояние людей — мирные и дружеские взаимсотношения с другими народами, а не вести бесконечные войны. Но к сожалению, отмечает автор, часто люди отказываются от естественных отношений, забывают о принципах

равенства и свободы, которые должны уважать по отношению к другим, и вступают в постоянные войны между собой. И так как существует опасность войны, то необходимо во главе войск страны иметь талантливого и разумного полководца. Но главное в армии — справедливое устройство, отсюда необходимость равенства перед законом воинов всех рангов и чинов. «Равенство между воинами повелевающими и повинующимися... равными рождаются, и ни один не лучше другого и ни один не хуже другого», — сказано в трактате.

Известно, что Монтескье и другие просветители, признавая Бога как создателя, отвергали некоторые догматы христианства, религиозный фанатизм и инквизицию, стремление католической церкви к светской власти и развивали концепцию повышения роли религии в деле поддержания общественного порядка и сохранения нравственности. Согласно идеям просвещения, невежество, мракобесие, религиозный фанатизм — главная причина человеческих бедствий. Эти же идеи в своем трактате выражает и Амилахвари. В то же время как последователь Монтескье он выступает за веротерпимость и свободу культов.

В следующих главах он призывает развивать торговлю и ремесленничество, которые способствуют установлению мира между народами, выступает за развитие наук и искусства, которые считает огромным воспитательным стимулом.

В одной из глав Амилахвари подробно касается положения крестьян-земледельцев, которые, по его словам, стоят на последней ступени социальной лестницы, но являются главной силой в деле спасения нации. Вторым естественным законом жизни человека он называет добывание пропитания, а пропитание предоставляют всем именно крестьяне.

Страстный борец за справедливость, за внедрение новой просветительской идеологии в своей стране, Амилахвари свое новое учение стремился положить в основу государственного устройства грузинского царства. Так, посылая в 1782 году рукопись своего труда царю Соломону I, которому он и посвятил этот труд, советует ему управлять страной по гуманным и справедливым законам, изложенным в этом трактате. Соломон в том же 1782 году умер, иначе Амилахвари, несомненно, пострадал бы еще и за свои советы.

О том, что трактат А. Амилахвари был хорошо известен грузинским деятелям и вызвал соответствующие отклики, говорит тот факт, что в 1812 году в Петербурге, в типографии Академии наук были изданы «Письма Вахтанга Ираклиевича»,

явившиеся как бы ответом на «Мудреца Востока» А. Амилахвари. Автор этих «Писем» — Вахтанг Багратиони (1762—1814) — сын Ираклия II, переселившийся в Петербург вместе с остальными членами бывшей царской семьи. Это малоизученное в литературе произведение также написано под влиянием трактата Монтескье «О духе законов», но одновременно по некоторым вопросам оно полемически заострено как против него, так и против трактата Амилахвари: это вопросы абсолютной монархии и религии.

Известно, что к середине XVIII века — и все более отчетливо на протяжении второй его половины—среди просветителей наблюдается усиленное внимание к «философии моральной», к проблеме «совершенного человека», причем главное внимание уделяется вопросу о взаимоотношении человека с обществом, с согражданами, устремленности к нравственному совершенствованию собственной души.

Вахтанг Багратиони как мыслитель конца XVIII века решает именно эту главную проблему эпохи — проблему «совершенного человека», его книга — это своеобразное преломление идей просветителей и главным образом Монтескье. Построена она по той же схеме, что и «О духе законов», и имеет стройную композицию. При этом автор выбрал для своего труда своеобразную форму, которая явилась данью литературному течению XVIII века — сентиментализму — в жанре писем. В. Багратиони как последователь просветителей особую значимость придает проблеме происхождения зла в нравственном и социальном смысле, а также вопросу о способах борьбы за совершенного человека и справедливые общественные отношения. И если прогрессивные мыслители эпохи французского и русского просвещения решали вопрос о совершенном человеке как «определение гражданственной позиции личности», то для В. Багратиони главное решение этого вопроса — в вере в Бога.

В первом письме, как дань сентиментализму, приводятся рассуждения о дружбе, о чувствительной душе — свое сочинение автор представляет как письма своим друзьям. Далее он пишет о добродетелях, от которых зависит счастье. Эти добродетели он делит на четыре рода: добродетели, зависящие от веры, природы, власти и образа мыслей.

Если одна из основных идей просветителей заключалась в ограничении власти церкви, в отрицании главенствующей роли религии, борьбе с предрассудками, то, по В. Багратиони, первая добродетель — это вера в Бога, которая спасает человека

от невежества, от увлечения буйными страстями, т. к. вера несет в себе нравственное начало. Автор утверждает, что безверие может принести человеку только несчастье. Вера призывает повиноваться законам, а это дает людям спокойствие и счастье. Автор подробно рассматривает добродетели веры, такие как, например, «возлюби ближнего, как самого себя» и другие.

Добродетели второго рода зависят от природы, от гармонии человека с ней. В связи с этим автор выражает демократические убеждения в том, что в обществе должно быть такое же равенство, какое существует в природе. Природа не знает различий.

Третьего рода добродетели, по В. Багратиони, всецело зависят от власти, т. е. государства, и от правителя, т. е. царя. Вахтанг выступает приверженцем абсолютной монархии, но в отличие от Амилахвари, он против ограничения власти монарха конституцией. По его мнению, власть стремится улучшить жребий человека, благосостояние целого общества. «Для того, чтобы достичь счастья, — пишет он, — каждый член общества должен слепо повиноваться определениям власти». Счастье, по утверждению Вахтанга, зависит не только от умения подчиняться законам и обычаям, царящим в обществе, но и от четвертого фактора, — от «благопристойности» самого человека, от самоорганизации, от умения создать внутри себя гармонию.

Выступая за абсолютную монархическую власть, Вахтанг указывает, что во главе государства должен стоять умный, просвещенный правитель. Жизнь царя должна быть примером для подданных, пишет он. И исходя из этого, он на особое место, как и просветители, выдвигает положение: царь «должен первым подавать пример в повиновении законам». Царь, министры, военачальники — все должны соблюдать в равной мере эти добродетели.

Просветители, исходя в своем учении из добрых начал природы, человека, обосновали идею гармонических и справедливых общественных отношений. Именно на этих идеях основывается и Вахтанг Багратиони. В заключительной, самой интересной части своего трактата он говорит о взаимосвязях всех четырех источников добродетели. По его словам, счастье каждого человека зависит и от того, как другие люди относятся к соблюдению всех четырех добродетелей. И, прежде всего, по его словам, им должен подчиниться правитель — царь и другие сильные мира сего. Здесь В. Багратиони выражает де-

мократические идеи и вновь повторяет: равенство всех перед лицом народа. Чтобы государство процветало, в нем должна царить справедливость, равенство для всех: «равный суд над всеми даст всем равные права на возвышение и почести и тем способствует благосостоянию государства».

К царю, по словам Вахтанга, предъявляются особые требования, он должен жертвовать собой ради подданных. Министры должны быть справедливыми советниками царя, направляющими его действия на благо подданных, они должны быть преданными царю и своему народу. Далее он говорит, что, к сожалению, сильные мира сего заражены стяжательством и больше думают не о благе подданных, а о собственном благополучии. Стяжательство правителей — главная причина войн и несчастий народа, считает В. Багратиони.

В той же последовательности, что и Монтескье, В. Багратиони рассматривает положение и основные задачи всех сословий по выяснению вышеуказанных добродетелей. Он дает характеристику каждого сословия граждан — купцов, художников, ремесленников, земледельцев. Во многом он повторяет те определения, которые дает им Монтескье, а вслед за ним и Амилахвари. О земледельцах он пишет, что, «умножая способы благосостояния целого государства, они имеют сильнейшее право на уважение к себе всех вообще».

В конце труда автор призывает все классы, все сословия думать прежде всего о благе отечества и о защищенности трона. Эта последняя часть труда прямо направлена против деятельности Александра Амилахвари и других феодалов, которые вели борьбу против его отца — Ираклия II. Автор выражает также патриотическую идею защиты отечества от врагов.

Склонность к выражению прогрессивных идей в этом труде Вахтанга Багратиони, несомненно, была обусловлена также и тем, что его переводчиком на русский язык был Егор Габриэлович Чилашвили, прогрессивный мыслитель, просветитель, известный ученый и общественный деятель, поэт и переводчик, один из идейных предшественников декабристов, внесший свой вклад в развитие грузинской философской мысли. Родился он в 1792 году в Душети. В 1807 году отец его вместе со всеми членами своей семьи выехал с царевичем Вахтангом Ираклиевичем Багратиони в Россию, где поселился навсегда. Габриэл Чилашвили был шталмейстером Вахтанга Багратиони. Вахтанг, будучи бездетным, проявил живейшее участие в воспитании Егора, который отличался большими спо-

собностями. Благодаря заботам царевича Егор получил блестящее образование в Петербурге.

Произведения французских просветителей он изучал в оригиналах. В 1810 году он перевел и издал в Петербурге художественное произведение Монтескье «Арзас и Исмения», многие идеи которого, как известно, позже вошли в его философский трактат «О духе законов».

В 1812 году, в возрасте 20 лет, Егор опубликовал свой философский труд «Начертание права природного» (Спб., тип. В. Плавильщикова), проникнутый идеями французских просветителей. Знаменательно, что труд, выражавший прогрессивные воззрения своего времени и фактически являвшийся критикой существующего строя, был написан в период аракчеевского режима в стране, когда реакционно-полицейский деспотизм принял самые жестокие формы. Сущность идей Чилашвили, как и просветителей, заключалась не в призыве к борьбе, а в распространении просвещения, внушении обществу гуманных и благородных человеческих идеалов как основы существования государства.

Возвращаясь сегодня к изучению идей просветителей, мы в какой-то мере пересматриваем их, по-новому осмысливая их убеждения о решающей роли знаний и особенно познания «естественного порядка» для исправления социальных отношений. Просветители считали, что «естественный порядок» познаваем человеческим разумом и соответствует подлинным, неиспорченным желаниям человека; социальные отношения должны быть приведены в гармоничное соответствие с закономерностями окружающей и человеческой природы. Просветители считали, что обществу свойственно постепенное развитие на основе неуклонного совершенствования человеческого разума. В соответствии с этим, в основу своей теории об обществе и государстве Е. Чилашвили кладет «естественное право», именно ту теорию, которая лежала в основе всех трактатов просветителей на подобную тему и особенно «О духе законов» Монтескье.

Труд состоит из трех глав, каждая из которых имеет свои разделы. Глава I. О природных нуждах человека; глава II. О нуждах, проистекающих от природных нужд и способностей человека, о труде, о просвещении, об общежитии; глава III. О взаимных соотношениях людей на основании общежития. О личной собственности, о договорах, о движимой собственности, о земельной собственности.

Идейным источником знаменитой «Декларации прав че-

ловека и гражданина», провозглашенной 26.VIII.1789 года, была французская просветительская философия XVIII века. Первая статья этой «Декларации» гласила: «Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах», а 17 статья: «Собственность есть нерушимое, «священное право». Эти же положения находим в труде Е. Чилашвили. Он пишет: «Все люди свободны, все люди равны между собой по личной собственности и свободе. Никто никому ничего не должен, другими словами, что один должен второму, последний должен первому». В этих взглядах Е. Чилашвили нашли яркое отражение идеи, характерные для французских просветителей, которые понимали свободу как подчинение закону по собственной воле, а равенство, — как уничтожение феодальных привилегий.

По Е. Чилашвили, человек имеет двух родов способности: телесные и духовные. Первые пребывают в теле, заключены в движениях его членов, в зрении, слухе, обонянии, осязании, вкусе и служат основанием душевным способностям, без коих они никак не могут быть полезными. Душевные способности суть: внимание, размышление, умствование, понимание, желание, воля. Эти способности составляют личную собственность человека, и он может пользоваться ими по своей воле — это естественная свобода человека. Следовательно, Е. Чилашвили под личной собственностью подразумевает личность человека, его физические и духовные способности, взятые в совокупности, в целом. Он далее пишет: «Личная собственность и свобода каждого человека должны быть священны и неприкосновенны; он один имеет право располагать ими по своей воле; он должен отражать силою всякое нападение, угрожающее его личной собственности и его свободе».

Для Е. Чилашвили свобода — это святая святых. Тот факт, что подобные прогрессивные идеи выдвигались в условиях оголтелого полицейского режима, говорит о том, что они, по существу, были направлены против этого режима и фактически являлись критикой существующего строя. Весьма примечательно его выражение — «применяя силу, защищать свободу». Не подразумевается ли здесь, что, защищая свободу, можно выступить против царизма, что народ Грузии имеет право восстать против неугодного режима? Но в книге Е. Чилашвили не касается общественного и государственного строя какой-либо конкретной страны, поэтому из его рассуждений нельзя заключить, что он призывает к восстанию против царизма, тем более, что и просветители первого этапа Просве-

щения осуждение строя не переносили из сферы теории на практику.

Большое внимание уделяет ученый такому важному понятию, как труд, его роль в развитии общественных отношений. Труд, по мнению Е. Чилашвили, — первейшая необходимость, т. к. только посредством его человек может удовлетворить свои нужды. Все виды собственности правомерны лишь тогда, когда они основаны на собственном труде, вследствие этого осуждается всякая собственность, приобретенная чужим трудом.

Сущность идей Е. Чилашвили, как и просветителей, заключалась в распространении просвещения, внушении обществу гуманных и благородных человеческих идеалов как основы существования государства. Одной из заслуг Е. Чилашвили явилось то, что, говоря о просвещении, он обосновал принцип познаваемости мира и практической значимости результатов познания.

В том же 1812 году Чилашвили перевел с французского языка на русский сочинение Мабли «Об изучении истории». Если Монтескье принадлежал к представителям первого этапа Просвещения, то Габриэль Бонно Мабли (1709—1785), французский политический мыслитель, выдающийся историк — был одним из поздних его представителей. В основе его взглядов на общество лежали теории общественного договора и естественного права. Для Е. Чилашвили особенно привлекательным было то, что Мабли выступал против неравенства, признавал народ носителем верховной власти и его право изменять существующее правление. Его радикальному мировоззрению были близки идеи Мабли, который оправдывал революции и гражданские войны, направленные против насилия и деспотизма. Ведь известно, что Мабли своими идеями способствовал подготовке Великой французской революции. Знаменательна и эволюция мировоззрения Е. Чилашвили от Монтескье до Мабли — недаром впоследствии он сочувствовал участникам восстания 1832 г. Трудами Мабли был очарован и А. Н. Радищев, который перевел его трактат «Размышления о греческой истории» со знаменитым примечанием «О самодержавстве». Этот перевод Радищева был издан и сохранился до наших дней в еще меньшем количестве экземпляров, чем уничтоженное по приказу Екатерины II его «Путешествие из Петербурга в Москву».

С 1815 года Е. Чилашвили был членом масонской ложи «Умирающий сфинкс», руководимой А. Ф. Лабзиным, изве-

стным художником-маринистом (жена Е. Чилашвили была родственницей Лабзина). В эту ложу входил также известный грузинский историк и нумизмат М. Бараташвили, познакомившийся с Лабзиным в пору высылки его в 1812 году в Симбирскую губернию.

В 1819 году Е. Чилашвили напечатал в Петербурге книгу «Предварительное понятие к познанию натуры», которая представляет собой выборку из произведений французских просветителей.

После успешной службы в России Е. Чилашвили в 1821 году приехал в Грузию, где был определен в Грузино-Имеретинский правительствующий Синод. Здесь он служил до 1826 года. В Грузии он сближается с Грибоедовым и другими прогрессивными деятелями и литераторами. Грибоедов, посвятивший ему свою пьесу «Грузинская ночь», характеризовал его как «самого благосведущего в законах и, наконец, грузина, каких я мало встречал, с европейской образованностью и нравственностью».

Во время службы в Грузии Е. Чилашвили никогда не упускал возможности защитить интересы крестьян, ограничить власть помещиков-самодуров, выступал против бесчинства, лихоимства и выдвинул ряд смелых проектов облегчения положения крестьян. Он явился также инициатором открытия в Тбилиси суда, разбиравшего уголовные и гражданские дела, в которых принимали участие представители от различных сословий, составил проект «О дозволении крестьянам Грузии платить за себя состоявшуюся по торгам и переторжке цену». В 1824 году проект этот был утвержден государственным советом. По настоящему прогрессивным, гуманным и просвещенным человеком показал он себя и на должности прокурора в Грузии. Он склонил Ермолова к ходатайству об устройстве в Грузии прокурорского надзора. В течение своей деятельности Е. Чилашвили всегда старался по мере возможности проводить в жизнь гуманные, прогрессивные идеи.

В 1831 году Е. Чилашвили находился в Петербурге. В заговоре 1832 года он непосредственного участия не принимал, но имел идейные связи с заговорщиками, которые в случае победы предполагали назначить его министром внутренних дел. Царское правительство не доверяло ему, он был отстранен от должности, за ним была установлена слежка. Он просил определить его на дожность, но император просьбу не удовлетворил. Лишь в 1838 году главноуправляющий Грузией Е. Головин послал его со специальным заданием в Ленкорань, где

он находился под наблюдением полиции. Пребывание здесь было настоящей ссылкой. Там, в Ленкорани, в том же году он скончался. После его смерти жандармерия сразу описала и опечатала все его бумаги и документы. Царское правительство старалось уничтожить всякое упоминание о прогрессивном грузинском мыслителе, но его идеи уже бродили в умах и воодушевляли новые поколения.

Философские идеи просветителей, выраженные в трудах как рассмотренных нами философов-грузин, так и Давида Багратиони, Соломона Додашвили и других передовых деятелей, не могли не оказать влияния на развитие грузинской философской мысли, имеющей многовековую историю. Национальная мысль в Грузии уже была развита настолько, чтобы быть готовой воспринять и усвоить эти идеи.

Сегодня, когда наша страна идет по пути создания гражданского демократического общества, когда мы прокладываем мосты из настоящего не только в будущее, но и в наше прошлое, вспоминаем и грузинскую конституцию, и грузинское национальное право, гражданские и правовые институты Грузии, небезынтересно обратиться и к наследию наших предшественников, последователей Монтескье и других французских просветителей, принесших в Грузию их идеи. Может быть, не такими уж и утопистами были они, разрабатывая тот путь, по которому мы собираемся пойти сегодня?

Борис ТУСКИА

К вопросу этногенеза осетин и их переселения в пределы Грузии

Вопрос о происхождении и переселении осетин (иронов) на южный склон Большого Кавказского хребта давно является предметом специального исследования многих историков, этнографов, археологов. В Грузии хранится огромный рукописный (летописи, хроники и др.) и археологический материал, связанный как с осетинами (иронами), так и их предками — аланами с момента их массового появления на Северном Кавказе и последующего проникновения на южный склон Большого Кавказского хребта в пределы Грузии в поисках средств к существованию.

Богатейший исторический материал свидетельствует, что нет ни малейшего основания считать пришлые ироноязычные племена, от скифов и до аланов включительно, аборигенами Кавказа и Закавказья. И только осетины (ироны), как результат смешения пришлых аланов с коренным северокавказским населением и образования совершенно новой народности, являются аборигенами определенного региона Северного Кавказа, который называется Осетией. Осетины, проживающие на территории Грузии, никогда не имели никаких государственных политических образований. Здесь проживали и другие национальные меньшинства — евреи, армяне, азербайджанцы, греки, курды и др. Грузия включала в себя с 1922 г. не Осетию, а Юго-Осетинскую автономную область, что совершенно не одно и то же, и термин «Южная Осетия» ничем не оправдан, кроме политических инсинуаций. Предоставление большевиками автономии осетинскому населению в Грузии в 1922 г. было своего рода вознаграждением за помощь их в

борьбе против Грузинской демократической республики. При этом создалась несколько странная ситуация — в пределах двух разных республик существовали две автономии одного народа: одна в РСФСР, другая — в Грузии.

Большую роль в деле установления этногенеза своего народа могла бы сыграть осетинская интеллигенция, а именно — историки. Но осетинские историки долгое время не выполняли своего святого долга перед народом. И только совсем недавно честность взяла верх — известный языковед, ученый с мировым именем В. И. Абаев, выступив с разъяснениями по рассматриваемому вопросу в «Независимой газете» (№ 13, 22 января 1992 г. — «Трагедия Южной Осетии; путь к согласию»), поставил все точки над «i». Он пишет: «Хочется проявить объективность и присмотреться, не было ли с осетинской стороны каких-либо поспешных, непродуманных действий, которые спровоцировали и обострили противостояние. И я должен признать, что такие действия были. Я имею в виду провозглашение суверенитета Южной Осетии с ориентацией исключительно на Москву и перспективой объединения Южной и Северной Осетии. Тяготение южных осетин к своим северным соплеменникам по-человечески понятно, но в геополитическом плане оно ошибочно. Для того, чтобы вернуть отношения между грузинами и осетинами в русло традиционной дружбы, надо прежде всего покончить с разговорами об отторжении Южной Осетии от Грузии. Ни одно грузинское правительство с этим никогда не согласится и будет право, потому что это означает нарушение территориальной целостности Грузии. Осетинская сторона должна признать, что Южная Осетия была и остается органической частью Грузии. Всякие разговоры об отторжении Южной Осетии от Грузии, о «суверенитете» Южной Осетии надо оставить раз и навсегда». Высказывая свое отношение к референдуму, проведенному в Южной Осетии осетинскими экстремистами, ученый пишет: «К сожалению, референдум 19 января, где осетинский народ однозначно призывали голосовать за отторжение Южной Осетии от Грузии, вновь обострил обстановку». Законность и состоятельность указанного референдума вызывает негативное отношение широкой общественности и оценивается экспертами как «морально неоправданный, юридически сомнительный и политически неэффективный акт». («Независимая газета» № 14, 23 января 1992 г. Э. Пайн, А. Попов — «О референдуме в Южной Осетии»). Кроме того, имеются многочисленные работы (монографии, диссертации и др.) осетинских исто-

риков, в которых детально рассматриваются все этапы и границы формирования осетинского (иронского) народа. Во избежание ненужных кривотолков мы воздержались от приведения огромного исторического материала грузинских историков, хотя данные летописей, хроник и других уникальных материалов рукописного фонда и археологических изысканий могут способствовать более глубокому и многогранному анализу рассматриваемой проблемы.

Вопрос о происхождении осетин (самоназвание «ирон») с давних пор привлекает внимание ученых: здесь и мнение, что осетины являются остатками древних половцев (акад. И. А. Гольденштедт 1745—1781 г.г.), и теория немецкого происхождения осетин (А. Гекстгаузен), и мнение о смешении ираноязычных предков осетин с семитами (В. Пфаф). Появление теории иранского происхождения осетин (иронов) относится к началу XIX в. и связывается с именем известного немецкого лингвиста-ориенталиста Г. Ю. Клапрота (1738—1835 гг.). Однако, как справедливо отмечает осетинский историк Ю. С. Гаглойти, приоритет принадлежит польскому ученому-путешественнику Потоцкому, совершившему в конце XVIII в. путешествие на Северный Кавказ. Позднее эту теорию всесторонне обосновывает и развивает выдающийся исследователь Вс. Ф. Миллер, широко использовавший данные не только языка, но и этнографии и фольклора. «В его трудах, — пишет осетинский историк Б. А. Калоев, — получил блестящее подтверждение тезис о преемственной связи осетин со средневековыми аланами. Но Вс. Ф. Миллер видел в осетинах потомков только одних иранских племен аланов, появившихся на Кавказе к IV в. н. э., не учитывая кавказского субстрата (коренного кавказского населения)».

Этот пробел был восполнен трудами советских ученых и прежде всего В. И. Абаева и Е. И. Крупнова, внесших крупный вклад в разработку вопроса происхождения осетинского народа. Достоинством их исследований является широкое привлечение исторического и археологического материалов с целью прослеживания взаимовлияния местной древнекавказской и пришлой древнеиранской этнических сред на формирование осетинского народа.

Важным вкладом в изучение этногенеза осетин явились также работы М. М. Ковалевского, Б. А. Калоева, В. А. Кузнецова, Ю. С. Гаглойти, К. Ф. Смирнова, З. Н. Ванеева, С. С. Куссаевой и др.

Недостаточную изученность осетин в области антрополо-

гии отмечает один из ведущих советских антропологов В. П. Алексеев, давший научный анализ всех материалов исследований антропологического изучения осетин. Автор (а за ним и другие антропологи) приходит к выводу о сохранности у осетин (иронов) местного кавказского антропологического типа.

Кто же такие ираноязычные аланы и когда и откуда появились они на Кавказе?

Под термином «алан», пишет Б. А. Калоев, «подразумевается одно из сарматских племен, занимавших до IV в. н. э. степные просторы Предкавказья от Азовского моря до Волги. В конце IV в., гуннские полчища оттеснили аланов в предгорья и горы Кавказа. «Гунны, придя через земли аланов, произвели у них страшное истребление и опустошение», — сообщает раннесредневековый историк Аммиан Марцеллин. Это была первая крупная волна миграции аланов в горы Центрального Кавказа. Археологические раскопки свидетельствуют, что аланские поселения здесь растянулись до самого Клухорского перевала. Территория аланов на северо-востоке, после разорения их гуннами, не имела определенных границ — на равнинах Северного Кавказа в VI—X вв. господствовали хазары, а затем, в XII—XIII вв. — половцы, обитавшие здесь до прихода монголов. Нашествие монголов вызвало массовую миграцию аланов в горы, еще более мощную, чем в раннее средневековье. С 1223 г. аланы попали под иго Золотой орды. В конце XIV в. (1395 г.) Алания была жестоко разгромлена Тимурленгом. Когда аланы окончательно покинули предгорные равнины Северного Кавказа и поселились в горах? Одни авторы (Пфаф В.) считают, что не ранее XV в., другие (Кокиев Г. А.) относят это событие к XIV в., третьи (Миллер Вс. Ф., Скитский Б. В.) — к концу XIII в., наконец, Калоев Б. А. и Ваниев З. Н. считают нашествие Тимурленга (1395 г.) причиной окончательного ухода аланов из равнин Предкавказья. Естественно, возникает вопрос о миграции аланов (асов) на южный склон Кавказского хребта, в пределы Грузии. В связи с этим Б. А. Калоев пишет: «Рост численности аланов и недостаток земли, по-видимому, служили одной из главных причин заселения высокогорных мест Северной Осетии и миграции аланов на южный склон Главного Кавказского хребта, в основном, через Дарьяльский и Касарский проходы, а также перевалы, важнейшим из которых был Куртатинский». Археолог Е. Г. Пчелина отмечает, что «заселение аланами грузинских земель южного склона подтверждается наличием древних кладбищ и большим количеством древних грузинских архитектурных памятников.

Позднее все эти древние христианские церкви были превращены осетинами в языческие святилища, покровителям которых приносили в жертву баранов, крупный рогатый скот и т. п. (27, стр. 24—28).

Такова, в самых общих чертах, картина расселения и миграции предков осетинского народа — ираноязычных племен аланов (асов).

А кто такие сами осетины (ироны)?

Б. А. Калоев пишет: «Ироны — это одна из главных этнических групп осетинского народа, на диалекте иронов разговаривает все население современной Осетии, кроме — дигорцев. Данные языкознания свидетельствуют, что носителями иронского диалекта были жители домонгольской Восточной Алании». В Центральной части Кавказа — по данным В. И. Абаева — ироны появились значительно позже. Б. А. Калоев и В. А. Кузнецов ставят вопрос: «почему термин «ирон» не упоминается ни в каких источниках (в том числе грузинских) и существовал ли он вообще у аланов (асов) в средние века или же его появление относится к послемонгольскому времени?» Б. А. Калоев считает, что «эти вопросы пока остаются без ответа, хотя известно, что ироны составляли три общества в трех больших ущельях — Алагирском, Куртатинском и Таурском. Наиболее крупным по территории и населению было Алагирское ущелье, по которому проходил Кавказский путь (ныне Военно-осетинская дорога) в Западную Грузию».

Здесь мы подходим к очень интересной стороне этногенеза осетин, а именно — можно ли отожествлять аланов (асов) с осетинами (иронами) и поэтому писать, например, что аланы-осетины проживали на огромных просторах между Доном и Волгой? Однозначный отрицательный ответ содержится в трудах Е. И. Крупнова и В. И. Абаева. Авторы подчеркивают, что изучение осетинского этногенеза необходимо проводить только во взаимосвязи с кавказской этнической средой, когда аланские племена, продвинувшись в сторону Центрального Кавказа, смешались с местным коренным (автохтонным) населением. Результатом этого смешения и было образование осетинской (иронской) народности, которая унаследовала от аланов ираноязычие, а от местного коренного населения—древний антропологический тип (2, стр. 78—79, 145). Таким образом, определение очень четкое: осетинская (иронская) народность не просто аланы, а результат смешения аланов с местным коренным населением с образованием новой исторической популяции. В связи с рассмотренным Б. А. Калоев пи-

шет: «...В национальном развитии осетин можно выделить несколько исторических периодов, характеризующих степень их этнической зрелости. Начавшееся становление осетинской народности в аланскую эпоху было прервано монгольским нашествием. В послемонгольский период, в условиях жизни в замкнутых горных ущельях этот процесс протекал значительно медленнее и, тем не менее, уже в XVIII в. мы можем говорить о сложении осетинской народности...» (II, стр. 340). М. В. Ковалевская уточняет: «Данные ряда смежных дисциплин, в том числе этнографии, свидетельствуют об участии в этногенезе осетин двух компонентов — местного кавказского и пришлого ираноязычного. Этногенетическая связь с ираноязычным компонентом особенно ярко прослеживается в одежде, напитках, в погребальном обряде, фольклоре, изобразительном искусстве (орнаменте), религиозных представлениях и образах осетин. Однако, наряду с иранскими, в материальной и духовной жизни и в быту народа в значительной мере проявляются местные кавказские черты: поселения, жилище, элементы пищи и национального костюма, некоторые нравы, обычаи и религиозные верования свидетельствуют о влиянии кавказского элемента» (13, стр. 64—65). О времени переселения собственно осетин (иронцев) (об аланах мы уже говорили выше) на южный склон Главного Кавказского хребта в пределы Грузии имеются многочисленные данные. Б. А. Калоев пишет: «Изучение фамильных преданий южных осетин показывает, что предки их являются выходцами из Северной Осетии и что они появились в местах современного обитания не ранее XV—XVI вв. ...Частичная миграция осетин на юг продолжалась до середины XVIII в. Здесь осетины составляли мелкие общества и почти целиком находились в зависимости от грузинских феодалов» (II, стр. 36, 59). В этом же плане весьма интересно сообщение В. И. Абаева, что топонимика имеет «грузинский облик» в низменных местах Южной Осетии, в высокогорных же районах топонимические названия не поддаются объяснению данными грузинского и осетинского языков» (2, стр. 22).

Большой интерес вызывает специально написанная по данному вопросу работа З. Н. Ванеева, где автор утверждает, что «эмиграционные процессы из Северной Осетии на юг начались с древних времен, но современные осетины Южной Осетии не являются потомками прежних переселенцев». На основании фамильных преданий З. Н. Ванеев считает, что «современные южные осетины живут в Южной Осетии не более

4—5 веков, т. е. с XV—XVI вв. (7, стр. 274). Все вышеизложенное позволяет сделать предварительные выводы о том, что пришлые ираноязычные племена аланов (асов), захватывая предгорные и горные районы Северного Кавказа, ассимилировались с местным населением со времен раннего средневековья. Миграция аланов в предгорья и горные районы Северного Кавказа проходила двумя большими волнами — сначала в IV в. после нашествия гуннов и в XIII в. — после нашествия монголов. Проникновение аланов (асов) на южный склон Большого Кавказа в пределы Грузии началось после их обоснования на Северном Кавказе, т. е. после V в. н. э., а усиление миграции — после XIII в. н. э. Формирование осетинской (иронской) народности, надолго прерванное монгольским нашествием, заканчивается к XVI — XVIII вв. Переселение же осетин (иронов) на юг, в пределы Грузии, началось не ранее XVI в.

Все вышеоказанное однозначно свидетельствует, что ни осетины (ироны), ни предки их — сарматы и аланы, не являются аборигенами для всего региона южного склона Большого Кавказа. Хотелось бы уточнить еще одну чрезвычайно важную сторону рассматриваемой проблемы, а именно: помимо пришлого ираноязычного элемента в этногенезе осетин (иронов) значительная роль принадлежит коренному населению Северного Кавказа. Желательно выяснить, не является ли это древнее население аборигенным и для южного склона Большого Кавказа, если принять во внимание, что рассматриваемые регионы были зонами распространения кобанской культуры (XV—X вв. до н. э.)? В исторический период поздней бронзы и раннего производства железа на Кавказе (XV—X вв. до н. э.) одновременно процветал ряд археологических культур, из которых колхидская (Западная Грузия) и кобанская (горные районы Центрального Кавказа) считались ведущими. Однако после 1930 года, по мере расширения археологических изысканий в литературе и на международных археологических симпозиумах, термин «кобанская» стал заменяться термином «колхидская» либо объединяться в одну «колхидо-кобанскую» культуру. В 1931 г. археолог М. М. Иващенко выдвинул гипотезу, что основными носителями кобанской культуры были древние колхи и что эта культура бронзы проникла на Северный Кавказ из Западной Грузии.

Позднее Б. А. Куфтин, один из крупнейших археологов, стал употреблять термин «колхидо-кобанская» культура и считал, что кобанская культура по происхождению является колхидской.

В пятидесятые годы Крупнов Е. И. в своих фундаментальных работах высказал мнение, что хотя колхидская и кобанская культуры были тесно связаны друг с другом, отождествление их неверно, т. к. они в достаточной степени отличны друг от друга. Так в кобанской культуре полностью отсутствуют характерные для колхидской культуры бронзовые мотыги, сегментовидные орудия, плоские топоры и др. в силу того, что в Кобани занимались главным образом скотоводством, а в Колхиде — земледелием. Венгерский археолог Ласло Ференци считал, что вопреки многим родственным чертам колхидская и кобанская культуры не являются тождественными.

Другой венгерский археолог, Дьюла Газдапустай, не отожествляя колхидскую и кобанскую культуры, в самой кобанской культуре находит значительные различия в пределах северного и южного склонов Большого Кавказа. За последнее время создан ряд фундаментальных трудов, посвященных древней истории и культуре Кавказа. Наиболее значительными из них являются исследования Е. И. Крупнова и осетинского археолога Б. В. Техова. Авторы считают, что в целом кобанская культура сложилась на основе местной (горной) культуры, но в области металлообработки кобанская культура испытала сильное воздействие западногрузинских металлургических очагов — отсюда шла основная масса металла и типы изделий.

«Роль горной области Центрального Кавказа была, — пишет Б. В. Техов — в качестве вторичного центра, базировавшегося, быть может, на местной руде, но питаемого с юга» (30, стр. 188). «Конечно, — продолжает автор, — между колхидской и кобанской культурами прослеживается удивительное сходство, однако между ними много и отличительных черт, и нам кажется, что на территории Центрального Кавказа (на северном и южном склонах) была распространена однородная, в основном, материальная культура. Но эта однородность вовсе не свидетельствует об этнической однородности. Здесь различаются два основных варианта: северо-кавказский и южно-кавказский. При этом, южно-кавказский был основным производственным центром, т. к. именно здесь выявлены остатки древних металлоплавильных печей, штолен и шахт, а также формы для отливки бронзовых топоров и др., чего нет в пределах северо-кавказского варианта. В южно-кавказском варианте выделяются несколько очагов металлургического производства — в ущельях рек Ингури, Супсы, Риони,

Квирилы, Лиахви и др. Особенно отличались районы Рача и Лечхуми» (30, стр. 192). И далее Б. В. Техов указывает, что «есть много данных о том, что позднебронзовая культура конца II тысячелетия до н. э. распространялась с южных склонов Большого Кавказа на северные, где создавались периферийные центры, один из которых и был в районе села Верхний Кобан (давший название всей культуре, т. к. был раскопан здесь). Основные же центры культуры находились на южном склоне в районе Рача-Лечхуми-Имерети. Создателями этой культуры, на наш взгляд, — продолжает Б. В. Техов — «были иберо-кавказские племена картвельской этнической группы» (30, стр. 214).

Таким образом, приведенные данные однозначно свидетельствуют, что северо-кавказский очаг кобанской культуры развивался под влиянием южнокавказского металлургического очага и что носители последнего были племена картвельской этнической группы.

Таковы в общих чертах основные этапы этногенеза осетин (иронов), установления территории, в пределах которой протекали рассматриваемые этногенетические процессы, и выявления истоков их самобытной культуры с древнейших времен до XVIII в. по материалам русских (дореволюционных и советских), зарубежных и осетинских историков, которые хотя и составляют небольшую часть всего имеющегося по рассматриваемым вопросам исторического материала, но достаточно четко свидетельствуют о беспочвенности притязаний осетинских националистических группировок на территориальную целостность Республики Грузия с целью дестабилизации и срыва демократических процессов.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Абаев В. Д. Эконом. развитие Юго-Осетии. Сталинири (ныне Цхинвали), 1956.

2. Абаев В. И. Осетинский язык и фольклор. М. 1949.

3. Алексеев В. П. Происхождение народов Кавказа. М., 1974.

4. Алексеев В. П., Бромлей Ю. В. Переселение народов и формирование новых этнических общностей. СЭ., 1968, № 2.

5. Белокуров С. А. Сношения России с Кавказом. М., 1889.

6. Ванеев З. Н. К вопросу о времени заселения Юго-Осетии. ИЮОНИИ, 1936.

7. Ванеев З. Н. К этногенезу осетинского народа. ИЮОНИИ, 1964, т. XIII.

8. Вахушти-царевич. География Грузии. Тифлис, 1904.

9. Виноградов В. Б., Рунич А. П., Михайлов Н. Н. Новое в Кобанской культуре Центрального Предкавказья. Грозный, 1976.

10. Гаглойти Ю. С. Аланы и вопросы этногенеза осетин. Тбилиси, 1966.

11. Калоев Б. А. Осетины. М., 1971.

12. Калоев Б. А. М. М. Ковалевский и его исследования горских народов Кавказа. М., 1979.

13. Ковалевская В. Б. Кавказ и аланы. М,, 1984.

14. Крупнов Е. И. О Кобанской культуре. МИА, 1951.

15. Крупнов Е. И. Древняя история Северного Кавказа. М., 1980.

16. Крупнов Е. И. Кавказ в древней истории нашей страны. М., 1967.

17. Крупнов Е. И. Проблема происхождения осетин по археологическим данным. Сб. Происхождение осетинского народа. Орджоникидзе, 1967.

18. Кузнецов В. А. Аланские племена Сев. Кавказа. М., 1962.

19. Кузнецов В. А. Алания в X—XIII вв. (МИА, № 106). Орджоникидзе, 1972.

20. Куфтин Б. А. К вопросу о древнейших корнях грузинской культуры на Кавказе. ВГМГ, т. XIII, Тбилиси, 1944.

21. Куссаева С. С. Археологические памятники Восточной Осетии. Л., 1953; (Автореф. канд. диссерт.).

22. Миллер В. Ф. В горах Осетии. РМ, 1991, № 9.

23. Народы Кавказа. Т. II. М., 1962.

24. Памятники народного творчества Юго-Осетии. Т. III, Цхинвали, 1970.

25. Пфаф В. Б. Этнологическое исследование об осетинах. ССК, 1972.

26. Пчелина Е. Г. Археологические данные по Юго-Осетии. Сб. С. Юго-Осетия, Тифлис, 1924.

27. Скитский Б. В. Очерки по истории осетинского народа с древнейших времен до 1967. ИСОНИИ., 1947.

28. Смирнов А. П. Скифы. М., 1966.

29. Техов Б. В. Центральный Кавказ в XVI—X вв. до н. э. М., 1977.

30. Чурсин Г. Ф. Очерки по этнологии Кавказа. Тифлис, 1913.

31. Чурсин Г. Ф. Осетины (этнограф. очерки) ТЗНА, 1925.

32. История Осетии: в документах и материалах с др. времен до конца XVIII в. Цхинвали, 1962.

Циала АРДАШЕЛИА

„Солнце мне мать...“

С древнейших времен у грузинских женщин было множество апологетов как на родине, так и за ее пределами. Иностранные путешественники и историки, монахи-миссионеры и научные исследователи, поэты и писатели отмечали ум и красоту грузинских женщин, ее самоотверженную любовь к отчизне и своему народу.

Современные археологические и исторические исследования удостоверяют, что для грузин как древнего земледельческого народа было характерно поклонение светилам, а верховное божество — творец мира — считалось женщиной: великая мать, богиня небес (Диа-верховная, она же — Великая Нана) была покровительницей и защитницей всего народа. Вероятно, отсюда берет истоки то величайшее уважение и поклонение матери, которое нашло свое отражение в поэзии, легендах и сказаниях, песнях и танцах, в народных традициях.

Великая Нана постепенно перевоплощалась в Солнце и стала верховным божеством колхо-иберов.

Поклонение женщине, то есть Солнцу, божеству небес, глубоко укоренилось в национальном сознании. Даже время оказалось бессильно перед ним. Подтверждение этому — прекрасная легенда, сохранившаяся до наших дней, согласно которой Грузия находится под покровительством Мзе-Мариам-Богоматери — Солнце-Марии-Богоматери. По преданию, в Грузии еще в I веке проповедовал христианство Андрей Первозванный, но просветительницей народа и страны грузины все же признали женщину — Святую Нино. Вероятно, это не случайно. И хотя на протяжении веков ортодоксальная церковь принижала роль женщины в жизни колхо-иберов, в отличие от семитской и индоевропейской рас, женщина-мать играла большую, а часто и решающую роль. Культ женщины в Грузии опирается на единую, цельную концепцию, и берет свое начало с древнейших мифологически-религиозных представлений грузинского народа, его нравов и обычаев, из глубокой древности дошедших до нас.

...Солнцу поклонялись многие народы, но лишь у некоторых оно почиталось как мать-богиня. В их число входили и грузины. Великая Нана перевоплотилась в Солнце, которое олицетворяло для нашего народа женщину. Психика колхоиберов, их духовный строй, как видно, не мог отказаться от Великой Наны, которая почиталась источником добра, любви, жизни и красоты.

«Славься величие твое небесное», — пели величественному светилу.

«Солнце, великая матерь наша, красавица наша Нана, благослови нас, согрей и окутай нас твоим светлым лучистым сиянием, — горячо молили женское божество, — просим, всходи скорее. Не прячься за горы. Скорей накрой нас своими золотыми лучами. Скорей, не то кровь без тебя стынет в жилах, скорей помоги нам жаром своих ясных лучей; окажи нам свое покровительство, наша неустанная Великая Нана, чтобы вечно хранил и оберегал нас твой образ, твоя неоценимая и неизмеримая милость и доброта.

Наши красивые девушки—твои крестницы... Наши Мзекала, Мзия, Мзисахар, Мзевинар, Иатамзе, Пиримзе, твои золотоволосые и ясноликие преемницы молятся на тебя».

«Солнце внутри и солнце снаружи, солнце, войди к нам в дом», — пела ребенку грузинская мать и молила войти божество в свой дом, просила поселиться в душе младенца. — Приди, солнце (солнечный день), ясноглазое солнце!»

Солнце стояло во главе грузинского языческого пантеона. Грузины-горцы поклонялись солнцу как божеству еще в начале XX века.

Поклонение солнцу оставило свой след в грузинском быту, нравах и обычаях. Главная опора крестьянского дома — столб — являлся в то же время и культовым сооружением. Столб проходил через центр комнаты — древо жизни, на верху которого были изображены расходящиеся кругами полосы. Это был грузинский символ Солнца. На стенах и колоннах наших церквей изображены виноградные гроздья — также один из символов Солнца.

Грузинский крестьянин отжимал виноградную гроздь, пронизанную солнечным теплом, пил этот солнечный напиток, желал здравия своим домашним и соседям, друзьям и близким, гостям и хозяевам, и молил, чтобы солнечное благодеяние не оскудевало, врагам же желал затмения Солнца.

* * *

По мнению большинства ученых, древнегреческое сказание об аргонавтах отразило жизнь и природу нашей страны и «считается одним из иностранных источников по истории Грузии» (А. Урушадзе). Именно в этом древнегреческом сказании впервые проявился во всем своем блеске и величии образ грузинской женщины.

Согласно этому сказанию, волшебница Кирке — сестра Аэта, царя Колхиды — дочь Гелиоса. Она и сама — почитаемая богиня, сладкоречивая, солнцеокая. Кирке владеет островом Аиая, остров же этот — обитель рассвета. Здесь, во дворце Эоса, рожденного на заре, устраивается хоровод: «И солнце оттуда освещает весь мир».

Медея — внучка Солнца, Гелиоса. Она, как и Кирке, волшебница. Медея — по-гречески «Мудрая» — ездит на колеснице, запряженной драконом и, согласно Овидию, сотрясает леса и горы, разметает облака, приручает змей, даже опускает на землю луну. Медею раньше считали богиней, лишь затем она обрела человеческие черты — отмечают исследователи.

Аполлоний Родосский по поводу чар Медеи говорит: оказывается, лишить жизни можно не только нанося раны, но и взглядом. Медея помогла Ясону осуществить невозможное — выполнить все задания Аэта.

Если очистить образ Медеи от мифологических наслоений и символических атрибутов и взглянуть на нее с чисто психологической точки зрения, то можно увидеть, что Еврипид гениально раскрыл внутренний мир колхской женщины, начало и причины ее душевной трагедии, женщины, умеющей любить безгранично и так же безгранично ненавидеть.

Это трагедия женщины, которая предпочла свою любовь всем и всему: отцу и матери, брату и сестре, родному очагу, отечеству и за все эти жертвы получила страшную неблагодарность. Унизили ее чувство, надсмеялись над ее самопожертвованием. Теперь ей остался один-единственный путь — месть. Но месть должна быть жестокой, страшной, безжалостной, чтобы навеки запомнилась не только ее обидчикам, но и всем их близким. Это будет в то же время и наказание за собственную измену своему народу и стране. Еврипид вкладывает в уста женщин Коринфа фразу: «Не дай Бог покинуть свою родину».

Властный характер Медеи, упорство, энергичность, вер-

ность семье и, наконец, внешняя красота, по мнению многих исследователей, напоминают известные всем качества колхской женщины.

Заслуживает внимания одно обстоятельство: исполнение каждого великого подвига греки приписывали обычно воле богов. Только с помощью богов герои достигали успехов. В Колхиде аргонавты достигают своей цели лишь с помощью женщины. Без Медеи они кажутся удивительно беспомощными. Ясон не в силах не только исполнить задания могущественного царя колхов Аэта, но и приблизиться к золотому руну. Путь к победе или же знанию (какой характер носит это знание, что подразумевается конкретно под золотым руном и по сей день является тайной) ему открыла женщина.

Образ Медеи на протяжении веков вдохновлял художников и музыкантов. Он остается вечно молодым и нетленным.

* * *

...Во время похода Помпея в Иберию среди пленных воинов были и иберийские женщины.

Еще Эсхил говорил: «Герои Колхиды — юноши и девушки—в битве храбры и бесстрашны». По словам одного из полководцев Александра Македонского Птолемея, в Колхиде «женщины храбрые, властолюбивые, сильные и сражающиеся».

Местом жительства амазонок в древнем мире считался именно Кавказ. Европейские путешественники и миссионеры отмечали: «Грузинские женщины похожи на амазонок... Не хуже мужчин ездят на лошадях... Упражняются в стрельбе, особенно из лука, и метании копья... Почти все женщины владеют оружием... Ходят вместе с мужчинами на охоту, на руках у них сидят соколы» и т. д. В то же время они признают, что грузинские женщины вынуждены быть воинственными, дабы защитить себя от бесчисленных врагов.

Как известно, в античные века, да и позднее в Греции, права женщины были весьма ограничены как в семье, так и вне ее. Об их участии в управлении государством не могло быть и речи. Демосфен говорил афинянам: «Любовницы у нас для удовольствий, жены — для рождения детей и ухода за домом».

Даже великие философы — Сократ, Платон и Аристотель были весьма нелестного мнения о женщинах. Появление в общественной жизни гетер некоторые исследователи объясняют влиянием Востока. Однако ведь именно на Востоке женщина была существом униженным и угнетенным.

Знаменитая Аспазия была родом из малоазийского горо-

да Милета. Милет был центром тех греческих колоний, которые находились на побережье Малой Азии и Черного моря: «У кого заимствовали гетеры раскованность и смелость, как не от женщины из кавказских колоний, имевших большую свободу и смелость, выступавших на народных празднествах, участвовавших в общественном веселье и пирах, в походах и гражданских делах...» (Дм. Джанашвили. Исторические картины. 2. Грузинские женщины. Гори, 1914 г., стр. 74).

...Женщина хитра, она — пристанище зла — такое мнение бытовало у большинства народов. Прекрасная Елена явилась причиной войны греков с троянцами, а стало быть, и причиной несчастья, разрушений и кровопролития. Древние евреи считали, что Адама соблазнила Ева, став тем самым причиной изгнания его из рая. Магометанин, отдавший своему верблюду половину человеческой души, пожалел для женщины и ее четверти. Блаженный Августин называл женщин «дьявольским сосудом».

Совершенно иной дух царил среди колхов-иберов. Женщина почиталась ими как носительница добра, благочестия, благородного материнского начала. Уважение к грузинской женщине отражается и в наших танцах. Мужчина, как сокол, кружит вокруг женщины, не смея даже коснуться ее рукой. Кружение на цыпочках вокруг женщины, вероятно, является отголоском церемониалов, исполнявшихся мужчинами в честь богинь.

Хотя феодальное правосудие ставило мужчину выше женщины, традиционное уважение к ней было сильнее. Как отмечали иностранцы, «по своим правам, физической красоте и в моральном плане грузинские женщины намного превосходят европейских женщин». При выборе жениха права женщины, конечно, ущемлялись, так как в основном решающими здесь были воля и желание родителей. И тем не менее в грузинском народном поэтическом творчестве сохранился пафос женской непримиримости к этому явлению: «Коли я не захочу, моя семья не сможет насильно выдать меня замуж», — говорится в одном из стихотворений.

Примером уважения к женщине может послужить следующий стих, состоящий из вопросов и ответов: «Кто тебя породил? — Женщина. — Кто тебе улыбнется? — Женщина. — Кто заставляет тебя плакать? — Женщина. — Кто оплачет тебя? — Женщина».

Как говорил Илья Чавчавадзе, у женщины-грузинки помимо трех святейших обязанностей — быть матерью, женой и

сестрой, — есть еще одна — быть человеком, так же, как и мужчина. «Кто не годится как человек, тот не сможет быть ни матерью, ни кем-либо другим...».

В грузинской истории встречается бесчисленное множество примеров, когда женщины по уму и силе духа не уступали мужчинам.

После смерти Картлоса его жена взяла в свои руки правление страной и построила город Бостан (нынешний Рустави). Ей были послушны не только пятеро ее детей, но и весь народ.

Дмитрий Джанашвили в своем исследовании «Грузинские женщины» отмечает, что почти все выдающиеся цари Грузии были обучены грамоте женщинами, под влиянием женщин же формировались их кругозор и политические убеждения.

Царя Фарнаваза воспитали мать и сестры. Они внушили юноше любовь к родной стране.

Георгий Мтацминдели ребенком воспитывался в Самцхе в женском монастыре.

Грузины по сей день помнят заслуги в деле объединения и укрепления государства царицы Гурандухт — матери первого царя объединенной Грузии Баграта III. Благодаря ее энергичному, деятельному уму Баграт III неоднократно брал верх над непокорными феодалами.

Царя Георгия I вырастила сестра отца Гурандухт.

Воспитательницей Георгия III являлась его тетка — дочь Давида Строителя Тамар. Когда Георгий III разбил в Армении мусульманских эмиров, его по возвращении встречали католикос, философы, жена Бурдухан и воспитательница — тетка. Георгий подошел вначале к тетке и поклонился ей, вызвав у нее слезы радости (не случайно Георгий нарек свою единственную дочь, ставшую впоследствии великой царицей, именем Тамар). После поклона тете, гласит летопись, он «с чистой совестью и с мужественным лицом обнял и расцеловал жену».

Дочь Давида Строителя Тамар — тетка Георгия III — была весьма интересной личностью. Она была выдана замуж за Ширван-шаха, мусульманина, но Тамар, как истинно грузинская женщина, не забыла веру, свой народ, родной язык и родину. Она внушила любовь к своему народу сыну Ахсартану. Ахсартан всем своим существом любил Грузию, проливал за нее кровь в борьбе с врагами. Георгий III любил своего двоюродного брата как родного. Ахсартан жил то в Тбилиси, то в своих владениях. Его мать Тамар построила в

Картли Крестовый монастырь «с куполами, великолепный, добротный, с многочисленными пристройками» сообщает «Житие Картли». В этом монастыре после смерти супруга она приняла постриг.

Вторая дочь Давида Строителя Катаи, которая была замужем в Греции за Комненом, навсегда вернулась на родину с мужем и детьми.

Сестра Георгия III Русудан — «бывшая жена султана» — воспитала царицу Тамар и Давида Сослана.

Воспитательницами Георгия Великолепного были жена Беки Джакели — Вахахи, «посланная богом как утешительница народа» и ее дочь Натэли[1] — мать Георгия. Вахахи известна как покровительница и защитница не только своих внуков, но сирот и немощных. В тяжелые для страны времена она пригласила к себе во дворец в качестве наставников общественных деятелей и ученых, епископов и монахов со всей Грузии. И ученики, и учителя жили на ее средства.

Известный грузинский царь Александр I с большим трудом был выращен бабушкой, супругой Куцны Амирэджиби Русой. По словам И. Джавахишвили, «эта замечательная грузинская женщина... проявила удивительные мужество и хватку: в трудное для всех время Руса начала восстанавливать храм Светицховели, разрушенный Тимурленгом... Пример бабушки произвел на юного Александра незгладимое впечатление, и позже, когда Русы не стало и начатое ею дело оставалось незавершенным, он посчитал своей прямой и святой обязанностью довести до конца ее начинание».

Непременным атрибутом приданого грузинской женщины были книги, в первую очередь духовного содержания, затем светского, а также шахматы.

«По какой причине, каким образом — было ли это чудом, волшебством — но маленькая христианская страна сумела остановить нахлынувшие на нее вражеские орды... Этим чудом и волшебством была грузинская женщина. Она и в радости и в горе стояла рядом с мужем и растила для отечества героев», — писал Акакий Церетели. По его мнению, именно женщины в прошлом управляли ходом жизни. Пожертвовать жизнью на благо отечества считалось обычным делом. Женщина в первую очередь растила детей для страны, качая колыбель, она пела про героические дела отцов и дедов, сестра ободряла брата, жена — мужа, мать — сына.

---

[1] Натэли — свет, луч (груз.).

Во времена турецкого нашествия мегрельская мать пела своему сыну колыбельную и так обращалась к нему: «Твой несчастный отец сражается с турками, перед уходом он наказал, чтоб ты последовал за ним. Ты еще мал, но он заметил, что ты не труслив. Твое оружие готово, и конь твой готов, поспеши за отцом, я благословляю тебя. Но, сынок, наказываю и прошу, помни всегда — не показывай спину врагу, даже если их будет сотня. Не забывай, мой дорогой, эту колыбельную, твой родной уголок — Грузию, сладкое материнское молоко, твой дом и очаг».

Пример матери, ее героическая отвага и непоколебимый дух воодушевляли детей. Для грузина понятия родина и мать с незапамятных времен неразрывны. Известны слова из дошедшей до нас клятвы, которую давали древние воины: «Пусть женится на своей матери тот, кто побежит от врага», а пожелание материнскому молоку превратиться в змеиный яд — было самым страшным проклятием.

Культ матери в Грузии утвердился с древнейших времен, вошел в кровь и плоть грузина.

«Мать» знаменует в грузинском языке начало, основу, корень. «Благодарение матери моей, сердцем она оплачет меня», — свято верил грузин; «моя смерть никого, кроме матери, не заставит заплакать», — печалился он. Причиной всяческих несчастий он считал недостаточное уважение к матери: «Мать любит нас, детей, но дети не помнят о своей матери, поэтому жизнь постоянно заставляет нас каяться». Мать не прощала плохих детей, то есть их плохое служение отечеству, так как она воспитывала их, в первую очередь, для отечества: «Хороший сын понравится и нам, а плохой не понравится и матери». В «Житии Картли» повествуется о том, как Баграт IV перед смертью призвал мать, жену и дочь. Его последние слова были обращены к матери, он уносил с собой жалость к матери, остающейся совсем одной. Уважение, почтение и любовь к матери владели сердцем как простого крестьянина, так и царя. Еще совсем недавно у грузинских горцев был обычай поклонения «матери места». Оказавшись ночью в горах без ночлега, охотник обычно доверялся ей: «Матерь места, доверяюсь тебе, храни меня своей милостью». Грузинский народ создал такой шедевр, как поэма о юноше и тигре, в которой мать, потерявшая единственного сына, оплакивая его и скорбя, сочувствует матери убийцы своего сына — тигрице: «она ведь тоже мать».

Илья Чавчавадзе говорил: «...для грузин... мать не толь-

ко родительница. Грузин родной язык называет «дэда эна» (мать-язык), большой город — «дэдакалаки» (мать-город — столица), главный столб своего дома — «дэдабодзи» (мать-столб), большую и крепкую башню — «дэдабурджи» (мать-башня), главную мысль — «дэдаазри» (мать-мысль), даже пахаря — «матерью плуга». В грузинском языке отразилась почетная роль женщины и то особенное место, которое занимала она в жизни народа; взять, к примеру, такие словообразования: кал-важи (девушка и юноша), гого-бичи (девочка и мальчик), дэд-мама (мать и отец), цол-кмари (жена и муж), дадзма (сестра и брат). Это чувство уважения к женщине не только восходящая к матриархату примета, осевшая в языке и нравах, как считают некоторые исследователи. Матриархат был и у других народов, но, насколько известно, мужчину нигде не приравнивали к женщине — дэдакаци (мать-мужчина). В психике народа, на дне его души осела память о начальном божестве богине Нане, и в этом, вероятно, разъяснение феномена этого выражения.

Тот факт, что грузинская женщина занимала в жизни положение, равное с положением мужчины, была хранительницей очага и душой семьи, строго стояла на страже нравственности, во многом обусловил удивительную жизнеспособность грузинского народа, его выносливость в борьбе с бесчисленными врагами.

Грузинские женщины были не только прекрасными матерями, женами и воспитательницами, они героически сражались плечом к плечу с мужчинами.

Среди женщин Грузии были и писатели, и дипломаты, ораторы и меценаты литературы, искусные каллиграфы-переписчицы, художницы-оформители, создатели книгохранилищ.

Мариам Дадиани обессмертила свое имя, переписав «Житие Картли». Во время всеобщего падения нравов царица Мариам предстает как «солнцеликая, полная прелести и благочестия женщина, обладающая качествами, которыми после царицы Тамар не обладал никто».

В XI веке дочь Баграта IV, царица Византии Мариам (прибл. 1065 г.) дала записать неизвестному нам переписчику на пергаменте жизнь Григола-проповедника. По ее приказу страницы книги были художественно оформлены, названия выписаны позолоченными буквами, начальные буквы выделены цветным письмом.

По свидетельству современников, красота царицы Мариам поражала всех. О красоте грузинских женщин вообще

сказано немало, именно она вдохновила грузинских живописцев на создание прекрасных фресок. С этих фресок глядят девушки неописуемой красоты: лик Кинцвисского ангела и сегодня вызывает чувство восхищения и благоговения.

Тысячелетиями шлифовалась возвышенная, непорочная красота грузинки. «Здесь и красота переходит из поколения в поколение», — отмечает азербайджанский поэт Вагиф.

По мнению немецкого искусствоведа Винкельмана «и сегодня существуют народы, для которых красота не считается преимуществом, потому что у них все красивы; все путешественники в один голос говорят о грузинках».

Немецкий поэт, ученый и переводчик первой половины XIX века Фридрих Боденштедт, как бы делая резюме, заключает: «Грузины, безусловно, один из красивейших народов, проживающих на земле. Такая красота — удел народа, стоящего на высокой ступени культуры».

* * *

Грузия — единственная страна, в которой появился и утвердился крест из веток лозы, перевязанных волосами девственницы, и единственная страна, согласно легенде, доставшаяся в удел Богоматери и хранимая ею.

По преданию, Богоматерь, явившаяся Святой Нино во сне, сорвала виноградную ветвь, сделала из нее крест, дала Нино и приказала ей отправиться в Грузию.

«Как я смогу это сделать? Ведь я недостойная и необразованная девушка», — смутилась Нино, но Богоматерь успокоила ее: «Мужественно иди и бесстрашно проповедуй народу истину... Этим крестом ты преодолеешь все дьявольские козни и будешь проповедовать, и будет он тебе помощником и не покинет тебя».

Проснувшись, Нино окропила крест слезами радости, затем отрезала свою косу и перевязала ею ветви лозы.

И вот, шестнадцатилетняя каппадокийская девушка, благословленная своим дядей, патриархом Иерусалима, отправляется в Иберию...

Согласно житию Святой Нино, царь Грузии Мириан поначалу не препятствовал проповедям Св. Нино и ее учеников, так как «эта женщина, как... орлица, которая взлетает выше орла», была прислана Господом, чтобы изменить все порядки этой жизни. Сначала она сокрушила идолов своими молитвами. Затем поселилась в царском саду вместе со служанкой и скоро стала известна как искусная врачевательница.

В продолжение шести лет Св. Нино жила в своей хижине, в царском саду. Этот сад был дорог ей, так как еще в Иерусалиме она слышала, что здесь, в винограднике, захоронена риза Господня.

Неизвестно, приобщился бы Мириан к новой религии, если бы не заболела царица Нана. Никто не мог ее излечить. Царицу известили, что «римская пленница» — искусная врачевательница. Царица приказала слугам привести Нино, но та отказалась пойти туда, где нет «моего Бога», но пожелала, чтобы царицу привезли к ней, которая «воистину исцелится силой Христа». Царицу на носилках принесли к Нино. Нино излечила царицу Нану, и та уверовала в Христа. Она сблизилась с Нино. Училась у нее христианской вере, сама же Нино никому не говорила кто она и откуда, «называла себя пленницей».

Святая Нино посетила Эрцо-Тианэти, Жгалети, Кварели, Кацерети, перешла в Квелдаба, проповедуя повсюду божественное учение. Окрестила кахетинскую царицу Суджи. Будучи в Кахети, Нино заболела и умерла. Похоронили ее в местечке Бедини (сегодняшнее Бодбе).

Соратницами Святой Нино, ее ученицами являлись женщины. (Известно, что у посланника Андриа была в Грузии единомышленница и помощница — жена знатного человека из Самцхе — Самдзивари). С помощью женщин, особенно царицы Наны, Святая Нино смогла преодолеть противостояние язычников-мужчин и внести в народ новую веру (примечательно, что жизнеописание Св. Нино приписывают женщинам: Пирожаври Сивниэли и Саломе Уджармели — возможно, писательницам того времени).

Из жизни проповедников известно, что все они приняли мученическую смерть. По преданию, сподвижниц Нино — Рипсиме и Гаянэ царь Армении Трдат предал мученической смерти. Нино чудесным образом избежала смерти и дошла до Картли, где блестяще исполнила свою великую обращенческую миссию.

«Нет некрещеных, нет язычества, нет рабства, нет разницы между мужчиной и женщиной, так как все вы — от Иисуса Христа». Это учение весьма согласовывалось с психикой колхо-иберов, уважение же к женщине было особенно близко их душе, так как отражало внутреннюю веру народа, коренившуюся на поклонении Великой Нане и Солнцу, его стремление к добру и красоте, к состраданию и терпимости.

Примечательно, что, согласно грузинской традиции, Ни-

но обратила народ в христианство крестом из виноградной лозы: виноградная лоза считалась в древней Грузии божественным растением, волосы же, по древнему преданию, являлись символом солнечных лучей. По мнению Р. Сирадзе, крест, перевязанный волосами, указывает на единство солнца и лозы. и хотя христианство не признавало поклонения ни солнцу, ни лозе, грузины не могли от него отказаться.

Грузия — единственная страна, обращенная в христианство женщиной. Образ нежной девушки с крестом в руках в сознании народа постепенно перерастает в образ Богоматери. Богоматерь покровительствовала грузинским монахам, именно к ней обращали они свои молитвы, прося заступничества перед Богом. В честь Богоматери в Грузии воздвигнуто множество церквей. Ни у одного народа нет обычая заканчивать застолье тостом в честь Пречистой Девы. Интересно и то, что грузинские гимнографы, повествуя об эпизоде с запретным плодом, виновным выводят Адама. Вероятно, это объясняется тем, что почти всю нашу гимнографию пронизывает хвала женщине — Богоматери Марии, подразумевающая реабилитацию Евы.

Согласно грузинскому фольклору, основателем мира признана Богоматерь:

Святая Богоматерь
возжелала создать мир,
Небесам дала облака для дождя,
Земле — траву, чтоб росла из нее.

В те времена, когда грузинский язык в Грузии был, мягко говоря, в загоне, духовный отец грузинского народа Илья Чавчавадзе обратился именно к Богоматери:

О Матерь Божия! Отчизна — твой удел...
Заступницею будь истерзанного края!
Прими, как жертву, кровь, которую картвел
Столь щедро проливал, в страданьях погибая.

(Илья Чавчавадзе. «Видение».
Пер. И. Заболоцкого).

МОЙ ИРАКЛИЙ... НЕТ, НАШ ИРАКЛИЙ!

Почему наш, а не только мой, мы, наверное, увидим ниже, в дальнейших моих строках. Порой говорят, что искренность — в общем-то глупость. По-своему и, если хочешь, с практической точки зрения, разделяющие это мнение, видимо, правы. Но ты поэт и прекрасно знаешь, что слово, лишенное предельной искренности, ничего общего с поэзией не имеет. Мне думается, быть предельно искренним поэту необходимо так же, как и обладать даром вдохновения. Полагаю, искренность не должна почитаться большим грехом и для не поэта. Что поделаешь, если она подчас не всегда выгодна...

Правда, по моему глубокому убеждению, самая большая награда творцу — не выражение благодарности и не оценка его заслуг, а ясность и чистота, царящие в его душе. Но... мы все люди, и нам, и старым и молодым, приятно, когда нас оценивают по заслугам.

Недавно, читая подаренное тобою «Приближение», я мысленным взором проследил твой путь в поэзии, в жизни страны; путь мужественного человека, и мне очень захотелось сказать тебе несколько слов. Решил было позвонить, но вспомнил, сколько горьких слов мне довелось услышать по телефону. К тому же изреченное слово исчезает, теряет свой аромат, и я принялся за статью о тебе. Но тут же засомневался, какое значение будет иметь мой голос в громком многоголосии нашей бурной сегодняшней жизни. Потом мы встретились в юдоли печали, и я рассказал тебе о своих сомнениях. Ты убедил меня, что я был неправ. И вот я тебе пишу. Исполнись терпения!

Болью земли моей
Я поддерживаю в себе здоровье и жизнь.
От этой боли
Я и умру, —

утверждаешь ты. Прекрасная поэтическая мысль! В единстве противоположности боли и здоровья содержится подлинная поэтическая энергия. По строю она близка простейшему и глубочайшему высказыванию Важа Пшавела: «... и отдаюсь прямым раздумьям о движении мира вспять». По смыслу ближе к сказанному Ильей Чавчавадзе: «Боль народа пусть станет моей болью, пусть ею страждет моя душа». И все же — это свежее и своеобразное высказывание. А всякая своеобразная мысль или чувство несут в себе своеобразный заряд. И все же приближение к великим предкам для тебя не случайно.

Думаю, это такое прекрасное высказывание осталось бы декларативной фразой, если бы ты так не раскрыл свою боль в цикле палестинских стихов, и в своем проникновенном докладе, в частности, его поразительном выводе: вернем человеку веру!

Возможно, такое говорилось бесчисленное количество раз. Но, видимо, взрывная сила поэтического слова и его объемность зависят от того, при каких обстоятельствах и как оно изречено.

Ты знаешь, как я люблю твою пронизанную болью поэзию. Но этим своим выводом ты поднял ее как бы на новую высоту. Я по-своему воспринимаю раскрывающиеся в ней просторы. Мне кажется, ты очень смело выразил едва ли не главную боль нашего времени. Вряд ли кто-либо мог исторгнуть сегодня стон более глубокий и печальный. Весь ужас не столько в том, что кто-то, что-то или общая атмосфера (хотя бы тот же подъем науки и техники) учат людей безверию и недоверию к людям, сколько в том, что сам человек привыкает не доверять себе, утрачивает веру и предстает жалким рабом перед грандиозностью явлений. Нет сомнения, что человек без веры и нравственных идеалов превращается в скота. Ему, естественно, не понять, что «идущая с небес краса светла», он смотрит на мир глазами потребителя, не верит ни в Бога, ни в черта. Такому человеку все дозволено, и если он не режет глотки десяткам людей каждую ночь, то не потому, что проникнут божественной добродетелью, а потому, что бессилен, и к тому же скован законами. Я думаю, ты великолепно знаешь, что в человеке соседствуют скотское и божественное. К примеру, каким бы вульгарным я ни показался, должен сказать, что прекрасная женщина, нежно пощипывающая жареного цыпленка, как потребитель, ничем не отличается от питона, заглатывающего задушенного тигра.

У человека два пути: или к скотине, или к Богу. К Богу

ведет только вера. Скотина безлична. Высший смысл жизни человека начинается там, где начинается личность!

Видишь, куда мы уклонились! Истинной поэзии свойственно уводить очень далеко...

Вернуть человеку веру — я понимаю это так: вернуть ему осознание своей личности, вернуть родину, вернуть сказку, вернуть чувство бессмертия! Человек не должен приносить себя в жертву вещам, вещизм не должен владеть его душой.

Мне не чужды поиски смысла жизни, который ты видишь в желании узреть Бога. Иному, якобы идейному человеку, на деле же просто потребителю, Бог, верно, представляется бородатым старцем, и он бежит от него, как черт от ладана.

Ираклий! Оправдалось одно из опасений твоего «Приближения», всего лишь одно. Это — «избыток мысли». Ну и что? Если из-за этого твои строки не лишились ни «света», ни «аромата полей», ни «влажной мягкости свежей травы» — это счастье, а не повод для сожалений. Ты уже сформировался как думающий поэт. Здесь нет надобности, да я и не намерен разбирать и оценивать твою поэзию. Думаю, такой случай мне еще представится.

Ты, что и говорить, открыл значительную главу в истории духовной жизни Грузии. Я имею в виду не только твою поэзию и твой умный доклад о Руставели, но и все твои заботы по проведению руставелевских дней...

Сгоряча я хотел начать это свое письмо несколько переделанными мною словами Акакия Церетели: если Грузии суждено бессмертие, то и твоя поэзия, и твои заслуги будут вечны... Но если грузинское небо и грузинский язык исчезнут, то бесследно исчезнет и сам Руставели, будь он даже переведен на тысячи языков. Ты ведь видел, как гибнет упавшее дерево с вывороченными наружу корнями? Я думаю, твой призыв должен звучать так: вернем человеку веру в его душу, веру в бессмертие его языка!

Мы можем надеяться лишь на ваятелей души народа, создателей национальных ценностей. История смотрит на нас холодными глазами. Ничто не спасет нас, если наши души не обогатятся новыми ценностями, а уже существующие мы не сумеем защитить. Я думаю, ты это понимаешь лучше других. Ты ведь не только поэт, но и крупный национальный деятель. Это нелегкая ноша в наше время. Бог тебе в помощь. Хочу поблагодарить тебя и знаю, что в этом своем желании я не одинок. Лишь зависть, месть, злоба или чувство обиды могут не присоединиться к этой благодарности.

Лаврсий КАЛАНДАДЗЕ

Гарри КУНЦЕВ

ЖИЛ-БЫЛ ПАРАДЖАНОВ...

РАССКАЗ ОЧЕВИДЦА

Говорят, что Параджанова уже нет, что он когда-то умер... Может, в это кто-то и верит, но не я. Он уже умирал. Столько раз! И всерьез.

А однажды, очередной раз выйдя из тюрьмы, даже устроил себе грандиозные похороны. С панихидой, с речами о себе, с траурным шествием по улицам, с поминками, на которых были все друзья и недруги, недруги и друзья, которых он не отличал друг от друга, и тех и других одаривая одинаковыми порциями неизбывной доброты.

На катафалке был укреплен его портрет в траурной рамке. Он шел рядом, скорбно сложив руки на груди. И на вопрос встречных: «Кого хоронят?», со спокойным достоинством отвечал: «Сергея Параджанова...»

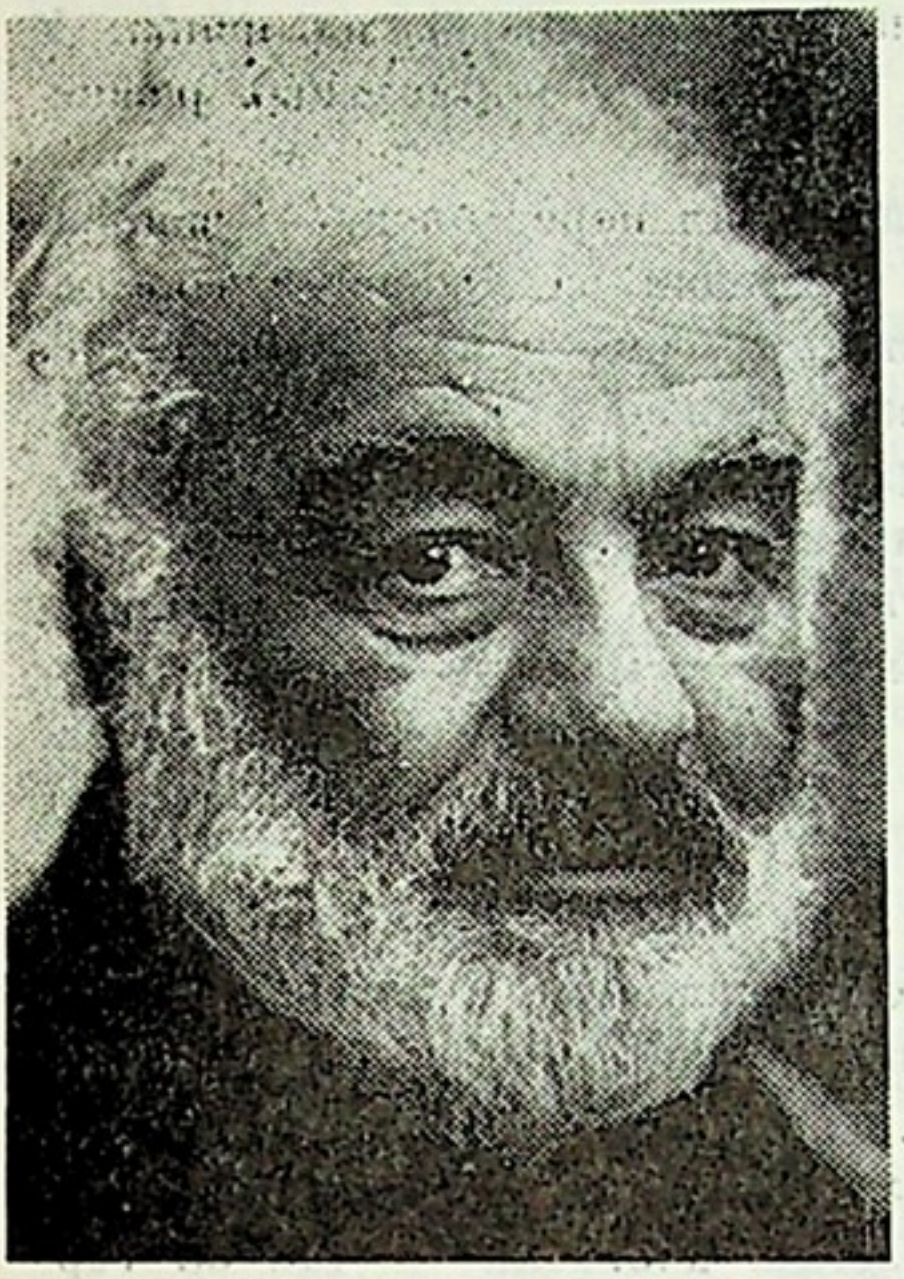
И встречные покачивали головой, поверив...

Ведь незадолго до того в газетах и впрямь промелькнуло сообщение, что «кинорежиссер Сергей Параджанов скоропостижно скончался» на таком-то году своей такой непонятной, несерьезной, нестандартной жизни, которой нормальному гражданину жить не рекомендовалось...

Он часто со смехом показывал мне фотографии тех похорон. Он часто смеялся, говоря о смерти. В открытую звал ее и в свою жизнь. В свой неугасимый карнавал, которым дирижировал так неистово! И не хочу верить, что сквозь звон и грохот этого карнавала Она все же расслышала его зов.

Для меня параджановский карнавал начался давно, еще в детстве.

...По улицам Телави, сохранившим тепло и уют старины, неспешно бродил невысокий плотный мужчина с острой бородкой, придающей ему облик то ли сказочника, то ли фокусника. Он всматривался в низенькие дома, в узоры висячих балконов, в ковры, которые хозяйки развешивали по перилам



Да, это я, Сержик...

на просушку и от пестрых узоров которых и дома, и улицы становились нарядными и веселыми.

Чаще всего мужчина останавливался возле церкви за мостом.

Запрокинув голову, с грустью смотрел наверх, где оштукатуренная шея церкви с сиротливой оголенностью ежилась от пронзительного ветра, рвущегося с Кавказиони.

Головы у церкви не было. Кто-то единым махом отсек ее гигантской саблей, и унесла ее куда-то река Алазани...

Мужчина протягивал к седым камням руку, подрагивающими пальцами трогал их, лаская. Заметив меж камнями сухую траву, яростно вырывал ее, чтоб змеиные корни сорняка не разъедали стены.

Я уже знал его имя. Наизусть знал его потрясающий фильм «Тени забытых предков». И ходил за ним по пятам, с удивлением наблюдая, что он все время что-то подбирает с земли. Цветную стекляшку, старую куклу, птичье перо... Я не знал тогда, как многое умеют его руки!

Как умеют они рисовать, писать, шить поразительные шляпы, одевать актера, порхать, взлетая над головой, проигрывая перед актером роль, на секунду падать вниз, умирая, и снова с непостижимой легкостью взлетать, не сдаваясь...

Окончательно фильм рождается на пульте перезаписи, где в кадры вливается звуковая кровь-музыка, шумы, речь. Обычно за пультом рядышком сидят «акушеры» — режиссер, композитор, звукооператор.

Режиссер дает команды где усилить музыку, где усилить тишину, а где все перекрыть речью... Композитор высказывает свое, стараясь, чтоб музыки было побольше... Звукооператор, кроме всего, старается еще и свои идеи протолкнуть.

Процесс, одним словом, нервный, кропотливый, на износ. У Параджанова же все было не так, как у нормальных режиссеров.

Первое, что он делал, войдя в зал перезаписи, — заклеивал все приборы, по которым я следил за уровнями громкости. Когда я пытался было напомнить ему о «правилах технического приличия», он неизменно отвечал: «Вот как раз за нарушение каких-то там дурацких норм мы и получим с тобой Оскара!» После такого заявления с грохотом садился впереди пульта, поднимал обе руки вверх, совсем как дирижер, и добавлял: «Ты только ни о чем не думай, ни в чем не сомневайся, будь уверен в одном — мы с тобой гении и сейчас это докажем! Только следи за моими руками и делай то, что они тебе скажут!»

И — потрясающее дело! Они действительно говорили!.. Кричали... шептали... Удалялись, вливаясь в экран, возвращались ко мне, навертев там полнейший хаос, который затем, при спокойном прослушивании, оказывался сложным сплавом, который раньше мне не удавался и который уже невозможно было снова разложить на составные косточки — так он гармонировал с изображением, которое Параджанов задумал и родил до меня.

Он не любил повторов, репетиций.

Все рождалось здесь от сердца. Он тут же кричал, смеялся и плакал... От радости за красивую нотку падал на колени, целовал руки... Что-то дарил на вечную память за «гениальную работу», за просто так...

Боже, как он любил что-то дарить!.. И как он умел это делать! И обижался, если его подарок не принимали.

Не забуду, как обиделся он на Киру Муратову, когда в Баку, в номере гостиницы, где мы собрались у Параджанова после фестивального просмотра ее фильма, он вдруг положил перед нею богатую меховую накидку, которую ему привезли из Парижа. Накидка Муратовой очень подошла, и Сергей Иосифович, не задумываясь, воскликнул: «Кира! Ты прекрасна! Она твоя!»

Муратова, естественно, не могла принять такой дорогой подарок, Параджанов насупился и потом в Тбилиси много раз вспоминал это и с детской обидой спрашивал: «Почему она не взяла?.. Я ведь от души».

...Параджанов ненавидел декорации.

Он задыхался в их искусственности, в их немоте. Он те-

рялся от их «тупой лживости». Чувствовал себя привязанным к столбу, от которого не оторваться, не улететь.

Съемки фильма «Легенда о Сурамской крепости» подходили к концу, а эпизод «Восточный базар» не получался.

Сергей Иосифович страшно нервничал, материл всех и вся, больше всего доставалось художникам, которые в огромном павильоне старой студии никак не могли построить ему именно тот «караван-сарай», который соответствовал бы его замыслу.

Наконец кое-как что-то засветилось.

Белоснежные стены и балконы «караван-сарая», на которых были развешаны пестрые ковры и персидские платки-калагаи, «разбежавшиеся» по команде режиссера потрясающим хороводом, стали похожи на огромное полотно, принявшее в себя первые сильные брызги сочной краски.

Усевшись в самой середине павильона, хрипя и колотя кулаком по спинке дрожащего стула, который он всегда ставил «задом наперед», Параджанов напоминал полководца в разгаре битвы.

У его ног были разложены серебряные кувшины, всякие украшения, какие-то шитые золотом накидки немыслимой старины, оружие, страусовые перья, кольчуги, шляпы с чалмами, уздечки для всевозможной живности — все подлинное, все какое-то уникальное и красивое, отобранное когда-то и где-то не случайно, с любовью и вкусом.

Все это его, собственное.

Он был богатым полководцем.

И богатством своим распоряжался так, как умел и хотел распоряжаться только он: кони топтали ковры, которые стоили полмиллиона, потому что так нужно было по сценарию... серебряные чаши расплющивались, падая с горы — так виделось режиссеру крушение чьей-то судьбы... кольчуги, которым место в самом капризном музее, раздирались вдрызг, волочась по каменистой пустыне в эпизоде «Война глазами Зураба»... чалма, снятая со святой головы подлинного шаха в подлинном персидском государстве, щедро обливается краской — «кровью», потому что так нужно фильму «Ашик-Кериб», красивейшему фильму, виденному мною когда-либо...

И когда в просмотровом зале кто-то не выдерживал и громко вздыхал, восхищаясь всем этим великолепием. Параджанов хитровато усмехался и шептал мне на ухо: «Ну и дурачье!.. Думают, что это настоящее богатство!..»

Я понимал, что он имел в виду.

Для него настоящим богатством была Свобода... Вот уж она принадлежала только ему.

Это сейчас все запоем кричат о свободе. Он не кричал. Он был ее родным сыном.

Глаза Сергея Иосифовича всегда поражали меня удивительным несоответствием: в самые разухабистые моменты параджановского карнавала, когда хохот заставлял всех хвататься за животы, когда очередной праздник параджановского остроумия достигал апогея и всем вокруг казалось, что они действительно гении, и жизнь и впрямь бесконечно красива, взгляд Сергея Иосифовича становился особенно печально-мудрым, перевернутым куда-то вглубь, где жила своей, такой непонятной для хохочущих жизнью беззащитно-трепетная душа, которую он с детской наивностью пытался оградить от колючих проволок и шершавых языков целым арсеналом карнавальных масок. Посмотрите повнимательнее на все его фото в бесчисленных альбомах — при общении он умел обмануть любого своим весельем, а вот фото беспощадно выдает его настоящую суть.

В его маленькой, ободранной комнате находилось все самое любимое. На стенах—рисунки, сделанные в тюрьме, на подставках — нежнейшие шляпы, созданные в моменты вдохновения и названные все вместе «Памятью о несыгранных ролях Нато», тей самой легендарной Нато Вачнадзе, навсегда оставшейся символом красоты грузинской женщины. В углу— манекен в полный рост. Мужчина, похожий на самого Параджанова, держит на руках погибшего юношу. Юноша тот — Тарковский. Перед Андреем Тарковским Параджанов преклонялся без всяких масок. Ему и посвятил он свой последний фильм «Ашик-Кериб»...

В середине комнатки — широкий стол, поверхность которого украшена мозаикой из лоскутков, которую склеил Параджанов.

Стол никогда не покрывался скатерью. Параджанову претила церемонность. Стол лишь однажды я видел покрытым большим, во всю длину, зеркалом, тело которого было сморщено глубокими трещинами.

Приехал Тонино Гуэрра, по сценариям которого снимали свои фильмы Антониони, Пазолини, Феллини. Ему сделали в Москве операцию, и в Тбилиси он приехал отдохнуть. И естественно, пришел к Сергею Иосифовичу, к «Сержику» — как его называли близкие.

К его приходу Параджанов и покрыл стол разбитым зер-

калом. А на это покрывало расставил пиалы, устланные изумрудными листьями молодого винограда, и поверх этой свежести щедро наполнил чаши огромной клубникой. Зелень винограда и кровь клубники причудливо преломлялись в трещинах зеркала.

Дом был построен таким образом, что с улицы комнатка находилась на первом этаже, а со двора — на третьем.

Мы любили заходить в нее со двора.

Поджидая гостя, Параджанов разложил на ступеньках лестницы вещи, символизирующие фильмы, которые были сняты по сценариям маэстро Тонино.

На одной ступеньке лежала скрипка со смычком... «Репетиция оркестра»... На другой — фанерка с дымящим пароходом — «Корабль идет»... На третьем еще что-то, из «Амаркорда»....

Мы стояли на балконе, с нетерпением глядя на поворот улицы, откуда должна была появиться машина. «Сержик» почему-то нервничал. То и дело сбегал по лестнице и поправлял на ступеньках «фрагменты» фильмов.

Вдруг возле себя я заметил невысокого, бодренького мужчину, который, очевидно, прошел в комнату с улицы и тоже с любопытством склонился над перилами, наблюдая за действиями хозяина.

«Серж!» — жизнерадостно позвал он и помахал рукой в приветствии.

Параджанов оглянулся.

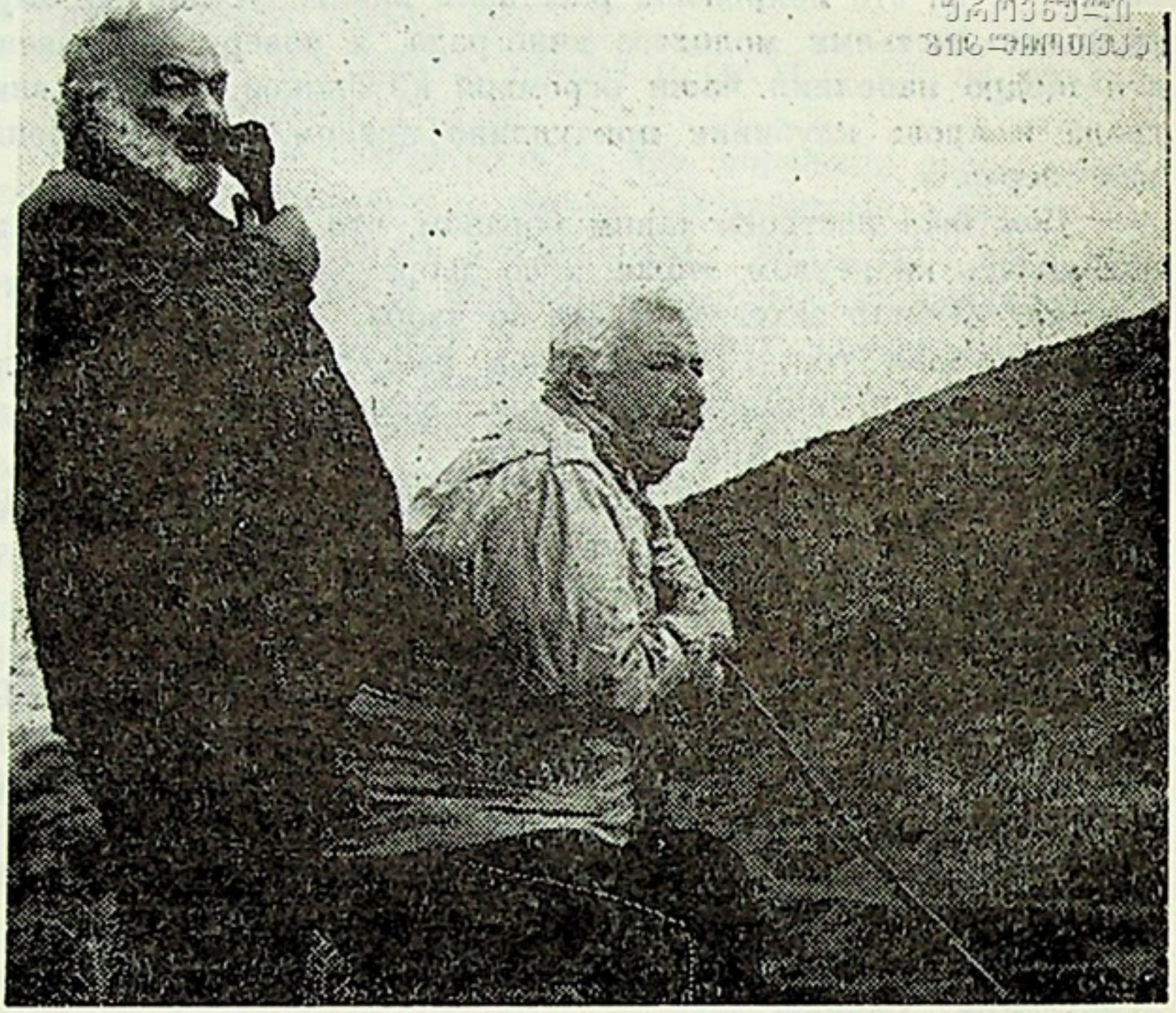
«Тонино!.. — обиженно скривил он губы. — Ну вот, всегда вы так!.. Даже правильно не можете прийти к человеку!.. Ты же отсюда должен был прийти!» — показал он на лестницу и разочарованно отвернулся.

«Момент!» — крикнул гость, сбежал по лестнице к воротам, развернулся и на этот раз вошел во двор так, как было задумано.

«Серж!» — снова воскликнул он и обнял наконец заулыбавшегося Параджанова.

Они стали медленно подниматься по лестнице, перешагивая через «фильмы», и на каждой ступеньке Гуэрра останавливался на миг, словно что-то отсчитывал. А в комнатке долго не садился. Молча смотрел на стол. Затем провел пальцем по трещинам зеркала и понимающе качнул головой: «Жизнь твоя...»

...Нет, не получалась в тот день съемка эпизода «Восточный базар».



Оба ушли! (С. Параджанов и Д. Абашидзе).

Что-то мешало, чего-то не хватало.

— Где верблюды?! — вдруг закричал Параджанов. — Где павлины?!

— Какие еще павлины? — вытаращил глаза Серго Сихарулидзе, его постоянный директор. — Зачем они тебе?

— Пока не приведешь девять верблюдов и четырех павлинов — снимать не буду!

— Где ты видел в Тбилиси верблюдов? — пытается увильнуть от нового задания несчастный директор.

— А где они есть? — спрашивает Параджанов. — В Баку есть?

— Наверное, есть... — пожимает плечами Сихарулидзе.

— Прекрасно! Сегодня же едем в Баку! Там все есть — и верблюды, и павлины, и настоящий караван-сарай!

— Чем тебе плох этот?! — разводит руками директор, стараясь спасти денежки, которые улетели на строительство декорации, уже сплошь усеянной разнаряженной массовкой.

— Это — «караван-сарай»?! — демонически, со слезами

на глазах и в горле хохочет Параджанов. — Вы представляете?! — поворачивается он к нам. — Он принимает меня за дурака! Здесь же ни воздуха, ни неба, здесь нечем дышать!... И он думает, что купит меня за какое-то дерьмо!.. Дудки! Мне нужен настоящий камень и настоящие верблюды!.. И женщина должна быть... рабыня!

— Настоящая? — удрученно переспрашивает директор, уже прикидывая в уме, во сколько обойдется ему нечаянная командировка в Баку.

— Не знаю! — бурлит Параджанов. — Какую хочешь доставай! А здесь, в этой туфте... — он бьет кулаком по декорации, — я снимать не буду!

Директор хочет еще что-то сказать, но вдруг происходит нечто ужасное. Словно в подтверждение слов Параджанова декорация вместе с коврами и массовкой разваливается у всех на глазах. Люди с огромной высоты летят на пол, груда пыли заволакивает все вокруг, а Параджанов застывает с выпученными глазами. Мы стоим рядом и слышу дрожащее:

— Боже!.. Опять мне... в зону?! Не надо!.. Не надо...

Бог услышал его мольбу. Никто не пострадал, ни царапинки ни у кого.

Вечером следующего дня группа отправляется в Баку.

Там, у Девичьей башни, настоящий караван-сарай, с ог-

Стой! Снято!..

ромным небом вместо душной крыши, из настоящих вековых камней. И режиссер оказался прав — на их фоне исполнитель главной роли Додо Абашидзе, крупный, величавый, смотрелся гораздо эффектнее, чем на фоне белой фанеры.

Додо Абашидзе, замечательный актер и человек, был сопостановщиком Параджанова на обоих фильмах. И на «Легенде о Сурамской крепости», и на «Ашик-Керибе». Честно говоря, он совершенно не вмешивался в творческую сторону съемок. Параджанов не разрешал это никому. Абашидзе отвечал за дисциплину в группе. Ему доверили самое трудное, наверное, за его громовой голос. Но так уж случилось, что когда Параджанов приступил к работе над «Ашик-Керибом», Додо уже был неизлечимо болен и ни на одной съемке побывать не смог. Однако Параджанов упрямо говорил везде, что Абашидзе — «полнокровный» соавтор, и когда выплатили гонорар, Параджанов, не разделив его, как положено, на равные части, полностью отнес гонорар больному другу.

Но это мы узнали не от Сергея Иосифовича. Он никогда не рекламировал свою щедрость.

Лишь однажды он с детской гордостью показал мне квитанцию, которая гласила, что Параджанов перечислил немалую сумму в фонд помощи аджарцам, пострадавшим от стихийного бедствия. Деньги, полученные на международном кинофестивале в качестве приза.

«Умейте делать праздник! — часто кричал нам Параджанов. — Не ждите, пока это сделает другой...» Он из всего умел делать праздник. Лишь бы кто-то был рядом. Он страшно боялся одиночества.

Он был убежден, что люди умирают не от болезней. От одиночества. Даже самые выносливые.

Одиночество не значило, что ты «один». Одиночество — это когда ты один среди многих, когда многие вместе, а ты почему-то не можешь быть с ними, или наборот — они, многие, не могут быть с тобой. Это и есть смерть...

У него был сценарий. Написал в зоне. И подарил Феллини

Не знаю, так ли это, во всяком случае он так говорил.

В сценарии рассказывалось о случае, который произошел на глазах Параджанова.

В зоне, как и положено, был пахан, самый сильный, самый жестокий, которого боялись все, и свои, и чужие, у которого не было ничего святого за душой.

Его портрет Параджанов показывал на всех выставках. Типичный убийца—тупая, квадратная морда, короткий «ежик»

над узким лбом и... странно — живые глаза, в которых жестокая сила была упрятана чуть-чуть в сторонку. Рука Параджанова как бы сдвинула ее с первого плана.

Пахан вдруг заболел. Ему срочно понадобилось переливание крови. Кровь оказалась редкой группы. Такая группа была у одного из охранников. Охранник дал согласие, и его кровь спасла пахана. Но когда он выздоровел, вся зона отвернулась от него. Ему не простили, что он принял кровь охранника. И несмотря на то, что болезнь не убавила ни силы, ни жестокости, пахана уже никто не боялся. Его просто не существовало. И он вскоре умер. Просто лег и умер. Его убило одиночество.

Если вечером никто не приходил к Параджанову, он убегал в Оперу.

Весь ее репертуар знал наизусть. Трудно было поверить, глядя на его оплывшую фигуру, что когда-то он сам был профессиональным танцовщиком балета.

Не забуду, каким взволнованным он пришел в монтажную на другое утро после премьеры новой оперы Гии Канчели «Музыка для живых».

Целый день не мог усидеть на месте! То и дело вскакивал, распевал арии без слов, разыгрывал мизансцены. «Сегодня же обязательно сходи! — приказывал он мне в десятый раз, задыхаясь от восторга. — А какой выход под барабанную трель!.. Та-та-та-та!..»

Руки взлетают в такт барабанам, пальцы выделывают невообразимое вибрато, ноги становятся в позицию и... Мария Федоровна Пономаренко, неизменный монтажер всех фильмов Параджанова, приезжающая из Киева по его первому зову, великолепный профессионал и скромнейший человек, устало переспрашивает: «Мы сегодня работать будем?»

— Машенька!.. — не может прийти в себя Параджанов. — Машенька... — с горестным придыханием качает он головой. — Я... я о великом искусстве сейчас говорю, а ты... словно ушат холодной воды! Почему ты любишь меня мучить?!

— Я только спрашиваю — работать будем? — все так же спокойно отвечает Мария Федоровна.

— Нет! — запальчиво кричит на всю монтажную режиссер. — Я не могу работать после таких опер!.. Мне хочется все порвать и начать снимать заново!.. Обязательно сходи сегодня же, и ты поймешь меня! — кричит он мне.

Конечно, я пошел «сегодня же»...

Возл Оперы — столпотворение. О лишнем билете не за-

икнуться, поднимут на смех. Но у меня надежный пароль. Тихо шепчу билетерше: «Я с Параджановым...», и она показывает рукой куда-то вглубь, где я могу его найти.

Он стоит в партере, мнет в ладонях платок. Волнуется так, словно это его премьера.

Завидя меня, нервно показывает на свободное кресло, улыбается в радостном предвкушении нового праздника.

Он так и не присел на протяжении всего спектакля. Не знаю, что это было. То ли стоя полнее впитывал и переваривал в себе музыку, то ли ему хотелось лучше рассмотреть лица людей в зале. Он все время переводил взгляд со сцены на зрителей, словно подготавливал их к очередному сюрпризу: «А что сейчас буде-е-ет!..»

И когда зазвучали овации, стоял такой счастливый, будто смог одарить всех сразу самым дорогим, что у него было...

Опера шла часто, и Сергей Иосифович не пропустил ни одного представления. Ради этого откладывал все — и монтаж, и..озвучание, и приучил всех к мысли, что, когда идет «Музыка для живых», работать он не в силах, что наши вопли о сроках и планах — это очередное насилие над его выпотрошенной душой...

А действительно — сколько может выдержать одна-единственная, такая вот, душа!.. Душа Сирано и Мюнхаузена...

Однажды, достав из альбома фотографию, где Параджанов стоит у изголовья гроба, в котором покоится седая женщина с невероятно худым лицом, он тихо-тихо спросил: «Узнаешь?» Я пожал плечами.

— Лиля Брик... — еще тише произнес Сергей Иосифович и осторожно провел по фото ладонью, снимая пылинку и лаская...

Я с новым интересом вгляделся в фото. Для меня ведь Лиля Брик была очень-очень далекой эпохой. В мозгу замельтешили реденькие, обрывочные сведения об этой женщине, которую любил Маяковский. Как раз незадолго до нашего разговора один из журналов опубликовал обширный материал об их отношениях, там были письма поэта, в которых он раз за разом объяснялся ей в любви, страдал, ревновал.

Но более всего мне понравилось, что поэт был не очень-то грамотным. В его письмах к любимой женщине были ошибки.

— Ну и что? — спокойно взглянул на меня Сергей Иосифович. — Гениям позволительно то, за что остальным н

школах ставят нули... Я тоже неграмотный. Потому и не читаю глупые журналы, которые печатают чужие письма... — он снова погладил пальцем мертвое лицо. — Это была редкая женщина. Она многое сделала для меня... Когда она была в Париже...

Стукнули дверью. Кто-то с привычной бесцеремонностью вошел в комнатку. Параджанов мгновенно захлопнул альбом. И больше никогда не говорил о Лиле Брик. Еще б несколько минут... Проклятая бесцеремонность людей! Сколько чего мы теряем из-за нее...

...Я записывал крик чаек на набережной.

Здесь чайки кричали совсем не так, как, например, в Батуми. Более печально.

Чаек было много, целая туча. Неспокойная, мечущаяся над самой головой сизая туча.

От туч мне всегда становится неуютно. Я даже оглянулся почему-то, передернув плечами от нечаянного озноба.

В двух шагах заметил высокого, сутулого мужчину в потрепанном плаще. Он улыбнулся. Шаркая туфлями, подошел, кивнул на магнитофон.

— Что записываете?

— Чаек... море... ветер.

— А зачем это?

— Для фильма.

— А-а-а, знаю. В караван-сарае что-то снимаете...

— Да.

— А вот это не надо? — мужчина развернул сверток, который держал под мышкой. В газете оказалось несколько тростинок разной длины.

Он стал по одной подносить их к губам и каждая из них запела своим голосом. Он менял их таким образом, что паузы в мелодии не было. Необычные голоса тростинок слились в голос древнего поля.

Пленка кончилась. Я достал новую. Но мужчина, словно очнувшись, так же аккуратно завернул свой инструмент и так же неожиданно, как и появился, исчез.

Не могу простить себе, что не спросил даже его имени.

Из гостиницы вышел Сергей Иосифович. Завидя меня, подошел, поинтересовался, чем это я занимаюсь.

Вместо ответа я включил магнитофон. Заслышав хрипловатые голоса тростинок, Параджанов замер. Не шевельнулся, пока мелодия не оборвалась. Чувствую — понравилось. Рука, лежащая на парапете, мелко подрагивает от волнения.

— Слушай, — спрашивает он, вглядываясь в туман на горизонте. — До Стамбула далеко?

Стамбул совсем в другой стороне, но не хочу его огорчать.

— Да нет... Вон там, за тем туманом...

Стамбул совсем в другой стороне...

Параджанов поддается вперед, почти ложится на парапет, чтоб лучше разглядеть Стамбул, просит:

— Давай еще раз этот мугам...

Поет печальную песнь древнее поле. Вдруг вспомнилось:

— И повторится все, и все довоплотится, и вам приснится все, что видел я во сне... — тихо говорю почти про себя, стараясь уловить ритм мугама. Параджанов расслышал, согласно кивнул. Не поворачиваясь, прищуривает глаза от соленых брызг:

— Стамбул почему-то приснился... Хочется побывать... У меня когда-то невеста оттуда была.

— Откуда? — не поверил я.

— Из Стамбула... — кивнул Параджанов на туман. — У нас училась, во ВГИКе... на актерском. Красивей женщины я не видел больше никогда.

Сергей Иосифович достал из кармана кусок хлеба, размял, протянул ладонь с крошками над парапетом. Чайки увидели, нервно закричали, не решаясь приблизиться.

Но вот одна из них стрелой ринулась к нам, на ходу схватила с ладони свою порцию, ликующе взмыла над робкой стаей. Параджанов проводил ее своим грустным взглядом, покачал головой:

— Чья-то душа... порадовалась.

Взмахнув ладонью, бросил крошки в море.

— Мы должны были пожениться... Но она вдруг исчезла. Я долго искал ее. И нашел... мертвой. Оказалось, что с колыбели она была обвенчана с каким-то турком. Узнав, что она больше не принадлежит ему, он приехал в Москву с братьями и... Ее нашли на рельсах... Я еле опознал...

Он провел опустевшей ладонью по лицу, убирая с бороды морские капельки, медленно пошел вдоль набережной.

— А ты говоришь — сон... — пробурчал он почему-то неласково и тут же добавил. — А может, и сон...

Но я невольно оказался провидцем. Через несколько лет действительно «все довоплотилось» и ему наяву «приснилось все, что видел он во сне» — он побывал в Стамбуле! В том самом, настоящем, где жила когда-то прекрасная невеста, так

и не ставшая ничьей женой... Довоплотилось... Появился Горбачев, и Параджанов наконец стал «выездным». Он увидел мир не в тумане, а живьем, и мир живьем успел увидеть его.

В числе лучших режиссеров он был назван «Режиссером XXI века», а сами лучшие режиссеры назвали его «Маэстро». Ох, как гордился Параджанов этим своим единственным званием! Он помолодел сразу на пятнадцать лет, на все те годы, которые провел в заключении...

В московском Доме кино, на премьере фильма «Этюды о Врубеле», сценарий которого написал Параджанов, было объявлено, что Сергею Иосифовичу присвоено звание заслуженного... Поздно. Он к тому времени уже был в таком состоянии, что вряд ли его сознание восприняло происшедшее. Да и не думаю, чтоб он очень уж обрадовался бы такой «заслуженности» — никогда не гнался за подобными отличиями. Звания считал «подарочком в долг», который потом всю жизнь надо отрабатывать по командам. «А долгов у меня и так хватает...» — бурчал он, когда заходила речь о наградах.

И в самом большом долгу считал себя перед Грузией.

Он всегда и везде повторял, что именно она приласкала и пригрела его в тяжелый период, когда многие бывшие друзья боялись даже заговаривать о нем и с ним. А родной Тбилиси не отвернулся, не забыл о его существовании, как «забыли» те, с кем он когда-то сам делился последним куском.

В Тбилиси он родился. Сюда спешил из всех заграниц, не выдерживая прелестей других столиц более двух дней. Здесь, по его признанию, жили и живут люди, с которыми ему тепло, чьи имена он всегда вспоминал с лаской в голосе. Именно сюда с радостью приезжали дальние друзья, чтоб еще разок пройтись с ним по Руставели, чтоб еще разок побывать на его вечном карнавале...

Плисецкая, Высоцкий, Ахмадулина, Мастрояни... серьезнейшие люди здесь вновь и вновь становились детьми, увлекаемые в нескончаемое детство так и не повзрослевшим Сержиком...

В три часа ночи, распив с ним бутылочку кахетинской чачи, Марчелло Мастрояни с удовольствием побежал с хозяином по кривой, горбатенькой улочке Котэ Месхи на Мтацминда, готовый к самым невообразимым приключениям, и Сергей Иосифович, не теряя времени, остановился у окна ближайшей соседки.

— Эй, Маргуша! — крикнул он на всю улицу, бесцеремонно стуча кулаком в ставню давно задремавшего окна.

— Ну что там опять?! — раздался недовольный сонный голос Маргуши. — Что не спится тебе, Сержик?

— Как можно спать, когда такая красивая ночь над Тбилиси!— распаляется Параджанов. — Ты мечтала увидеть живого Мастрояни? Так распахни свои прекрасные глаза, женщина!

— Кого-о-о? — высовывается наконец в окошко настороженная соседка. Знает — от Сержика можно ожидать чего угодно...

И Сержик стоит под окном весь сияющий, весь нараспашку и делает клоунский выпад: «Оп-л-ля!..»—и перед ошарашенной Маргушей вдруг наяву предстает ее давнишняя мечта— Марчелло!.. Является точно такой же сияющий, точно такой же весь нараспашку, с таким же: «Оп-п-ля!..», но с настоящим итальянским акцентом.

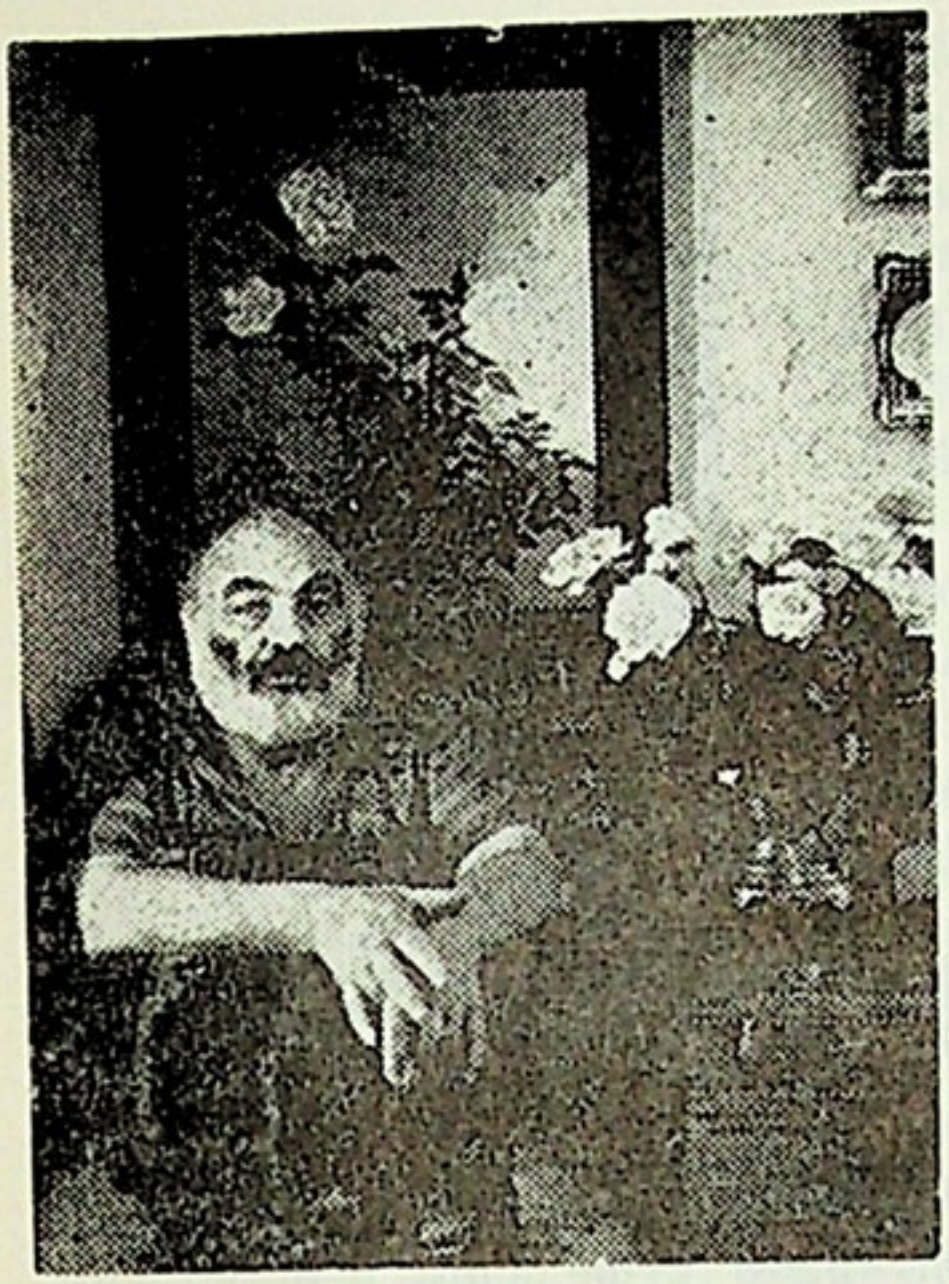
Позабыв про сон, Маргуша, естественно, заверещала в восхищении, приглашая всех в дом, и через секунду вся улица уже была на ногах, а еще через секунду начался серьезный спор о том, чья очередь принимать такого, свалившегося с луны гостя.

А Параджанов, посмеиваясь, стоял в сторонке, наблюдая за всем этим, и любовался своими соседями, своей улочкой, такой обыкновенной тбилисской улочкой, которая никогда не подведет тебя....

Он не был верующим. Но знал, что Бог есть.

С одинаковым трепетом входил и в церковь, и в синагогу, и в мечеть... Всегда зажигал свечку. Знал, как проводить человека в последний путь. И говорил — «Бог един!» И кричал голосом своего героя в «Ашик-Керибе»: «Не бейте меня!.. Я ведь всего лишь ашуг!.. Не бейте... Мы же все братья...» Богиней называл свою любимую актрису Софико Чиаурели, которая снялась во всех его фильмах и которая должна была сняться в будущих его работах, в лентах, которые никогда уже не появятся на экране... Родным братом был для него Резо Чхеидзе, режиссер и директор киностудии «Грузия-фильм», который первым после всяких зон сделал все, чтоб Параджанов вновь ожил. Это потом все стали смелыми...

На премьере «Легенды о Сурамской крепости» в Москве, в год, когда ветер перемен только-только начинался и все, и страна, и остальной мир с надеждой, но и с опаской, приглядывались к новому нашему лидеру, импортные гости премьеры спросили стоящего на сцене Параджанова, как он относится к Горбачеву.



Портрет с зеркалом и розами

— Прекрасно! — не задумываясь ответил он. — Это гений!.. Прекрасный политик и прекрасный актер...

— А что, вы сняли бы его в своем фильме?

— Конечно! Когда он выбежит из Кремля с криком: «Сюда я больше не ездок!.. Карету мне, карету!», я буду ждать его у здания ГУМа, а потом возьму его за руку и сразу поведу снимать-ся в моем «Гамлете»!

— А Офелией будет Раиса Максимовна?

— Нет. Для нее в мировой драматургии есть другая роль... Роль Корделии... помните, была такая дочь у Лира?.. Все карты в государстве спутала, а никто этого и не заметил...

Увы!.. Жаль, что параджановского «Гамлета» не будет...

Когда Сергей Иосифович заболел, друзья повезли его вс Францию. Говорят, врачи там получше. Но и они, при всем старании, ничего не смогли сделать. Первой отказала речь. Потом стала гаснуть память... Даже друга, молодого режиссера, не узнал, когда тот пришел его навестить. А может узнал, но слова уже все позабылись. Наверное — узнал... Потому что схватил руку земляка и целых четыре часа держал ее прежней хваткой. Друг протянул ему спелый гранат, угасающие глаза Параджанова вспыхнули в радости. Гранат для него всегда был талисманом, символом вечной жизни и вечной земной красоты... Он что-то попросил неслышно. Земляк понял... Подвесил гранат над кроватью, и с того момента Сергей Иосифович не сводил с граната глаз...

...Летом 90-го года через весь Ереван медленно двигалась похоронная процессия. На вопрос встречных: «Кого хоронят?», кто-то тихо отвечал: «Сергея Параджанова». И встречные скорбно покачивали головами, поверив... А я не верю. Я ведь знаю, что все это уже было...

Арсен ЕРЕМЯН

ДВА ОТКРОВЕННЫХ ДИАЛОГА С МАЙЕЙ ЧИБУРДАНИДЗЕ

В начале немного истории. Еще в 1977 году мы с международным гроссмейстером Эдуардом Гуфельдом решили написать книгу об одной талантливой юной шахматистке, предсказывая ей большое будущее. У моего друга не было сомнений на этот счет, благо он начал ее тренировать.

Но не слишком ли рано? Такой вопрос задали мы себе, приступая к работе, и тут же отмели сомнения: нет, не рано, через несколько лет эта книга окажется запоздалой. И название ее — «Все еще впереди» — отражало нашу основную мысль.

Героиню книги звали Майя Чибурданидзе, она тогда отметила свою шестнадцатую весну. Когда книга вышла в свет в издательстве «Ганатлеба», Майя только начинала подготовку к первому в ее жизни четвертьфинальному матчу претенденток на мировое первенство.

О книге с многозначительным названием вспомнили через полтора года, когда шахматный мир узнал о своей самой юной чемпионке. Специалисты не припомнят другого случая, чтобы о 16-летней шахматистке была написана и издана книга — такого в литературе еще не было, как не было и того, чтобы шахматную корону оспаривала школьница.

Прошли годы. Победы этой выдающейся шахматистки, достигнутые с такой, казалось бы, легкостью и простотой, заставляли вспомнить сказочные сапоги-скороходы, в которых шутя преодолевают расстояния и преграды.

И вот Майя Чибурданидзе в свои 30 лет — пятикратная чемпионка мира! Она готовилась к шестому матчу за шахматную корону. С какими мыслями она подошла к этому соревнованию?

Мне показались интересными две последние беседы с Майей, взятые из рукописи книги, которая, надеюсь, будет издана в наше жестокое время, когда люди, оставив сражения за шахматной доской, стреляют друг в друга.

«Вы нас заставили полюбить эту девушку», — сказал мне както один знакомый, прочитав эту книгу.

Буду рад, если эта публикация позволит увеличить число почитателей Майи Чибурданидзе, которая в июне вместе с подругами по сборной Грузии Ноной Гаприндашвили, Наной Иоселиани, Нино Гуриэли впервые защищала ее цвета на шахматной Олимпиаде в Маниле и завсевала золотую олимпийскую медаль. Выступая на 1-й доске, Майя одержала 1,0 побед над сильнейшими шахматистками, в том числе над нынешней чемпионкой мира Се Цзюнь.

Выдающаяся победа команды Грузии и ее лидера!

Май 1991 г.

Только что сыграв в тбилисском юбилейном турнире, посвященном Ноне Гаприндашвили, Майя Чибурданидзе вновь собирается в дальнюю дорогу.

— Майя, если не секрет, куда ты так спешишь?

— В Афины, на встречу с президентом Международной шахматной федерации Кампоманесом. Нам предстоит обговорить условия матча на первенство мира.

— Как расцениваешь свой результат на турнире в Тбилиси?

— Интересный турнир. Жаль, конечно, что не играли Азмайпарашвили и Александрия, но это произошло по независящим от них причинам. Сама Гаприндашвили была не в форме. Понравилась Кахиани, хорошо защищалась и считала варианты, в общем заметно выросла, как и Арахамия. Солидно

играли оба победителя — Гия Георгадзе и Стуруа, а также Джанджгава — с запасом прочности.

О себе скажу так: участие в турнире было последним этапом подготовки к матчу на первенство мира. Готовиться к нему мне помогают Кузьмин и Цешковский. От победителей я отстала на пол-очка, так что в этом плане все нормально.

— **Не могла ли набрать эти нелишние пол-очка в партии последнего тура с Иоселиани?**

— Нет, пожалуй. Выиграть следовало туром раньше, в партии с Кахиани, где я имела позиционное преимущество.

— **Как считаешь, можно ли утверждать, что в шахматной жизни республики завершился матриархат?.. Не считаешь ли, что в командных соревнованиях возрастет вклад мужчин в общую копилку команды?**

— Частично на этот вопрос мы уже ответили. Сам факт приглашения Азмайпарашвили и Георгадзе в команду Каспарова в период его подготовки к матчу на первенство мира достаточно красноречив. Со временем и Джанджгава обещает вырасти в крепкого гроссмейстера. Но пусть ребята на меня не обижаются, будущего Фишера среди них, к сожалению, не видно (смеется).

— **Вернемся к цели твоей поездки в Грецию. Матч на первенство мира, безусловно, главное событие года. Что ты знаешь о своей сопернице?**

— Пока все, как в тумане. Знаю, что состоять он будет из 16 партий, пройдет осенью. Китаянка Се Цзюнь, как шахматистка, мне мало знакома. Если откровенно, то в финальном матче по игре должна была победить Алиса Марич из Югославии, но повезло ее сопернице.

— **Как объяснить неудачу наших замечательных шахматисток Гаприндашвили и Иоселиани в турнире претенденток? Обе играли дома — в Боржоми — белыми фигурами против молодых, сравнительно малоизвестных шахматисток и потерпели поражение, хотя пол-очка могли сделать любую из них участницей матча на первенство мира.**

— Не последнюю роль в обеих партиях играли нервы, а они, как известно, крепче у молодых. В самом деле, есть чему подивиться: пятеро из восьми участниц турнира претенденток — советские шахматистки, а победили две зарубежные. Если рассматривать этот факт с позиции ФИДЕ и условий для развития шахмат в различных странах, то успех китайской и

югославской шахматисток для шахмат полезнее. Но после матчей Гаприндашвили с Кушнир это первый случай, когда участницей поединка за мировое первенство будет зарубежная шахматистка. Так что неизмеримо возрастает ответственность за судьбу шахматной короны, которая, как сказал как-то Тигран Петросян, любит падать с головы. Придется держать ее крепко, по давнему совету чемпиона мира.

— Ты веришь в Бога? Этот вопрос я хотел тебе задать давно. Известно, что твоя мама Нелли Павловна верующая, посещает церковь. Помню, как об этом говорили с осуждением и даже с иронией. Но у меня создалось впечатление, что в отдельных критических положениях тебя словно спасало провидение. У меня сохранилась фотография со времен матча на первенство мира 1978 года. В твоей комнате на пианино стояло изображение Иисуса Христа.

— Я действительно выросла в христианской семье и никогда не скрывала этого. Вспомните, как мы жили совсем недавно, когда признавали одну-единственную веру — коммунистическую. И потом, когда веришь только в свои силы, то вряд ли это будет способствовать твоему становлению как личности. Мир много бы выиграл, если б люди постоянно помнили Нагорную проповедь и следовали ее советам. Что касается изображения Христа, то это действительно икона. Это видно на фотографии с летчиком-космонавтом Севастьяновым, президентом Шахматной федерации СССР, которая попала в вашу книгу «Семнадцать весен Майи».

— Майя, хочу тебе раскрыть старый секрет. Заведующий шахматной редакцией издательства «Физкультура и спорт» международный гроссмейстер по шахматной композиции Виктор Чепижный как-то вспоминал, что работники их редакции влюблены в эту книгу.

— Спасибо.

— Ты обещала рассказать о матче с младшей Полгар.

— Несколько месяцев назад поступило предложение от Венгерской шахматной федерации сыграть товарищеский матч с Юдит Полгар. Инициатива исходила от Ласло Полгара, отца знаменитых шахматисток. Я дала согласие играть матч из 8 партий. Сообщение было опубликовано в югославской газете «Политика». Но похоже, сестры не ожидали такого поворота. Возможно, я многих разочарую, но времени на это соревнование уже не остается — надо готовиться к матчу на первенство мира. Сама Юдит, возглавляющая рейтинг-лист шах-

матисток, особого впечатления не оставляет. Она, как компьютер, буквально напичкана шахматной информацией.

— Однако, зная, что сестры широковещательно заявляют о том, что они сильнейшие в мире, ты все же проиграла Жуже Полгар принципиальную встречу на последней Олимпиаде.

— Я не рассматривала эту партию как принципиальную. Играя, вижу перед собой шахматные фигуры, а потом уже того, кто их передвигает.

— Не считаешь ли, что были допущены ошибки при комплектовании женской сборной страны? Вторую Олимпиаду подряд вы отдали семейству Полгар золотые медали чемпионок. В шахматной периодике даже появились утверждения, что Майя Чибурданидзе не является командной шахматисткой.

— Я слежу за прессой, но это не так, как некоторые представляют. Не будучи командным игроком, я не могла бы выиграть пять золотых олимпийских медалей. Перед последней Олимпиадой мне сказали: «Держи первую доску!» И я держала, как могла, хотя очень устала после матча на первенство мира с Иоселиани. Отстали мы от венгерок не потому, что Чибурданидзе без особой борьбы преждевременно согласилась на ничью, а потому что проиграла Галлямова, но это в газеты почему-то не попало.

— Извини меня, Майя, если и этот вопрос покажется тебе не из приятных. В последнее время ты не играла в женских чемпионатах страны. За это тебя критиковала Нона Гаприндашвили, которая, кстати, за последние годы значительно пополнила свою коллекцию золотых медалей. Помню письмо рабочего в «Правде»: почему, мол, чемпионка мира игнорирует всесоюзные соревнования, играет только в мужских турнирах. Или действительно они совпадают с твоими официальными матчами?

— Нет, конечно. Просто мужские турниры меня больше привлекают: класс игры там несравненно выше, а в женских — я только транжирю очки своего рейтинга. В ближайшее время мое отношение не изменится.

— Особенно, если вспомнить прогноз Макса Эйве. Чемпион мира и математик, он как-то подсчитал с помощью теории вероятности, что женщины будут играть в шахматы так же сильно, как мужчины, приблизительно через двести лет.

— Как видите, довольно веские аргументы против моего участия в женских соревнованиях.

— В начале 70-х годов в воздухе витала идея вашего то-

варищеского матча с Гарри Каспаровым. Насколько реальна она сегодня?

— Идея исходила от моего тогдашнего тренера Гуфельда, но не была поддержана союзным Минпросом. Видимо, тамошние чиновники все еще помнили о раздельном обучении мальчиков и девочек. Теперь такой матч чемпиона мира может состояться разве что с Юдит Полгар.

— **Твои успехи в мужских турнирах за последнее время пошли на убыль. Не означает ли это, что шахматы начали приедаться 30-летней чемпионке? Ты как-то сказала, что в свои 23 года стара для посещения дискотеки. Не задумываешься ли над тем, что из-за шахмат приходилось жертвовать чем-то большим и важным?**

— Результаты мои и впрямь стали скромны, хотя я хорошо сыграла в Турции и на недавнем турнире в Греции. Все же сказывается недостаточная соревновательная практика. Так, за год я имею 4—5 турниров, сестры Полгар — по 9—10. Что касается профессионального отношения к шахматам, то я никогда не уделяла спорту меньше внимания, чем следовало, хотя частенько доставалось от тренеров. Просто с годами играть стала более академично, меньше рискую, в результате реже выигрываю.

— **Решение грузинских шахматистов выйти из союзной федерации, равно как и представителей других видов спорта, не создает ли определенные трудности с их выступлениями?**

— Мы с ними недавно уже столкнулись при отправке наших девочек на чемпионат Европы. Грузия пока не является членом ФИДЕ, и с этими трудностями придется считаться, пока наша республика не станет независимой де-юре.

— **Если смотреть правде в глаза, то следует признать— институт профессиональных спортсменов в стране существует давно. Из газет можно узнать о миллионных гонорарах Штеффи Граф и Моники Селеш. Сколько зарабатывает королева шахмат?**

— Ходит много нелепых слухов о премиях и гонорарах в нашем виде спорта, а королева на зарплате. Получаю 350 рублей от союзного Спорткомитета. И если мы выделились из советского спорта, то, надо полагать, и этот источник моего дохода скоро иссякнет. Призовой фонд нашего матча с Се Цзюнь определен в 25 тысяч долларов. Эту сумму может заработать теннисист среднего класса, проиграв уже в первом круге турнира, каких развелось великое множество. Это скромная по сегодняшним меркам профессионального спорта сум-

ма объясняется тем, что многие годы матчи на первенство мира проводились в СССР, а гонорары выплачивались в наших «деревянных» рублях. Руководство ФИДЕ пока просто не успело пересмотреть наш призовой фонд.

Думаю, миллионные гонорары — не последнее, что заставляет Каспарова и Карпова полностью выкладываться в матчах на мировое первенство, хотя деньги — не главное или, во всяком случае, не единственное отличие профессионала от любителя. «Профи» — это специалист высокого класса, у него есть стимул выкладываться до конца, поскольку профессиональный рост существенно изменяет его положение в обществе. У нас же разрыв от простого мастера спорта, каких тысячи, до заслуженного мастера спорта — незначителен. Получается парадокс — многие трудятся меньше, а получают больше.

Меня коснулся женский шахматный бум в Грузии, обязанный блестящим победам Ноны Гаприндашвили, и я не понаслышке знаю, почему у нас многие родители стараются учить своих дочерей играть в шахматы — они видят в этом надежду дать девочкам хорошее интеллигентное воспитание и прочное положение в жизни.

Подытожим сказанное. За счет шахмат мужчины живут намного лучше, особенно те, кто входят в первую двадцатку и играют на Кубок мира. Мы же живем куда скромнее. Перебиваемся, как говорится, с хлеба на воду.

— Не предлагали ли тебе за рубежом играть за профессиональный клуб?

— Нет пока. Такие клубы действуют, в основном, в Германии и Австрии. Я бы охотно приняла такое предложение, если оно последует. Но, видимо, за бугром не знают, что чемпионка мира согласна на такое решение.

— Будем надеяться, после нашего интервью узнают.

— Будем (смеется).

— Ты была членом ЦК комсомола Грузии, депутатом Верховного Совета республики двух созывов, главным редактором шахматной газеты «Мерани». Ввиду твоей постоянной чрезмерной занятости не была ли, извини, просто «свадебным генералом»?

— Это было вполне в духе того времени. Принято было считать, что в нашей стране выдающиеся спортсмены являются любимцами народа. Красивая и наивная сказка, хотя всеобщее внимание приятно и ко многому обязывает.

— **Твое имя записано в Книгу рекордов Гиннесса. По какому конкретному поводу?**

— Я стала самой молодой в истории шахмат чемпионкой мира, в 17 лет.

— **Но ты была также самой молодой двукратной чемпионкой мира, трехкратной и т. д.**

— Нет, в книге существует только одна запись. Смешно получается. Можно попытаться зубами сдвинуть с места подъемный кран и, в известной степени, увековечить свое имя. Но можно быть 5-кратной чемпионкой мира и оставаться «незамеченной», хотя сделать это было не менее трудно (смеется).

— **Не покушается ли кто-нибудь на твой первый рекорд?**

— Нет. Юдит Полгар пропустила свое время. На ближайшие двадцать лет я могу быть за него спокойна.

— **Вера Менчик была 9-кратной чемпионкой мира. Ты, в случае удачи, уже в этом году можешь улучшить и другой рекорд.**

— Понимаю ваш намек, но поверьте мне, я играю, не думая о рекордах. Что касается достижения Менчик, то оно останется фантастическим на все времена.

— **И все же желаю тебе новых больших успехов.**

— Спасибо.

Ноябрь 1991 г.

Как быстротечно время! Еще недавно внимание шахматного мира, многочисленных поклонников этого древнего искусства было приковано к Маниле. Там, на Филиппинах, происходило что-то непонятное. Наша молодая чемпионка мира, одна из ярких представительниц прославленной грузинской шахматной школы, никак не могла найти ключ к яркой звездочке из Пекина Се Цзюнь, которая, будучи на добрый десяток лет ее моложе, с понятным честолюбием рвалась к заветной цели.

Мы верили — Майя, что называется, с младых ногтей приучившая нас к своим победам, и на этот раз с честью выйдет из трудного испытания, начнет финишный спурт и оставит соперницу позади. Но игрались партия за партией, а перелома в борьбе чемпионка создать так и не смогла. Победа, а с ней и шахматная корона достались китайской студентке, и специалисты наряду с грузинским и венгерским феноменами в шахматах вправе говорить и о китайском. Что же все-таки произошло в Маниле?

Долгое время я не мог заставить себя позвонить Майе.

наконец снял трубку. Вот какой разговор вскоре состоялся между нами:

— **Как живешь-поживаешь, Майя?**

— Сейчас вроде нормально.

— **Не возражаешь, если задам тебе несколько вопросов о матче и околоматчевых событиях? Начать, видимо, надо издалека, когда президент Международной шахматной федерации господин Флоренсио Кампоманес отказался приехать в Тбилиси обсуждать условия матча на первенство мира, и ты вынуждена была отправиться на остров Родос.**

— Именно так. Исполком ФИДЕ должен был определить главное — место проведения поединка и размеры призового фонда. Вспомним, что с обоими вопросами еще в конце августа была полная неясность. Об этом, кстати, писала наша шахматная печать. Мы потеряли уйму времени, а страны, готовой предоставить арену для поединка за шахматное первенство и финансировать его, так и не нашли. В таких случаях за президентом федерации остается право самому назвать страну—хозяина соревнования. И он этим правом воспользовался сполна и назвал Филиппины. Конечно, правильнее было разбить поединок надвое, одну половину его провести на родине чемпионки, другую — у претендентки на титул. Однако, как стало известно, китайская сторона отказалась проводить матч у себя.

— **Значит, вопреки известному изречению эллинов «Здесь Родос, здесь прыгни» прыжка не получилось. Древние олимпийцы были куда удачливее. Кроме того, как видно из твоих слов, чемпионка мира в этих решающих вопросах никаких привилегий не имела.**

— Не имела. Правда, Кампоманес сделал вроде вежливый ход: предложил нам самим в течение двух дней подыскать в Европе страну, готовую предоставить гостеприимство двум шахматисткам для выяснения их спора, но за столь короткое время сделать это было невозможно. Мы называли другой срок — десять дней, но и это было скорее тактическим ходом, попыткой выиграть время. И руководители ФИДЕ, которым очень хотелось провести матч в Азии, прекрасно это знали. Дело в том, что еще до финального матча Се Цзюнь с югославской шахматисткой Алисой Марич называлась Манила как арена поединка. Теперь я знаю, что было большой ошибкой соглашаться играть на Филиппинах.

— **Почему?**

— Во-первых, это был, по существу, мой первый матч на первенство мира за рубежом. Первая половина матча с Еленой Ахмыловской, проведенная в Софии, не в счет. Во-вторых, я оказалась в совершенно непривычных условиях. Повышенная влажность, жара, при которых не то что играть, дышать трудно, проживание в течение сорока дней в гостиничном номере, пусть даже с наисовременнейшим кондиционером, незнакомые люди вокруг — все это кого угодно могло вывести из равновесия.

Необычным был сам регламент: тайм-ауты были отменены. Мы играли по схеме: партия — доигрывание — партия, каждый второй день, без отдыха, в то время как все матчи на первенство мира, как среди мужчин, так и женщин, обычно играются из расчета три партии в неделю с последующим днем отдыха. Я пробовала протестовать, но Кампоманес сказал, что за два месяца вперед официально известил о регламенте матча Спорткомитет СССР и союзную федерацию шахмат. Получается, что этот документ от меня скрыли.

Играть было трудно еще и потому, что Се прекрасно подготовилась, знала все мои партии и тактику — менять дебютные схемы в ходе матча — и без труда находила сильнейшие возражения.

— Вы жили...

— В пятизвездочном «Манила-отеле» — солидном, старинном, классическом особняке. Партии игрались здесь же, в так называемом митинг-холле, где обычно проводятся деловые встречи. В вестибюле были выставлены мониторы и демонстрационные шахматные доски, по которым зрители могли следить за партиями. Кстати, зрители располагались в нескольких метрах от столика, за которым мы играли. Перед началом 14-й партии я потребовала перенести игру в закрытое помещение, но организаторы мне в этом отказали, хотя китаянка уже вела в счете с разницей в два очка.

— В этих условиях игры не допускаешь ли ты какого-либо воздействия на тебя, скажем так, хотя бы подсказки? Вспомним скандальные обстоятельства вокруг матча на первенство мира между Карповым и Корчным там же, на Филиппинах.

— Они тогда играли в несравненно лучших условиях на курорте Багио, да и то к концу матча оказались совершенно без сил. Се Цзюнь было легче, она перед матчем успела сыграть в Маниле в мужском турнире, хотя и без особого успеха, но акклиматизировалась полностью. Кстати, играла она

почти что в домашних условиях — на Филиппинах проживает до двух миллионов китайцев, столько же и коренного населения.

— Получается, что ты оказалась в таких же непривычных условиях, что и Петросян во время финального матча претендентов с Фишером в Буэнос-Айресе в 1971 году, когда вступают в силу обстоятельства далеко не шахматные.

— Я недостаточно хорошо знаю историю шахмат, но, помнится, об этом он писал.

— Кто входил в вашу спортивную делегацию?

— Моя мама, Рамаз Гоглидзе, два моих тренера — гроссмейстеры Геннадий Кузьмин и Виталий Цешковский и еще три москвича, приехавшие в Манилу по личному приглашению президента ФИДЕ. Присутствие господина Гоглидзе было особенно ценным. В недавнем прошлом он возглавлял Спорткомитет Грузии, владеет иностранным языком, близко знаком с Кампоманесом — лучшего руководителя трудно было представить. Во второй половине матча приехал заместитель министра спорта и туризма господин Джансуг Багратиони...

— Не было ли в Маниле с вами Гуфельда? Мне кажется, помимо своих незаурядных тренерских качеств, он в этих условиях мог быть полезен в роли психолога.

— Эдуард Ефимович играл почти по соседству, в Малайзии. Нас разделяли каких-то пятьсот километров. Он нам часто звонил в Манилу, как и недавно из Москвы. Обещал быть в Тбилиси через неделю. Что касается его тренерских обязанностей, то у нас действует договоренность не привлекать его в процессе подготовки к матчам по чисто шахматным причинам, а отношения у нас самые дружеские.

— Под чьим флагом ты играла?

— Грузинским и Советского Союза, поскольку Грузия пока не является членом ФИДЕ. И если бы мне запретили выступать под грузинским флагом, я была готова отказаться играть матч.

— Какими были ваши отношения с господином Кампоманесом, от которого в свое время пострадали Корчной и Каспаров?

— Самыми доброжелательными. Президент неизменно приезжал на мои матчи на первенство мира, его связывают дружеские отношения с Грузией, ее шахматистами и шахматистками, с нашей национальной федерацией.

— Так что ни о каком альянсе не может быть речи?

— Ни в коем случае. Мне просто не хотелось бы об

этом думать. Это не в моем характере, хотя какие-то слухи до меня доходили. Но мало ли что говорят...

— Тебе не кажется сейчас, что в процессе подготовки к матчу что-то существенное было упущено? Вот и Александр Рошаль писал: «Мы Се учили понемногу...» Хотя это, на мой взгляд, скорее каламбур, чем серьезное замечание.

— У меня нет оснований быть недовольной моими тренерами Кузьминым и Цешковским, которые не один раз готовили меня к матчам за шахматную корону. Никогда у меня не возникала мысль прибегнуть при его неблагоприятном течении к услугам другого тренера. Подготовка проходила в нормальных условиях. Я провела сборы в Карловых Варах и Кобулети, приняла участие в мужском турнире в швейцарском городе Биле, сыграла матч из 6 партий со спарринг-партнером Артуром Фроловым, международным мастером с Украины, который недавно стал призером открытого первенства страны. Словом, была в великолепной форме. Большую помощь, как обычно, мне оказали Министерство спорта и туризма Грузии, федерация шахмат, за что я всем им очень благодарна. Перед отъездом в Манилу многие пожелали мне успеха в матче. К сожалению, не удалось этого сделать и доставить радость моим соотечественникам.

— Знакомилась ли ты с газетами, центральными и республиканскими, освещавшими матч с Се Цзюнь?

— Нет, я не буду этого делать. Пусть это останется на совести тех, кто так написал и думает.

— Я не хочу тебя огорчать, но несколько высказываний прошу все же прокомментировать. Рошаль писал в «Комсомольской правде», будто Се Цзюнь после твоего отказа играть на Олимпиаде против ее сборной якобы привела старинную китайскую поговорку: «Кто хочет украсть тигренка, должен отважиться влезть в логово тигра».

— Это ложь. Я готова была играть тогда с китаянкой, но тренерский совет решил заявить на первую доску Нону Гаприндашвили, которая до этого дважды играла с Се Цзюнь, и счет у них был равный. Никаких других причин не было. Что касается китайской поговорки, то она, по-моему, чересчур китайская (смеется).

— В «Советском спорте» корреспондент ТАСС с сугубо рыночной фамилией Бабкин писал: «Не перебродило ли грузинское вино?». Что ты думаешь по этому поводу? О шансах шахматисток Грузии вернуть корону, которой Нона Гаприн-

дашвили и ты владели без малого тридцать лет. Сейчас в Суботице проходит межзональный турнир...

— Бабкин, видно, это написал после принятия чего-то более крепкого, чем грузинское вино. Сейчас в межзональном турнире лидирует Гаприндашвили. Думаю, вся наша грузинская четверка по итогам турнира войдет в заветную шестерку, которая вместе со мной и Алисой Марич проведет турнир претенденток в два круга.

— Но в Югославии сейчас настоящая война...

— Суботица находится на границе с Венгрией, и там относительно спокойно. Я играла в этом городе матч с чемпионом Югославии Поповичем. Что касается военных действий, то часто говорят, что и у нас война. Подождем неделю—все станет ясно с призерами. Верю, что грузинским шахматисткам по силам вернуть мировое первенство. Да и я в свои 30 лет не очень стара и могу сражаться за шахматной доской.

— Насколько оправданы слухи о твоем переезде из Тбилиси и других переменах?

— Ничего определенного сказать не могу. Хотела бы переехать в Кутаиси — там не так холодно зимой (смеется). Пока хочу отдохнуть, прежде чем вернуться к активной игре.

— Через два года наступит пора нового матча на первенство мира. Тебе к тому времени будет 32. Майя, я, как и многочисленные поклонники шахмат, желаю тебе исполнения самой большой мечты, чтобы, как Александр Алехин в 1937 году после победы в матч-реванше с Максом Эйве, ты могла сказать: «Я просто одолжила свой титул чемпионки мира на два года».

— Спасибо за пожелание.

КОНТРОЛЬНЫЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ

ეროვნული ბიბლიოთეკა

Главный редактор Роман **МИМИНОШВИЛИ**

Редакционная коллегия:

Чабуа АМИРЭДЖИБИ, Элисбар АНАНИАШВИЛИ, Реваз АСАЕВ, Игорь БОГОМОЛОВ, Тенгиз БУАЧИДЗЕ, Хута ГАГУА, Камилла КОРИНТЭЛИ (ответственный секретарь), Сергей СЕРЕБРЯКОВ, Лия СТУРУА, Георгий ЧАРКВИАНИ (заместитель главного редактора), Серго ЧИЛАЯ.

Технический редактор К. Котомина

Корректор Е. Сопромадзе

Сдано в набор 17.04.92 г. Подписано к печати 27.08.92 г. Формат бумаги 84×108¹/₁₆. Бумага типографская № 1. Печать высокая. Печ. л. 7,0. Усл. печ. л. 11,97. Уч.-изд. л. 14,0. Тираж 2.500. Заказ 617. Цена 4 р.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

При перепечатке ссылка на «Литературную Грузию» обязательна.

При обнаружении полиграфического брака просим обращаться в типографию Издательства «Самшобло», по вопросам подписки и доставки журнала — в «Союзпечать».

Адрес редакции: 380008, Тбилиси, ул. Костава, 5.
Телефоны: Главный редактор — 93-65-15; заместитель главного редактора — 93-13-57, ответственный секретарь — 93-31-28, приемная — 99-06-59, отделы — 93-31-43 и 93-65-19.

Типография Издательства «Самшобло», Тбилиси, ул. Костава, 14.

4 руб.

ИНДЕКС 76117

ყოველთვიური ლიტერატურულ-მხატვრული და
საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ჟურნალი

„ლიტერატურნაია გრუზია"
(რუსულ ენაზე)

საქართველოს მწერალთა კავშირის ორგანო

გამოდის 1957 წლის იანვრიდან

«Литературная Грузия» 1992, № 4—5—6—418